081

2
1969

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ЮЛИАН КАВАЛЕЦ — Танцующий ястреб (Окончание) 32

Р. К. НАРАЙАН — Продавец сладостей (Окончание. Послесловие Н. Демуровой) 81

ПОВЕСТИ

ЭВЕЛИН ВО — Незабвенная. Англо-американская трагедия (Сатирическая повесть. Послесловие А. Елистратовой) 129

РАССКАЗЫ

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ — Дикие рассказы . . 9

МОРИО КИТА — Головастики 125

СТИХИ

БЕРНАР ДАДЬЕ Стихи (Из книги «Люди всех континентов») . . . . . .

ОТТО РЕНЭ КАСТИЛЬО — Тронемся, родина, в путь... 76

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ЭНДРЕ АДИ (1877 1919) (Вступление Е. Малыхиной) 195

2

ФЕВРАЛЬ

1969

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» Москва

КРИТИКА

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — Личность и классовое самосознание 199
Н. И. КОНРАД — Средневосточное Возрождение и Алишер Навои 212
ВИЛЬГЕЛЬМ ГИРНУС — Красные розы Иоганнесу Бобровскому 221

ПУБЛИЦИСТИКА

ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ — Вьетнам — проблема нравственная 227
ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ — Репортажи (Окончание) 232

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Г. ВЛАДИМИРОВ — Глазами японского ученого 243
А. СЛОВЕСНЫЙ — Может ли свирель соперничать с оркестром? 246
Н. ВАГАПОВА — Поиски выхода 249

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Н. БУНИН — Уве Витт — художник-борец . 252

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Т. Балашова — Высокая и чистая поэзия борьбы ◇ Р. Орлова — Не устаревшая книга 262

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

И. Константиновский — Новый роман Марина Преды ◇ В. Харитонов — Итог страданий ◇ Б. Гиленсон — Первый учебник социализма в США 266

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 272

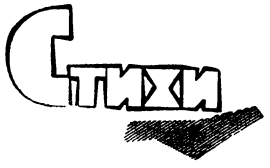
ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 273

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 287

На обложке: Рисунок ПАБЛО ПИКАССО.

БЕРНАР ДАДЬЕ



Из книги «Люди всех континентов»

■

Перевод с французского
МОРИСА ВАКСМАХЕРА

Цепи

Как тяжелы, тяжелы эти цепи,
Которые негр
Надевает на шею негру,
Чтобы хозяевам угодить.

Не преграждайте дорогу народу!
Цепи долой,
Прочь заслоны, рогатки, плотины!

Пусть чистые воды землю затопят
И грязь беззаконий сметут!

Как тяжелы, тяжелы эти цепи,
Которыми негр
Ноги негра опутал,
Чтобы хозяевам угодить.

Тяжкие, тяжкие, тяжкие цепи,
Которыми скованы мои руки!

Пусть все оковы падут!

Люди всех континентов

Пьеру Сегерсу

Я выхожу из забрызганных кровью ночей.

Вот глядите — бока мои
Перепаханы голодом и огнем.
Я пахотной был землею.
Посмотрите — в мозолях рука моя
Черная,
Я месил ею мир.
Вот глаза мои, опаленные
Жаром любви.

Был я здесь, на земле, когда ангел
гнал предков моих из рая,
Был я здесь, когда воды потопа
лизали вершины горных цепей,
Был я здесь, когда Иисус
примирить попытался небо и землю
И когда, над бездной витая, улыбка Христова
Нас к общей судьбе приковала.

Люди всех континентов!
По-прежнему пули
На волшебной заре
Сбивают головы роз.

Выйдя из ночи, пропитанной дымом
потешных огней,
Я хочу вас воспеть,
Люди, вас — вас, кто небо в ладонях несет,
Нас,
Кто ищет себя
В призрачном свете уличных фонарей.

Мне тоже узнать довелось
Холод, пронзающий кости, голод, терзающий чрево,
И внезапное пробужденье от звука взводимых
курков.
Но всегда, ночами пожаров, часами, от пороха
пьяными,
Мне, как другу, мигала звезда.

Люди всех континентов!
Вы, кто небо в ладонях несет,
Вы, кто с нежностью слушает девичий смех,
Вы, кто с нежностью смотрит на детские игры,
Вы, кто руки сплетает с руками в живом
хороводе,—

Знайте:
По-прежнему пули
На волшебной заре
Сбивают головы роз.

Гарлем

Тусклый туннель под Нью-Йорком,
Сумрак свинцовый в небе,
Гарлем!

Старый порт в утробе Нью-Йорка,
Мука новой Голгофы,
Гарлем!

Груда камней Нью-Йорка,
Остров кораблекрушений,
Гарлем!

Грязь на палитре Нью-Йорка,
Ворвавшийся в сны кошмар,
Гарлем!

Тюрьма в самом сердце Нью-Йорка,
На потеху туристам зверинец,
Гарлем!

Лохмотья в наряде Нью-Йорка,
Спугнувшая смех гримаса,
Гарлем!

Музей нищеты Нью-Йорка,
Загон для «цветных» и «черных»,
Гарлем!

Кладбище грез Нью-Йорка,
Призрачная деревня,
Гарлем!

Прыщ на лице Нью-Йорка,
Бельмо у него на глазу,
Гарлем!

Костью в глотке Нью-Йорка,
Зубом гнилым во рту,
Гарлем!

Гостиницей смерти в Нью-Йорке,
Невольничьим кораблем,
Гарлем!

Адом в раю Нью-Йорка,
Огнем, пожирающим негров,
Гарлем!

Идет над Гарлемом дождь.
Негритянское старое небо
Над своими детьми рыдает.

Маски

Маски...
Белые, черные маски!
Маски любых расцветок!
Я не приду ни с какой молитвой
К вам, маски смерти,
голода,
жажды!

Маски без плоти и без сновидений,
О, хороводы бездумных масок
Во дворцах, посеребрённых слезами!
Маски на рубеже времен,
Я обнажу ваши лица,
Чтобы вышла на волю радость.

Маски бронзовые и железные,
серебряные и медные,
деревянные и золотые,

Покрытые масками маски,
Разве видели вы, как рождаются воды,
струятся звезды,
созидаются континенты,
как птенец отправляется
в первый полет
на первой, вытканной солнцем
заре?

Маски масок!
До вас на Земле было слово.
И поэты. Вот из глины какой
Был господом мир сотворен.
Тусклые маски, не светит над вами звезда.
А мы несем на плечах
Корзины, полные звезд,
и вплетаем мы звезды в одежду свою,
и дорогу мы устилаем звездами,
и звезды бросаем горстями
в тусклую ночь, в ночь вашего цвета,
маски...

Маски!

Маски во мгле усыпальниц,
Маски на перекрестках, маски
на пьедесталах,
Маски в гробах.

Мы будем всегда загадкой для вас,
Ибо мы — дети Солнца.

И...

И был
день,
и ночь была,
мерцали звезды,
и пели птицы,
была любовь,
были Авель и Каин,
дубина
и пятна крови
на белых одеждах Земли.
Был крик среди дня
и вопль в ночи.
И пожар на земле.
И змея.
И две змеи,
и десять змей
на полях,
площадях,

в городах,—
сотни, тысячи змей
и разбойничий посвист
беды.
И были головы урок,
головы мавров,
и головы скалили зубы
на кончиках копий и пик,
и была война,
война всем неграм
Африки, Азии, и Европы,
и Австралии, и обеих Америк,
война всем неграм,
что стыли в грезах,
витали в сказках,
в венках кровавых
и в пестрых масках,
война всем неграм,
забитым, темным,
всем неграм бедным,
всем неграм беглым,
война их пляскам,
их песням,
сказкам.

И было то, что вы знаете сами:
голод
и жажда,
ладан
и кляп,
вулкан
и молчанье,
и тучи крови,
молнии крови,
ливни крови,
равнины крови,
потопы,
окопы, костры, стервятники, ямы,
кораблекрушенья в открытом море,
и негры белых,
и негры негров,
и черно-белые негры,
и приводные ремни,
и турбины,
и жабры,
и обитатели жидкого ила,
и опрокинутые пироги,
и утонувшие в луже люди,
и задохнувшиеся под открытым небом

И было
великое
пораженье
Разума и Любви.
Тысячелетняя ночь была,
багровая,
черная,
белая ночь.

И была над расцветшею вновь землей
ясная радуга,
и она увенчала
Вас и Меня,
радуга, которая нас замкнула
в круг единой,
общей судьбы.

Ветер

Ветер
над сонной рекою
тайком подбирает
сны рыбаков.

Ветер
на скатерти озера,
расшитой кувшинками,
в букет собирает
шутки и смех
девушек-водоносов.

Ветер
на тропах лесных
и в траве луговой
урожай собирает
песен крестьянских.

Ветер
с кустов и цветов
дань собирает:
ароматы лесные,
у края деревни
наряжается ветер,
прихорашивается
и садится
на крыши дремлющих хижин
и в очагах раздувает
прикорнувшие угли.

Ветер
на пальцах считает
сновиденья людские.

Ветер
ветвями деревьев качает,
убаюкивая детей.

Ветер
свищет в оврагах,
летит над морями, горами
и садится на миг отдохнуть
у двора постоялого.

Ветер
по древним дорогам земли,
по обочинам времени
тащит

жатву воспоминаний.

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ

ДИКИЕ РАССКАЗЫ

Свадьба

Стоит кому произнести «Дубовик», как меня — словно ножом в сердце, хотя прозвище это — мой собственный грех, и ничьей тут вины, кроме моей, нету.

А случилось все из-за девушки. Хатте ее звали. Как раз против наших выселок высокий бугор, так он отца ее, Сулеймана Чалого. На том бугре поля его, выгоны, овчарни и все прочее. В те поры так заведено было у нас в Лыкавице — у каждого хозяина свой бугор, и так он там и живет. Лишь по пятницам да в байрам* старики спускались в село помолиться в мечети, а остальное время всяк у себя на горе. Там на свет появлялись, там женились и детей рожали — все там.

Не знаю, как детей рожать, а жениться было делом трудным. Приглянется тебе девушка — так не возле дома или двора кружить приходится, а возле горы целой. А гора — что твоя крепость, хуже даже. У каждого в руке ружье, по десять-пятнадцать псов злее волка, мухе не пролететь, а уж парню к девушке подойти — и подавно. Захочешь девушку увидеть, неделю целую караулить надо, да и то неизвестно, кого повстречаешь — ее ли саму или ее родителя.

А родитель у нее, Хатте моей, был нрава буйного. Ездил он верхом на чалом жеребце, потому и прозвище ему было такое — Чалый. Стремена у жеребца бронзовые, удила перламутром выложены, недоуздок весь в бляшках. И на платье у Сулеймана столько нашито галунов, что ими два раза гору опоясать можно. Ходил он всегда хмурый, насупленный. Был неразговорчив и суров — каждое слово на вес золота. Зато дочка его, Хатте, только запоет — и все живое замрет, затаится, ее слушая.

Запал мне в душу этот голос, и я решил: вот моя суженая! Но только ей как про то сказать? Кабы она на байрам приходила, тогда бы просто, но отец не пускал ее на байрам. Принялся я бродить возле ихних владений. Тянул меня тот бугор пуще сахара, потому что Хатте иногда выходила пасти своих коз. А я — по другую сторону обрыва, либо камни вниз сталкиваю, деревья крушу, либо песни пою: авось догадается, что полюбил я ее.

Много я камней покидал, много деревьев повалил и песен спел, пока наконец вижу: сняла она с головы платок и машет мне. В тот же вечер пошел я к старой Пехливанихе. Она варила всякие мази и снадобья, носила их по дворам на продажу. Не только люди, каждая собака в селе знала ее — и преграды ей нигде не было.

---

* Мусульманский праздник.

— Сходи,— говорю ей,— к Сулеймановой Хатте и скажи, ранен, мол, добрый молодец, так нет ли у ней мази целебной для той раны? А коли принесешь мне того снадобья, куплю тебе алой краски шерсть красить.

Пехливаниха старуха была смекалистая — вмиг уразумела, какая хворь меня прихватила, и на другое утро как встала, прямо туда, к моей Хатте.

— Поклон,— говорит,— тебе низкий от Хасанчека. Люба ты ему, хочет тебя в жены взять.

— И он мне люб. Слышала я, как он хорошо на кавале* играет,— отвечала Хатте.— Но только знай: коли проведает о том мой отец, как овцу, меня зарежет. Поэтому — никому ни слова.

Взыграло мое сердце, когда принесла мне ту весть Пехливаниха, и пожалел я, что небо — не колокол, а то ухватился бы я за би́ло да как начал бить и трезвонить, чтобы над горами и долами разнеслось имя ее милое. Но так как небо не колокол, нацепил я колокольцы на своих коз и погнал их через Усое. И до тех пор гонял их да нахлопывал, пока наверху, на горе не показался платок моей Хатте. Это бы́ло первое наше свидание. Пока дождался я второго и третьего, трава успела выгореть. пожелтела листва на деревьях, запестрела гора всеми красками — наступила осень. Уже хлеб и сжали и смолотили — близилась пора свадеб и помолвок. Мать с отцом мои догадались, какое солнце мне светит в небе, но виду не подавали.

Только раз как-то отец сказал мне:

— Ты, сынок, особенно-то не звони колокольцами, потому что на твой луг еще кто-то тропку протаптывает!

Как громом ударили меня эти слова, но спросить я ни о чем не решился. Послал Пехливаниху к Хатте, а она вернулась не с мазью целебной, а с ядом.

— Как увидит Хасанчек, что мой платок к палке привязан,— сказала ей Хатте,— пускай ждет меня в овраге с ружьем и кинжалом!

И больше ничего не прибавила.

А к вечеру все стало ясно. Барабанщики из Бакларской махаллы направились в Лыкавицу. Дели Мехмед их позвал. Похвалялись они, что на другой вечер будут бить в барабаны у Сулеймана Чалого. Значит, Дели Мехмед хочет женить своего сына Брахома на Сулеймановой дочери Хатте.

Эта весть мне как кость в горле, вздохнуть не могу. Будь то не Дели Мехмед, а другой кто, можно бы хоть что-нибудь сделать: сенницу ли, дом ли подпалить, нагнать страху, но ведь Дели Мехмед! Тот самый, что водил башибузуков на Батак резать и грабить. Этот богатей и кровопийца на всех наводил страх и трепет. И коли Сулейман посулился отдать ему Хатте — один лишь аллах мог ее вырвать у него из рук.

Только одна-единственная звездочка мерцала мне в беспросветной мгле: наказала мне Хатте дожидаться ее в овраге. Но, по правде сказать, не верилось мне, что знак она мне подаст, что придет в овраг.

На другой вечер взял я свою двустволку и забрался на Орлиную скалу, что напротив Сулейманова бугра. Вдруг слышу «бам-бара-бам, бам-бара-бам» — забили оба барабана, и от Лыкавицы вверх к Сулеймановой усадьбе потянулась пестрая вереница свадебщиков. Ползет вереница вверх, колотят барабаны, а у меня в виске жила колотится — того и гляди лопнет! Видел я, как Сулейман вскочил на коня, чтобы выехать навстречу гостям. Он пальнул из пистолета, а те отозвались снизу залпом из десятка ружей, так что всю гору окутало дымом и копотью. А когда дым рассеялся, гляжу: у того самого камня, где, бывало, сиживала Хатте, палка прислонена и на палке — белый ее платок. Зна-

---

* Народный музыкальный инструмент типа свирели.

чит, и обо мне печется господь на небе! Думал я, Хатте прибежит ко мне прежде, чем прибудут свадебщики, но она смекнула: ежели пуститься в дорогу засветло, люди Дели Мехмеда настигнут ее, и решила выждать. Пускай стемнеет хорошенько, да пускай гости хорошенько напьются, и уж тогда бежать.

Так оно и вышло. Прибыли свадебщики. Ели, пили да музыку играли, пели до полуночи. Тогда Хатте и говорит матери:

— Ты уже уморилась, давай я телятам сена снесу.

Взяла мешок с сеном и — за дверь. А как вышла за дверь — так и не вернулась. Послали за ней брата ее, Ресима, но нашел он только мешок. Мать грохнулась без памяти, Сулейман как зверь бешеный, свадебщики взъярились. Ножи, пистолеты — за пояс, ружья — за спину, верхом на коней — и на поиски.

А я все это время сижу в овраге. За триста метров почуял ее шаги. Подошла ко мне и говорит:

— Веди меня, куда пожелаешь.

Взял я ее за руку и повел. Но только вместо того, чтобы повыше в горы, в пещеры увести да переждать там неделю-другую и уж тогда воротиться, когда все поутихнет, я, олух этакий, двинулся по тропе на Крушово! В наши выселки!

Когда подходили мы к дому, уже светать начало. И тогда только я в первый раз увидел Хатте вблизи: зубки белые, ровные, губы, словно ежевикой поенные-кормленные, яркие, свежие, и не посмел я коснуться их... Думал тогда: «Еще будет время», а времени-то нашего были минутки сосчитанные.

На зорьке добрались мы до нашего дома. Все соседи сбежались — и родные, и чужие зарадовались, что такая видная девушка будет снохой у нас в Крушово. Отец говорит:

— Скорей бегите кто-нибудь за муллой, чтоб поженить их, а то эти молодчики вот-вот налетят!

А молодчики плутали-плутали без всякого толку и на заре воротились к Сулейману дивиться и думу думать, куда девалась Хатте — сквозь землю ли провалилась, в преисподнюю ли угодила. А потом додумались покликать вокруг, и слышим мы, кричит Сулейман:

— Э-ге-ге-гей, крушовские! Слышите, нет? Нету ли у вас одной нашей девушки?

— Как не быть! — отозвался мой отец.— Но только не ваша она, а наша! Нашенская она теперь, вот оно как!

Как вымолвил он «нашенская», те на миг смолкли, а потом подняли такой вой, будто три сотни волков завыли разом. И сразу же рванулись конники Дели Мехмеда с Сулейманова бугра напрямик к нашим выселкам.

Как тут быть? Свадьба в разгаре, да муллы нету. Наши гости — двоюродные братья, сестры, дядья и прочая родня — сначала храбрились, кричали, но чем ближе подходила орда Дели Мехмеда, тем больше они смирели и разбредались потихоньку кто куда.

А те-то разбойники скачут! В зубах — ножи, в руках — ружья, и скачут! Около меня еще оставался кое-кто, говорят:

— Сметут они нас, Хасанчек, как метлой. Надо уносить ноги, пока не поздно!

Отец сказал:

— Не могу за тебя вступиться! У меня два патрона, а у этих бандитов полны сумки.

А те уже близко, уже копыта по булыжнику цокают. Раздались ружейные выстрелы, и послышался голос Дели Мехмеда:

— Сжечь их всех, мать их...

Глянул я — возле меня ни души! Толкнул заднюю калитку и — вверх

по склону. Лишь когда забрался на самую маковку, смотрю: Хатте со мной нет, внизу осталась. А во дворе у нас полно людей Дели Мехмеда, и у меня не хватило духу спуститься...

— Ты что здесь потеряла, потаскуха этакая? — заорал на нее Сулейман.

— Что потеряла, отец, то и нашла.

Он во дворе стоит, а она ему из окна отвечает.

— Иди сюда, живо! — рявкнул он.— Не то голову снесу с плеч долой!

— Нет, отец, живой я отсюда не пойду,— говорит ему Хатте.

— Ты с кем сбежала? — спрашивает Дели Мехмед.

— Со мной, Мехмед-ага! — отозвался низкий голос, и в окне рядом с моей Хатте встал — кто бы ты думал? — брат моего отца, дядя Селим.

Неженатый он был и даже ни к кому никогда не сватался, потому что правая рука у него была калечная, и не мог он ни пахать, ни копать. Сидел дома, ел за нашим столом, мастерил ребятишкам луки, стрелы, игрушки разные, а в летнюю пору стерег кукурузу от барсуков... Лицо у него было в оспинах, зубы лопатой — никому и в голову не могло взойти, что он на такое способен. А вот на тебе, выходит, способен!

— Я увел ее, Мехмед-ага! — повторил Селим и левой рукой вскинул наган — наган с барабаном. И крикнул он Дели Мехмеду: — Дели Мехмед! Один у меня револьвер, и одна в револьвере пуля! Коли есть среди вас смельчак, кому Хатте дороже, чем мне,— пускай выйдет! Пальнем друг в друга, и кто живой останется, тому жениться на Хатте.

Зарычали Дели-мехмедовы молодцы, но он укротил их.

— Кто первый стрелять будет? — спросил Дели Мехмед.

— Да хоть ваш! — ответил дядя Селим.

— Брахом! — сказал тогда Дели Мехмед сыну.— Пусти ты поживей кровь из этого бубнилы, и пора нам назад.

Все отступили, остался Брахом один посередь двора. Осмотрел он старательно свое ружье, поднял дуло, прицелился. Долго целился. Опустил дуло и снова стал целиться, а Селим стоит, опершись на перила, улыбается, глядит ему прямо в глаза и говорит:

— Цельсь, цельсь, Брахом Дели-мехмедов, а оставишь меня живым — ты у меня материнским молоком блевать будешь!

Негромко говорил он, но кругом такая стояла тишина, что каждое слово было слыхать. Негромко говорил он, но от таких слов волосы дыбом становятся...

Бахнуло Брахомово ружье, заволокло двор дымом, а как рассеялся дым — вижу, стоит Селим цел и невредим.

Тут Дели-мехмедов ублюдок повернул коня и — наутек. Струсил, значит. Вскинулся от ярости Дели Мехмед, заорал ему вслед:

— Стой, так-перетак! Стой, тебе говорят!

А Брахом, знай, скачет, долама* его вьется по ветру, как бумажный змей. Дели Мехмед выстрелил, но сынок и тогда не остановился. Обернулся тогда Дели Мехмед к Селиму и говорит:

— Мой выродок — не пара такой невесте, Селим-ага! Пускай она тебе на счастье достанется.

Поворотили они коней и ускакали прочь. Тут наши стали вылезать из-за кустов, и я тоже вернулся домой. Хатте и Селим сидят рядышком и глаз друг с дружки не спускают.

— Хасанчек,— сказала она, завидев меня.— Я останусь у вас, но только с Селимом!

Кинулся я на Селима, и схватились мы насмерть, но отец растащил нас.

---

* Мужская верхняя одежда старинного покроя из абы — грубой шерстяной ткани.

— Селимова,— говорит,— невеста по справедливости. Кабы не он, не осталось бы тут не только невесты, камня на камне бы не осталось.

Тут и другие голос подали, тоже против меня... И стала Хатте женой Селима.

А потом... Что тебе сказать? Лучше не рассказывать, но ты спросил, что за фамилия такая — Дубовик. А я тогда убежал от срама в дубняк и прятался в том лесу несколько месяцев кряду, с того времени и прозвали меня Дубовиком.

Забился я в нору, как дикий зверь. Один-одинешенек! Но куда ни обернусь, куда ни гляну — отовсюду глядит мне в глаза другой Хасанчек: «Зачем удрал? Почему?» Отвернусь, гляну в другую сторону, а там Хатте: «Эх, ты! Заячья твоя душа!» Зажмурюсь покрепче, чтобы не видеть, и что снаружи — того не вижу, но от того, что внутри, не зажмуришься, и опять передо мной все заново: белый платок Хатте, наше свидание, свадебщики, песни — все, все! И Хатте с Селимом держатся за руки!

Ворочаюсь я с боку на бок, со спины на живот, но глаза, что внутри нас, продолжают видеть, а уши, что внутри нас, слышать. А потом стал я подумывать: долго ль я буду себя изводить, отчего не порешу обоих, чтобы окончились эти адовы муки.

Стали мне видеться сны — как я убиваю Хатте. Правая рука пистолет наводит, а левая тянется приласкать ее. Полсердца задубело, а полсердца мягкое. Чего я только ни делал: мясо лисье сырое ел, орлиные когти варил, кровь дикой кошки пил, чтобы зачерствело сердце! В конце концов сны исчезли, и я сказал себе: «Пора, Хасанчек, иди и убей их!»

Воротился я домой, никто меня ни о чем не спросил. И я ничего не сказал.

Стал нож точить... Точу и думаю, куда этот нож вонзится: Селиму в спину или Хатте в белую грудь. И так надумал: «Дай хоть погляжу на нее, погляжу да голос ее послушаю, покуда она еще на этом свете!» И стою у окна, караулю, когда пройдет она по двору воды набрать, чтоб полюбоваться, как красиво стан ее колышется. Я на нее из окна гляжу, а Селим сидит на пороге и смотрит — не потерялась бы куда от двери до дворовой чешмы*. Во все глаза смотрит, а глаза у него голубые .. Эх, Селим... «Пускай,— думаю,— поглядит, пускай поглядит еще малость».

Вернется Хатте к себе в горницу и начнет песни петь. В доме никого, все в поле. Она поет, а он ей вторит. Поет она и смеется. День и ночь смехом заливалась, только по ночам смех у нее другой: будто щекотно ей, будто он ее бородой колет. Взметнется ее смех, а он его потушит, опять взметнется, и опять потушит, и так до самой зари...

Я у себя в комнате, они у себя, а все равно слыхать. С головой укрываюсь, по самые плечи башлык натягиваю, чтобы не слышать, а уйти не ухожу. Сон не шел ко мне, кусок в горло не лез. Истаял весь, еле ноги таскал. Отец говорит:

— Коль ты помирать собрался, Хасанчек, так иди, говорит, сам вырой себе могилу. А коли думаешь еще пожить на свете, бери соху — и в поле, время пахать да сеять!

И сказал я себе тогда: «Завтра прикончу их, а там будь что будет!»

Наши чуть свет все в поле ушли. Хатте вышла во двор за водой. Селим сел на пороге глядеть на нее. А я взял свой кинжал и подобрался к нему со спины. Сидел он без шапки, над ухом цветок красуется. Не то безвременник, не то чемерка — в глазах темно было, так что не разобрал. А за ухом у него бородавка с кукурузное зернышко, точь-в-точь такая же, как у моего отца... Померещилось мне, что не Селима я сейчас

* Источник, заключенный в трубу, обычно облицованную камнем.

проткну, а отца родного... И не услышал, как нож брякнулся на пол. Селим повернулся, поднял кинжал, засунул мне в карман и говорит:

— Орлиц, Хасанчек, живым мясом приманивают, милый, не падалью! Уходи,— говорит,— отсюда прочь!

Ушел я и больше не вернулся. В разных краях оседал и дальше шел. В Турции побывал, назад пришел, женился не раз и не два, но слова те Селимовы крепко сидят в памяти: «Орлиц живым мясом приманивают, не падалью!»

Уйти-то недолго, а вернуться... Жизнь целую возвращаешься и все не можешь вернуться туда, откуда ушел.

Мир чудной и мудреный

У каждого человека своя судьба, а вот у меня их, должно, целых две! Сколько себя помню, одна норовит в землю меня вогнать, другая — на ноги ставит... Всю жизнь так! И еще до того даже, как я на свет появился!

Ты, само собой, спросишь — да как же это может быть? А вот так...

Что голова у меня набекрень — так это благодаря родной бабке. Хотела задавить еще в утробе матери, потому что понесла она за два месяца до того, как они с отцом свадьбу сыграли, и позор, значит, наружу бы выплыл. Велела ей бабка на пол лечь и уж мяла ее, мяла! Мать памяти лишилась, а мне хоть бы хны! Только голова малость расплющилась.

Которые дети прежде времени родятся, их у нас в селе кличут «ранниками», и судьба им — за родительские грехи расплачиваться. Все глядят на них косо, будто это их вина, что они родились не в срок. И по этой самой причине все у меня пошло вкривь и вкось.

Перво-наперво, мать не стала кормить меня грудью — кусается, мол, и кабы не стала меня тетка козьим молоком поить, переселиться бы мне на тот свет еще до того, как я ходить выучился. Пяти годков мне еще не было, а меня — в горы, к чабанам, овец пасти, чтоб никому в селе глаза не мозолить, о родительском грехе не напоминать.

С чабанами мне и хорошо было, и худо. Хорошо — потому что, как придет охота поесть, я забираюсь козе под брюхо и сосу молоко до отвала. А худо то, что в хижине у нас от дыма было не продохнуть: огонь посередке, трубы нет — ну, лисья нора, да и только. Это с тех пор у меня глаза как кровью налитые. Уж какими я их промываниями ни промывал, и водой святой смачивал, и бабьими заговорами заговаривал, все одно — точно их кто теркой тер. Ну, глаза — ляд с ними, а то ведь я чуть жизни не лишился. Шел мне тогда уж десятый год. В первый раз штаны надел. Гоню своих коз, а сам на коз и не гляжу — на штаны любуюсь. Лес в те времена не такой был, как сейчас, гладенький, вылизанный да расчищенный, так что суслику — и тому притулиться негде. Густой тогда лес был, дремучий да темный — что твоя преисподняя! Солнце еще не село, а уж холодина, как в погребе... А я как брел за своими козами да на новые потури * любовался, так и поотстал от своих, а поднял глаза посмотреть, куда идти, и вижу: передо мной медведище на задних лапах, высоченный, как... ну, как сосна. А я — ни охнуть, ни крикнуть. Кинулся бежать, да споткнулся и упал. Дите еще малое, а ведь тоже смекнул — мертвым прикинулся. Лежу, не дышу, не пикну. Медведь — на меня! На ноги навалился, даже лизнул, но жрать не стал. То ли сыт был, то ли

* Крестьянские шаровары из грубой шерсти.

для медвежат своих припасти хотел — не скажу, не знаю, но только взялся он, дуролом, заваливать меня хворостом. Завалил и пошел. Как почуял я, что нету уж его рядом, вскинулся да скорей на ближайшее дерево. Ель там стояла разлапистая. Высоко забрался, на самую макушку. Только тут воротился ко мне голос, и я заорал благим матом.

Прибежали чабаны, спугнули медведя, сняли меня с дерева. И тут обнаружилось, что ходить-то я не могу, медведь ступню отдавил, все косточки раздробил, как щепки. Лечили меня чабаны по-своему, кое-как, и нога срослась тоже кое-как. Вот потому у меня ступня не наружу повернута, а вовнутрь и посередке не сгибается, так что хожу я вроде как лошадь спутанная. Чабаны жалели меня.

— Бесталанный ты,— говорят,— с кривой-то ногой не больно на гулянках попляшешь!

Меня и самого тоска брала, что я с такой ногой. Ни бегать невмочь, ни плясать, как другие, да что поделаешь? Мои одногодки женихаться уж начали, на гулянки ходят, а я прячусь за оградами и гляжу на них. Сердце разрывается, что не могу поплясать да попрыгать со всеми, не могу, как другие, с девушкой погулять... Самое это худое было в моей жизни, а то невдомек, что в этом худом самое счастье мое и крылось.

Разразилась Балканская война, угнали моих одногодков всех до единого, и все до единого полегли они от холеры в Сары-Шабанской долине. А меня как негодного к строевой всю войну продержали у моста Олу-Эле. А как протрубила труба отбой, воротился я в село целый-невредимый, и поскольку других женихов не было, то хромый ли, скособоченный — я всем невестам оказался люб. Выбрал я самую богатую, Ангелачкову дочь в жены взял.

Сказал я себе тогда: поймал ты судьбу за хвост, выбился из голытьбы! Коль у тебя сам Ангелачко тесть, пойдут дела как по маслу!

И вроде бы вправду стала у меня жизнь слаживаться. Послал меня тесть в Гюмюрджинскую долину — овечьи отары у него там паслись.

— Ты мне,— говорит,— зять. Где мое, где твое — теперь разницы нету. Следи, чтобы овцы хорошо паслись, доились чтобы получше.

И я взялся за дело. А на том же пастбище пасли своих овец и мугленские чабаны. Ну, вместе-то, конечно, тесно. Время смутное, рассуживать нас некому, сами между собой суд вершили. Ругались, угрозами сыпали, и однажды надумали они покончить со мной. Как-то утром все наши погнали овец, а я один остался — мамалыгу на обед сготовить. Вдруг слышу — конь скачет, и является тут Саню Хаджи Бекиров, Чубастый прозвищем. Был он мугленский, своих овец не держал, нрава шального, дикого, кичился своей лихостью и ею кормился. Коли требовалось отдубасить кого, страху нагнать либо убить — подсылали Чубастого. Коня ли, барана угнать — опять к нему шли. Так вот его-то и подослали со мной сладиться. Что у него было на уме — бока мне намять или вовсе жизни лишить,— сказать не могу, но я, как увидел незваного гостя, тут же смекнул, что дело плохо. Конь у него огромный, и Чубастый навис надо мной как туча грозная. А я под ним стою — да еще с голыми руками.

— Ах ты, растуды твою...— ругнулся Чубастый и выхватил клинок из ножен.— Сейчас я тебе покажу, как чужих овец прогонять!

Но не успел клинок сверкнуть, а Чубастый до двух сосчитать, как я хватил коня под колено, и он грохнулся наземь вместе с ездоком. Чубастый выронил нож, а я дотянулся. Схватил недоуздок да как начал стегать, молотить, покуда он не взмолился, ноги мои не стал целовать, чтоб отпустил его с миром. Ну, я отпустил и после этого ни слуху о нем, ни духу. Было это перед петровым днем, а на малую богородицу пустился я в дорогу — свежей брынзы домой свезти. Сыскались у меня попут-

чики, мои односельчане-каменщики тоже домой собирались, так что мог я с ними через перевал перебраться, но сердце до того истомилось по молодой жене, что невтерпеж показалось с пешими вровень плестись. Так что сел я верхом и отправился в одиночку. Подъезжаю к Ташкапии, вижу: сидят у дороги трое не то четверо цыган, закусывают. Один из них увидел, что седельные сумки у меня полные, подошел, попросил угостить брынзой. Нагнулся я брынзы из сумки достать, а он — бревном ли, дубиной ли, сказать не могу — как бабахнет меня по голове! Я и брякнулся наземь, как сбитая груша. Подбежали тут остальные трое и принялись они все вместе дубасить меня палками, как фасоль, когда ее молотят. Народ-то здоровенный, разделали меня, как тушу. По говору догадался я, что они из Змеицы, тоже чабаны. Один орудует дубиной и все приговаривает:

— Пастбище тебе? Вот тебе пастбище! Вот тебе!

А когда я стал на помощь звать, затолкал мне в рот травы.

Лупцевали они меня, покуда я шевелиться не перестал. Тогда только унялись и исчезли в буковых зарослях, оставили меня и коня моего посередь дороги. А потом подошли наши деревенские. Взвалили меня на коня, хотели домой везти. Но я сказал:

— Нет! Не появлюсь я такой в селе. Вернусь в Сары-Шабан!

Привязали они меня к коню, чтобы я не свалился, сунули в руки поводья, и мы расстались: они — домой, а я в обратную сторону. Крестились они мне вслед, думали, не добраться мне живым в Сары-Шабан, но у меня шкура дубленая — добрался. Неделю целую лечили меня в больнице, а тут пришел один из тех каменщиков и говорит:

— Смеяться тебе,— говорит,— и песни петь, а не охать. И службу,— говорит,— вели попу отслужить, что одним битьем отделался!

И рассказал он мне, что малость повыше от того места, где змеичане меня отколошматили, караулил меня — ты думаешь, кто? — Чубастый со своими дружками. Кол оструган, чтоб посадить меня, угольев наготовили, чтоб зажарить. Ждали, когда я подъеду, того не зная, что и другие подстерегали меня, чтобы свести старые счеты...

Битье битьем, а, выходит, и оно — на благо. Потому что кабы не оно, сидеть бы мне на колу да печься на угольях.

Отведал я побоев, но зато вернулся в село с овцами. Шесть их сотен поначалу было, а в село я пригнал восемьсот шестьдесят — и все жирные, с такими вот мохнатыми хвостами. Я велел чабанам три раза их по селу прогнать, чтоб видели люди, какие овцы бывают. Как раззвенелись колокольцы, как залились лаем мои собаки — то-то радость, то-то наслажденье! Почем мне было знать, что много радости не к добру? Сказал я как-то тестю, а не продать ли нам сотню овец и поставить хороший дом.

— Когда будешь этим овцам хозяин,— говорит в ответ тесть,— тогда и продашь.

— Это как же? Небось они у нас общие?

— С чего же это?

Ну, слово за слово, и уразумел я, что мой тестюшка и в мыслях не имел меня к себе в сотоварищи брать. Что я для него всего-навсего даровой батрак и слова про «наше», «общее» были чистый обман, чтоб поймать меня на удочку.

Разругались мы. Я сказал ему, что он плут и сквалыга. Он меня назвал «ранником» и дерьмом и отвесил две оплеухи! Две оплеухи, да еще при жене при моей! Хотел я его через перила кинуть, да удержали меня. А он, вражина, до того лютый был, что решил совсем меня сгубить и подговорил старосту призвать меня на войну. А тогда как раз пятнадцатый год был, на войну брали. Не спасла меня и кривая нога.

— Мы,— доктор сказал,— не берем только тех, у кого вместо ног деревяшка, хотя, кабы меня спросили, я и с деревяшками бы брал, по-

тому — для чего солдату ноги? Солдат драться обязан, а не бегать. А без ног в самый раз в окопах сидеть!

Попали мы в лапы одному фельдфебелю, и тут пошло: «Встать — лечь! Налево — направо!»

Ну, с грехом пополам, подучили нас, как воевать надо. Вот-вот погрузят в вагоны и отправят драться, а у меня мысли не о войне, а о тех двух затрещинах, что отвесил мне тесть при жене. Я ему овец сторожи, врагов кровных наживай, а он мне за это оплеухи в награду? И решил я так: до той поры на войну не пойду, пока не сотворю старику какой-нибудь пакости. Являюсь к фельдфебелю и говорю: так, мол, и так, господин фельдфебель, жена у меня молодая, дай ты мне три дня отпуску, а я за это принесу тебе из дому червонец и пять ок * меда.

— Ладно,— говорит фельдфебель,— отправляйся!

Я — ружье за спину и в путь. Иду и мозги выворачиваю, какую бы мне такую пакость сотворить. Овчарню поджечь — за овец душа болит. Дом подпалить — чего доброго, и жена сгорит. Хлеб уже смолочен, так что и хлеб не сожжешь. И решил я тогда пасеку его раскидать.

Пришел я в село ночью, прирезал двух коз, освежевал, сделал два меха, наполнил водой. Сел верхом и отправился на пчельник. Пятьшесть ульев залил, повыбрал оттуда соты, а остальные покидал с обрыва. Покончив с этим делом, ускакал прочь — никто не видал, никто не слыхал. Но на полпути я призадумался, а что проку, что я стариковы ульи в речку покидал, коль он не узнает, кто ему этот гостинец поднес? Поворотил я назад, встал в стременах перед его воротами и крикнул:

— А ну-ка, выйди, дед Ангелачко, выйди, я скажу тебе, почем нынче оплеухи!

Двух дней не прошло, засадили меня в гарнизонную тюрьму за решетку, а там и войне конец. Из нашей третьей роты сорок первого резервного батальона ни один человек назад не пришел! Кабы не тестевы оплеухи, быть бы и мне среди «почивших в бозе героев».

После войны пересилила вторая моя судьба — добрая. Отец надумал поделить нас с братом и дал мне овец — тридцать голов. Поскольку был я «ранник», то овцы достались мне какие похуже, все больше яловые. Я взял их да продал. Попас, подкормил немного и сбыл одному барышнику из Греции — Адилом его звали. Часть Фракии, что у моря, у нас отняли, но границу особенно не стерегли, переходить было дело плевое. Адил скупал овец на нашей стороне, потому что у них в те годы голод был. По червонцу за овцу платил! Получил я тридцать червонцев и думаю: а не отправиться ли мне в Петвар либо в Осиково, там небось за червонец четырех овец отдают! Переправлю их через границу моему барышнику и за свои тридцать сто двадцать червонцев возьму! Неужто мне век в дураках ходить? Бочонок вина пограничной страже, жареного барашка — и дело сделалось. Границу-то не больно стерегли, не как теперь, переходи сколько хошь.

Сбыл я сто двадцать овец, сотню червонцев сразу получил на руки, а остальные Адил принес мне домой в Катраницу, как говорится, самолично. Честная душа! Через кордон пробирался, на риск шел, только бы мне деньги в срок отдать. Я на эти деньги еще овец купил, перегнал на ту сторону, продал, и так покупал и продавал еще много раз, покуда не скопилось у меня полтыщи золотых лир! Коли у тебя никогда враз по полтыщи не бывало, могу рассказать тебе, что это значит — такие деньги иметь! По земле иначе ступаешь, откашливаешься — и то иначе, долго этак, басовито, и пока ты прочищаешь горло, все стоят, молчат и слушают. А ты неторопливо откашляешься и пойдешь себе дальше тоже неторопливо — вроде, мол, шагать тебе неохота, а охота перешагивать

* Старинная мера веса, равная примерно трем фунтам.

через все: через людей, скотину, дома, через горы даже! Вот что оно такое, полтыщи лир! А главное дело, каждый червонец так и подзуживает положить в карман второй! Их у тебя пять сотен, а тебе уже тысячу подавай! Вот я и взялся из пяти сотен тысячу сделать. Уговорились мы с Адилом, что пригоню я ему еще тысячу овец: трижды по триста тридцать голов. Разослал я во все концы скупщиков, нанял чабанов. Сколько барашков было скормлено, сколько подарков роздано, но точно в срок, как уговаривались, первая отара была переправлена через границу, на другую ночь — вторая, на третью — третья. Это мы нарочно так уговорились — по частям, а сам я чтобы прибыл с последней отарой, тогда, мол, и получу свои лиры. Прибыл я. Адил уже дожидается.

— Айда,— говорит,— друг, со мной в Скечу (тогда Ксанти так называлось). Айда, там мы с тобой разочтемся, а то здесь всякий народ шатается, так что боязно мне было такие деньги с собой возить.

Сели мы на коней — и в путь. Подъезжаем к Азмаку, откуда дорога на Габриште отклоняется, Адил и говорит:

— Вот тебе повод, подержи моего коня, а я схожу по нужде,— говорит,— на немножко.

Жду немножко, жду множко, а моего Адила нет как нет. Принялся звать — никто не отзывается. Стал в лесу искать — может, худо ему сделалось, а его и нет нигде. Понял я тогда, какую шутку сыграл со мной мой разлюбезный Адил, и поскакал, что было духу, назад, отару хотя бы повернуть. Какое там! Не только овец, хвоста овечьего не нашел. А поскольку дело-то было контрабандное, то ни к грекам, ни к болгарам — ни к кому с жалобой не сунешься. Застал я на месте только одного чабана: дожидался меня, чтобы в обратный путь вместе двинуться. Тодор из Широкой Лыки.

— Тодор,— говорю ему,— у тебя посох какой?

— Кизиловый,— говорит.

— Коли,— говорю,— кизиловый, то я лягу, а ты колоти. А зачем и почему, не спрашивай. Колоти, говорю, не то не видать тебе от меня ни гроша!

Десять раз вытянул меня Тодор своим пастушьим посохом, а потом сели мы на коней и вернулись восвояси. Взялся я слезы лить — не текут слезы, взялся пить — ни вино меня не берет, ни ракия... «Беда,— говорю я себе,— ох, беда!..» И того не ведал, что эта беда еще не беда, что самая-то беда впереди. На другой день прибыли в село пристав Перпелан с двумя стражниками из Дёвлена и прямиком к нам в дом. Ни «здрасте», ни «добрый день».

— Именем закона ты арестован! — А стражникам велит:— Вяжите его!

— Да почему такое? За что?

— Шагай и не спрашивай!

Пригнали меня в участок, и началось следствие:

— Какие у тебя дела со шпионом? Говори!

— Ты что, обалдел? С каким таким шпионом? Знать не знаю никаких шпионов.

Заиграли они дубинками, и мало-помалу уразумел я: этот самый Адил, с которым мы в моем доме пили, ели и торговлей занимались, на самом-то деле шпионом был. Так что он не только обчистил меня, но еще под монастырь подвел. Я клялся, божился, что ведать ничего не ведаю, да разве поверят? Из участка в участок, от одного жандарма к другому, от другого — к третьему, пока не очутился я опять под замком, один-одинешенек. Судили меня и присудили расстрел. И, как пить дать, отправили бы меня на тот свет, кабы не поймали Адила. Разобрались тогда, что к чему, и выпустили меня из тюрьмы.

С той поры я берусь отличить, кто родился — самец или самочка, козленок или барашек, хилый или здоровый, но лихо от добра не отличаю. Не берусь и не суюсь.

Год... не то год, не то два тому, не скажу, приходит сын мой, Ангелачко, и говорит:

— Отец, а отец, приглядел я себе в Кричиме хорошую девушку. Как думаешь, жениться мне?

— А ты,— спрашиваю,— с чего взял, что хорошая она?

— Так видать ведь.

— Кабы, сынок, с одного виденья понять можно было, что хорошо, а что худо, я бы сейчас в окружных начальниках ходил. В лес, в партизаны в свое время подался бы... Но тогда за лесом не разглядеть было, что к добру, а что на беду.

Так или иначе, женился мой Ангелачко на той девушке, и зажили они припеваючи. Он по каменотесному делу немалые деньги получал, но ведь деньгами никогда не насытишься: взбрело ему жену в город, в телефонистки определить. Тому, другому подмазал — и определил.

— Вот теперь,— говорит,— отец, мне благодать. Дом,— говорит,— у нас новый, гардероб еще купить, и ничего мне больше не надо!

Он, значит, так предполагает, а телефонисточка по-своему располагает. Спуталась с телефонным начальником, а мой-то малый их и застань. Задал он ей хорошую выволочку, она сбежала в родное село, а он с горя напился да и поджег дом, чтобы вышибить из памяти и дом и жену.

Люди жалеют нас: вот горе-то! Вот несчастье! И, слышу, толкуют меж собой: постарел, говорят, Милю, из ума выживать стал, вон сидит, ухмыляется как ни в чем не бывало. Господь спаси и помилуй! А я перебираю четки и в ус не дую, потому что знаю наперед: рано ли, поздно ли, мутная вода стечет и опять побежит прозрачная!

И она побежала — да не из одного, из трех желобов разом! Как расчищали мы пожарище, то ковырнули старую кладку, еще от дедова дома, и нашли там в медном кувшине — как думаешь, что? — клад старого Ангелачко! Тридцать империалов австрийских и сотню лир!

Вот теперь ты мне и скажи, что к добру, а что во зло! Я и втолковываю моему Ангелачко: «Чудной этот мир, мудреный, и никогда наперед не узнать, что к добру, а что на беду».

Перевод с болгарского М. МИХЕЛЕВИЧ

Дервишево семя

Узелок этот, скажу я тебе, давно завязался. Мне тогда и четырнадцати не сравнялось, и не было у меня ни отца, ни матери. Отца моего забодала соседская корова, а мать померла от испанки. Рос я с дедом и бабкой, а у бабки правая рука отнялась, некому стало домашнюю работу делать, и дед начал прикидывать, не пора ли меня женить. Меня не спрашивали. Тогда тех, кто женился, не спрашивали, старики сами все улаживали. Услышал я только раз, как они говорили с бабкой.

— Молод! — сказала бабка.

— Подрастет! — сказал ей дед.— Надо только девку приглядеть!

Что и как там дед глядел, не могу я тебе сказать, но раз, вернувшись с выпаса, застал я у нас дома громадного дядьку с большими ножницами за поясом.

— Рамаданчо,— сказал дед,— позвал я портного штаны тебе сшить. Серые хочешь или какие другие?

Больше ничего не спросил. Сосватали меня, женили, только и было спросу: «Серые или какие другие?»

Портной пришел в среду, в четверг штаны были готовы — коричневые штаны, с клапанами, с галунами, а в пятницу явились во двор барабанщики и застучали свадебные даулы *. Даулы бьют, котлы с мясом кипят, а я все еще не знаю, что у меня будет за невеста.

Осмелел я и спросил у бабки.

— С выселок,— говорит,— будет, не из села!

А чья? Какая? И бабка мне не сказала, и я не посмел спросить.

Чья, какая — вечером только узнал. Пропел мулла, отстучал барабан, пришло время одним нам остаться. Перед тем как мне в комнату войти, дед отозвал меня в сторонку и сказал:

— Что хочешь делай, а чтоб кровь поутру была! Коли стал ты мужчиной, действуй по-мужски! А не можешь, ногтями ли, пальцами ли, но чтоб кровь была, а то все село смеяться станет!

Втолкнул меня в комнату и запер.

Сидел я этак с полчасочка, как истукан, не смея ни голоса подать, ни покрывало приподнять, пока она сама покрывало не сняла. Думал я, что старый мой дед привел мне деваху, а увидел девчушку, словно бабочку; лицо белое, как молоко, и глаза вот с такими ресницами. Уставился я на нее, как дикий, а она на меня поглядела, поглядела, да как засмеется.

— Стыдно тебе? — спрашивает.

— Стыдно.

— Чего ж ты стыдишься? Смотри, какие у тебя штаны широкие. И какой пояс. Хочешь, поиграем в волчок?

И не успел я ответить, хочу или не хочу, взяла она меня за пояс, и стала его разматывать, поворачивать меня и крутить, как юлу. И так мы хорошо заигрались, что не услышали, когда и первые петухи пропели.

Тут вспомнил я про кровь, и взяла меня забота. «Вот-вот совсем рассветет и придут про кровь спрашивать. Что тогда?» Заметила она, что мне не по себе, и спросила, о чем я думаю.

— Про кровь! — отвечаю.

— Я,— говорит,— добуду! — Надулась она, аж лицо посинело, раз — и кровь из носу у нее потекла. Не буду тебе рассказывать, где и как мы эту кровь размазывали,— дело прошлое, и зажили мы с Сильвиной, как муж с женой. Была она еще девочка, но и женщина была. В девочке с детства женское заложено. В ресницах ли, под ногтями ли, но таится, а парень — дело иное. Парень, у которого щетины нет, чтобы девичью щеку уколоть,— не мужчина. Хотя коли сердце о женщине затоскует, то не спрашивает ни голову, ни бороду, как и со мной случилось. Пока мы с Сильвиной крутились и раскручивались, пока смеялись и играли, сердечко-то обматывалось, обматывалось, и, как потянули его, чтобы размотать, вырвали мне его с корнем.

Как это случилось, скажу я тебе, никто и не заметил. Все пошло, побежало, как весенняя вода. Никто и не думал, что под водой может быть скала, лодку нашу об нее ударит и расколет в щепки. Сильвина все больше дома сидела, присматривала за бабкой, варила кашу и поджидала нас. Прибиралась, подметала, и старый наш дом засиял как солнышко. Балки и те заулыбались — так украсила их Сильвина разными цветами да травами, а уж окошко в комнате мыла, протирала по три раза на день, и в него каждое утро смотрелась, и волосы свои расчесывала. А волосы у нее были — вот до сих пор, и как глянешь — русые!

---

* Даул — большой турецкий барабан.

Отойдешь маленько — чудятся они тебе рыжеватыми, словно светятся. А еще отступишь — червонное золото, точно живое, заиграет по ним! Как начнет она их расчесывать, я стою и смотрю.

Смотрю, смотрю, пока дед меня не окликнет:

— Эй, Рамаданчо, козы твои с голоду подохнут!

Что за мука была с этими козами! Как остановится летнее ленивое солнце посреди неба и не сходит! Плевать ему, что у меня в селе молодая жена, так и хочется подпрыгнуть и сбить его палкой. И зарыть в землю, чтобы больше не всходило.

Все-то бы ночь была, и лежал бы я с нею рядом или на ресницы бы ей дул. Была у нас с ней одна дразнилка, игра вроде: как проснусь я утром, дую ей на ресницы, пока ресничка к ресничке не ляжет. Обещался я Сильвине — как поеду с дедом на ярмарку в Филибе *, куплю ей костяной гребешок для ресниц. Только так обещанье обещаньем и осталось. Раз ушли мы с дедом на покос, а вернулись вечером — застали пустой, темный дом без молодой жены. Бабка рассказала, что увезли Сильвину ее братья. Бабка не давала, а они отпихнули бабку и увезли ее. Сказали, что Сильвина не все приданое забрала. Вскочили на коней и, пока люди прибежали, умчались к лесу.

Что со мной сталось, не могу тебе сказать, только дед увидел, что я к ножу тянусь, сгреб меня и кричит бабке:

— Неси веревку!

Принесла бабка веревку, привязал меня дед к забору и сказал:

— Не вздумай сбежать, ты мне на семя нужен. Хочу я, чтоб в этом доме внук Асана Дервишева запищал, а уж тогда иди и бейся с кем хочешь.

Сел на лошака и рванулся со двора, крикнув бабке:

— Стереги Дервишево семя, а то шею сверну.

Бабка дедов нрав знала и не посмела меня отвязать.

В сердце мне словно сто пиявок впилось, замерло оно, помертвело, только билась в нем одна надежда, что, может, Сильвинины братья и вправду из-за приданого приезжали. Братья ж они ей, не чужие!

Этой надеждой тешился я до зари, пока дед не вернулся. Лошак был весь в мыле, дед весь оборван оттого, что сквозь кусты продирался. Втолкнул он меня в горницу и запер, а сам с бабкой в ихней комнате закрылся. Разделяла нас одна стенка, посредине нее дымовая труба проходила. У трубы стенка была потоньше, и можно было услыхать, что говорилось по ту сторону. Припал я к стене и прислушался. Дед говорил тихо, но все же мог я разобрать.

— Нет у нас больше снохи! — сказал он.— Братья ее, собаки, догадались, что она еще девка, и отдали Руфату за двух козлов.

— Где ж они теперь-то? — спросила бабка.

— Шатаются с ней по лесу,— сказал дед.— И когда вернутся, шут их знает. Да и вернутся, на что она мне с чужим семенем в утробе?

— Что же ты делать будешь? — спросила бабка.

— Что делать буду? Перебил бы я весь Руфатов род из двустволки, изничтожил бы как вшей! И изничтожу. Но не сейчас. Женю Рамадана, дождусь внука, и тогда изойдет у меня слезами мать Руфата!

Такие слова сказал дед, и эти его слова как притиснули меня к очагу, так и просидел я до утра в золе! Утром дед привел муллу, чтоб взять с меня клятву не вешаться и в реке не топиться... Ни с кем ссор и драки не заводить... Сперва внука деду оставить, а уж потом и на рожон лезть.

А что потом было, то прошло вот тут, сквозь сердце! Как игла! Первая мне впилась, когда вернулась Сильвина в село. Руфат был нашим

* Пловдив.

соседом, один забор нас разделял, но как они вернулись, никто не видел. Больше месяца Сильвина не показывалась оттого, что этот гад ее искусал, все щеки ей изжевал, в тесто превратил, и она не смела на люди выйти. Тогда и прослышали мы, как оно все произошло.

Руфату она приглянулась с первого дня, как увидел он ее у нас во дворе, и, чтоб на нее смотреть, проделал дырку в заборе. Был он на семь лет старше меня и ленив на редкость. Ни за дровами не ходил, ни в поле, помогал только отцу скотину забивать. Пил ракию, задирался и бахвалился.

Были у Руфата два козла, два бородатых козла с большими колокольцами на шее, которые звенели так, что слышно было по всей округе. Сильвинины братья Реджепа и Ямер, чабаны,— люди жадные, для них ничего дороже козлов и колокольцев нет. И сторговались с Руфатом. Они запросили козлов, он — сестру. Догадались, что она еще девкой ходит. И отдали ему.

Очень мне хотелось увидеть Сильвину, но никак не удавалось — этот изверг держал ее под замком. И все-таки додумался я: чуть стемнеет — залезал на крышу нашего дома и, притулясь за трубой, смотрел в Руфатово оконце. Вот такусенькое было это оконце, но как зажгут керосиновую лампу, снаружи и видать. Не все, но можно было разглядеть, как садятся ужинать, как стелют постель, как спать ложатся... Как разматывает пояс Руфат... И... глаза ее не мог я видеть, но голова ее поникала, как надломленная... Он запрокидывал ей голову, подпирал подбородок пальцами и как остервенелый в нее впивался...

Пока светила лампа, сердце мое таяло, как свеча. И как оно совсем не растаяло! Как не сгорело, как хватило его и на другой, и на третий вечер! Бабка моя подглядела, что я прячусь за трубой, и сказала деду, а он ее оборвал.

— Пусть,— говорит,— мается! Злость копит! И учится кровь девке не из носу пускать!

Прав или не прав был дед — не мне судить, но про злость он правду сказал! Коли горе через край, одна злость тебя поддержит и спасет. Видел ты чучело соломенное? Ничего внутри нет! Ни сердца, ни костей, одной соломой держится. Так и я одной злостью держался, той злостью, которую на Руфата вылью, тем злом, что ему учиню. Из ума оно у меня не шло. И в постели, и на поле, днем и ночью думал я про то, как его топором изрублю или ножом брюхо вспорю, чтобы не помер сразу, а помучился. Как кишки его буду таскать по земле, ногами топтать, ногтями рвать. Потом и этого мне было мало: недолго, казалось, от ножа будет он мучиться, и изобретал я новую казнь — буду душить его медленно, с расстановками, но понимал я, что уж если схвачу, то не выпущу, и отказывался от этого, придумывал ему все новые и новые муки. Триста раз я убивал его и оживлял. Тысячу раз его рубил на куски и кожу с него сдирал. Голова моя горела. Руки сжимались в кулаки, зубами скрипел я, пока солома в чучеле не вспыхнула, лихорадка на меня не напала и я не слег.

Тогда дед испугался. Не за меня, а за Дервишево семя. Подхватил меня, и в Триград — к толстой Айше. Поила она меня зельем, мазала всякими снадобьями, в неделю лихорадку согнала и подняла меня на ноги. Однако дед не забрал меня в село, а оставил в Триграде пасти коз Дели Юмера и наказал Айше поить меня, чем угодно, но чтоб без усов и бороды я в село не являлся. Так оно и вышло: зелье ли помогло, время ли, но не прошло и нескольких месяцев, как потемнело мое лицо от усов и бороды. Не бог весть какая, но борода! Да и душа у меня пообмякла, должно быть от той травы — живикой зовется, которую пьют, чтобы дух поднять. Вот тогда-то и пришел за мной дед.

— Хватит,— говорит,— пора тебя женить, а то мне не терпится матери Руфата насолить!

— Хоть жени меня,— сказал я деду,— хоть в землю закопай, что хочешь со мной делай, но Руфата не тронь! Я сам с ним расправлюсь!

Заставил я его в том поклясться и там же в Тригра́де женился. На этот раз не понарошку: и с рубашкой все было как положено, и дитя у меня родилось не на девятый, а на седьмой месяц! Чуяло, видно, и оно, что не терпится его деду, и на два месяца опередило положенное время.

Годами не видел я деда смеющимся, а тут засмеялся он... И лег помирать! Тут же! На третий день после рождения внука — лег! Как шел улыбаясь, так и упал на постель, и левая его бровь задергалась. Позвал он меня и сказал:

— Рамадан, внучек, увидел я Дервишево семя и иду отнести твоему отцу весточку. А Руфата на тебя оставляю!

С этими словами ушел от нас дед, а на меня оставил и дитя, и жену, и Руфата. Ну, Рамадан, посмотрим, каково на руках носить три ноши сразу! Три ноши: ворога, дитя, жену! А солома чучело крепит. Чтоб на ногах держалось. Коз пасло, пахало, ело. А сердце твое — у мясника Руфата, он кромсает его как хочет!

Пусть, решил я, сначала дитя подрастет, пусть мать его от груди отнимет, а уж тогда вспорю я брюхо Руфату. Потом решил — пусть дитя ходить начнет! Как пошел он, и Сильвина стала выходить, тоже с младенцем на руках! Медленно она ступала по двору, словно долгий путь прошла. Лица ее под покрывалом я не видел, но глаза ее часто поднимались, меня искали.

Проделал я дыру в сарае и начал за ней подглядывать. Пока я на нее смотрю из сарая, Руфат за ней из окна следит, а за мной жена наблюдает. Хорошо, что кроткая баба была, не кричала, не бранилась. Тайком слезы роняла и помалкивала. И покатились дни одни и те же: пашу ли, землю копаю или коз пасу, но спешу вернуться засветло. Прильну к дыре в сарае и жду, когда Сильвина покажется. Увижу — как рукой снимет и злость, и усталость, а не увижу — всю ночь скриплю зубами: пытаю Руфата, душу его, травлю ядом, и сердце свое никак не натешу. Много раз хотел я его прикончить, но как подумаю, что за решеткой и в дырочку не увидать Сильвину, так руки и опустятся. И потекла так жизнь, день за днем, год за годом. Если бы не повырастали мои дети, не переженились бы и своих бы детей не народили, не знал бы даже, сколько лет минуло. Забор дубовый, что нас разделял, сгнил, а счеты наши мы не свели. И Руфату, видать, нелегко было каждый вечер на лед ложиться и со снегу вставать, и как был он пьяница и гуляка, так и совсем спился. Да и кончилось его царское житье — отобрали у него мясную лавку, и это его доконало. Ничем другим не мог он этот клин вышибить, стал его водкой вышибать. Ударила его водка в спину, уложила в постель. Дочка его вышла замуж в другое село, и Сильвина осталась с Руфатом одна. С месяц назад толкнул я гнилой забор и шагнул во двор к Сильвине, как в свой. Со двора вошли мы в комнату Руфата. В первый раз втроем собрались, за сорок лет впервые с Руфатом друг другу в глаза поглядели, и Сильвина — меж нами. Грешен, мил человек, скажу тебе, захотелось мне Сильвину обнять на глазах у Руфата, пусть посмотрит на нее в моих руках, как я всю жизнь видел в его, но она не позволила.

— Хватит,— говорит,— того, что мы здесь! Если он был зверем, ты не будь!

А сейчас, спросишь ты, что?

А вот что: Руфат мерзнет, осла у Сильвины нет, и вместо того, чтоб ей утруждаться и таскать дрова да печку топить для Руфата — за дро-

вами я хожу. Акт составил на меня лесник, новый обещает составить, и потому по ночам хожу. Глаза, того гляди, выколю, руки ломаю, а рублю, и потом, как лесник заснет, тащу их через овраг домой, и тело свое корежу из-за того, кто душу мою жег! Ублажаю и согреваю того, по чьей милости сорок лет меня бросало то в жар, то в холод! А перестать нельзя. Перестану — Сильвине придется по дрова ходить. Да это что, иной раз доводится и накормить его: тяжелый он, а нужно его приподнять, постель ему поменять, да, извини, и вынести за ним. Где слабой женщине с таким делом справиться, и кто-кто, опять Рамадан прислуживает Руфату! И прислуживаю, иначе все на Сильвину ляжет. Слышу, как по селу говорят: «Надо же, какой сосед, какой человек!» А того не видят, что у меня там, внутри... А внутри котлы со смолой, брат, кипят! Жду я смерти Руфатовой, чтобы на Сильвине жениться, а он, злодей, не помирает. Вот та смола, что меня жжет! Хочу я в постель с ней лечь, как муж с женой, а уж потом будь что будет... Через жену, детей, через целый выводок внуков перешагну и к ней уйду, но между нею и мной лежит окоченелый Руфат, лежит, не встает! А время, мил человек, летит, силы не те, и как знать, может, ляжем мы с Сильвиной, как муж с женой, а проснемся, как брат с сестрой. Думаю я иногда: он мучается, мучаемся и мы, так не открыть ли ему адские врата, в которые он второй год стучится? Не буду я его ни душить, ни топить: оставлю на холоде две-три ночи, и готов он. Так я думаю, но как дойдет до дела, видятся мне глаза Сильвины, на меня уставленные, и иду опять в лес сушняк для Руфата собирать.

На этом распутье топчусь я сейчас и не знаю, куда пойти: направо ли, налево ли или посредине сесть и ждать, пока узел сам развяжется. Ты, коли можешь, подскажи, а нет, так помоги мне дрова на осла взвалить, и пойду я, а то он, лиходей, ждет и уже зубами от холода стучит.

Чурка на растопку

Страшное это дело — длинный язык. И ведь сколько мне повторяли: «Попридержи язык-то!» И в лесничестве говорили, и в дорожном управлении. Председатель профкома — тот даже советовал:

— Иди,— говорит,— к доктору, попроси — пусть тебе невролакс пропишет, это таким разговорчивым, как ты, помогает!

И рассказал, как он невролаксом свою бабку лечил. Такая была болтунья, такая трещотка, но как начала невролакс пить, попритихла, попритихла, а теперь и вовсе онемела.

— Вот и ты,— говорит,— принимай невролакс.

Хорошо, да только доктор, знаешь, что мне сказал:

— У вас, говорит, производственный брак, невролаксом не поможешь! Одно спасение — укоротить! Да, пойди его укороти!

Собрали нас однажды на собрание в автодорожном управлении, встает начальник и начинает нам холку мылить.

— Вы,— говорит,— товарищи обходчики, живете не в наше время, а в старое, когда была придумана поговорка: из обходчика пот выжать, что из попа — слезу. Почему у вас на асфальте выбоины? До каких пор можно терпеть подобное положение?

В присутствии замминистра спрашивает, тот его, должно, за выбоины распушил. Обходчики молчат, воды в рот набрали. Техники ничего не говорят, и инженеры помалкивают, а дело-то проще простого: асфальт

тонкий, гнется, крошится, выбоины одна за другой и образуются... Как тут молчать? Встал я и говорю:

— Рабочие воробья на мякине хотят провести! Попригладят асфальт и покатят дальше — планы перевыполнять, а потом обходчики виноваты, что не все ямины заровняли.

После-то узнал я, что замминистра велел проверку устроить: расковыряли асфальт, замерили толщину, оправдались мои слова, начальнику выговор вкатили, но и мне проку не было, перевели меня вроде как на повышение в лавку. Ну, а душа у меня добрая: одному «до аванса» в долг дам, другому — «до получки». Этот долг меня и подвел. Набралось этак левов двести-триста недостачи, а тут ревизия нагрянула, и хлоп меня — в село.

В селе пошел было на карьер, силенкой я, однако, не отличаюсь, и скоро стала моя шея тоньше веревки. Штаны на заднице обвисли, и жена начала меня звать «братом», скромным братом Стойчо! Говорю себе: «Не ввести бы мне жену во грех, подыщу-ка я себе новую службу!» С партсекретарем мы одногодки, повисел он на телефоне и пристроил меня в лесничество на место «инспектора по лесонасаждениям». А я с детства в лесу вырос, лес люблю, и работа мне пришлась по душе.

Большое это дело, лесонасаждения: в землю ткнешь, шаг шагнешь — сосна прорастает! Тысячи сосенок за тобой ушки навострили — становятся в ряд! Не то что асфальт, одну выбоину не заровняли, три пасть разинули, и все-то ругань, и все-то попреки!

Хорошее дело, слов нет, чистое! Но и тут язык меня подвел. Язык и план! Пришел раз техник-лесовод определять площадь под озеленение и начал мне объяснять.

— Озеленение,— говорит,— это вырубка. Вырубаются нестроевые, старые леса, а на их место сажаются ценные породы — сосна, бук и так далее. Ты проведешь вырубку с этого оврага вон до того, как по плану! Вырубка наголо! Под нулевку! А потом будем озеленять!

Смотрю на склон: вверху есть земля, есть кусты, есть где и вырубать и сажать, а ближе к реке — круто, скалисто, горсти земли не соберешь, и кое-где только елочки выросли, и то не на земле, а, можно сказать, на камне. Говорю я технику:

— Тут сажать не на чем, чего ж нам елки рубить. Все-таки зелень, и дождям склон не дает размывать.

А он говорит:

— Ты тут философии не разводи, а действуй! Елки редкие, вырубить ничего не стоит, это снизит плановые показатели по себестоимости, а то уж больно они высокие.

Показатели у них, вишь ты, высокие, так они их елками понижают.

— Я,— говорю,— не согласен!

— Твоего согласия,— говорит,— никто не спрашивает. Вот тебе план. Вот тебе на плане подпись начальника округа.

А я все-таки елок не тронул. Техник написал докладную. Не прошло и нескольких дней — перевели меня егерем в заповедник. Иностранцы туда приезжают охотиться, так нужны люди пообтесанней их сопровождать.

В заповеднике работа была несложная. Приезжали больше западные немцы. Мое дело было застелить телегу сеном, посадить их и отвезти на место, определенное для засады.

Чуть солнце зайдет, по всему лесу олени начинают трубить, биться, гоняться за самками, и в этой-то любовной кутерьме охотники их и подстреливали. Убитых оленей грузил я на телегу и отвозил в контору, где им отрубали головы вместе с рогами, охотники выкладывали денежки и увозили свои трофеи.

И как не попалось мне ни одного мало-мальски путного охотника? Или, на худой конец, хоть по лесу бы сперва походил, а потом уж зверя бил! А многие приезжали не то что с ружьями — со стульчиками, а двое из Франкфурта-на-Майне в засаду с кроватями поехали! Сядет, бывало, на стул, приладит треногу, закрепит на ней ружье, а ружье-то по самому последнему слову техники, с оптическим прицелом, дальнобойное, самострельное, патроны подает автоматически, так что будь ты хоть слепой, спустишь курок, и олень готов!

А что за олени были, с какими рогами! И как, черти, дрались из-за проклятых самок! Как столкнутся, словно дубы в лесу затрещат! Бьются, сшибаются, пока на поляне не останется один победитель, вытянет он шею и начнет трубить. Как затрубит, зашуршат сухие листья в лесу, и оленихи подступают тихо-тихо. А олень шею струной вытянет, гремит на весь лес, как труба, и ждет, пока не соберется целый гарем, чтобы выбрать самую красивую!

Тут-то, в самый блаженный момент охотники запросто и подстреливали оленей. Щелкнет курок, и гордый любовник с кровавой пеной на губах падает на землю... Даже не коснувшись своей красавицы, даже не поцеловав ее!

Взыграло у меня сердце, но кому о том скажешь? Все по плану, как положено: платят люди доллары, убивают и... все тут. Только одно я себе позволял: пока мы с охотниками в лесу были, плел я языком что попало...

Охотники понимали не больше деревьев, стало быть, можно было спокойно высказываться. Я и вправду говорил все, что в голову взбредет про этих горе-охотников, но улыбался, чтобы господа не учуяли, какого перцу я им задаю. И им весело было. Один только оказался такой молчаливый, серьезный, очкарик, из Мюнхена он был или еще откуда, не могу тебе сказать, фабрикант какой-то. И из-за этого очкарика лишился я куска хлеба. Убил он оленя, самое красивое животное в заповеднике, обложил я его как следует, вернулись мы в контору.

Наутро зовет меня директор — в семь часов! У него — целый штаб: профком, звероводы, заместители и даже бухгалтеры. У директора вид серьезный, остальные уставились в пол и молчат... Хотел я сесть, но он меня по стойке смирно поставил.

— Стой! — И бухгалтеру приказывает: — Включай!

Тут я заметил, что в руках у бухгалтера коробочка с ремешками, вроде фотоаппарата «Киев». Нажал бухгалтер какую-то кнопку, и раздался рев! Рев оленя, того, которого немец вечером убил. Коробочка та, значит, была не фотоаппарат, а магнитофон. Носил его фабрикант с собой, чтобы записывать рев и схватку оленей, для документации, и записал не только рев, но и мое высказывание после того, как он оленя убил. Знал немец два-три слова по-нашему и записал не только мое высказывание, но и кашель даже.

— Ну, что? — спрашивает меня директор, и по голосу его я чую, что дело мое табак.

— Попрошу,— говорю,— погромче пустить.

Нажали кнопку, и как загремел, заорал магнитофон моим собственным голосом — мурашки по спине забегали,— точно раненый олень ревет.

«Зачем ты эти телескопы и треноги приволок, балда ты этакий! Ты б еще самолеты прихватил бомбы сбрасывать, артиллерию бы притащил, чтоб пальцы свои не поломать! Что ж ты даже не потрудился жирный свой зад приподнять, что ж не мог прицелиться точно, чтоб не мучить бедную животину? А еще охотником назвался! Балда ты чертов!»

И так далее, и так далее.

Если б не этот «балда», как старший зверовод мне объяснил, все бы,

может, и обошлось, но фабрикант за него ухватился. Переводчик ему перевел как «солидный, почтенный господин», но немец знал это слово, и я был уволен за «некорректное обращение с иностранными охотниками». И вполне справедливо.

Так окончилась моя егерская служба. Взял я медвежью шкуру — была у меня медвежья шкура для подстилки — и пошел в село с медвежьей шкурой за плечами!

Иду я дорогой и думаю: куда ж мне теперь податься? На карьер, в кооператив? Куда? Думаю и так углубился в свои мысли, что не догадываюсь медвежью шкуру скатать, а накинул ее на плечи, как пелерину. Вдруг слышу голоса: собрались курортники, фотографируются. Один мужчина ко мне приглядывается.

— Эй,— кричит,— чудак! Дай медвежью шкуру для смеху сфотографироваться.

Ну, я дал, шкура большая, мохнатая, лапищи вот такие, как завернулся он в нее — чистый медведь! Сфотографировался он, другие у него прямо из рук вырвали, потом третьи подошли, а четвертые чуть не подрались, кто первый сниматься будет. Хорошо, что у фотографа пленка кончилась.

Пошел я дальше, и до самого села только и было у меня перед глазами, как курортники друг у дружки медвежью шкуру рвут, чтобы с ней сфотографироваться. И не пьяны были, а так уж им хотелось сняться в медвежьей шкуре, медвежьи уши себе приставить! Эх, к этой бы шкуре да мне бы фотоаппарат!

Как пришло мне это в голову, так у меня аж дух перехватило: может, счастье мое в этой медвежьей шкуре! Остановился я. Очухался, губы облизал и пошел дальше, но уже с планом.

Рассказал свой план жене. Она сначала засмеялась, потом озлилась и начала кричать:

— Мало ты срамился. Тебя выгоняют, а ты мне глаза замазываешь этой вонючей шкурой. Мудришь все, а сам-то ты, знаешь кто? Дубина ты, бревно ты, да такое кривое и сучковатое, что ни обруча, ни доски, ни балки из него, только на чурки и в огонь. Вот кто ты есть: чурка на растопку! Одно плохо, что на мою беду горит!

Одногодок мой, однако, кое-как уразумел.

— Чудило ты,— говорит,— это верно, но и чудаки нужны бывают. А насчет фотографии ты прав. Сейчас в нашем районе как раз фотоателье открывается, так, может, то, что ты придумал,— и хорошо. Я тебе помогу!

Нелегко было, но все же уладилось: зачислили меня в фотоателье работать с выручки, дали аппарат, и я начал... Сначала отдал медвежью голову мастеру сделать стеклянные глаза и морду немножко кровью вымазать. Вставил он ей зубы. Посадил я шкуру на поролон, и такой получился страшенный медведь, прямо как живой!

Взял я у двоюродного брата «яву», пристроил медведя за спиной и покатил в курортный городок.

Протрещал на мотоцикле по главной улице с чудищем на багажнике, и ко мне настановилась целая очередь. Сперва детишки привели матерей. Для них я придумал три позы: ребенок рядом с медведем, ребенок хватает медведя за ухо, ребенок на медведе верхом. Сначала желающие были, в основном, детишки, потом начали фотографироваться и взрослые, больше мужчины. Для них я разработал три образца: рядом с медведем, медведь на задних лапах — мужчина с ним борется, медведь лежит на земле, а тот над ним нож заносит.

Пришлось мне специальную папаху купить, чтобы у мужчин был более лихой вид. Некоторые, между прочим, как начнут с медведем бороться, от запаха или еще от чего до того в раж входят, что начинают

драться по-настоящему: шерсть щиплют, орут, таскают его, на пол бросают, и все такое прочее.

Был как-то у меня случай: всадил один медведю нож в горло, да так, что поролон наружу вылез, и я потом с ног сбился, пока нашел, чем залатать.

Раз турок пришел — повар из «Балкантуриста». Хотел он на одной жениться, а та не соглашалась. Так он решил для нее сняться, авось передумает, как увидит, что он такого страшного медведя одолел. Через две недели опять приходит мой турок, издалека вижу — улыбается во весь рот:

— Век за тебя молиться буду! Благодаря тебе женился! Возьми рубашку в подарок!

Раз шоферик пришел молоденький, глаза раскосые:

— Второй образец выбираю!

Второй, так второй: поставил я медведя, пододвинул к нему. Он как схватит его, как заорет — вопит и душит, вопит и бьет, повалил медведя и начал с ним по земле кататься, еле я его оттащил.

— Ты что,— говорю,— спятил? Или дурь на тебя нашла? Поролон весь измял, о чем ты думаешь?

— Думаю,— говорит,— о начальнике! Полегчало мне, на тебе два лева, не надо мне твоей фотографии!

Вот какие перекосы, и внутренние, и наружные, выправляла моя поролоновая Катенька (окрестил я своего медведя, а вернее медведицу, Катенькой). Тут-то я понял, что у человека всякие изгибы бывают, не знаю, как это назвать — кривизна ли, прямизна ли, но есть, почитай, у всех: каждый других перефорсить хочет, припугнуть — вот, мол, я какой! Благодаря этому клиентуры у меня набралось порядочно. Фотоателье довольно, и я доволен, и клиенты довольны, не пришлось бы ни жаловаться, ни по судам таскаться, если б не вздумалось мне в одно воскресенье поехать с Катенькой к своим бывшим сослуживцам в заповедник. Зачем, спросишь? Да так, приспичит иной раз наведаться туда, где ты когда-то бывал. Дело человеческое!

Почем было знать, что это дело человеческое мне боком выйдет. Так вот, скатал я в заповедник. Повидался с сослуживцами, сфотографировал детей и жен их, завхоз зажарил серну, ели мы, пили холодное пиво — ящик, два ли, не могу тебе сказать, головы у нас малость затуманились. Вдруг кто-то, уж не помню кто, предложил:

— Давайте,— говорит,— шутку сыграем! Гога пошел кормушки осматривать, скоро вернется, поставим медведя на повороте у моста, посмотрим, что он делать будет.

Гога хвалился, что повстречал медведя и медведь от него удрал.

Пошли мы. Поставили Катеньку на повороте и ждем. Слышим шаги: идет. Идет себе человек спокойненько, срывает листья с бука, жует их и сплевывает, плюет и срывает, занят делом и вперед не смотрит. Подошел он к медведю, хочешь не хочешь, а увидишь. Застыл на месте, потом руками взмахнул, словно взлететь собрался, подскочил и одним махом — в реку. И завопил тут так истошно, откуда только голос взялся, что мы чуть не умерли со смеху.

Подхватил я медведя, и пошли мы обратно. Подходит ко мне старший зверовод и шепчет на ухо:

— Ты знаешь, какую прекрасную штуку мы можем устроить с этим медведем против браконьеров, а то мы, говорит, не знаем, куда от них деваться. Приезжают ночью зайцев, серн бить, на «газиках», «волгах», даже на грузовиках — ни остановить их, ни догнать. Пробовали мы замаскированные барьеры ставить — разломали. Давай,— говорит,— испробуем медведя!

— Давай! — говорю.

Стемнело, идем мы, медведя ставим на повороте, медведь на задних лапах, ощерился, зашли мы за кусты и ждем... Прошел час, прошло два — никого.

— Пойдем,— говорю,— сегодня, наверно, браконьеры не придут!

— Не может,— говорит,— быть! Подождем еще!

И верно, около пол-одиннадцатого слышим — гудит мотор. Фары осветили кусты и свернули... Номер снят — ясно! Едут медленно, окно спущено и двустволка высовывается. Свернула машина, фары опять блеснули на повороте, и вдруг «волга» как задрожит, как даст газ, только шины держись! Чуть-чуть в овраг не свалилась! Загудела, зашумела — исчезла. Мой зверовод чуть не запрыгал от радости. Хвалил меня, возносил до небес, под конец руку хотел мне поцеловать.

— Ты гений! — говорит.— Благодарю тебя от имени охотоводства!

Только через воскресенье, смотрю, опять ко мне приходит. Уже туда, где я фотографировал курортников. Худущий, глаза ввалились, как с креста снят.

— Опять браконьеры? — спрашиваю.

— Нет,— говорит,— не браконьеры. Браконьеры исчезли, но я пришел из-за того браконьера, что жизнь мне разбил. Все тебе расскажу, но обещай,— говорит,— что из того, о чем мы толковать будем, ни словечка никто не узнает, иначе мне конец.

— Рассказывай,— говорю,— не скажу!

— Видел ты мою жену?

— Видел. Хорошая женщина, тихая.

— Эта,— говорит,— тихая женщина, знаешь, какие рога мне наставила? Оленьи — мелочь перед ними! Влюбилась в дегустатора из винных погребов, и каждый вечер он приезжает на мотоцикле, когда меня нет дома, наставляют они мне рог за рогом!

Я человек подневольный, служба у меня караульная, ночная, дома не могу сидеть, они и делают, что хотят. И, ты подумай, что за гнусная вещь душа человеческая: вместо того, чтоб возненавидеть эту шлюху, я ее еще больше люблю! И потому ничего ей не говорю. Если скажу, она может уйти, бросить меня, а я этого не переживу. Думал подстеречь ее любовника, огреть по голове поленом, но он, мерзавец, хулиган этакий, носит при себе нож складной, пришьет меня ни за что, ни про что. Некому ни сказать, ни пожаловаться. Прошу тебя, припугни ты его медведем. Он, говорит, на мотоцикле приезжает часов в девять, поставим медведя у карьера, где дорога сворачивает к дому, и все тут! Дела-то всего на полтора часа!

— Медведь у меня не пугало... Я им на хлеб зарабатываю. Не пойдет это!

У него на глазах слезы.

— Жизнь у меня,— говорит,— пропадает, а ты о хлебе думаешь? Раз так, прощай! Будешь ты собирать мои косточки, потому что я,— говорит,— домой не вернусь, брошусь со скалы вниз головой.

Задумался я: «Ах ты черт, а вдруг он и впрямь бросится?»

Сел на мотоцикл и нагнал его.

— Ладно, жди меня у карьера, как стемнеет, приеду!

Прикрыл я медведя простыней, взгромоздил на мотоцикл и поехал. Страдалец мой уже дожидается. Пока ждал, выбрал место у шоссе под дикой грушей, разработал план засады во всех подробностях.

— Этот подлец,— говорит,— не такой уж дурак, надо, чтоб медведь шевелился, вставал на задние лапы. Иначе он догадается, что медведь не живой!

Вынул он веревку, привязал медведя за шею, перекинул веревку через ветки груши, дернул за нее — медведь разом встал на задние лапы. Прорепетировали мы несколько раз — здорово! Веревку в листве не ви-

дать, видна лишь груша у дороги, а под грушей — зверь с оскаленными зубами и окровавленной мордой.

Любовники хороши тем, что точны. Чуть стемнело, сумерки не сумерки, слышим, мотор тарахтит. Мой страдалец сам не свой:

— Он!

И едва сказал «он», мотоцикл выскочил из-за поворота и нацелился фарами точно на медведя. В ту же секунду медведь встал на задние лапы, и мотоцикл взревел, как ужаленный, потом газанул назад. Шлем на мотоциклисте как живой заплясал, и через минуту улетучились и мотоцикл, и мотоциклист.

Говорю звероводу:

— Иди теперь к жене, а я поеду домой, завтра мне целую группу курортников снимать.

Посадил я свою Катеньку на мотоцикл и покатил. Темно. «Людей,— думаю,— по дороге вряд ли встречу, не буду я ее простыней прикрывать». Как назло повстречался грузовик, да не один, а три. Знаешь, как грузовики нахально прут по середине, но на этот раз они так свернули, что все три — кувырк в кювет. Посмеялся я от души, не зная, что от этого смеха придется мне заплакать. Что бы сделал нормальный человек после такого приключения? Молчал бы, не распускал язык, чтоб ни гугу! Но я уже говорил, язык мой — враг мой. На другой вечер рассказал я в сельмаге, как три «зила» сковырнулись в кювет, когда увидели меня с мишкой, и все хохотали до одурения. На следующий день приходит ко мне из милиции сержант Маринко.

— Молодец,— говорит,— про грузовики ты сам рассказал, а про мотоциклиста, что в реку свалился, помалкиваешь! Пройдем-ка в отделение, побеседуем!

Там я узнал, что дегустатор как дал задний ход в темноте, так и перевернулся и ухнул под откос вместе с мотоциклом. Мотоцикл поврежден, любовник жив-здоров, но малость помят.

Я объяснил сержанту, что ехал в село по делу, а на обратном пути решил отдохнуть и поставил медведя у дороги, тот в это время подъехал, испугался, дал задний ход, а за дальнейшее я не отвечаю.

— Но медведь-то шевелился? — говорит сержант.— Это как объяснить?

— Это,— говорю,— ему померещилось!

И начался на очной ставке спор: померещилось ему или нет? Шевелился медведь или не шевелился? И потом: зачем я ездил в село? К кому? Что я там делал? Не попытка ли это предумышленного убийства?

Здорово прижал меня сержант, чуть было не сказал я правду, но как вспомнил про моего друга, стало мне жалко под удар его подводить, и дело получилось подследственное. Следователю я все же признался. Пожилой человек, волосы седые, стало мне совестно ему врать, и я сказал:

— Так и быть, скажу правду, если дадите слово, что между нами останется. Сказать скажу, а писать не буду!

— Это,— говорит,— можно. Говори!

Рассказал я ему все, как было, без утайки.

Следователь задумался.

— Очень,— говорит,— запутанное дело. Явно, что ты не собирался его убивать, а хотел только припугнуть, удержать от проступка. В таком случае налицо нет предумышленного убийства, и это уже не преступление, а просто нарушение, но в том-то,— говорит,— и загвоздка. Чтобы это все доказать, нужно позвать твоего соучастника в свидетели и раскрыть прелюбодеяние.

— Это,— говорю,— ни в коем случае.

— Сочувствую,— говорит,— и понимаю тебя, но при имеющихся данных другого выхода не вижу, как передать тебя прокурору. Должен признаться: к большому моему сожалению.

— Этого мне достаточно, товарищ следователь! Спасибо!

— А в общем,— говорит,— интересно! Очень интересно как попытка разрешить некоторые конфликты с помощью пугала... К примеру, случай с браконьерами!

— Очень интересно,— говорю,— я тоже думал, что получится, если сделать такое пугало — заводного медведя с фотоэлементом, с автоматическим механизмом, как у немецких ружей, который нес бы караульную службу на шоссе, или в лесу, или в заповеднике или людей бы охранял. Только,— говорю,— боюсь я такого пугала, и не столько пугала, сколько того, кто его будет заводить. А то такое моторизованное пугало будет чуть что к его услугам!

— Да! — говорит мне следователь.— Ты потолкуй по этому вопросу с прокурором.

Сейчас иду к прокурору, а там видно будет. Если судить по следователю, то найдем общий язык и с ним, но все-таки прокурор, мало ли что может случиться.

Если смотреть по закону, то я подхожу под статью. А если по мне судить, то не подхожу. Важно, что на душе у меня греха нет. И сержант, и следователь это поняли. Следователь-то понял, а жена моя — нет! Я иду в город к прокурору, откуда, как говорится, не знаешь, вернешься или нет, а она дуется и ворчит.

— Так тебе и надо! — говорит.— Коли ты чурка на растопку, то так тебе и надо!

Перевод с болгарского М. ТАРАСОВОЙ

ЮЛИАН КАВАЛЕЦ

Танцующий ястреб

РОМАН

Перевод с польского А. МЕЛЬНИКОВА
под редакцией М. ИГНАТОВА

Часть третья

I

После первого визита, нанесенного тебе в городе сельским учителем, минуло порядочно времени, и многое произошло, и ты, Михал Топорный, снова значительно продвинулся вперед и многого достиг, и уже сидишь среди бела дня в одной из комнат квартиры Веславы; а рядом с тобой сидит ее отец, мужчина дородный и видный, и вы оба нетерпеливо поглядываете на двери другой комнаты, за которыми твоя вторая жена, Веслава Топорная, урожденная Яжецкая, разрешается от бремени.

Роды еще, вероятно, не начались, поскольку из комнаты, где это вскоре совершится, вышла вся в белом медицинская сестра за стаканом содовой для врача-акушера, находящегося подле Веславы.

Михаил Топорный, сын Винценты Топорного, рожденного в хате с глиняным полом, сам родившийся в этой же хате, где глина служила полом, отец Сташека, увидевшего свет в той самой хате с глиняным полом,— ты разглядел сквозь приоткрытую на мгновение дверь резко отделяющуюся от темного ковра белизну постели, в которой лежала твоя жена Веслава, и прикрытый белой скатертью столик, на котором поблескивали хирургические инструменты и пузырьки с лекарствами; а это свидетельствовало, что ты на своем жизненном пути основательно продвинулся вперед и уже многое наверстал; это подтверждало и наличие грузного, рослого тестя с белым, гладким лицом, и толстыми роговыми очками на носу, и с белыми, пухлыми руками, который ходит мелкими, осторожными шажками и отродясь не видывал хаты с глиняным полом.

Роды, вероятно, вот-вот начнутся, а может, уже начались, ибо ты услышал тихий стон твоей жены Веславы и какую-то суету за белой дверью; но потом все стихло, и ты продолжал терпеливо ждать.

Окончание. Начало в № 1.

Многое должно было произойти, коль скоро человек, сидящий вместе с тобой в комнате, — твой тесть, которого ты, согласно принятому здесь обычаю, обязан называть «папочка».

Но кто над кем свершил акт мести, когда ты улыбнулся ему и сказал «папочка»; кто из вас победил благодаря этому браку, кто отомстил — рожденный в хате, где утрамбованная глина вместо пола, или не имеющий понятия о таких вещах, как глиняный пол?

Пожалуй, все-таки он отомстил тебе, а может, ты отомстил ему, поскольку добился от его дочери того, чего хотел — она полюбила тебя.

А может, все же он отомстил тебе, этот известный врач, сын фабриканта, который теперь улыбается тебе, может, все же он свершил акт мести, и так получилось, что, полюбив его дочь, ты возненавидел Марию, и деревню, и эту однообразную долину, раскинувшуюся между широкой рекой и обрывом каменоломни.

А возможно, и ты отомстил этому дородному господину, твоему «папочке» и победил его, потому что вышел из хаты с глиняным полом и вторгся в эти чертоги, а он, и его дочь, и его супруга подстелили мохнатые ковры под ноги тебе, ходившему босиком по земле.

Но, может, именно он отомстил тебе, он одержал победу, ибо ты отринул многие свои мысли и приближался к его дочери, как набожный человек к иконе, и почел за счастье быть с ней и прикасаться к ее телу — выхоленному, лишенному каких-либо желваков и набухших вен, телу, взлелеянному всей ее предшествующей жизнью.

Роды, пожалуй, уже начались, поскольку слышатся стоны Веславы, скрадываемые ласковыми увещеваниями врача-акушера и чрезмерно заботливой суетой.

Скоро родится твой сын, Михал Топорный, внук этого пухлого господина в очках, который ходит небольшими, осторожными шажками, а также внук твоего отца, Винценты Топорного, широколицего, вечно небритого мужика, который с тайной гордостью относил на кладбище маленькие гробы своих прожорливых детей, а когда ты родился, поминутно пинал сапогом дверь, отделявшую кухню от жилой комнаты, и спрашивал деревенскую акушерку: «Уже?»; потому что ждал сына, благо сыновья подрастают и как-то сами устраиваются.

Если бы он был жив и ждал сейчас вместе с тобой и этим полным господином разрешения от бремени твоей второй жены, то мог бы по привычке сказать: «Пусть будет сын — подрастет и как-нибудь сам устроится». И это его высказывание было бы непонятно грузному господину, твоему тестю, твоему «папочке», который бы наверняка удивился, что люди могут говорить подобное, дожидаясь рождения ребенка.

С минуты на минуту родится внук твоего покойного отца, мужика, который не дал себя провести предлагавшим ему жизнь врачам, поскольку он лучше врачей знал, что хлебороб должен ходить на двух ногах, и не дал себе отрезать ту, больную, посиневшую ногу; и на что бы это было похоже, и как бы на него посмотрели люди, и как бы на него посмотрели его лошади и коровы, и как бы ему было стыдно перед людьми и скотиной. И потому он заупрямился и не поддался на уговоры врачей, предлагавших ему жизнь.

А теперь у него рождается внук, который приходится также внуком этому тучному господину, твоему тестю.

Значит, все-таки ты, Михал Топорный, отомстил этому толстому тестю, ибо его внук будет одновременно внуком твоего отца и правнуком твоего деда.

Однако, может быть, он отомстил тебе, потому что мы знаем твою жизнь, Михал Топорный, и нам известно, как она сложится в дальнейшем, и известно, что его дочь, а твоя вторая жена Веслава, бросит тебя, ибо ты перестанешь быть для нее интересной игрушкой, и прискучишь ей.

и ей даже начнет претить этот сильный, красивый, некогда экзотичный в ее глазах мужчина, этот приблудный выходец из однообразной долины, раскинувшейся между широкой рекой и обрывом каменоломни, этот человек, элегантный костюм и начищенные башмаки которого не смогли прикрыть печати, которой отмечены все приблудные.

А может быть, ты победил «папочку», этого толстого господина, ожидающего вместе с тобой исхода родов, который, впрочем, ясен, ибо тому, кто знает твою жизнь и осведомлен, как она протекала, известно также, что в комнате за белой дверью родился сын, которого назвали Ежи.

Теперь предстоит в порядке очередности изложить события, благодаря которым в конечном счете ты дожидался рождения твоего сына Ежи.

После визита сельского учителя произошло многое, и ты основательно продвинулся вперед на своем пути, а если прибегнуть к той немного забавной манере говорить иносказательно, выдуманной твоим разыгрывающим суровость и непреклонность, а по сути просто взвинченным коллегой,— по «линии, идущей неуклонно ввысь!»

Ты уладил дело с разводом, получил диплом и стал работать инженером-механиком в горнодобывающем объединении.

Когда ты пришел туда, пост руководителя механического отдела занимал человек, который в то время находился в санатории; ты, будучи словно в экстазе и как бы самозабвенно наверстывая упущенное время, принялся бегать по всему объединению и твердить, что механический отдел должен возглавлять человек здоровый и сильный, а не болезненный; разумеется, ты обосновывал это интересами предприятия, что для людей понятливых и дисциплинированных равнозначно интересам страны.

Ты уже знал, как взяться за свои дела, и был весьма активен на важных производственных совещаниях и в конце концов занял пост руководителя механического отдела, прежде чем твой предшественник вернулся из санатория.

Ты получил кабинет с массивными креслами, тебе выделили секретаршу, а тихий старый слесарь отвинтил с дверей твоих апартаментов стекло, вынул карточку с фамилией бывшего руководителя и вставил другую — с твоей фамилией; ты присутствовал при этой церемонии и наблюдал, как ловко орудовал отверткой этот тихий, смиренный человек, который постоянно менял карточки с фамилиями на дверях отделов этого крупного горнодобывающего объединения.

Ты получил также в личное распоряжение автомобиль, чтобы иметь возможность оперативно осуществлять контроль над оборудованием в шахтах и каменоломнях на периферии. У тебя был шофер, но ты сам умел водить машину и иногда садился за руль ради удовольствия.

Иногда ты давал шоферу отгул, а в машину сажал Веславу и ездил с ней далеко за город; по пути ты проверял какие-то подведомственные тебе предприятия, а потом заезжал в лес, чтобы насладиться прохладой и чистым воздухом.

Порой вы проезжали по опушке леса, откуда открывался широкий вид вплоть до горизонта, где маячили какие-то размытые пятна, которые могли напоминать тебе родную долину и нивы на ней и ныне омужичившееся барское поле, где беднейший из бедных обитатель приюта пережил свое невообразимое счастье.

Уже многое ты обрел и многого лишился к той минуте, когда ждал рождения своего второго сына. У тебя уже есть диплом инженера и видный пост, солидный оклад и автомобиль, который всегда к твоим услугам, любящая и богатая жена, перспектива получить новую квартиру; но ты не знаешь покоя, и учащенно бьется твое сердце, ибо сердца приблудших бьются быстрее, чем у других людей.

А сейчас распахнется дверь, и ты и твой тесть, твой «папочка», так и

вскочите со стульев, сгорая от нетерпения и любопытства, а сиделка в белом объявит вам, что родился сын — твой сын, внук твоего «папочки» и твоей «мамочки»; твой сын и внук твоего отца Винценты Топорного, этого упрямого, одержимого мужика, внук твоей матери, неразговорчивой, но работящей Агнешки, урожденной Дуда, у которой была легкая смерть, ибо она умерла во сне, а так всегда бывает, когда болезнь превращает человеческую кровь в воду.

Но кто кому отомстил, кто победил, когда родился этот крикливый шпингалет, кто победил, когда этого шпингалета сунули в белую сверкающую ванночку, чтобы выкупать, а потом завернули в белоснежные теплые пеленочки и положили на белую детскую кроватку с сеткой подле спящей матери, вокруг которой все теперь ходили на цыпочках, чтобы ее не разбудить. А может, победили те, из однообразной долины, раскинувшейся между широкой рекой и обрывом каменоломни,— тот безумный старик, сраженный счастьем на своем, а прежде помещичьем поле, и все ему подобные безумцы, сраженные счастьем после того, как их одарило время; они ли совершили акт мести или эти городские господа и их безумцы, сраженные несчастьем после утраты своих фабрик и имений?

Кто побеждал, и что побеждало, и кто кому мстил, и кто кого вытеснял, и какие события, и какая история побеждали в этой борьбе, начатой уже в этом крошечном студенистом комочке, из которого вырастет твой сын Ежи, начавшейся уже в крови этого младенца, спящего на белой кроватке?

Кто победил, и кто кому отомстил, и кто кого вытеснял в этих тоненьких жилах, в тончайших ниточках нервов, в этих первых проблесках жизни осклизлого, хрупкого и невзрачного существа?

II

Ты купил младенцу, своему второму сыну, голубую коляску с занавесочками и бахромой, чтобы его можно было вывозить в парк, поскольку младенцам полезен свежий воздух.

Возила его в коляске специально нанятая няня, а иногда, ради удовольствия, это делала Веслава, а порой вы вместе укладывали младенца в коляску, и вывозили в парк, и рассматривали его, и гадали, на кого он похож; но ты не заходил слишком далеко в этих поисках родственного сходства, и если и интересовала тебя твоя сторона, то вы ограничивались лишь твоей особой, а деревенского деда этого младенца, то есть твоего отца Винценты, вы не вспоминали, так уж как-то получалось, а, кроме того, Веслава не знала твоего отца; что же касается родни со стороны Веславы, то тут в поисках сходства вы доходили и до твоего тестя, «папочки», и до твоей тещи, «мамочки», и даже до дедов и бабок Веславы; а твоя «мамочка» утверждала, что младенец похож на ее отца, некогда владевшего имением.

В тот день, когда к тебе приехал твой первый сын Сташек, вы вместе с Веславой вывезли младенца и прямо с этой прогулки, толкая перед собой коляску, отправились на вокзал, находившийся неподалеку от парка.

Ты решил взять Сташека в город и дать ему за свой счет образование, ибо хотел, чтобы он окончил городскую школу и гимназию, а потом поступил в университет.

Дело с переездом Сташека в город тянулось долго, но в конце концов при посредничестве дядюшки Миколая было условлено, что Сташек поселится не у тебя, а в интернате, чтобы его не совсем отнимать у матери и она могла бы навещать его.

На вокзал привез Сташека дядя Миколай, который уехал следующим поездом, поскольку в деревне его ждала неотложная работа, и Сташек шел в интернат вместе с тобой и Веславой, а также с этим маленьким Юреком, которого везли в коляске.

Вы шли по аллее парка, и ты, вероятно, был в серой тройке, пыльнике и шляпе, а Веслава — в легком шерстяном костюме с пестрой косынкой на шее. А на Сташеке были штаны без манжет да кургузый пиджачок из того же грубого материала, иными словами, извечная одежда крестьянских детей, которую дополняла кепка.

Ты катил перед собой коляску, в которой пенилось голубовато-белое белье с какой-то вышивкой и кружевами; Веслава шла рядом с тобой, а впереди, рядом с коляской шел Сташек, деревенский парнишка в штанах-дудочках, твой первый сын; и шагая вот так по аллеям парка, ты видел перед собой обоих твоих сыновей, и Веслава видела перед собой двух твоих сыновей, из которых один был также ее сыном, а второй — сыном Марии.

Чтобы описать этот ваш поход по аллеям парка, ваши тогдашние соображения, чувства и мысли, следовало бы спросить тебя, Михал Топорный, что ты испытывал, видя перед собой обоих сыновей, и радовало ли тебя это зрелище или повергало в ужас, и было ли оно приятным или страшным, и почему ты непрестанно переводил взгляд с сыновей на Веславу, и до какой черты ты тогда мысленно дошел, различая впереди только спящего в коляске младенца да спину парнишки, идущего рядом с коляской, а точнее — лишь эту серую вытертую ткань его пиджака.

Что было и кто был на этой далекой дороге, которой ты шел вглубь себя, и кого ты там хоронил, и кого воскрешал, и каких людей и какие предметы расставил на своем воображаемом пути?

Чего ради ты вытянул руку и показал пальцем на младенца в коляске и сказал Сташеку: «Это Юрек, твой брат».

Как ты потом объяснял себе ту, исполненную страха поспешность, с которой Сташек обернулся к вам, и то, как боязливо и вместе с тем мудро присматривался к Веславе, и то, как он, запрокинув голову, обстоятельно изучал ее лицо?

Видя перед собой обоих сыновей, действительно твоих, по-настоящему твоих, задавался ли ты вопросом, который из них больше всего твой?

Ты знал, твердо и незыблемо, что они оба твои, но который был твой?

Делал ли ты тогда в аллее парка выбор и в одном из них видел ли самого себя?

Если бы встретился знакомый и постоял с вами и если бы пришлось представить ему всех, как бы ты представил Сташека?

Что бы ты тогда сказал? Открыто и ясно: «Это мой сын от первого брака»; или только: «Это Сташек»; и попытался бы отвлечь внимание знакомого от этого сына в деревенских штанах-дудочках?

Описывая ваше шествие по парку, следует сказать, что, обратившись к Сташеку со словами: «Это Юрек, твой брат», ты дал ему везти коляску, и Сташек, как заботливая нянька, правил ею истово и осторожно

Пока Сташек вез коляску, у тебя, инженер Михал Топорный, освободились руки, снятые с металлической ручки, и ты, шагая теперь рядом с Веславой, обрел большую свободу передвижения.

Теперь у вас перед глазами была более компактная картина — спинка в старом пиджачке, верх кепки и боковые стенки коляски, которые не загораживал Сташек.

В эту минуту младенец в дорогой коляске и деревенский парнишка почти вплотную приблизились друг к другу, и оба, вместе с коляской, составляли как бы компактное целое.

Потом младенец в коляске проснулся и заплакал, ему нужно было

сменить пеленки, и ты сделал это с помощью Веславы; а потом вы еще наводили порядок в коляске, и случилось так, что пока поправляли подстилку, Сташек держал младенца на руках; а происходило это под старым кленом — и Сташека, держащего на руках Юрека, вы не могли толком увидеть, потому что, склонившись, возились с белыми тряпками в коляске.

Вы видели только первую и последнюю минуту пребывания Юрека на руках у Сташека; у вас не было возможности увидеть, как этот деревенский парнишка, сын инженера Михала Топорного, руководителя механического отдела, держал на руках барчонка нескольких месяцев от роду, в белых вязаных ползунках, сына того самого инженера Михала Топорного, руководителя механического отдела горнодобывающего объединения.

Но даже начальный и заключительный момент пребывания Юрека на руках у Сташека мог ли тебя, Михал Топорный, навести на мысль, что мало сказать: «Юрек и Сташек — братья».

Когда кончилась аллея парка, надо было пересечь мостовую, и ты, Михал Топорный, оказался вдруг как бы перед необходимостью сделать выбор между двумя этими сыновьями, и уже походило на то, что выяснится, кто из них тебе ближе и в ком ты видишь себя. Когда вы подходили к улице, Сташек по-прежнему толкал перед собой коляску с Юреком, а ты и Веслава шли следом; Сташек въехал на мостовую, где обычно не бывало никакого движения, но тут на ней внезапно появились мчащиеся автомобили и какая-то непрерывно сигналящая пожарная машина; и Сташек растерялся и выпустил никелированную ручку коляски, и она сама покатила вперед. Если бы ты в этот сложный момент схватил коляску, то подверг бы опасности Сташека, а если бы бросился к Сташеку, чтобы его спасти, попал бы в опасное положение Юрек, но прежде чем ты на что-либо решился, самообладание водителей предотвратило беду; и потому на этой улице еще не удалось выяснить, который из сыновей тебе ближе.

Но ты, инженер Михал Топорный, в конце концов, сделаешь выбор. Незадолго до смерти ты приглядишься к ним обоим; подобно вору будешь подкрадываться к дверям их комнаты, как добровольный слуга, как добровольный раб своих сыновей, покорно, на цыпочках подойдешь к приотворенной двери, и сквозь щель увидишь обоих, и приглядишься к ним, и подслушаешь их разговор, и узнаешь, какие у них планы, какая их ждет работа, и тогда сделаешь выбор, и это будет правильный выбор; и в нем будет также заключаться смысл твоей беспокойной жизни.

Но до того момента, когда инженер Михал Топорный, крадучись, подбирался к их дверям, уже не в роскошной коже, надетой перед большим зеркалом в ночном ресторане, а в линялой, только что наброшенной коже человека смиренного, подкрадывающегося к дверям комнаты, где сидят его сыновья — Станислав и Ежи, осталось еще более десяти лет; сейчас только начинаются годы, когда инженер Михал Топорный займется укреплением своего нынешнего положения; и до тех пор будет он укреплять это положение, пока оно не покажется ему попросту незначительным, и тогда он начнет стремительно добиваться положения более высокого, а достигнув его, снова примется укреплять.

III

Спустя год, а может два, прежде чем перебраться в собственную квартиру в новом доме возле городского парка, инженер Михал Топорный жил у родителей Веславы вместе со своим огромным и тучным «папочкой» и вместе со своей «мамочкой».

Твой пост, инженер Михал Топорный, и твоя персональная машина, а позднее собственная, и любовь Веславы способствовали тому, что «папочка» благоволил к тебе, и на «мамочку» нельзя было пожаловаться. Тебя только просили, чтобы их знакомым и гостям говорил, будто бы ты из крепких хозяйств, которые владели хорошими постройками, множеством коров, лошадей, сельскохозяйственными машинами и нанимали батраков. Ты пошел на это, потому что просили тебя вкрадчиво; а когда согласился, то очень обрадовались, ибо только этого им не хватало для хорошего расположения духа, только твоей лжи.

Им требовалась эта ложь, чтобы никто из гостей не вообразил, будто бы дочь Яжецких по ночам ублажает сына бедняка, рожденного в хате с глиняным полом; и чтобы эти гости не подумали, что от человека, родившегося в такой хате, зачала дочь Яжецких и что именно такой человек, которого пощадил кровавый понос, поскольку из многочисленного семейства уцелел только он один и его, подобно сестрам, не сволокли в маленьком гробу на кладбище, что именно такой человек, над которым сжалилась зараза, дал им внука; чтобы никто из этих гостей не подумал, что человек, щеголявший босиком в посконных портках, в куцых портках-дудочках, не достигающих щиколотки, и в раскисшем от пота, грязи и зноя картузе, что человек, породнившийся с пылью, цепами, плугом, косой и с серым предрассветным часом, вторгся в квартиру Яжецких и развалился на белой постели, которую получила от них в приданое дочь перед этим неизбежным замужеством; неизбежным, ибо у Веславы начал расти живот, а она не соглашалась ни на какие манипуляции, ведь она любила Михала Топорного страстной, чувственной, то есть, по существу, корыстной любовью — той, которая больше берет, нежели дает.

Кричал ли, вопил ли ты в душе, Михал Топорный, когда рассказывал элегантно одетым гостям твоего «папочки» и твоей «мамочки», что ты из крепких хозяев и в молодости увлекался верховой ездой и что в твоем родном хозяйстве все было на загляденье — и сарай, и конюшня, и амбар, и машины; кричал ли ты про себя: «Я был бедным мужиком, который не мог смириться с потерей последнего ошметка дерьма, утонувшего в навозной жиже; мне приходилось вылавливать его вилами, как рыбу, охотиться за этим навозом, как рыбаку за плотвой, нащупывать этот ошметок вилами в темной жиже и прижимать его к стенке ямы, а потом, торжественно выудив, швырнуть в телегу, чтобы на какое-то мгновение ощутить удовлетворенность оттого, что и этот ошметок не запропастился».

Кричал ли ты тогда про себя: «Я был заурядным хлеборобом и не проводил молодости в верховой езде. Когда требовалось, закапывал дохлых свиней, добивал издыхающую кобылу, я был мужиком, который сеял из лукошка и махал косой, я срезал ивовые ветки, был ветеринаром для свиней и коров, убийцей никчемных щенят, зевакой, который, привалившись к изгороди, глазеет на поля».

Кричал ли ты тогда в душе так: «Мужик, обыкновенный мужик, а не пресыщенный любитель лошадей, который развлекался в молодости верховыми прогулками на рысаках, сидит сейчас с вами за столом, у серебряного прибора».

Вопил ли ты тогда в душе, инженер Михал Топорный, или только улыбался про себя и шептал: «Ну и надул же я гостей «папочки» и «мамочки».

Инженер Михал Топорный многое понял и многому научился за ту единую минуту, когда «папочка» и «мамочка» просили его рассказывать гостям эти бредни о своем хозяйстве. Потом он еще основательнее принялся укреплять свое положение и, еще больше желая повышения, хотел еще быстрее продвигаться по этой «линии, идущей неуклонно ввысь».

Говоря о годах твоей работы в горнодобывающем объединении, надо

сказать, что ты часто контролировал и инспектировал свои подведомственные объекты и во время этих инспекционных поездок добирался туда, где не побывал ни один из твоих предшественников; ты контролировал даже самые незначительные участки производства в шахтах и каменоломнях, где применялись какие-то мелкие, несложные машины, и даже заглядывал в такие места, где вообще не было механизации и где контроль должен был осуществляться кем-то другим.

Ты был очень напористым и хотел все знать, поскольку уже настроил себя на это неуклонное продвижение по «линии, идущей неуклонно ввысь», и будущее свое связывал со все более высокими, все более важными постами.

Тебя толкали на это мысль об опоздании и стыд запоздавшего; ты считал себя обязанным поступать именно так, сам обязал себя самозабвенно рваться вперед, потому что хотел как можно скорее прийти к тому дню, когда уже были бы не в счет и твоя хата с глиняным полом, и твой прежний мужицкий наряд, и твое прежнее мужицкое житье-бытье.

Тебе хотелось поскорее дойти до того дня, когда бы ты мог гостям своих родственников свободно рассказать об этой хате с глиняным полом, как о чем-то безразличном и несущественном, когда бы ты мог говорить о ней, не хвастаясь и не стыдясь, как о чем-то таком, что тебе не помогало бы и не мешало.

И, словно в экстазе, ты стремился не просто наверстать эту проволочку с приходом в 1945 год, а наверстать упущенное с лихвой, точно желал полностью вычеркнуть и отбросить первую половину своей жизни, а период после 1945 года, который был годом твоего неожиданного взлета, так раздвинуть и заполнить работой, чтобы тешить себя иллюзией, будто действительно начал жить только с 1945 года.

Тебе казалось, что путь к такой свободе ведет по ступеням служебной лестницы, иными словами, по «линии, идущей неуклонно ввысь».

И потому с этих обследований и инспекций всегда привозил гораздо больше, чем твои предшественники, сведений относительно технического оснащения предприятий, подведомственных дирекции объединения, и с этими данными, не умалчивая также об организационной стороне дела, открыто и прямо выступал на совещаниях и собраниях и выдвигал новые — как говорится в подобных случаях — идеи, что означало, что прежние, с которыми мирилась дирекция, плохи и препятствуют повышению производительности труда. При этом лицо у тебя бывало озабоченное, полное решимости, и ты не останавливался перед тем, чтобы отметить и раздуть ошибки некоторых товарищей из руководства и даже самого директора. Тогда взгляд твой становился пронзительным, одержимым и холодным, и ты безжалостно выкладывал все до мелочей.

Чтобы не ошибаться и не испытывать затруднений при оценке отдельных производственных участков, а также деятельности объединения в целом, ты проштудировал немало книг по экономике труда в горнодобывающей промышленности, благодаря чему к чисто техническим познаниям у тебя прибавились крайне необходимые и полезные, расширяющие твой кругозор экономические знания.

Часто накануне совещания инженерно-технического состава ты ночи напролет посвящал чтению книг по экономике, чтобы потом поразить и озадачить товарищей своими познаниями в данной области.

Стремясь вперед без оглядки, ты не беспокоился о других и радовался невежеству некоторых своих коллег, а также заботился о том, чтобы все в твоем отделе шло строго в соответствии с инструкциями и указаниями сверху и чтобы каждый твой шаг можно было подвести под первоочередную заботу об интересах общества и страны.

Частые проверки и инспекции могли утвердить твоих коллег и начальников во мнении, что ты добросовестно и педантично выполняешь

свои обязанности и далеко пойдешь, если и впредь будешь так работать и действовать.

В этом мнении, часто высказываемом вскользь, сквозил страх перед тобой — фанатиком дела, не признающим компромиссов и товарищеских отношений.

Но ты, Михал Топорный, пожалуй, боялся еще больше. Ты беспокоился, чтобы не рухнули твои жизненные планы, чтобы надежнее была защищена твоя любовь; ты глубоко прятал свой страх и не мог его обнаружить перед людьми, ибо тогда они перестали бы бояться тебя, а следовательно, они перестали бы помогать тебе в продвижении на более высокий пост.

Говоря о событиях того времени, когда ты занимал пост руководителя механического отдела в горнодобывающем объединении, следует рассказать о встрече с делегацией из твоей родной деревни, а затем о встрече с твоим деревенским учителем, также у тебя в кабинете.

Эта крестьянская делегация пришла просить, чтобы ты запретил вырубку леса на горе, возле каменоломни; ты мог бы это запретить, поскольку тебе, как руководителю механического отдела, были подчинены по линии механизации и каменоломни, а значит, и каменоломня в родной деревне. Ты распорядился вырубить лес ради соблюдения инструкции и расширения фронта механизации, благодаря чему значительно сокращалась трасса вывоза ценного строительного материала. Но мужики хотели спасти свои сосны и предлагали проложить другую дорогу, чуть подлиннее, но в обход леса.

С этим делом к тебе явилось четверо мужиков; сперва они вошли в холл, где потолок подпирали толстые колонны, а потом долго бродили по коридорам, прежде чем нашли к тебе дорогу; наконец курьер сказал им, где твой кабинет, и они двинулись прямо по коридору, широко размахивая руками.

Они были в высоких сапогах и куртках, а в руках держали кепки. Впереди шагал высокий мужик, который жил у самого леса, а следом за ним остальные.

Они довольно долго шествовали по этому коридору и ступали так, словно не хотели обидеть красивый сверкающий паркет, ибо свой порыв сумели вложить только в руки, которыми размахивали, и в туловища, которые держали прямо, а в ноги уже не смогли, и ноги были словно оторопелые, в них еще не вошла смелость.

Вот они миновали поворот, и остановились у входа в твои чертоги, и сначала вошли в секретариат, и вышколенная секретарша доложила тебе о делегации и изложила суть дела, а потом впустила их к тебе в кабинет, застеленный великолепным толстым ковром.

Была такая одна, решающая минута, когда еще не прозвучало ни единого слова,— ты стоял за столом и, опираясь о лежащее на нем стекло, смотрел им в глаза, а они стояли супротив тебя и смотрели тебе в глаза.

Пожалуй, именно в ту минуту ты принял решение и, вероятно, уже в ту минуту молчания отказал им и постановил, что их сосны будут вырублены.

Почему ты ненавидел их тогда, Михал Топорный, и чего ради в ту минуту молчания решил им отказать?

Ты мог бы изменить решение, и наверняка можно было бы модернизировать каменоломню и расширить фронт работ, не вырубая леса; пожелай ты этого — транспортерам и грузовикам не помешал бы лес и дорогу для вывоза не трудно было бы проложить иначе, чтобы не трогать леса.

Но ты сразу же, еще не нарушая молчания, когда увидел их, стоящих перед тобой с кепками в руках, исполненных доверия к тебе, земляку,

напоминающих о законах родства по крови,— решил отказать им, так что последующая беседа с ними не имела уже никакого значения.

Почему ты с ними так обошелся? Потому ли, что признал в них земляков из той однообразной долины, распростертой между широкой рекой и обрывом каменоломни, или потому, что сюда, на этот пушистый ковер они принесли туманное видение этой долины и всю ее жестокую историю, которая требует почестей, воздаваемых на коленях, и целования хлеба?

Ненавидел ли ты их за то, что они достойны уважения и тебе следует их уважать?

Ненавидел ли ты их, предвидя, что они не преминут попотчевать тебя своим волнением и поторопятся до отказа заполнить им твой кабинет так, что у всех задрожит голос?

Ненавидел ли ты их, предвидя, что они не преминут попотчевать тебя в этой однообразной долине, а сейчас нагло явились напомнить об этом, как о своей заслуге?

А может, ты ненавидел их за то, что они пронизывающими взглядами ощупывали твою кожу, словно хотели содрать ее и снова напомнить о твоем опоздании?

А может, ты ненавидел их за то, что вынужден стеречь и старательно оберегать свою первую, позднюю любовь? За необходимость твердить гостям «папочки» и «мамочки», будто ты из крепких хозяев и твоя молодость прошла в седле, за обязанность обманывать гостей твоих родственников?

А может, ненавидел за то, что почувствовал в них своих близких, которым многим обязан и которые научили тебя любить множество важных мелочей?

Не потому ли в первую же минуту, когда еще никто не открывал рта, ты постановил, что не пощадишь их сосен, не отменишь решения о вырубке леса на горе, что прикажешь вырубить деревья.

Когда миновала эта минута, они сказали, с чем к тебе пожаловали; ты предложил им сесть, они опустились в глубокие кресла, а ты сидел за столом, возвышавшимся над креслами, на стуле, приспособленном к высоте стола так, чтобы облегчить тебе чтение бумаг, лежащих на стекле и под стеклом. Усевшись, они повели речь дальше и попросили тебя сохранить их деревья. Они произносили отрывистые, короткие фразы: «жалко деревья», «жалко такие деревья», на что ты сперва не отвечал, зная, впрочем, что вынесешь отрицательное решение.

Высокий крестьянин, живший ближе всех к лесу, представил тебе план расширения каменоломни, позволяющий сохранить лес, но ты уже решил им отказать.

Когда мужики выговорились, ты коротко сказал, что лес должен быть вырублен.

После этого заявления они сызнова принялись терпеливо и с большей обстоятельностью доказывать свою правоту, чтобы сберечь деревья. И на эти их пространные рассуждения ты ответил также коротко, что лес должен быть вырублен.

Тогда они снова начали доказывать свое, а ты — свое, и не было никакого согласия, ибо ты уже в первую минуту молчания, распознав в них своих близких из унылой долины, постановил решить вопрос отрицательно.

Не было никаких видов на согласие, и надежда их постепенно угасала, но у этого высокого мужика, жившего возле сосняка, она еще теплилась, поскольку он больше других жалел этот лес, и у него больше всех было сосен, и росли они рядом с его забором; поэтому он встал с глубокого кресла, и наклонился вперед, и воззрился на тебя, а затем, не разгибаясь и не отрывая пристального взгляда от твоего лица, двинулся к твоему столу, и держался на ногах крепко, ибо, вероятно, уже и в его

ноги вошла смелость, а не только в руки и туловище; должна была явиться смелость и заполнить его всего,— ведь речь шла и о деревьях, и об этой земле, на которой растут деревья, и о вечнозеленой хвое, вечной молодости сосен...

Тихо сделалось в твоем кабинете, и все ждали, с чем этот великан приближается к тебе, с каким важным доводом этот огромный мужик надвигается на тебя; а он, подойдя к твоему столу, проговорил только: «Ты вырос в той же самой деревне, что и мы»,— только это; только с такими словами подошел к тебе этот верзила, живущий ближе всех к лесу, но он метко угодил в цель и больно тебя ранил; это можно было понять по твоей усмешке.

Тот рослый мужик так и остался стоять возле твоего стола на мохнатом ковре, а трое сидели, погрузившись в глубокие кресла, однако не прикасались к ним спинами, возможно полагая, что для крестьян это баловство. Они еще лицезрели тебя, а ты — их, и вы внимательно смотрели друг другу в глаза; но они уже утратили надежду и были словно скованы, парализованы твоим отказом.

Ты, вероятно, хорошо помнишь того, сидевшего у стены. Это он в молодости учил тебя, как надо свежевать кролика и потрошить его так, чтобы не испоганить мяса и не испортить шкурки.

Пожалуй, ты вспомнил, что вначале тебе не удавалось выпускать кишки у этих маленьких зверушек и ты несколько раз прокалывал внутренности и желчный пузырь и портил мясо.

Когда ты думал об этом,— что вполне возможно, поскольку мужик, сидевший в кресле у стены, мог навести тебя на подобные мысли,— в кабинет на секунду впорхнула вышколенная и подчеркнуто услужливая секретарша и сказала тебе, что звонят по очень важному делу из главной дирекции, и ты стал разговаривать по телефону.

Настала минута, на протяжении которой слышались твои слова: «Так точно, пан директор, я уже давно подготовил эти ведомости, хотел их показать, но совещание отложили...»

Ты отвечал кому-то из главной дирекции, но смотрел на мужиков, которые сидели перед тобой; ничего не изменилось — так же, как прежде, ближе всех стоял этот рослый, живущий возле леса крестьянин, который так горячо защищал сосны, и в ходе своей горячей защиты деревьев снизошел до воспоминаний, и дал тебе понять, что он твой близкий, что он из той самой деревни, что и ты, и задел тебя этим напоминанием; а позади него, как прежде, сидели те трое в глубоких креслах.

Ты отлично помнишь и того, что сидел посередине, держа кепку на коленях и как-то странно скорчившись в глубоком кресле. Ты, пожалуй, отдаешь себе отчет в том, с чем он мог бы подойти к твоему столу, с какими воспоминаниями мог бы он приблизиться к тебе, и как взглянуть на белые края манжет, высовывавшихся из темных рукавов твоего пиджака, и с какой улыбкой скользнуть глазами по стеклу твоего стола. Ты припоминаешь его и знаешь, что это твой дальний родственник, подрабатывавший изготовлением ловушек для крыс, который и тебя научил этому искусству, и благодаря ему ты стал в деревне первым крысоловом, в сделанную тобой ловушку всегда попадала крыса.

И того, сидящего в кресле подле двери, ты тоже припоминаешь и знаешь, что вы делали вдвоем, когда на свиней напал мор. Ты хорошо знаешь, что он мог бы напомнить тебе о том времени, когда в хлевах подыхали свиньи, хотя бы то, как вы вместе ели мясо больной свиньи. Ты уже закопал несколько штук, но когда заболела последняя свинья, когда она уже покрылась отвратительными красновато-фиолетовыми пятнами, ты сказал по секрету мужику, сидящему в кресле у дверей, что цыгане едят таких свиней и что можно было бы попробовать; и то-

гда втайне от всей деревни вы добили эту свинью. Добивать было нетрудно, ибо, когда ты пнул ее ногой, она тут же свалилась, а когда всадил ей нож в горло — только тихо завизжала и даже не засучила ногами. Вы разделали свинью и ели ее мясо, а часть изделий из него потихоньку продали в городе. И он не выдал тебя деревенским, чтобы те не говорили, будто бы Топорный ест и продает падаль; но сегодня он мог бы тебе сказать это, чтобы убедить тебя, что был твоим верным другом, которому ты должен помочь сохранить сосны.

И все-таки визит крестьян закончился твоим заявлением, что ты не можешь удовлетворить их просьбу и что сосняк должен быть вырублен. Те трое поднялись с кресел и теперь уже все вместе сгрудились посреди твоего кабинета, а минуту спустя молча вышли; они долго шагали по коридорам здания горнодобывающего объединения, крепко держась на ногах; но когда вернулись в деревню и увидели свои сосны, жалость снова сдавила горло, а ноги подкосились от страха.

Потом тебя уже не посещали делегации крестьян и больше уже ни о чем тебя не просили, и потому ты был как бы избавлен от обязанности отвечать на их просьбы отказом.

Второй мужицкой делегацией, приехавшей к тебе, была уже траурная делегация, посланная деревней на твои похороны; и все же этих мужиков, следовавших среди других делегаций за твоим гробом, распирала гордость, когда они проходили под массивными железными воротами великолепного городского кладбища, когда увидели, что гроб рожденного в хате с глиняным полом плывет на плечах нарядных могильщиков по кипарисовой аллее, когда увидели, что рожденный в хате, где вместо пола глина, будет покоиться среди мрамора и гранита, и обретая вечный покой в столь роскошной могиле и на таком великолепном кладбище, возвысит их деревню, название которой высечено на мраморной плите рядом с датой рождения усопшего.

Они приехали на эти похороны с венком, а также с прощением, которого требует смерть. Они простили ему все ради его сына, ученого — историка и социолога, который часто посещал свою и отцовскую родную деревню, с которым вели задушевные беседы и которого полюбили; и, глядя на Станислава Топорного, они могли подумать, что не погубил своей жизни тот, кто оставил такого сына, и что имела смысл жизнь человека, после которого остался такой сын.

Пожалуй, односельчане простили его и ради второго сына, который приезжал вместе со старшим братом, и заходил на крестьянские дворы, и, как можно было заметить, полюбил деревню, поскольку расспрашивал обо всем, что в деревне видел.

Они простили Михала Топорного, ибо хоть он отнял себя у родной деревни, и всей этой унылой долины, и всех воспоминаний и чувств первой половины своей жизни, все же, прожив много лет в алчности и суете и словно бы в ослеплении, в дурманящем, безумном танце,— под конец жизни вернулся к родному, уже трухлявому и гниющему дому, чтобы поклониться прошлому, а также чтобы поклониться умершим деревьям и своей собственной смерти.

IV

Возвращаясь к тому времени, когда в первый и последний раз в учреждение к инженеру Михалу Топорному приезжала делегация из деревни, следует вспомнить и о втором визите, его нанес деревенский учитель своему бывшему ученику.

Первая встреча с учителем состоялась в твоей, Михал, квартире, а вторая — у тебя на службе. Во время первого визита разговор касался твоих личных дел, в частности, твоего отношения к Марии и твоего ухода из дому.

Во время второго визита твой деревенский наставник, этот — как его называли в деревне — товарищ учитель, заговорил сначала о деле, с которым приезжала крестьянская делегация, и доказал тебе, что ты сам себя унизил, что идешь по неправильному пути и попрал принципы, которые внушались тебе на тайных занятиях.

А в конце этого визита, словно предостерегая тебя, сказал, что на склоне горы может произойти несчастье, если ты не изменишь решения и не отменишь приказа о вырубке и уничтожении леса.

Но в самом начале визита, заговорив о необходимости спасти лес, он немало времени уделил рассказу о том, как выглядела прежде и как выглядит ныне эта унылая долина между широкой рекой и обрывом каменоломни. Он говорил так, словно рисовал тебе на белом листе подробный план этой долины. Ты узнал, что дорога от деревни до школы переделана заново и выложена теперь гладкими каменными плитами, что здание школы тоже новое и в нем размещаются не только классы для детворы, но также квартиры для учителей и большой клуб, куда по вечерам приходят крестьяне, что некоторые крестьянские дворы уже обнесены проволочной сеткой, что луга прорезала глубокая канава и в нее стекает вода, и потому хороша трава, и там больше не увязают лошади и коровы. На многих домах вместо соломы черепица, и деревня от этого выглядит иначе, если смотреть на нее с обрыва каменоломни.

Кроме дороги к школе крестьяне проложили новую дорогу через деревню, и на ней по воскресеньям происходят гулянья. И что в деревне есть большой новый магазин, в который товары привозят на автомобиле.

Твой деревенский учитель рассказывал тебе об этих переменах в деревне как ребенку, и могло показаться, что он уклонился от дела, с которым пришел. Но он умышленно с такими подробностями рассказывал о переменах в деревне, ибо, говоря о новых дорогах и домах, о новом облике унылой долины, дошел до сосняка и сказал, что этот лес нужен деревне, поскольку является не только ее украшением, но и богатством, которого жалко лишаться.

Он полагал, вероятно, что, увидав нарисованную им картину деревенской нови, ты оставишь в покое тот лес, пощадишь сосны, благо они нужны этой долине и украшают ее.

А потом, видимо, ощутил, что тебе наскучило это дело, или, быть может, твое нежелание разговаривать с ним, или твое бессмысленное упрямство, и сказал тебе без обиняков, что не так представлял себе твой жизненный путь, а затем, теряя самообладание, добавил, что ты предал мысли и все то, что вы пережили вместе ночью на берегу широкой реки, и все те беседы, которые велись в разных потайных местах в ту пору, когда фронт был еще далеко от твоей родной деревни.

Он сказал тебе также, что ты пренебрегаешь людьми и занят только собой, чему доказательство то, что ты ушел от своих, бросил их, и что ты далеко не продвинешься, отворачиваясь от людей, среди которых провел свою молодость.

Второе посещение сельского учителя отличалось от первого тем, что он уже не прокладывал тебе пути к твоей совести, а сам до нее докапывался, ибо уже потерял терпение, а ты слишком удалился от ваших прежних общих чаяний.

Потом он несколько успокоился и взглянул на тебя как бы помягче, словно почувствовав, что упрямство и эгоизм сделали тебя несчаст-

ным и что истоки твоей вины надо искать не только в тебе самом, но и в том, как протекала твоя жизнь, что значительную часть вины следует переложить на минувшие времена: что ты из тех, придержанных прошлым, перед кем вдруг и слишком поздно открылся широкий путь и кто принялся стремительно наверстывать упущенное и одержимо, вслепую, как бы самозабвенно, начал взбираться все выше и выше.

И потому к концу второго визита учитель перешел от упреков и обвинений, высказанных в повышенном тоне, к спокойным и мягким словам убеждения; он сказал также, что боится, как бы там, на опушке сосняка, когда придут бульдозеры, чтобы выровнять почву — уничтожить молодые деревца того рослого крестьянина, живущего у леса,— не случилась бы какая-нибудь беда.

Но ты, как упрямое дитя, несколько раз повторил, что наверняка ничего не случится, поскольку этот влюбленный в свои сосны верзила в конце концов поймет, что от разукрупнения каменоломни будет больше пользы, чем от его леса.

Этот окончательный отказ уже не сердил учителя, напротив, твое упрямство явно в какой-то мере разжалобило его, и под конец визита он посматривал на тебя с какой-то сердобольностью.

Но ушел он, пожалуй, с надеждой, что судьба сосновой рощицы возле каменоломни еще не окончательно решена, хотя час ее уже пробил. Спустя несколько дней на краю пахнущей смолой посадки появился бульдозер, который с поднятым ножом не спеша пополз по иссохшему каменистому склону к опушке молоденького сосняка, где уже стоял этот рослый мужик, живший ближе всех к лесу; его можно было заметить издалека, потому что его голова и часть туловища возвышались над деревцами.

Когда машина приблизилась к первому ряду посадки и ее широкий нож опустился, крестьянин вышел из-за деревьев и встал перед ней, словно желая заслонить собой сосняк; и тут оказалось, что в руке у него топор. Он спокойно сказал бульдозеристу: «Сдай назад, это мои сосны»,— а водитель ответил: «Как же я сдам назад, если мне велено выкорчевать этот молодняк и разровнять землю», а рослый мужик сказал ему: «Это мои сосны, понимаешь, что это значит — мои деревья, ясно тебе?» А потом спокойно посоветовал убрать машину и снова повторил: «Сдай назад»,— но бульдозерист, конечно, не знал, что у того творится в душе, и, вероятно, думал, что топор нужен ему для работы в лесу; он запустил мотор, чтобы двинуться вперед, и тут же обрел легкую смерть — потому что едва послышалось гудение мотора, как рослый крестьянин ударил бульдозериста топором по голове, и тот замертво свалился со своего сиденья и упал на землю у первого рядка молодых пахучих сосенок, и в одно мгновение голова его залилась кровью. Машина продолжала гудеть, поскольку некому было выключить мотор, а потом пришли люди и унесли убитого, и кто-то, разбирающийся в бульдозерах, остановил двигатель, и великая тишина опустилась на склон холма, и только лес шумел.

Рослый мужик, столь безрассудно защищавший посадку, умер так же легко и просто на другой день, когда его преследовали как убийцу, а на склоне гудели бульдозеры и пилы, валившие сосняк. Он бежал к высокой скалистой стене каменоломни, а преследователи обступали его лишь с трех сторон, полагая, что этого достаточно, благо с четвертой стороны был обрыв, край пропасти; и они думали, что прижмут его к этому краю, припрут к той невидимой стене, которой окажется для беглеца воздух, заполняющий пропасть.

Но они его не знали, и не догадывались, какой он выкинет фокус, и, видно, потому решили, что будет достаточно оцепления с трех сторон; они просчитались, они плохо обдумали всю эту погоню, ибо не

представляли, подобно бульдозеристу, что́ у этого рослого мужика творилось в душе; эти молодые люди не знали, что́ он чувствовал, когда тяжело, но уверенно бежал к краю отвесной скалы.

И потому очень удивились, когда этот крестьянин внезапно ускользнул от погони и надул их, ибо, не задерживаясь у края обрыва, легко и, можно сказать, охотно принял смерть.

У преследователей, когда они достигли этой кромки, были разочарованные и недоумевающие лица — ведь они были уверены, что крестьянин остановится на краю пропасти, обернется к ним, поднимет руки и молвит: «Берите меня»; лишь после его прыжка один молоденький и смазливый парнишка, руководивший облавой, сказал, стараясь перекрыть гул машин и визг пил, которые валили деревья, что следовало заходить с четырех сторон, и если бы беглеца так обложили, то его удалось бы спасти; но эти речи были уже бесполезны, поскольку рослый мужик, отчаянно защищавший посадку, лежал мертвым на дне пропасти.

В деревне многие радовались тому, что этот рослый крестьянин надул преследователей и ушел от погони; а те, что стояли в отдалении, по ту сторону горы, говорили, будто бы этот мужик, падая в пропасть, походил на большую парящую птицу, которую какой-то удар сразил в вышине и поверг на землю.

А когда его несли на самодельных носилках из жердей и лыка, на склоне горы стало тихо, ибо все рабочие, побросав пилы и машины, спустились вниз поглядеть, как несут убитого; но тишина царила недолго, люди быстро вернулись к машинам и пилам и взялись за работу, и снова по всему склону загудели моторы — ведь надо было поскорее вырубить этот лес и идти вперед во имя как модернизации данной каменоломни, так и бурно развивающегося горнодобывающего объединения в целом, открывать новые шахты, новые каменоломни и новые производственные участки, занимая все большее число людей и непрерывно осуществляя набор рабочей силы.

V

Города, окруженные доселе неприступным валом мещанского воздуха, прочной стеной мещанских мыслей и чувств, были вынуждены теперь распахнуть двери своих домов, фабрик и школ перед приблудшими, которые стекались со всех сторон в кепчонках, с ивовыми корзинками, деревянными сундучками, с учащенно бьющимися сердцами и с удивлением и страхом во взоре, сменявшимся затем выражением надежды и упрямства.

А мещане, видя, как разрежается воздух, из которого они воздвигли стены вокруг городов и фабрик, пятились в глубь своих сумрачных квартир на верхних этажах и со вздохом отдавали на съедение моли свои мягкие диваны, зная, что там внизу люди в кепчонках дрожащими, неловкими руками отнимают у них города.

А потом мещане выскальзывали украдкой из своих загроможденных мягкой мебелью квартир, шествовали на великолепные городские кладбища и там степенно и торжественно прогуливались, возлагая цветы на могилы своих отцов и дедов, ухаживая за этими могилами и вытирая мраморные плиты, как бы жаловались своим умершим на то, что странные люди в засаленных кепчонках, с вытаращенными глазами и приоткрытыми от удивления ртами отнимают у них города, что эти люди уже прорубили миллион тоннелей в непроницаемом воздухе, окутывающем города и фабрики, и продолжают прорубать новые, и все движутся по этим тоннелям.

В разгар этих мещанских жалоб ты, инженер Михал Топорный, начинал новый, длившийся пятнадцать лет, заключительный период своей жизни, которая, как уже было сказано, закончится, когда тебе стукнет пятьдесят.

Как начинался этот период?

Чем ознаменовалось начало этого периода, во время которого ты острее всего воспринимал первые месяцы и годы жизни второго сына и устройство первого сына, Сташека, в городской интернат и городскую школу, смерть двух людей на склоне горы у каменоломни, а также это массовое шествие деревенского люда в города и на фабрики?

Как ты осмыслял все это, как смотрел на своего второго ребенка, лежавшего на белой подстилке в колясочке, и как смотрел на его первые шаги, как слушал первые произнесенные им слова?

Как ты смотрел на своего первого сына, одетого в синий школьный мундир, и что чувствовал, навещая его в интернате?

Как ты переживал смерть тех двоих на склоне у каменоломни? Носил ли ты последние пятнадцать лет жизни отпечатки этих смертей в своем сознании и понесешь ли их с собой, взбираясь вверх по горной тропе, навстречу собственной смерти?

Понесешь ли ты тогда с собой память об этих смертях вместе с воспоминанием о последней ночи, проведенной с Марией в отчем доме, и о помешанном старце, том последнем бедняке из приходского приюта для бедных, которого вид собственной земли лишил разума, и рядом с возникшим в памяти образом обоих сыновей, дружно склонившихся над книгой за одним столом?

С какими мыслями связывал ты это шествие деревенского люда в города и завидовал ли паренькам в кепчонках, которые не были опоздавшими?

Ненавидел ли ты их за это?

Ненавидел ли ты их так, как односельчан, прививших тебе привязанность ко всяким мелочам, а также научивших тебя покоряться этим мелким, ничтожным предметам, растениям и животным; ибо по велению этих ничтожных предметов и дел и по велению растений и животных ты взял себе в жены Марию, урожденную Балай, а это главным образом и способствовало твоему опозданию?

И была ли это ненависть или неприязнь либо только раздумье?

Мешало ли тебе воспоминание о смерти тех двоих добиваться все более высоких постов?

А может, таким алчным стремлением к высоким постам ты хотел в самом себе заглушить память о гибели этих людей и выйти из-под власти зловещих, неблагоприятных воспоминаний?

Добивался ли ты более высокого поста, дабы еще лучше укрепить и застраховать твою любовь к Веславе и любовь Веславы к тебе?

О чем ты думал, когда на производственном совещании перечисляли твои заслуги и говорили, что благодаря тебе расширен фронт работ и повысилась производительность труда на отдельных участках?

Думал ли ты тогда, что станешь главным директором?

Думал ли ты во время этого совещания о двух смертях у каменоломни? Подумал ли ты во время этого совещания о твоих сыновьях, или о твоей любви, или о том помешанном старце из приходского приюта для бедных?

Почему после этого совещания ты читал вечерами, а иногда даже и ночью разные книги по твоей специальности и по экономике?

Какие мысли сопутствовали тебе, когда ты шел в интернат проведать Сташека, и о чем думал, когда Сташек навестил тебя, а Юрек взобрался к нему на колени?

Выручая тебя с ответами на эти вопросы, которые сыплются со всех сторон, следует, пожалуй, сказать, что в первые годы твоего последнего пятнадцатилетия в твоем поле зрения, в твоей душе и в твоих мыслях постоянно находились сыновья — старший, которого родила худая, усталая замарашка, и младший, что был рожден заботливо взлелеянной неженкой, на теле которой не было никаких рубцов и желваков или набухших вен, готовых лопнуть от распирающей их крови.

Сташек уже не был деревенским мальчонкой — постепенно освобождался от робости его взгляд, а походка становилась четче и уверенней, поскольку ноги его уже не заплетались,— ведь он был тем первым из рода Топорных, кто лишь короткое время, несколько месяцев, а может и недель, столбенел при виде города и, пожалуй, быстро забыл о тех минутах, когда ноги не повинуются разуму и назло ему подкашиваются, словно спутанные; ведь ему первому из рода Топорных довелось пережить это в детстве, и потому он быстро забыл о том, что есть в человеке нечто, способное спутать ноги, когда он прямо из деревни попадает в большой город.

Он получил от отца синий школьный мундирчик, кожаный портфель для учебников и все необходимое мальчишке, чтобы ему в большом городе не отказывали ноги и чтобы стыд и порождаемый стыдом страх не налагали на них путы.

Приходя в интернат, ты сидел со Сташеком за столом в его комнате, просматривал его учебники и тетради, иногда вы отправлялись на небольшую прогулку, а потом ты провожал сына в интернат, и Сташек шел в свою комнату, как всегда лишенный возможности ответить на вопрос, который задавали ему любознательные товарищи, на этот невыносимый вопрос: «Почему ты не живешь у отца?»

А ты, инженер Михал Топорный, возвращался... с чем возвращался ты после визита в интернат и после прогулки с сыном Сташеком?

Быть может, делая выбор и доискиваясь, который из этих двух сыновей тебе ближе? Может, уже с рождающимся предчувствием, что будешь знать, на кого возлагать надежду и за какую надежду хвататься, если почва начнет ускользать из-под ног?

Уходил ли ты, проводив Сташека в интернат, с планами человека мыслящего и предусмотрительного, который знает — ибо обязан знать,— что в конце этих планов должен фигурировать кто-то, с кем ты мог бы связывать свои надежды? И связывал ли ты их с этим сметливым, полным жизненных сил парнишкой?

А может, ты тогда еще не думал о значении надежды и необходимости подготовить ее на всякий случай, вернее, не на всякий случай — а к тому неумолимо приближающемуся времени, когда надежда будет спасением?

Необходимо, инженер Михал Топорный, задать тебе еще несколько вопросов, касающихся твоих встреч один на один со Сташеком, не рассчитывая, разумеется, на твои ответы.

Спрашивал ли ты Сташека, когда вы прогуливались или сидели в его комнате, спрашивал ли ты его о матери, то есть о Марии, о твоей первой жене, которая внушила тебе отвращение в ту последнюю, проведенную с ней ночь в отчем доме?

А если спрашивал, то как спрашивал и как тебе отвечал Сташек?

Может быть, Сташек сам, без твоих вопросов, говорил тебе о матери; и как он тогда на тебя смотрел, уже как на отца или еще как на благодетеля?

Разглядывал ли он твое лицо, твою одежду, твое пальто, твою шляпу, твой галстук и не было ли в его глазах удивления, испуга?

Пролились ли когда-нибудь слезы во время этих ваших встреч?

Замечая на столе у Сташека большое румяное яблоко, спрашивал

ли ты, откуда оно, и мелькала ли у тебя мысль, что это яблоко, возможно, с яблони, растущей в твоем родном саду?

Не это ли румяное яблоко было причиной тому, что ты вдруг мысленно отпрянул в прошлое, и не привело ли это яблоко тебя, двигающегося вспять, к деревьям, которые посадил твой отец, Винценты Топорный, широколицый, небритый мужик, недолюблизавший дочерей, но зато любивший яблони, ибо он знал, что следует любить, а что нет, и что деревья любви достойны?

И не привело ли потом тебя, инженер Михал Топорный, это румяное яблоко в твою родную унылую долину, раскинувшуюся между широкой рекой и обрывом каменоломни, и как далеко забрел ты мысленно, добрался ли до хаты и комнаты, где жила в одиночестве твоя первая жена Мария, прежде чем вернулась к отцу? Достиг ли ты, отступая во времени, того места, где старый безумец, сраженный счастьем, этот блаженный, одинокий танцор, круживший по широкому, раскисшему полю, этот последний бедняк, бивший ногами оземь, словно одичавшая лошадь, этот очищенный своей юдолью, но вывалявшийся в земле, как боров, и подобно борову пожирающий землю, на глазах у всей деревни принимал еще один, последний удар вездесущей, неотступной, давней судьбы и обретал славу извечного страдальца; да-да, и того самого места, где этот босоногий великан, казавшийся еще выше среди безлюдного простора, раскинувшегося от горизонта до горизонта, став хозяином земельного надела, извивался в грязи, поверженный нарастающим безумием и приливами счастья, осуществляя извечную мечту деревни, всех деревень, мечты и устремления крестьянства, которые, как бы скопившись в нем, последнем бедняке из приходского приюта, вырвались наружу взрывом безумия, заставившим односельчан разбежаться, словно они устрашились своей правды, обнаружившейся так обнаженно и преувеличенно, впрочем, убегали они пятясь, ибо не могли уже оторвать взгляда от земли, и руки, однажды протянувшиеся к угодьям, уже не смогли опуститься и обрести покой, и потому односельчане вернулись за этой землей, а помешанный старец лег в эту землю, и вся она перешла в его владение.

А может быть, это румяное яблоко повело тебя еще дальше в прошлое и, возможно, привело на белый, высохший и словно мертвый берег широкой темной реки, покрытой огромными плевками пены, ленивой, осоловелой реки, над которой пролетают маленькие веселые птахи и из которой выскакивают, подтрунивая над ее важным и устрашающим видом, белые веселые рыбешки?

И была ли это вина или заслуга румяного яблока, что ты оказался на берегу широкой реки, где тщедушный наставник учил тебя и тебе подобных благородству и братскому сотрудничеству, и воспользовался ли ты этим случаем, чтобы сравнить его наставления с тем, как живешь?

Многое можно было бы узнать, если бы ты ответил на эти вопросы; но поскольку ты не можешь на них ответить, то пусть говорит само за себя их возникновение.

А кроме того, пусть эти вопросы свидетельствуют о сдержанности, с которой ведется повествование, даже в те минуты, когда могло бы казаться, что о тебе известно все, вплоть до твоих мыслей и всех дневных и ночных дел.

Чтобы получить более полное представление о твоих, инженер Михал Топорный, отношениях с сыном Сташеком в начальный период последнего твоего пятнадцатилетия, необходимо также упомянуть о многократных посещениях им твоей новой квартиры возле городского парка, которую ты получил как незаурядный работник.

Сташек приходил к тебе, и Юрек очень к нему привязался, и случалось, что они, взявшись за руки, шагали по твоей квартире, и это шествие, исполненное братского единения, оживляло в памяти картины минувшего, побуждая думать о прошлом и будущем.

Порой оба твоих сына задерживались в какой-нибудь комнате, а ты подкрадывался к приоткрытой двери, чтобы подглядывать за ними и подслушивать, ибо ты уже начал упражняться в тайной слежке за сыновьями, которая потом обернется смиренными поисками надежды; и ты спустя годы обретешь ее как вожделенную милостыню. Она вдруг явится тебе за приоткрытой дверью комнаты, где будут сидеть твои сыновья — Сташек, уже взрослый мужчина, и Юрек — подросток.

Но, возвращаясь к визитам Сташека тех лет, когда он еще жил в интернате, надо сказать, что, оставляя своих сыновей наедине, ты сквозь приоткрытую дверь мог увидеть, как Сташек, орудуя самодельным ножом, привезенным из деревни, а потом уже перочинным, твоим подарком, мастерил небольшую тележку для Юрека, взяв за образец сохранившуюся в памяти настоящую крестьянскую телегу для перевозки снопов; ты мог видеть, как постепенно из дощечек и палочек, которые Сташек откуда-то принес, он выстругивал колесики, дышло, развоДы, спицы и чеки и как соединял все это стяжкой — полоской жести — и шкворнем, сделанным из гвоздя.

Стоя за дверью, ты мог видеть, как Юрек внимательно следил за его работой, и слышать, как он, еще лопоча по-детски, спрашивал, показывая на отдельные части тележки: «Это что?» —и как Сташек отвечал ему, точно заправский хлебороб.

Ты мог услышать, как Сташек рассказывал Юреку словно сказку, что взаправдашние телеги большие, с высокими решетками и в них помещается много снопов; и ты мог также услышать, как твой деревенский сын, толкуя о телегах и перевозках, рассказывает твоему городскому сыну, что на снопах сидит обычный взрослый мужик, и держит вожжи, и правит лошадьми, а если дорога в рытвинах, то воз может опрокинуться и тогда этот мужик падает на землю вместе со снопами; а если на дороге попадаются лужи, то он падает в воду и снопы обрушиваются на него и накрывают с головой; а бывает, что мужик, упав с воза, напарывается на кол плетня, а снопы придавливают его сверху; а иногда этот взрослый мужик падает на мягкую землю и на зеленую траву, а снопы красиво рассыпаются вокруг, и ничего плохого с ним не случается, только малость зерна пропадает; а чаще всего он вовсе не падает с воза, и благополучно подъезжает к риге, и вилами сбрасывает снопы с воза.

Стоя за дверями, ты, наконец, мог услышать, как Сташек рассказывал Юреку, что тебе всегда удавалось благополучно доехать со снопами до риги и что он сидел на снопах рядом с тобой. Эта возня с тележкой и рассказы Сташека о том, как свозят хлеб, были последней, ничтожной частичкой деревни в твоей по-современному обставленной квартире, где даже собака была городской и современной, ибо ты по просьбе, а точнее по требованию Веславы купил чистокровного пятнистого пойнтера, которого нарекли Гектором. И позднее в этой современной квартире тебе навязчиво напоминала деревню маленькая неуклюжая тележка, которую Сташек соорудил по образцу воза с высокими бортами.

Иногда Юрек, ухватившись за дышло, бегал с тележкой по твоим апартаментам, и эта игрушка тарахтела и скрипела как бы приглушенным тарахтеньем и скрипом взаправдашнего крестьянского воза, минуя полированные ножки твоих столов и стульев, твои сверкающие, как зеркало, шкафы и белые двери, минуя тебя в модной, элегантной одеж-

де, и Веславу в элегантном платье, и Сташека, уже не в штанах-дудочках, а в синем костюмчике из хорошей шерсти, сшитом у хорошего портного.

Сташек, подобно тебе, выбросил свою неказистую крестьянскую одежонку, ибо ты еще раньше, будучи уже взрослым мужчиной, запоздавшим студентом политехнического института, разгневавшись на деревню и свое крестьянское прошлое и на самого себя — тогдашнего, деревенского,— повелел Марии предать огню твою будничную одежду, и она послушно выполнила этот приказ, сожгла ее на куче выполотого бурьяна в углу сада, недалеко от изгороди.

А Сташек однажды утром, когда в интернате все еще спали, связал в узелок свои штаны-дудочки и пиджачок, потихоньку выскользнул во двор, крадучись приблизился к помойке и вдруг увидел, что в ней уже лежат несколько таких же свертков; он улыбнулся, вероятно обрадовавшись этим сверткам, и понял, что находится в интернате среди своих, и ему стало весело; а потом бросил штаны-дудочки и пиджачок в огромную проволочную корзину для мусора, куда до него кто-то побросал такие же свертки; повеселевший Сташек вернулся к себе и лег в постель, благо еще рано было идти в школу.

Таким образом лишь эта тележка, тарахтящая по паркету, защищала честь деревни в твоем городском жилище — тележка, которая порой мчалась прямо на тебя, прямо в лицо и в глаза, прямо в душу и так стремительно, что тебе приходилось давать ей пинка, и она, кувыркаясь, с треском ударялась о стену; но тут же к ней с плачем подбегал Юрек, спасал ее от твоих пинков, снова ставил на пол и пускал в ход.

VI

Эта тележка пробыла в твоем доме несколько лет, но когда она уже совсем разболталась, Веслава велела прислуге выбросить ее. Тогда Сташек, уже взрослый, улыбаясь Юреку-подростку, обещал сделать ему новую тележку, а тот, тоже улыбаясь, сказал: «Хорошо».— и этот обмен улыбками между двумя молодыми людьми был тогда одним из многих доказательств их взаимного, братского сближения и их братских искренних чувств.

Но Сташеку все было недосуг смастерить новую тележку, и уже до самой твоей смерти, инженер Михал Топорный, он не брался за это несерьезное для взрослого человека дело; и лишь после того, как ты скончался, вышло так, что Юрек стал владельцем старой, но каким-то чудом хорошо сохранившейся тележки твоей собственной работы.

Это времена более отдаленные, и о них речь пойдет ниже, а сейчас следует продолжить обзор первых лет твоего последнего пятнадцатилетия, постепенно приближаясь к середине этого периода.

Надо еще сказать, что первая твоя жена Мария, оправившись от тяжелого удара, впала в безысходную тоску, которая, словно час отчаяния, растянувшийся на всю жизнь, не способна окончательно сломить человека, но принуждает его как бы автоматически и безропотно приспосабливаться к течению дней и ночей.

Когда Сташек поселился в интернате, Мария иногда приезжала к нему, привозила ему яблоки и творог, и сиживала в его комнате, и ходила с ним по городу; а если не заставала сына, то дожидалась его возвращения.

Но однажды он долго не возвращался, и товарищи сказали, что Сташек у отца, и сообщили адрес; и Мария пошла на эту улицу, по одну сторону которой были дома, а по другую — парк, и постояла

в парке, глядя на окна твоей квартиры; уже стемнело, и в городе зажглись огни, и твои окна тоже засветились, но сквозь плотные занавеси не было видно, что происходит внутри.

Мария стояла, прислонясь к дереву, в серой юбке и куртке того же цвета, в платке и высоких зашнурованных ботинках; лицо у нее было худое и увядшее, а глаза усталые; этими усталыми глазами она смотрела на окна твоей квартиры, заслоненные плотными занавесями.

Потом увидела скользившие по этим занавесям тени и поняла, кто находится в квартире. Сначала она увидела тебя, проходящего мимо окна, и узнала по силуэту на занавеске; потом разглядела силуэт женщины и догадалась, что это твоя жена Веслава.

Позднее на занавеску снова легла тень женщины, держащей руку на голове мальчика, и Мария смекнула, что этот мальчик — сын Веславы и твой второй сын.

После этого дня Мария долгие годы не встречала Веславу, она и прежде не знавала ее и потому в течение многих лет вспоминала только темный силуэт на занавеске, который, однако, многое говорил ей о красоте этой женщины.

В тот вечер, когда она, припав к дереву, смотрела на окна твоего жилища, ко всем тяготам ее жизни прибавилась еще эта минута созерцания твоих окон и теней на занавесках.

Лишь на твоих похоронах Мария увидела Веславу вблизи, только на кладбище могла хорошенько разглядеть ее, когда ветер отодвигал поникшую ветвь клена. Увидев ее тогда стоящую как бы в стороне в траурном, но изысканном одеянии, Мария могла подумать, что эта красивая женщина желает вернуть ей мужа и отдает его, а она, Мария, первая жена, принимает его после смерти от этой второй жены и только теперь снова обретает на него права.

Следует, однако, вернувшись к Марии, одиноко стоящей перед твоим домом, сказать, что когда на занавесках появились силуэты Веславы и твоего младшего сына, рядом с ними возникла тень, в которой Мария без труда узнала своего, единственного, а вместе с тем и твоего первого сына Сташека, а позднее увидела, как оба мальчика, Сташек и Юрек, прошли, держась за руки.

Потом Сташек выбежал на улицу, но Мария не огошла от дерева, а только крепче прижалась к нему, спряталась за него, стыдясь подойти к сыну и взглянуть ему в глаза; ибо он мог бы догадаться, что она стояла среди деревьев и смотрела в окна квартиры своего бывшего мужа и его отца; она могла также подумать, что Сташек тоже бы застыдился, если бы, едва распростившись с отцом, должен был взглянуть в глаза матери, что ему было бы неловко сразу же после этого визита встретиться с матерью.

Поэтому она смотрела ему вслед, покуда он не исчез из глаз, а потом, не заходя в интернат, отправилась на станцию и поехала домой.

Вернувшись в интернат, Сташек нашел на столе яблоки и творог, а товарищи сказали ему, что к нему заходила мать и узнала от них, что он пошел к отцу; и, может быть, именно в эту минуту у него пробудилось подлинное сочувствие материнскому горю, которое, превратясь спустя годы в разумное сыновье чувство, озарит ее дальнейшую жизнь, а также — будем надеяться — и старость.

В будущем этот сын, став историком и социологом, а также учителем средней школы и ассистентом в университете, перевезет мать из деревни к себе и поселится вместе с ней; только бы этот сын выбрался из клубка стихийных событий человеком спокойным, проницательным исследователем новейшей истории; только бы, пройдя сквозь возмужание и неприязнь, правильно понял жизнь своего отца и своей матери и их судьбы, а также свою собственную судьбу и судьбу своего брата;

и только бы судьбы его близких стали для него сокровенной частицей его научных исследований; и только бы понимание отчаяния и злобы, обиды и вины помогло ему простить отца, и внушило этому маленькому человеку спокойствие и достоинство; ибо тогда получила бы смысл жизнь Михала Топорного и дальнейшая жизнь Марии пошла бы безмятежно.

Но пока что, Михал Топорный, твой сын Сташек окончил среднюю школу, и поступил в лицей, и еще не знает, как на тебя смотреть, а твоему второму сыну всего несколько лет, и ты продолжаешь с огромным упорством и даже достойной восхищения, а может жалости, скрупулезностью ограждать и страховать свою любовь и — как, вероятно, тебе кажется — счастье; держась линии, идущей ввысь, ты приближаешься к той минуте, когда эта твоя ненасытность и аккуратность, как, впрочем, и страх, который ты внушаешь начальству и коллегам, уготовят тебе назначение на пост заместителя директора горнодобывающего объединения.

И снова ты будешь наблюдать, как невозмутимый старый слесарь подойдет с маленькой отверткой к обитым кожей — дабы приглушались голоса — дверям твоего нового кабинета и вынет из-под стеклышка старую карточку и вставит новую с твоим именем, фамилией и званиями.

Ты снова будешь присутствовать при этой пустяковой манипуляции старого мастера, и тебя будет удивлять безграничное спокойствие этого человека, ловко орудующего отверткой и постоянно меняющего карточки под стеклышками на многих дверях горнодобывающего объединения.

После твоего назначения состоится торжественное производственное совещание, на котором, благодаря твоей предусмотрительности, будет затронуто немало очень существенных моментов, касающихся увеличения производства. Присутствующие на этом торжестве сотрудники, поднимая бокалы в твою честь, наверняка подумывали, что в объединении настают времена твердой руки, которая не спустит и не пропустит ни малейшей погрешности.

Так, вероятно, думали люди, пившие вино на торжестве в честь твоего назначения, и, разумеется, им было невдомек, что ты — дрожащий, напуганный опозданием страж своего позднего счастья.

И, возможно также, эта забота о защите и ограждении своего счастья заставляла тебя быть педантом на службе и с достойными восхищения, а может, и жалости упорством и основательностью вникать даже в мелочи.

И не исключено, что, последовательно стремясь к тому моменту, когда уже будет не в счет изба с глиняным полом, когда эта родная изба уже не сможет ни повредить тебе, ни помочь, к тому моменту, когда ты непринужденно сможешь сказать гостям «папочки» и «мамочки», что возил навоз и сеял из лукошка,— не исключено, что, неустанно стремясь именно к этому моменту, ты, получив пост заместителя директора, сразу же обзаведешься собственным автомобилем, на котором будешь ездить сам, возить Веславу и своих сыновей.

Ты уже надеялся, что пришло время дать себе небольшую передышку, вздохнуть свободнее и позволить сердцу смирить свой бег, навязанный опозданием и велениями города.

Но когда ты подумал о том, что пора отдохнуть, перевести дух, появилась трещина, зазор, который затем будет углубляться и расширяться, все более отдаляя от тебя Веславу, пока, наконец, ты не потеряешь ее, ибо она тебя бросит и уйдет с молодым инженером, который к жизни и работе не будет относиться с таким педантизмом, как ты;

уравновешенная, исполненная утонченности натура этого инженера и его естественная манера держаться с той особой непринужденностью, которая может быть лишь прирожденной, перевесит чашу весов, и Веслава пойдет за ним; но сперва еще настанет такой момент, когда ты, собственно, одержишь победу; впрочем, победив, ты в то же время окажешься побежденным победителем, победителем, который проиграл.

VII

Эта трещина дала о себе знать в тот день, когда твоему младшему сыну Юреку захотелось взять в парк деревенскую тележку, которую смастерил Сташек по образцу телеги, с высокими бортами для перевозки снопов, а ты дал на это согласие. Едва Юрек нагнулся, чтобы поднять игрушку с пола, как Веслава сделала гневный жест, возражая против того, чтобы тележку брали в парк, где она своим громким скрипом и тарахтеньем наверняка бы привлекла внимание прохожих. Потом она раздраженно отозвалась о тележке как предмете ничтожном и безобразном.

Пожалуй, ты даже разделял мнение жены, но было видно, что особенно не задумывался об этом деле, считая его, вероятно, пустячным и слишком мелким по сравнению с твоими служебными обязанностями и планами; а этого уже было достаточно Веславе, чтобы повышенным тоном прочесть тебе нотацию о том, что удобно, а что не удобно, и чтобы напомнить об отсутствии у тебя способности разбираться в этом.

Можно было бы не упоминать о зазоре, о трещине, если бы за этой нотацией крылась доброжелательность; но ее не было; вместо доброжелательности промелькнула нотка отчуждения, первый явный признак отчуждения, а может, и скуки; и поэтому уже с той секунды, когда Веслава решительным жестом запретила выносить тележку, то есть предмет ничтожный и безобразный, в городской парк, мы вправе говорить о трещине, о зазоре и о начале конца.

Но это была еще незначительная трещина, только едва заметное начало твоего упадка; ибо ты по-прежнему стремительно взбирался вверх и в твоей жизни, по существу, ничего не изменилось. В свободные дни ты ездил с Веславой на собственном автомобиле, благодаря чему хорошо изучил окрестности. Иногда вы совершали далекие прогулки, и несколько раз тебе случалось проезжать по новому шоссе недалеко от обрыва каменоломни, который одновременно является границей твоей унылой долины; ты, как обычно, ехал по этому шоссе на большой скорости, и твоя родимая долина быстро оставалась позади.

Эта поначалу поверхностная, чуть заметная трещина на твоем счастье под напором подспудных мыслей время от времени обозначалась, а наиболее явственно проступила в ту минуту, когда Веслава, выведенная из себя неумолчным скрипом и тарахтеньем разболтанной тележки, этой игрушки, которая вечно ломалась и с грохотом чинилась Сташеком, велела выбросить ее на помойку; причем сказала прислуге, чтобы та не выносила тележку по лестнице, а непременно вечером, когда все уснут, выкинула бы из окна кухни в бетонированный резервуар для отбросов.

Прислуга пыталась этому воспротивиться, говоря, что Юрек будет плакать; но Веслава рассудила так: поплачет да забудет, особенно если вместо этой безобразной игрушки ему купят новую, красивую.

И свершилось то, что повелела Веслава, и как-то поздним вечером раздался громкий стук разбившейся о бетон игрушечной тележки. Это произошло в темноте, и никто не увидел, как она разбилась, уда-

рившись о бетон; но можно было себе представить, что тележка разбилась вдребезги, поскольку упала с большой высоты.

Юрек на мгновение проснулся и протер глаза, но снова уснул, а ты, Михал, занятый чтением книги, необходимой для твоего роста и преуспеяния, оторвался на миг от чтения и поднял голову; но шум не повторился, и ты снова углубился в книгу по экономике.

Возможно, какой-либо прохожий на улице или в парке приостановился, услыхав треск, но, вероятно, мгновение спустя, поскольку этот странный хруст ломающегося дерева не повторился, пошел дальше.

Итак, в мгновенье ока выбросили из твоего дома и разбили о бетон эту последнюю частицу деревни; и быстро уходила в прошлое та секунда, когда летела в воздухе и разбилась о бетон скрипучая, белеющая во тьме, словно призрак, игрушка деревенской детворы; и это была секунда, когда умирающий город мещан пытался из последних сил расправиться с рожденным в хате, где утрамбованная глина служила полом, и со всей этой унылой долиной между широкой рекой и обрывом каменоломни и издевался над всеми обездоленными.

Поутру никто не увидал разбитой тележки, ибо на рассвете, когда все еще спали, автомобиль, собирающий мусор, увез изломанные дощечки, из которых была сделана игрушка Юрека. А Юрек, этот одиннадцатилетний или уже двенадцатилетний мальчик, искал тележку по всей квартире, во всех уголках и расспрашивал о ней тоненьким, дрожащим голоском.

И вполне возможно, что этот впечатлительный мальчик, не найдя в то утро свою любимую старую игрушку, стал все чаще о ней думать и все больше скучать, да так и пошел дальше по жизни с этой неотвязной и словно болезненной тоской по мелкой, пустяковой и жалкой, а все же любимой вещице.

Заметил ли ты эту тоску в глазах своего младшего сына, проявившуюся в тот день, когда он не нашел своей деревянной тележки? Заметил ли ты ее и понял ли надлежащим образом?

Быть может, она возбудила у тебя надежду, благо сын полюбил частицу того мира, из которого ты вышел.

Это были только первые недели и месяцы твоей маяты, и в твоем жилище еще не появился молодой инженер с широким — как было сказано — гуманитарным и эстетическим кругозором, который умел плавно говорить и которому все давалось легко. Его имя, по всей вероятности, произносилось в твоем доме еще до того, как была разбита тележка, эта игрушка крестьянской детворы, и ее уничтожение должно было иметь какую-то связь с этим фактом. Можно сказать, что эта скрипучая игрушка оказалась первой жертвой возникающего влечения Веславы к этому молодому инженеру с эстетическими интересами, твоему подчиненному из горнодобывающего объединения; и одновременно эта старая, жалкая и безобразная игрушка стала жертвой зарождающегося отвращения Веславы к тебе и к миру твоей молодости.

Безусловно, немало мыслей и слов предваряло визит этого непринужденно изъясняющегося и непринужденно двигающегося франта, сына умирающего города мещан, бледнолицего, ловко в случае необходимости напускающего на себя задумчивость, с белыми выхоленными руками и ртом, который открывался и закрывался с изысканным изяществом, и ногами, которые никогда не заплетались.

Впервые Веслава увидела его в театре, и там он был представлен тобой в антракте, и там же подкупил изысканностью манер и знанием театральной жизни. Он без умолку и, как отметила позже Веслава, увлекательно и интересно говорил о пьесе, которую вы смотрели, и с того вечера имя его произносилось Веславой по любому удобному случаю; а чаще всего, когда ей требовалось твоим несколько скучноватым

увлечениям техникой и экономикой, а также твоему недостаточному знакомству с правилами поведения в обществе противопоставить широкие эстетические интересы и светский лоск молодого инженера, с которым она познакомилась в театре и который уже во время этой первой встречи не преминул прихвастнуть, что к чтению пристрастился с детства, имея доступ к библиотеке отца, занимающегося гуманитарными науками, в основном французской литературой.

Так началась твоя маята, которая все нарастала — от тревоги к тоске, от тоски к отчаянию, от отчаяния к надежде, от надежды — к смерти.

Отдаешь ли ты, инженер Михал Топорный, себе отчет в том, что для тебя начался период маяты? И знаешь ли, что ту вашу встречу в театре надлежит включить в этот период, который, собственно, является уже заключительным периодом твоей жизни?

Пожалуй, ты этого еще не знаешь и не отдаешь себе в этом отчета, и тебе, вероятно, почти ничего не подсказали ни встреча в театре, ни стук разбивающейся о бетон тележки, ни отсутствие этой игрушки деревенской детворы в твоем доме. Быть может, только вечер отдыха в клубе техников дал тебе возможность понять, что ты уже вступил в период маяты.

Ты не танцевал на том вечере, только слушал музыку и смотрел, как танцуют другие. Время от времени ты наведывался в буфет, выпивал рюмку водки и снова возвращался в танцевальный зал, чтобы слушать оркестр и рассматривать танцующих.

Твоя жена Веслава танцевала с этим гораздо лучше тебя танцующим молодым инженером, знатоком искусства и литературы. Ты видел, что они хорошо танцуют, и затмевают весь зал, и стараются, чтобы танец получился у них на славу, чтобы это был виртуозно выполненный танец, порожденный танцевальными способностями и одаренностью умирающего города мещан.

Пришел ли ты к выводу, глядя, как твоя жена танцует с молодым инженером, что начался для тебя период маяты?

И вспомнил ли в ту минуту запечатлевшуюся в твоей памяти пляску самого последнего бедняка из приходского приюта, пляску на раскисшем поле? И, сознавая, что начинается период твоей маяты, не ввел ли, по воле фантазии, в этот великолепный, с навощенным паркетом танцевальный зал босого, перепачканного в черноземе и отплевывающегося черноземом нищего и не приказал ли этому потерявшему разум существу пуститься в пляс среди расфранченной публики? Не представил ли ты себе, подхлестывая фантазию алкоголем, что этот огромный старик выплясывает здесь, разбрызгивая вокруг себя грязь, и все от него убегают, и посреди опустевшего зала раздается лишь топот его босых ступней? Не поменялся ли ты впервые на этом вечере с ним мысленно местами и не померещился ли тебе этот последний бедняк, этот безумец твоим двойником?

VIII

После этого вечера имя молодого инженера все чаще повторялось в твоем доме, и ты, пожалуй, уже хорошо понял, что вступил в период маяты; ты счел, что следует побыстрее добиться поста главного директора, ибо это положит конец твоей маяте.

Началось единоборство — кто первым: ты ли завоюешь пост главного директора или молодой инженер — твою жену Веславу?

Если ты раньше займешь пост директора, то, может, ему уже не добраться до твоей жены?

Так ли ты намеревался оградить себя от маяты?

Очевидно, так, раз предпринял генеральный штурм, чтобы занять кресло главного директора.

Это был упорный штурм, требовавший титанического труда, большой точности и того, что, мягко выражаясь, называют ловкостью.

Стремясь спасти свою любовь и свое счастье, оказавшееся под угрозой, ты, притаившийся, всегда готовый к прыжку в директорское кресло, ждал, пока главный директор оступится; а когда тебе показалось, что это ожидание затягивается, ты начал мутить воду и повел дело так, что приблизил час падения главного директора.

В шахте вышла из строя дорогостоящая и очень важная для производства машина, и ты хотел туда поехать, чтобы лично ее осмотреть и немедленно отремонтировать; но главный директор сказал, что поломка незначительная и с ней наверняка справится местный инженер, а ты должен заняться другим, более важным, по его мнению, делом.

Ты охотно согласился, зная, что местный инженер плохо знает машину и ничего не сможет с ней сделать; а если возьмется за ремонт, то немного погодя ее стальной корпус может лопнуть, что, в свою очередь, может сорвать выполнение плана добычи. Ты надеялся приблизить таким образом час падения главного директора; стремился к этому и цеплялся за эту надежду, ибо уже в слишком большой опасности была твоя любовь, уже дала трещину стена, которой ты ее ограждал; затрещало по всем швам сооружение, воздвигнутое тобой, опоздавшим и в любви, опоздавшим из-за первого брака, заключенного скорее по велению неодушевленных предметов, растений и животных, нежели по велению сердца.

Ты был прав, предполагая, что твой начальник поскользнется, если ты не поедешь на проверку оборудования, ибо через некоторое время стальной корпус машины лопнул и в объединении начался переполох, а ты принялся ловко этот переполох использовать, чтобы прыгнуть в кресло главного директора.

Времени было в обрез, а гонка продолжалась.

Ты ли, инженер Михал Топорный, первым займешь директорское кресло или этот молодой инженер быстрее достигнет своей цели?

В то время когда твоя жена Веслава уходила все дальше и дальше, тебя потянуло к твоим сыновьям — Станиславу и Юреку. Старший, Сташек, уже изучает в университете историю и социологию, переехал в студенческое общежитие. Младший ходит в начальную школу. Их часто можно встретить в твоем доме или на прогулке в парке. Сташек так до сих пор и не собрался смастерить новую тележку для Юрека. Вероятно, побаивался Веславы, которая не выносит, когда в квартире мусорят, и не любила ту игрушку. Но Юрек часто вспоминает свою тележку и дает понять, что ему хочется, чтобы Сташек снова сделал такую же; а порой он подходит к тебе и говорит, что ему очень хотелось бы увидеть твою родную деревню.

Когда Юрек обращается к тебе с этой просьбой, как ты ему отвечаешь? Говоришь ли, что свозишь его туда, как только представится удобный случай?

Радуют ли тебя эти просьбы младшего сына и доставляет ли тебе удовольствие его желание увидеть твою родную унылую долину?

И легче ли становится этот удручающий бег наперегонки с молодым инженером от сознания, что Юрек льнет к тебе и просит показать деревню и твою родную долину, полюбившуюся ему, хоть и знакомую лишь по рассказам Сташека?

Ты, пожалуй, не торопился показать своему младшему сыну эту унылую долину между широкой рекой и обрывом каменоломни; но однажды ты посадил его в свою машину и отвез на холм, откуда открывался вид на долину, подернутую редкой синеватой мглой; слева виднелась пробивающаяся сквозь эту мглу, медленно текущая река, а справа, если немного поднять глаза,— верхняя часть обрыва каменоломни, окрашенная в какие-то блеклые тона.

Еще до того как земля поглотила туман и перестала куриться, твой младший сын засыпал тебя вопросами, ибо ему не терпелось узнать — какая она, эта долина; а ты отвечал ему, что он сам увидит, когда мгла полностью рассеется.

И вы ждали, пока земля и река поглотят туман, и он впитается в землю и воду, и мертвенная бледность долины сменится зеленью, ржавчиной и желтизной. Так вы ждали до той минуты, когда среди деревьев показались серые и красные крыши деревни и серые полосы новых, ровных дорог; до той минуты, когда река засверкала на солнце и уже можно было различить дома, деревья и поля.

Тогда больше всего было задано этих трудных и жестоких вопросов, ибо он указывал на места твоей молодости и, обращая к тебе полный доверия взгляд ребенка — вернее, уже не ребенка, а подростка,— требовал правды об этих местах, а ты ведь не мог открыть ему ту правду, которая таилась где-то в глубинах памяти и до которой докопался этот мальчик, задавая свои вопросы.

Ни тогда на холме, ни когда-либо позже твой младший сын не дождался от тебя правды об этих местах; но спустя годы и он узнал правду — хоть и не столь полновесную, какой она могла быть в твоей передаче,— от Сташека, который воссоздал ее отчасти по памяти, отчасти по рассказам матери и сверстников и отчасти по книгам; иными словами, эта правда о местах твоей молодости, заложенная в Сташеке, еще подождет его.

Тогда, на холме, Юрек не получил — ибо не мог получить — исчерпывающих ответов на свои вопросы; когда мальчик полюбопытствовал, что там, внизу, где большие деревья образуют квадрат,— ты ответил четко и послушно, что это кладбище, на котором погребены дед, бабка и тетки; но какова была жизнь этой бабки, деда и теток, ты уже не мог рассказать подробно, как и о неприязни одержимого деда к теткам, то есть отца к дочерям, о чем поведала тебе мать, бабка Юрека; и о том, как дед таскал маленькие гробы на кладбище, и о твоем рождении, и о том, как сдирал пеленки с твоих младенческих ног этот одержимый мужик — твой отец.

Ты ведь не мог поделиться этим с твоим младшим городским сыном, как, впрочем, и со старшим, деревенским.

Но спустя годы Сташек введет Юрека в круг деревенских тайн, жадно им поглощаемых, и они станут общими тайнами братьев. Сташек, пожалуй, докопается до подробностей, ибо он, как историк и социолог, изучающий историю своей семьи и своей деревни, наверняка постарается не упустить ни одной детали, необходимой для научного обобщения. Много еще узнает Сташек от матери, а особенно от старого сельского учителя.

Но тогда, на холме, когда Юрек спросил тебя, что там такое внизу, где из-за купы деревьев выглядывает старая соломенная крыша, ты мог ему самое большее ответить, что это дом, в котором ты родился и вырос, и что он теперь пуст, ибо никто в нем не живет; ты мог еще открыть сыну под большим секретом, что во время твоего детства в этом доме вместо пола была глина, чего бы он даже не сумел себе представить. Но ведь ты не мог говорить о том, что творилось в этом доме,

когда ты жил в нем с Марией; не мог говорить о Марии и вашей совместной жизни.

Когда сын показал тебе пальцем на дома, разбросанные среди полей, в стороне от деревни, ты объяснил ему, что это новые крестьянские дома, построенные на земле, прежде принадлежавшей помещику; но всю правду об этих полях ты должен был затаить в себе, еще раз представить себе ее и осмыслить, ибо вопросы мальчика пробили брешь в плотных, окаменевших наслоениях времени, и память, придавленная тяжестью этих наслоений, снова ожила, а воображение начало воссоздавать картины прошлого и снова призвало частенько им оживляемый и как бы уже сросшийся с тобой, влекущийся следом, как тень, образ безумного пляшущего старца из приходского приюта.

А когда твой младший сын немного поднял голову и показал тебе на пологий голый склон горы, а потом на длинную кромку карьера и неторопливо снующие по ней вагонетки, ты сказал ему, что это каменоломня, в которой добывается камень, необходимый для строительства дорог и фундаментов.

Возможно, тебе хотелось выложить сыну всю правду об этой горе и скалистом обрыве, который — о чем ты еще не знаешь — будет также местом твоей смерти; но как скажешь подростку, почти ребенку, всю правду об этих местах.

Вполне вероятно, что тебя подмывало рассказать ребенку, что там, наверху обрыва, где виднеется белесая земля, рос когда-то сосняк, и ты велел его вырубить, и из-за этого распоряжения погибли два человека: один — на самом краю того белесого пятна, а второй там внизу, на дне пропасти, начинающейся в том месте, где поблескивают скалы; даже видна неглубокая вымоина, по которой бежал тот рослый мужик, а потом — как рассказывали те, кто его преследовал,— легко и как бы охотно бросился навстречу смерти.

Тебе наверняка хотелось признаться этому мальчонке, что те двое погибли из-за тебя; тебя уже одолевала маята, и воспоминания о случившемся у обрыва ощущались с особой остротой; ты готов был рассказать сыну о том, что произошло там по твоей вине, если бы можно было рассказывать ребенку о таких вещах.

Уже само присутствие сына, расспрашивавшего об этой унылой долине, ободряло тебя; даже прикосновение его маленькой руки бодрило и как бы вселяло надежду; даже прикосновение его волос делало тебя более смелым перед лицом видений прошлого, которые, разрушив плотный и непроницаемый барьер времени, начали домогаться твоей изношенной кожи покорного человека. И ты, стоящий подле своего элегантного автомобиля, на дороге, откуда открывался вид на твою родную долину, возможно, искал спасения у этого ребенка, и пытался спрятаться за его худенькую спину, и видел в нем своего защитника.

Наверняка, все более впадая в удрученность и по-прежнему борясь за Веславу, ты лихорадочно искал какой-то отрады и надежды и, конечно, увидел ее в обоих льнувших к тебе сыновьях, ибо уже достиг того периода жизни, когда заметил трещину на своем счастье и взалкал отрады и надежды; а в тот день, когда молодой инженер посетил твой дом, ты более чем когда-либо нуждался в утешении и надежде.

Ты был против его прихода, но Веслава рассудила, что раз уж приглашают других, то следует пригласить и этого человека, благо он способен создать оживленную и интеллектуальную атмосферу; тебе пришлось согласиться, чтобы не сложилось впечатления, что ты подозрителен и считаешь молодого человека важной персоной, из-за которой следовало бы затягивать обсуждение списка приглашенных.

Прием начался с улыбок, изысканных речей, угощения и выпивки, и вначале ничто не предвещало, что ты ударишь молодого инженера по лицу.

Но потом в лавине приглаженных, неискренних слов начали проскальзывать кое у кого из гостей более откровенные признания, и дошло до того, что молодой инженер осмелился подтрунивать над теми, для кого счастье — бороться и побеждать; он заявил, что это устаревшее понимание счастья, что это счастье людей первобытных и примитивных и что лучше всего довериться течению — пусть оно о тебе беспокоится. Он выразился примерно в таком духе и задел тебя, и ранил этими словами, и расшевелил твою память, и воспоминания начали подзуживать тебя вступиться за честь всех первобытных, родившихся в хатах с глиняным полом, всех обреченных на борьбу.

Ты возразил ему в двух словах, что он говорит вздор, ты ответил слишком кратко, ибо на большее не хватило воздуха: он понадобился рожденному в хате с глиняным полом, задохнувшемуся от внезапного приступа гнева.

После твоих слов: «Это вздор»,— молодой человек лишь улыбнулся да пригладил свои прилизанные волосы и сделался как бы еще более вылощенным и непринужденным, помалкивая и улыбаясь, он вовсю пользовался выработанной для него многими поколениями способностью держаться непринужденно.

Ты снова глотнул воздуха после первого взрыва негодования и, спохватившись, что слишком кратко ему ответил, хотел еще что-то добавить, но не проронил ни единого звука, ибо от первой вспышки помутилось сознание, и захватило дух, и мысль не могла превратиться в слова. Тогда молодой инженер, словно догадываясь о твоем желании добавить к уже сказанному: «Я лично всего добился благодаря сильной воле и труду»,— заговорил о том, что нет, мол, смысла бороться и добиваться, поскольку победы могут оказаться непрочными и что в успех завоеваний верят только люди недостаточно умные, примитивные, к которым он, умело и тонко подобрав выражения, так, что и не сразу возьмешь в толк, причислил и тебя.

Задел тебя и ранил этими словами человек, который унаследовал без каких-либо усилий и жертв завоевания, накопленные для него многими поколениями; те завоевания, которых не отберешь, как отбирают имения и фабрики; ибо это завоевания, впитавшиеся в его плоть и кровь, растворенные в его мозгу; отсюда умение непринужденно держаться, убивать ловко подобранными словами и изящным движением рук и ног, которые ни разу не заплетались и, прочерчивая положенные линии, ведомые самоуверенностью, непринужденно разрезали воздух.

Молодой инженер разглагольствовал долго, а ты заметил, что Веслава с жадным любопытством поглощает его слова, и гнев окончательно лишил тебя разума.

В его монологе содержалось, очевидно, немало слов, которые переносили тебя в твою унылую родную долину, к людям, живущим в той долине, и к обитателям всех подобных долин; молодой инженер произнес много слов, которые невольно к твоим глазам и к сердцу приблизили эту землю и эту деревню, и уже считанные секунды оставались до того момента, когда ты поднимешься на защиту тех, кого он поносил.

Ты сделаешь машинальное, точное движение, как бы неразрывно связанное со всем твоим существом и историей тех, из чьей среды вышел; а соображать сможешь лишь настолько, чтобы ударить этого инженера по лицу не за столом, а в коридоре, куда ты его вытолкнешь.

Когда ты ударишь его, он поморщится, но тут же его гримаса превратится в улыбку, и он проговорит учтиво: «Проиграл тот, кто ударил. Проиграл прежде, чем ударил».

Вечер закончился всеобщим переполохом, и сразу же после этого инцидента гости разошлись. Веслава обозвала тебя хамом и невежей, подчеркнув, что отсутствие интеллекта не восполнишь кулаком.

Ты удалился в свою комнату, притворил за собой дверь и вдруг почувствовал, как по лицу побежали жгучие, доселе неведомые зигзаги: это жгли скупые слезинки, прокладывая длинные борозды на щеках, которые долгие годы не бороздила ни одна слеза.

Ты плачешь, Михал Топорный, инженер, заместитель главного директора, уже почти главный директор, а люди думают, что у тебя всегда сухие глаза, сухие руки и сухое, твердое, словно вытесанное из высохшего дубового чурбана сердце.

Ты стоишь у стола и смотришь на улицу, которая пуста и при свете фонарей кажется пепельной. Напротив, из подвала высокого дома высунулось какое-то маленькое существо, и ты сразу узнал крысу. Крыса выскочила на улицу, но тут же метнулась назад, а спустя минуту снова выскользнула из окна подвала, остановилась и привстала на задних лапах; она оглядывалась по сторонам, и было ясно, что эти довольно яркие фонари ей помеха и если бы они погасли, крысе было бы легче; а потом она пулей вылетела на тротуар и очутилась на его бровке, а потом на мостовой; но тут с одной стороны показался человек, а с другой — автомобиль, и крысе пришлось спрятаться в полоске тени, падающей от края тротуара.

Проехал автомобиль, прошел человек, и крыса заскользила по широкой мостовой, быстро приближаясь к ее середине; тогда снова сверкнули ослепительные фары автомобиля, и крыса отступила к краю тротуара; но она уже не спряталась в узкой полоске тени, ибо какой-то человек приостановился на той стороне, чтобы пропустить автомобиль и перейти улицу; крыса это заметила и, возможно, разгадала намерение человека, потому что юркнула в маленькое окошко подвала; но немного погодя она опять высунулась, и попробовала пересечь мостовую, и снова принялась настороженно озираться; однако на сей раз ей удалось, воспользовавшись воцарившейся ненадолго тишиной, а также отсутствием пешеходов и автомобилей, шмыгнуть на другую сторону улицы, где были бетонированные резервуары для отбросов.

Уезжая утром на работу, ты заметил посреди мостовой расплющенную крысу и догадался, что ее переехала машина, когда, насытившись, она возвращалась с помойки в свое подземное убежище.

Ты ехал по равнодушному городу, полный иллюзорной надежды, что твое единоборство с молодым инженером еще продолжается и у тебя еще есть шансы выиграть, если ты раньше достигнешь поста главного директора, чем он — Веславы.

IX

Начинался самый стремительный и жестокий заключительный период твоей жизни. Надо сказать, что за это время ты пополнял и расширял свои знания с фанатизмом, на который способен лишь несчастный, запоздавший и честолюбивый человек.

В тот день, когда ты увидел на улице раздавленную крысу, объединение посетила зарубежная делегация из двух государств, с которой нужно было разговаривать на иностранных языках. Беседовал с зарубежными специалистами и переводил их высказывания молодой инженер, твой соперник по бегу наперегонки, у которого в детстве были бонны — француженка и англичанка.

С тех пор ты осатанело, не как человек, а скорее как упрямое животное, взялся за иностранные языки, зубрил их по ночам, и ночи на-

пролет склонял свое узкое, ястребиное лицо над пособиями, роясь в различных словарях и самоучителях, которые тебе приносил Сташек: помимо истории и социологии, он изучал также иностранные языки.

С этой фанатической зубрежкой, инженер Михал Топорный, ты теряешь здравый смысл, лучше бы прилег и отдохнул ночью, ибо тебе все равно не высидеть способностей, присущих сыновьям умирающего города мещан.

Ложись спать, инженер Михал Топорный, хватит с тебя того, что твои сыновья догонят и перегонят сыновей умирающего города мещан. И если уж зашла речь о твоих сыновьях, то еще получится так, что первый твой сын догонит второго. Собственно, твой старший сын уже догнал твоего младшего сына; ты сам помог ему в этом.

Внемли дружеским советам и уговорам и дай себе передышку, ибо для запоздавшего ты сделал очень много, даже слишком много, и должен перевести дух; и пусть тебя не лишает покоя то, что тебе не угнаться за сыновьями умирающего города мещан, что ты будешь по сравнению с ними словно бы несколько неповоротливее, чуточку медлительней и как бы вопреки всей твоей устремленности пронесешь на своем лице печать раздумья, унаследованную от многих поколений хлеборобов.

Внемли голосу рассудка, опамятуйся и вернись на землю, прерви свою собственную пляску помешанного, и ты сможешь отдохнуть, и протянуть руку, и сорвать лист с дерева, и спокойно рассматривать этот лист, чего не делал уже много лет, ибо на это не хватало времени, поскольку ты хотел догнать сыновей умирающего города мещан и потягаться с ними способностями — впрочем, не только догнать, но и непременно перегнать, а на это у тебя может не хватить пороху.

Внемли голосу рассудка и взгляни спокойно на обыденный мир, который тебя окружает, на деревья, на птиц и насекомых в траве. Вспомни, как твой отец сеял хлеб и как он шагал по полю во время сева; как он уверенно ступал и как успокоительно действовал на тебя вид этого порывистого человека с широким небритым лицом.

Вспомни минуты сева, возможно, это воспоминание преподаст тебе хороший урок, и ты обретешь спокойствие и отраду.

Сделай все, что необходимо для отдыха, убеди руки, чтобы они не дрожали, и глаза, чтобы они не бегали, утихомирь мысли, чтобы от них не раскалывалась голова и сердце, чтобы оно замедлило бег. Заглуши в себе нытье и не проси себя самого, не умоляй продолжать захватывающую дух гонку — ведь тебе уже не догнать этого сына умирающего города мещан по той причине, что у него в крови опыт многих поколений, а ты не получал подобного наследства и такого пробела в одиночку не восполнишь, ибо для этого требуются многие, многие годы и помощь предков; а в твоем распоряжении было только пятнадцать лет, и твои предки не помогли тебе, а только дали жизнь и внушили любовь ко всяческим мелочам, и этого для них было много.

Надо посоветовать тебе вести разумный и не такой стремительный, а следовательно, менее изнуряющий образ жизни; давая такие советы и успокаивая тебя, следует смело сказать, что ты не догонишь сынов умирающего города мещан, ибо тебе не уйти, не увернуться от вездесущей тени давней юдоли, которая тянется в грядущее из глубины времен; ты приближался и будешь приближаться к краю этой тени, тебе даже покажется, что, кружа в безумном танце, каким была твоя жизнь, и напрягаясь до предела, ты пересечешь кромку этой тени; но в конце концов окажется, что слишком короток твой шаг, чтобы достичь заветной грани, что ты вечно будешь оставаться в пределах этой тени и не вывернешься из нее до самой смерти, которая засвидетельствует и то, что эта тень — вездесущая тень давней юдоли — всегда была длиннее твоего шага, как была она длиннее и тех кругов, которые описывал в

танце помешанный старец из приюта для бедняков. Но, успокаивая тебя, следует также сказать, что ты в лице своего сына догнал и даже перегнал сыновей умирающего города мещан; ты многого достиг и многое свершило твое новое время, если тебе удалось догнать их, вернее, перегнать, в лице своего сына.

Твой сын сумел выскользнуть из далеко простирающейся полосы этой тени, ибо его жизнь и время были такими, что ему удалось из нее выбраться; и он пересек границу этой тени благодаря тому, что принадлежал иной, чем ты, эпохе; и он эту грань перешел рожденным в хате с глиняным полом, сын рожденного в той же хате Михала Топорного, еще крестьянина, внук рожденного в той же хате Винценты Топорного, дитя сонной, унылой долины, раскинувшейся между широкой рекой и обрывом каменоломни, где на небольшом пятачке посреди бывших помещичьих угодий исполнил свою безумную пляску старик из приюта для бедняков, который с жадностью безнадежно опоздавшего хищно набросился на землю, этот дар времени, и зарывался в нее лицом, руками и душой, да так и не смог ее взять, ибо между безмерной тягой к земле и землей, подобно непреодолимой стене, встало его помешательство; земля не досталась ему еще и потому, что он не свыкся с нею и никогда ею не владел, только жаждал ее заполучить; а когда вдруг получил, так испугался, что обезумел и обошелся с этой землей не по-человечески, а как дикий зверь со своей жертвой, и тем доказал, что его целиком заграбастала вездесущая тень давней юдоли, которая тянется в грядущее из глубины времен.

Твой сын, инженер Михал Топорный, переступил границу тени, и пусть тебя это веселит, и пусть тебе не мешает радоваться и не пугает грустное имя жертвы, которым тебя еще, возможно, наречет история, ибо ты не смог увернуться, выскользнуть из полосы тени, хоть очень хотел и все еще хочешь этого и хоть ты по-прежнему отплясываешь свой головокружительный, лишающий покоя и разума танец, продвигаясь по «линии, идущей неуклонно ввысь»; хоть яростно защищаешь свою новую кожу и отчаянно цепляешься за нее, уже начинающую расползаться, выцветать и блекнуть.

Но радуйся, инженер Михал Топорный, что твой первый сын Сташек вырвался из полосы тени и нашел в твоем учителе своего учителя, и что твой второй сын найдет себе учителя в старшем брате и повернется лицом к тебе и к твоим предкам, и что не будет различия между твоими сыновьями.

Но тщетны эти советы и призывы, раз ты не можешь им следовать. Ты по-прежнему остался одержимым фанатиком дела, самозабвенно шествующим по «линии, идущей неуклонно ввысь», и тешил себя иллюзиями, что удержишь Веславу с помощью поста главного директора.

Вначале ты быстро приблизил к себе этот пост, когда главный директор споткнулся в связи с поломкой ценной и необходимой для увеличения продукции машины, но позднее директорское кресло как бы отдалилось от тебя, ибо первый осмотр агрегата показал, что трещина корпуса неопасна и что добыча не снизится так резко, как предполагал ты, предвкушающий повышение. Однако это не ослабило твоего стремления поспособствовать тому, чтобы главный директор окончательно споткнулся, и у тебя стали на этот счет появляться новые замыслы, которые ты намеревался осуществить; ты упорно стремился к тому, чтобы положение твоего начальника все же пошатнулось и тебе удалось бы в конце концов заполучить пост главного директора.

Но твои новые замыслы так и не дождались воплощения, благо комиссия, состоящая из видных специалистов, после второго осмотра обнаружила на корпусе машины опасную трещину, которая повлечет за собой длительный простой агрегата, если не полное его изъятие из

производства, а это уже пахло срывом плана и тем, что кресло под главным директором зашатается и таким образом основательно приблизится к тебе.

Ты намертво впился в результаты второй проверки, и уже не выпустил их из рук, и повсюду твердил озабоченным тоном: «Как до этого довели?»

Ты беседовал с людьми так, чтобы создавалось впечатление, будто машина остановилась по вине главного директора, который небрежно и легкомысленно отнесся к вопросу о необходимости ремонта в тот период, когда были замечены лишь первые перебои в работе машины и еще незначительные трещины на ее главной части, то есть стальном корпусе.

Ты вел разговоры с людьми из разных отделов и производственных бригад таким образом, чтобы бездарность главного директора стала очевидной и одновременно не слишком обнаружилась твоя тайная вожделенная цель — пролезть на его место.

Возможно, вынуждаемый своей бедой, человек честолюбивый, замороченный, желающий спасти свою любовь, свою первую, запоздалую любовь, ты хитроумно и ловко способствовал тому, чтобы инженеры и рабочие, которые из-за этой аварии не могли выполнить план, а следовательно больше заработать, начали предъявлять главному директору серьезные претензии и все смелее заговаривали о его халатности.

В конце концов было проведено специальное совещание, на котором стиль работы директора подвергся резкой критике; с критическими замечаниями выступили другие — инженеры и рабочие, ты же помалкивал и вел дело так, чтобы критиковали другие, а ты воспользовался бы плодами их критики.

То, что критиковали другие, было здорово придумано; ведь если бы ты покритиковал директора, люди могли бы подумать, что тебе не терпится занять директорское кресло; ты, в сущности, стремился к нему, но повернул дело так, что создалось впечатление, будто тебя подталкивают другие, а ты любезно им это разрешаешь.

Совещание, на котором критиковались недостатки главного директора, имело большое значение, поскольку на нем присутствовал представитель министерства, который об этой критике сообщил в те инстанции, где решаются вопросы о замещении ответственных должностей.

Через некоторое время, спустя месяц или два, прежнего главного директора деликатно перевели на другую работу, а тебя назначили на его место.

В день получения приказа ты поспешил домой и торопливо взбежал по лестнице с бумажкой в руке, подтверждающей назначение на пост главного директора, ибо хотел поскорее показать ее Веславе; ведь ты всегда показывал ей все документы, касающиеся твоих перемещений по службе, а когда она их читала — ждал ее улыбки и признаков удовлетворения, поскольку, несчастный и одурманенный, вероятно, расценивал ее улыбку как доказательство того, что наверстываешь упущенное.

Но приказа о назначении на пост главного директора ты уже не смог ей показать, так как не застал дома — в тот день она ушла от тебя с молодым инженером, уведомив об этом оставленной на столе запиской, где писала, как обычно пишут в таких случаях, что так было суждено и она уезжает с инженером, с этим прилизанным, всплывающим на волне событий сыном умирающего города мещан, которого куда-то перевели с повышением.

Квартира была пуста, исчезла даже собака, увезенная Веславой. Ты посидел в комнате, а потом вышел на балкон и долго всматривался в парк.

Затем спустился в гараж, сел в машину и поехал по улице к заводской окраине, за которой тянулись незастроенные, кое-где поросшие деревьями пустыри.

Дорога, обсаженная по обеим сторонам старыми каштанами, поднималась в гору, а на самом верху оба ряда деревьев вдруг обрывались и открывался вид на город, раскинувшийся внизу; но города не было видно, ибо уже стемнело, в темноте сверкали и искрились только пересекающиеся, перепутанные вереницы огней.

Ты остановился в разрыве между рядами старых деревьев и смотрел вниз на лучезарное существо, которое тебя перемудрило.

Долго приглядывался ты к городу, этому лучезарному каменистому существу, которое убивает пришлых; сперва приказывает им ускорить шаг и сердится, когда кто-нибудь из чужаков не поспевает; а потом велит быстрее стучать сердцам приблудших и добивается, чтобы побледнели лица тех, кто пришел в него с котомками; и наконец, припугнув их, помогает спрятать страх под красивой одеждой.

День твоей смерти приблизился вплотную, и почти ничего не случилось за то время, которое отделяет вечер одинокого лицезрения города от послеполуденного часа, в который ты совершал одинокое восхождение по горной тропе.

Вернувшись из загородной поездки, ты снова одиноко сидел в своей большой квартире; но вскоре услыхал стук в дверь и, отворив ее, увидел младшего сына. Он сказал, что мать хотела взять его с собой, но он отказался, не стал он переезжать и к дедушке с бабушкой, потому что хочет жить с тобой.

Все-таки ты отнял, главный директор Михал Топорный, у этого умирающего города мещан своего младшего сына, и пусть это будет тебе отрадой в твоей удрученности.

Ночью ты бодрствовал; заходил в комнату, где спал твой сын, и прислушивался к его ровному дыханию.

Тебя выбрал этот сын, тебя — рожденного в хате с глиняным полом, с тобой пожелал остаться сын, на которого уже расставил сети умирающий город мещан; и больше хочет быть внуком твоего отца Винценты Топорного, который сеял из лукошка, нежели внуком тучного, семенящего мелкими шажками господина.

Тебе есть на кого опереться в твоей удрученности, Михал Топорный; одной рукой ты можешь опереться на старшего сына, Сташека, которого не оттолкнул, когда отрясал все, что было связано с унылой родной долиной; другой — на Юрека, который не поддался умирающему городу мещан.

Ты можешь опереться на них обоих, воплощающих твои надежды и смысл твоей жизни, Михал Топорный, несчастный, одержимый и самолюбивый директор большого горнодобывающего объединения.

Утром к дверям твоего кабинета снова пришел старый мастер, чтобы заменить под стеклышками карточки с именами, то есть чтобы на место имени и звания прежнего главного директора вставить твое имя и твое звание.

И снова ты заметил, что старик виртуозно орудует отверткой, и, неизменно безразличный и молчаливый, делает лишь то, что ему положено, и отправляется дальше по длинным коридорам объединения, и исправляет все, что нужно; никогда не улыбается, никогда не грустит, а только кочует от двери к двери, меняя имена да устраняя всякие мелкие неисправности.

Некоторое время ты занимался тем, что осматривал комнаты своей просторной новой резиденции, разглядывал в своем кабинете глубокие, обтянутые черной лоснящейся кожей кресла на изогнутых трубчатых ножках, круглый стол, за которым дважды в неделю должны происходить производственные совещания в узком кругу, огромный, пушистый, красный ковер, покрывающий почти весь пол, свой полированный, с толстым стеклом на крышке письменный стол, возле которого стояло несколько легких стульев.

Ты сидел и рассматривал стены, выкрашенные в твой любимый блекло-золотистый цвет, а потом вдруг глянул на стекло, лежащее на столе, и увидел в нем свое лицо; и хоть отражение не было четким, заметил на подбородке и возле рта обвисшую кожу, под глазами мешки в форме полумесяцев, а выше — две врезавшиеся в шевелюру залысины.

Долго ты смотрел в это толстое стекло на полированном столе, оно довольно хорошо заменяло зеркало. Ты заметил, что глаза у тебя усталые и вокруг них проступают морщинки, что начинается едва еще уловимое, но, пожалуй, уже заметное тяготение носа книзу, являющееся одним из первых признаков приближающейся старости — еще далекой, но уже оповещающей о своем приближении.

Созерцание собственного отражения в толстом стекле, прикрывающем директорский стол, следует признать важным моментом в биографии Михала Топорного, ибо в эту минуту с него явно начала спадать новая кожа, напяленная много лет назад перед большим зеркалом в холле ночного ресторана; та новая кожа, которая символизировала и определяла всю его жизненную программу, складывавшуюся в первые месяцы и годы пребывания в городе, и жестокость, с которой он шествовал по «линии, идущей неуклонно ввысь», и жадное наверстывание упущенного, и его эгоизм, прикрывающий убожество, и трепет опоздавшего, который держит дрожащими руками дары времени.

А по мере того как спадала новая кожа, он, глядясь в темное, сумрачное зеркало, образованное стеклом и полированным деревом, облачался в выцветшую кожу безропотного страдальца и, пожалуй, уже не защищался от натиска памяти.

X

На время, отделяющее день бегства Веславы от дня смерти Михала Топорного, приходится также третье посещение сельского учителя. Этот старик приехал к своему бывшему ученику уже не за тем, чтобы помочь ему внять голосу совести, как при первом свидании, и не для того, чтобы самому будить его совесть и обвинять в том, что он попрал свои давние принципы, как при втором свидании, а для того, чтобы утешить его и обнадежить, ибо, вероятно, узнал, что после ухода Веславы Михал переживает тяжелые дни.

Уже во время второго визита можно было заметить, что этот мудрый человек, которого называли в деревне «товарищ учитель», хорошо осведомлен о том, как протекает твоя жизнь, и отчетливо представляет себе, что она проходила словно в экстазе, да и теперь остается как бы безумным танцем. И потому уже тогда, упрекая и решительно настаивая, чтобы ты, отказавшись от своих ошеломляющих и алчных замыслов, стал на путь здравомыслия, он с трудом скрывал снисхождение, а возможно, даже жалость к тебе, а также неизменную готовность прощать тебя и всегдашнюю озабоченность твоей судьбой.

Все это, скрываемое прежде по тактическим соображениям, частично обнаружилось уже во время второго разговора и выявилось полностью при третьей встрече. Учитель долго говорил о расширенных тобой

предприятиях, где многие люди получили работу, ибо хотел тебя порадовать, а также показать этим упоминанием о твоих заслугах, что прощает тебя и что твоя жизнь не лишена смысла; видно было, он настойчиво искал, чем бы вселить в тебя надежду, словно предчувствуя, что над тобой, предающимся сомнениям, нависает угроза и что тебя надо спасать от удара, который ты сам себе уготовил.

Этот разговор был не из легких для старого учителя, поскольку ему пришлось с огромным напряжением защищать тебя от твоего собственного неверия, и отчаянья, и от торжества тех, кто поминал тебя лихом и радовался, что ты брошен любимой женой, наличие которой, по наивным представлениям опоздавших, казалось тебе лучшим доказательством восполнения упущенного.

Во время этой последней встречи с сельским учителем у тебя были также оба твоих сына — Станислав и Ежи. Дверь комнаты, в которой сидели твои сыновья, была приоткрыта, и вы видели этих молодых людей, склонившихся за столом над какой-то книгой, а потом услышали, как они о чем-то оживленно говорили; из соседней комнаты в комнату, где сидел ты со старым учителем, будто бы долетали отблески умиротворенной юности, и обрывки их фраз настойчиво врывались в атмосферу серьезности и тягостных нравоучений.

Две эти комнаты были как бы двумя соприкасающимися мирами, и старик это понял и, надо признать, ловко использовал в многотрудном единоборстве с твоей судьбой; ибо он, борясь за тебя, окончательно исчерпал так называемую производственную тему и, в сущности, уже все сказал тебе о расширении предприятий объединения, и о тех сонмах людских, которые получили там работу, и о том, что на своем высоком посту ты в силах еще много хорошего сделать для промышленности и для людей.

Но когда эта тема иссякла, наступила неловкая пауза; и в тишине отчетливо и упрямо зазвучали отголоски юности из комнаты, где сидели твои сыновья, и старый учитель сразу смекнул, что теперь следует положить на чашу весов жизнь и судьбы твоих сыновей, прежнюю их жизнь, а также в общих чертах их будущее. Он указывал тебе рукой на комнату, откуда долетали обрывки беседы Сташека и Юрека, и, несколько понизив голос, заговорил о твоих сыновьях.

Наступил момент, когда тон вашего разговора сделался как будто теплее, благодаря чему борьба за тебя словно бы упростилась; на твоем лице появилась мягкая улыбка, едва старый учитель принялся, якобы шутки ради, а по сути всерьез, доказывать, какой великий перелом, какая огромная революция произошла в судьбах твоих сыновей.

Он говорил тебе, что ты сделал сыновей равными, что Станислав Топорный — сын хлебороба Михала Топорного — теперь ровня Ежи Топорному, сыну директора Михала Топорного.

Продолжая эти малость шутливые, но какие-то чудные и непостижимые, а по существу серьезные рассуждения, он, старый учитель, давал тебе понять, что в первый раз ты был отцом-хлеборобом, родившимся в хате, где утрамбованная глина служила полом, отцом крестьянского сына Сташека, родившегося в хате с глиняным полом на грязной постели и с помощью одной-единственной деревенской повитухи; а во второй раз ты был отцом-инженером, и твой сын Юрек родился в шикарном городском доме на белоснежной шикарной постели с помощью врача-акушера и медицинской сестры, ухоженный и окруженный чрезмерной заботливостью эскулапов; и что матерью первого была деревенская женщина Мария, урожденная Балай, а матерью второго — городская пани Веслава, урожденная Яжецкая; а ты привел обоих сыновей — из крестьянской хаты и городского дома — в одну точку, то есть помог Сташеку догнать Юрека, а Юреку догнать Сташека; ибо Юрек тоже должен был

догонять Сташека и дорасти до понимания этой унылой долины, раскинувшейся между широкой рекой и обрывом каменоломни, родной долины отца и брата; и теперь они уже равны.

А из дальнейших, якобы шутливых, а на самом деле серьезных, слов твоего деревенского учителя следовало, что и ты в самом себе совершил переворот, превратил себя из хлебороба в инженера.

Это была легкая часть разговора, и казалось, твоя уверенность, возникающая из осознания смысла собственной жизни, начинает шириться и ты выбираешься на восходящую прямую, которая ведет к надежде.

Вдруг учитель встал со стула, потянул тебя за рукав, и, крадучись, вы тихо приблизились к приоткрытой двери, за которой разговаривали твои сыновья; вы остановились у порога, откуда были хорошо видны оба молодых человека. Они говорили о каком-то историческом событии, и Сташек, уже студент университета, объяснял Юреку подробности этого события.

Ты смотрел на своих сыновей и делал выбор; однако выбрал не старшего, не младшего, а обоих, то есть избрал третью возможность, и так родилась твоя надежда, и так ты одержал победу над умирающим городом мещан.

Стоя у этой приоткрытой двери, ты, пожалуй, с особой остротой улавливал поступь грядущей надежды.

Одновременно это были радостные минуты для твоих друзей, которые всеми способами доискиваются смысла твоей жизни. Для твоих друзей, ищущих также оправдания тому, что жизнь твоя сложилась так, а не иначе, желающих, чтобы ты был прощен, и потому радующихся тем минутам, когда ты обращался к будущему — своему и своих сыновей.

Ты долго стоял возле приоткрытой двери и смотрел на сыновей, и надежда все нарастала, и возрадовался твой старый учитель, который полагал, что ты пойдешь дальше по жизни уже исполненный надежды, с твердым решением трудиться разумно и на пользу людям; пожалуй, ты и сам так думал, находясь в кругу своих близких и внемля отрадному человечному звучанию их голосов, которое несет с собой надежду и с этой надеждой врывается в уши сомневающихся и удрученных.

Во время третьей встречи с учителем ты был спокоен, а возможно, даже и кроток, поскольку снова уже облачался в поблекшую кожу смиренного человека.

Текли минуты умиротворения, безгранично располагающие к просветленности разума, и следовало бы приложить все старания и помочь старому сельскому учителю добиться того, чтобы только из таких минут состояла твоя жизнь до самой гробовой доски. Следовало постараться, несмотря даже на тщетность усилий, даже зная, что этим минутам скоро конец, а уж это известно доподлинно, благо известна вся твоя жизнь.

Эти минуты пройдут, и рухнет надежда, и тщетны будут утешения; а все случится из-за пустяка, безделицы, капли рубина, небольшого рубинового кристалла, который ты вдруг увидал на ковре в своей комнате, когда стоял у приоткрытой двери и слушал, о чем говорят сыновья, и тебя наполняла надежда; а рядом добродушно улыбался старый учитель, также проникающийся надеждой, что наконец смог остановить головокружительный, словно безумный танец, каким была доселе твоя жизнь.

Но эта рубиновая блестка, этот кристаллик, выпавший из длинного ожерелья Веславы и оставшийся на ковре, свел на нет все утешения учителя.

Ты не растоптал и не растер подошвой этот кристаллик, а наклонился и поднял его, и подержал на ладони, и снова отдался во власть безумия и безверия.

Ты даже стал поклоняться этой безделице и спрятал бусинку в такое место, чтобы ее можно было легко найти и подержать в руках, а потом положить на ладонь и разглядывать; и на следующее утро ты так долго созерцал этот кусочек рубина из ожерелья Веславы, что опоздал на важное производственное совещание в узком кругу и выслушал упрек представителя министерства, что с некоторых пор пренебрегаешь своими служебными обязанностями, и это было воспринято тобой как предзнаменование, что уже не просидишь долго в кресле главного директора. Тебе показалось также, что это написано на лицах работников объединения, которые были еще услужливы и еще выполняли твои указания, но становились словно более сдержанными в своей услужливости и прилежании, как будто уже резервировали значительную часть своей услужливости и предупредительности для других обстоятельств, для нового директора, который придет тебе на смену; ибо ты уже оступился и этим кто-то воспользуется, ведь такова жизнь, и ничего не поделаешь; время летит быстро, и, когда ты оступишься, никто не станет ждать, пока к тебе вернутся энергия и сила,— напротив, кто-то немедленно захочет восполнить пробел и будет торопиться, чтобы поспеть, прежде чем ты опомнишься. Так тебе казалось, и так ты подумал, когда тебя пожурил представитель министерства.

Ты подумал, что вполне вероятно, твой первый заместитель, грузный, коренастый блондин, воспользуется этим случаем и, возможно, его энергия и сила заменят твою иссякшую энергию и силу, твою напряженно работающую мысль, нацеленную на «линию, идущую неуклонно ввысь». А может, ты подумал, что промахом воспользуется твой второй заместитель, и тебе показалось, что он этого ждет и радуется теперь, что под тобой закачалось директорское кресло, точно так же, как радовался ты, когда оплошал предыдущий директор.

XI

В тот день, когда представитель министерства пожурил тебя, ты получил также заключение специальной комиссии о работе отдельных предприятий объединения: из документа явствовало, что надлежит обратить особое внимание на техническое оборудование и качество продукции каменоломен, а это, в свою очередь, означало, что ты как главный директор обязан лично съездить в ту большую каменоломню, которая расположена на краю твоей родной унылой долины, и лично произвести осмотр оборудования.

Ты наметил в своем календаре дату этой инспекционной поездки.

В день твоего отъезда над городом светило солнце и все звуки и отголоски города, озаренного солнцем, сделались как бы еще навязчивее и истошней; и среди этой пронзительной разноголосицы ты ехал в автомобиле, пока не попал на более свободное и тихое шоссе, ведущее к каменоломне. А когда выбрался за городскую черту и город уже остался позади, тебя еще некоторое время преследовали эти назойливые звуки.

Ты был один в автомобиле, потому что накануне предупредил шофера: «Я поведу машину сам». И взял свою машину, поскольку она была быстроходнее служебной.

Вот ты уже на пустынном шоссе, по обеим сторонам его обнаженные поля — ведь сейчас осень, а она срывает с полей их пестрый наряд.

Через несколько часов ты въехал в небольшое местечко, где почти двадцать лет назад сдал экзамен на аттестат зрелости. Тогда ты прибыл в этот городишко на телеге вместе с помешанным стариком, связанным веревками, его дочерью, вытиравшей кулаками слезы, и с твоим, в ту пору еще подвижным, деревенским учителем.

Ты остановился у ворот с крестом, вошел на кладбище и отыскал могилу старика, который обезумел при виде земли, полученной лишь на старости лет, и уже не мог сладить с этой слишком поздно доставшейся землей, и вел себя так, точно не знал, на что она и что с ней делают; или, быть может, слишком торопился проскочить время между севом и готовым хлебом, или, будучи опоздавшим, с чрезмерной поспешностью рвался к хлебу и потому пожирал эту землю как хлеб и потерял рассудок; или, может быть, забыв о необходимости терпеливо дожидаться, когда придет пора печь каравай, с нетерпеньем опоздавшего так взалкал хлеба, что помешался; или, может быть, боясь опоздать хотя бы на секунду, всей огромной силой своего счастливого помешательства так сжал время, что дни, отделяющие пахоту и сев от выпечки хлеба, стали для него единым мигом, и он в своем радостном умопомрачении спутал землю с хлебом, и принял землю за хлеб, и пожирал ее подобно хлебу.

Ты долго стоял у могилы помешанного танцора, этого патрона приблудных и опоздавших; а потом поехал дальше к каменоломне.

Автомобиль ты остановил на пригорке, откуда открывался вид на твою родную деревню; там внизу, среди деревьев стояли дома, а перед ними и позади них простиралась унылая долина.

Ты съехал вниз по узкой дороге, вышел из автомобиля — и тут началось твое покаянное возвращение, и ты робко и крадучись стал подбираться к ветшающим стенам отчего дома.

Уже сползла блистательная кожа, надетая много лет назад, и ты снова был в поблекшей коже смиренного человека; и походка твоя была неторопliва и тяжела, и это был уже не головокружительный, буйный танец опоздавшего, а медленное шествие усталого человека, которому некуда торопиться.

Люди стояли за изгородями и смотрели на тебя и, вероятно, о многом думали, но хранили молчание, а ты, согбенный, брел неторопливо и медленно приближался к отчему дому.

Ты не смог отворить калитку, и пришлось несколько раз рвануть ее, прежде чем она подалась; ибо мешала трава, которой обросли и забор и калитка, не открывавшаяся долгие годы.

Когда ты отворил калитку и предстал перед своим отчим домом, тебя поманили к себе его почерневшие, растрескавшиеся и влажные стены, в которых словно бы гудело само неутомимое время.

Продираясь сквозь крапиву, ты приблизился к этим стенам, и приложил к ним руки, и почувствовал, что они холодны, как стены склепа.

Тихо было на улице, и люди молчали за изгородями, и вся деревня словно вымерла, но казалось, что эта безмолвная деревня прощает тебя — одинокого, стоящего возле ветшающих стен отчего дома; ибо ты испытал на себе жестокую участь блудных сыновей, которые обречены влачить тяжкий груз отцовского прощения.

А потом тебя поманило к себе зашитое досками окно, и, утопая в высоком бурьяне, ты подобрался к этому окну, и всунул пальцы в щели между досками, и заглядывал в них, и вдыхал затхлый холодок, которым тянуло из щелей, а глаза твои осваивались с сумраком, царившим в хате.

Ты заметил, что сумрак этот рассекали полосы света, пробивавшегося сквозь щели в досках, загораживающих второе окно; и в скудном свете лучей увидел перевернутую лавку, у которой недоставало одной ножки, какую-то тряпку, черный глиняный горшок и прижавшегося к нему дохлого котенка, погибшего голодной смертью в этом доме, ставшем ему могилой. Котенок, вернее уже скелет, лежал возле горшка, ибо, по всей вероятности, заглядывал в него в поисках съестного или воды, и, возможно, даже чем-нибудь там поживился; но все же надолго этого не хватило, и ему, заточенному в пустом доме, пришлось подыхать; у

людей в ту пору хватало дел поважнее, и они не вспомнили о несчастном котенке; а возможно, до них и доносилось его истошное мяукание, может, даже какой-нибудь прохожий услыхал ночью отчаянное мяуканье маленького существа, кому-то врывались в уши стенания издыхающего животного, но тогда хватало дел поважнее, и люди проходили мимо, как бы не слыша этих воплей; вот почему пришлось погибнуть котенку, и не исключено, что, околевая, прижавшийся к холодному горшку, он слышал, как на дворе раздавался топот человеческих ног и стук колес и как перекликались люди, у которых, разумеется, столько важных дел.

А теперь ты глядишь на истлевшие останки котенка и видишь в луче света его пустой череп с дырками вместо глаз и, как у всех дохлых кошек, оскаленные зубы.

Ты долго стоял возле залитого окна и сквозь щели в досках разглядывал просторную пустую горницу, пока от напряженья не задрожала, не поплыла в глазах эта пустота и не пустились в пляс пылинки и всякая мелкая рухлядь, не задвигались на стенах полуотвалившиеся пласты голубоватой штукатурки.

Ты долго стоял возле окна, а потом, влача свою поблекшую кожу смиренного человека, побродил по усадьбе и заметил, что нет уже амбара, конюшни и хлева, ибо все это было разобрано и пошло на дрова, а там, где они стояли, росла свекла, посаженная дядей Миколаем, который знал, что хорошо родится на таких местах.

А потом прошел в старый сад и смотрел на корявые деревья, их любил твой отец Винценты, предпочитая их своим дочерям.

Миновав сад, ты увидел огромный массив издревле крестьянских полей и огромный массив бывших помещичьих, а ныне крестьянских угодий. Была осень, и эти поля почернели, а кое-где поблескивали, точно отполированные.

Местами попадались небольшие выпуклости, словно кому-то, тщетно пытавшемуся вылезти из-под земли, удавалось лишь там да сям вспучить почву.

Ты шагал по пустым полям и ощущал мягкость почвы под ногами, а впереди маячил тот клочок земли, на котором самый бедный обитатель приходского приюта отплясывал свой безумный танец.

Это место ничем не было обозначено — ведь земля не могла сохранить какие-либо следы давнишней пляски, а над землей был только воздух и ничего более; следовательно, место, где кружил в танце старик из приходского приюта, было запечатлено лишь в твоей памяти.

Приблизившись к тому кругу, где плясал сумасшедший старик, ты вдруг притопнул ногой, и она увязла в мягкой пашне, потом притопнул другой и, подогнув колени, медленно, в каком-то полутанце прошелся по кругу; затем, уже явственней пританцовывая, сделал второй круг на том же месте, да так и закружил и засмеялся радостно, словно обрел счастье, которому ничто не может угрожать.

Люди стояли за заборами и издали смотрели на тебя.

Когда же ты, наконец, вырвался из этого круга, то долго еще кружил по родной унылой долине, а потом вышел к каменистой гропе и начал медленно взбираться по склону холма к каменоломне через увядший кустарник, обступивший тропу, что вела тебя к смерти.

Ты заходил все выше, и кусты редели, и сверху можно было посмотреть на свою родную, почерневшую, унылую долину и даже увидеть на другом ее конце, за валом, более светлую, чем земля, ленту широкой реки.

Там, внизу, в этой унылой долине росли деревья, стояли хаты и кое-где виднелись человеческие фигуры, бредущие по полям или копошащиеся возле домов.

Люди, словно пристыженные, попрятались за изгороди и смотрели снизу, как ты идешь по верху склона и оборачиваешься, чтобы оглядеть поля и всю долину.

А ты шел дальше, то и дело останавливаясь, чтобы окинуть взглядом огромный круг долины, и снова продолжал путь; ты пропал из виду только за гребнем холма, где начинались скалы и узкие проходы в осклизлом камне, ведущие к кромке обрыва, с которой специалисты часто обозревали каменоломню — оттуда лучше всего было видно, как продвигается ее расширение.

Очевидцы, глядевшие со стороны деревни и широкой долины, видели тебя только до того момента, когда ты перевалил через гребень холма; а те, что находились по ту сторону скал, увидали тебя уже только падающим в пропасть.

И те, перед чьими глазами высилась эта скалистая стена, утверждали, будто ты падал как большая птица, с которой что-то стряслось в поднебесье и низринуло ее на землю.

Итак, одни видели, как ты дошел до гребня и перевалил его, а другие — как ты падал в пропасть. Следовательно, отрезок твоего пути от гребня до пропасти укрылся от чьих-либо глаз.

Почувствовал ли ты, преодолев этот гребень, холодный пот на лбу, а в ногах и руках слабость, и, может быть, у тебя перед глазами замельтешили пятна, которые появляются обычно, когда постепенно перестает биться сердце; и упал ли ты тогда на осклизлый выступ скалы, наклоняющийся к пропасти, и скатился ли на край обрыва, и рухнул вниз — никто этого не знает.

Может, перестало биться, а может, разорвалось твое постоянно понукаемое сердце, может, ты задохнулся, ибо стольких торопливых и тревожных вдохов стоил тебе этот путь по линии, идущей ввысь, путь от крестьянина к инженеру и главному директору крупного горнодобывающего объединения.

А может, все было иначе за этим гребнем. И когда ты очутился среди гладких и скользких скал, воздух, вздымавшийся над пропастью, показался тебе самым прозрачным, бодрящим и искристым в мире, и, может, поманил тебя этот прозрачный восходящий поток, и тебе очень захотелось вступить в него, ибо тебя вконец утомил твой безумный танец и, вполне вероятно, захотелось безотчетно отдаться во власть этого хрустального воздуха, заполняющего пропасть и клубящегося над пропастью, и не исключено, что сам, по собственной воле, завершая безумный, утомительный танец, ты шагнул в этот лучистый поток — и рухнул в пропасть.

Так могло случиться за гребнем холма, поскольку ты мог внезапно ощутить непреодолимую потребность в отдыхе после утомительной, многолетней страды.

Но этого не должно было случиться за гребнем, ибо у тебя были сыновья, лица и глаза которых многие годы пробуждали в тебе надежду.

А может, с тобой случилось совсем другое, когда ты миновал этот земляной горб; может, за этим горбом ты не был один, и в ту же минуту, когда перебрался через него, перед тобой предстал высокий гибкий парень, которого — как говорили позже — в ту пору, когда ты поднимался по склону, не было ни в деревне, ни дома, ни в карьере; может, он был за этим гребнем, и там поджидал тебя, и, когда ты дошел туда, многозначительно улыбнулся, и представился тебе, и сказал, что он сын того рослого мужика, который защищал лес, обреченный тобой на вырубку, того мужика, который убил бульдозериста, а потом ловко обманул погоню, прыгнув в пропасть; и, возможно, этот рослый парень, продолжая многозначительно улыбаться и приближаясь к тебе с широ-

ко раскинутыми руками, направил тебя и вынудил отступать по узкому, осклизлому коридору, пробитому в камне, к краю обрыва.

И не исключено, хоть это и кажется невероятным, что ты, теснимый широкой грудью, сильными руками и ногами этого гибкого парня и вынужденный отступать к пропасти, послушно пятился; и может, ты даже считал, когда он, наседая, напоминал тебе о судьбе сосняка и смерти своего отца, что твоя покорность необходима и справедлива.

А может, ты пытался воспротивиться смерти, в объятья которой, напирая и улыбаясь, с издевкой толкал тебя этот гибкий парень; если так было, то ты, возможно, пытался кинуться на этого парня, но тебя, конечно, отбросило от его молодой и сильной груди и от его сильных рук и ног, и ты мог упасть на осклизлый камень, и покатиться кубарем на край пропасти, и соскользнуть вниз.

Этого никто не знает наверняка, поскольку стоявшие за деревенскими изгородями видели тебя лишь до того момента, как ты миновал гребень холма, а те, что смотрели на отвесную гладкую стену пропасти, увидели тебя уже в воздухе, когда ты падал, похожий на большую птицу.

Так это было или иначе, но глядевшие на обрыв видели, как ты падал, но не могли сказать, почему ты падал. Они только без конца повторяли, что ты падал, как птица, которую что-то сразило в поднебесье; и еще говорили в деревне, что ты за свой век высоко взобрался, да плохо кончил.

XII

Надо снова вернуться к каменным воротам кладбища, при виде которых исполнились гордости мужики, следовавшие за твоим гробом, и снова войти на кладбище, и приобщиться к этому печальному торжеству, чтобы попрощаться с тобой.

Ораторы говорили над твоей могилой так, словно ваяли тебя из гранитной глыбы, а ты был приблудным выходцем из унылой долины и смотрел на мир до боли широко раскрытыми глазами.

Они говорили, что ты был твердым и работящим и потому высоко поднялся; но можно также сказать, что ты довольно безотчетно пер напролом к своему счастью, а когда до него долез, то начал плутать и заплутался в своем счастье и забился в смятении, стукаясь обо все углы этого счастья.

Они, то есть выступающие на похоронах, провозглашали над твоей могилой: «Человек, с которым мы сегодня прощаемся, подавал нам достойный пример того, как надо жить и трудиться». Но можно также сказать, что ты слишком рьяно взялся помогать истории, а может быть, вознамерился опередить ее и потому смертельно устал; и потому так сложилась твоя жизнь и ты в конце концов упал со скалы — безразлично, какова подлинная причина: то ли разрыв сердца, то ли всепоглощающая, лихорадочная жажда отдыха, то ли добровольное или вынужденное отступление под натиском мускулистого гибкого парня, сына рослого мужика, который ради сосняка убил другого человека и самого себя.

Ораторы громко провозглашали над твоей могилой, что, мол, трудолюбие и настойчивость ты вынес из деревни, унаследовав их от крестьян; но слишком мало сказать, что трудолюбие и упорство ты вынес из деревни; мало также сказать — трудолюбие и упорство,— говоря о том, что гнало тебя вперед по «линии, идущей неуклонно ввысь»; ибо, презрев наставления своего деревенского учителя, ты как бы обратился в веру безумного старца из приюта для бедняков и словно уподобился ему, пожиравшему дары времени.

Они, эти ораторы, восклицали над твоей могилой, что ты был точен и во все вникал на своем трудном и — как они еще охотно добавляли — ответственном участке; но они не говорили, что ты бывал также несправедлив, порывист и безжалостен, что ненавидел тех, кто отстаивал делянку леса, и был бы, вероятно, доволен, если бы умерла твоя первая жена Мария, и что, по всей вероятности, хотел убить ее; было, пожалуй, и такое в твоей жизни, Михал Топорный, и этого не обойдешь при ее описании.

В деревне сказали, что ты высоко забрался, да плохо кончил, а ораторы на кладбище восклицали над твоей могилой: «Завершилась отданная труду жизнь Михала Топорного»; но можно сказать, что жизнь твоя не была полноценной, потому что ей недоставало исполненного спокойствия и мудрости финала, ибо ты хотел слишком далеко оторваться от всех обитателей твоей родной унылой долины, раскинувшейся между широкой рекой и обрывом каменоломни, и потому не смог уже выйти за пределы самоослепления, которые являются также пределами той вездесущей тени давней юдоли; и потому твоя жизнь была незавершенной, и завершать ее придется сыновьям, и только они, быть может, станут достойными и верными учениками твоего деревенского наставника; и потому все же нельзя сказать, что ты плохо кончил, и жизнь твоя была лишена смысла, а также нельзя согласиться с ораторами, которые провозглашали на похоронах: «Завершилась отданная труду жизнь директора Михала Топорного», ведь твоя жизнь будет продолжаться в твоих сыновьях, в этих молодых людях, которые стояли плечом к плечу возле твоего гроба.

После твоих похорон они условились, что вместе отправятся в эту унылую долину и посмотрят на твой родной дом, а также на то место у подножья отвесной скалы, где тебя нашли мертвым.

Сташек, переселившись в город, часто навещал эту долину и эту деревню; он наведывался туда студентом университета и позже, когда начал работать в средней школе. Сперва он просто навещал мать, которая жила у своего отца, потом, когда она перебралась к нему в город, часто собирал в деревне материал для своих социологических исследований; а после твоих похорон он отправился туда вместе со своим единокровным братом Юреком.

В день их приезда над унылой долиной светило солнце и вся она посветлела; широкий плес искрился и сверкал; кое-где поблескивала вспаханная земля и даже мертвенно-бледная стена каменоломни. Люди выходили навстречу твоим сыновьям из хат и из-за изгородей, присматривались к ним, улыбались им и доброжелательно с ними разговаривали.

В тот раз твои сыновья побывали во многих усадьбах, многое увидели и узнали и долго простояли на том месте, где нашли тебя, упавшего со скалы, и которое ничем особенным не отличалось.

Потом они долго бродили по твоему родному двору, заглядывали в щели между досками, которыми были забиты окна; но более любопытные и дотошные, чем ты, они, поскольку внутренность хаты плохо была видна сквозь щели в досках,— с силой нажали на дверь, которая поддалась под напором их молодых, крепких рук, и вошли в горницу, и в затхлой тишине пустой хаты услышали шорох разбегающихся насекомых; в горнице по-прежнему валялась скамейка, закопченный горшок, скелет котенка, обвившегося вокруг горшка.

Сташек заглянул за массивную печь и обнаружил там изъеденную тараканами твою старую тетрадь, ту первую тетрадь, которую ты купил себе, когда, поддавшись уговорам деревенского учителя, стал посещать тайные занятия. На печи он нашел также тряпичную куклу одной из

своих теток, которые поумирали в детстве; он взял себе на память и куклу и тетрадь.

Потом твои сыновья забрались на чердак, где обнаружили истлевшие, скомканные тряпки, луковую шелуху, плетенки от чеснока, прелую мякину, а в сухом углу, над которым еще не протекала крыша, какие-то чурбачки.

В этом углу твои сыновья нашли в мякине каким-то чудом сохранившуюся тележку, любимую игрушку деревенской детворы, которую ты сделал собственными руками; такую же, как та, которую смастерил Сташек для своего единокровного брата и которая по приказу твоей жены Веславы была разбита о бетон в ту минуту, когда умирающий город мещан начал брать тебя в оборот и ты уже вступал в полосу своей удрученности.

Юрек обрадовался находке и решил взять ее на память; он выкопал тележку из мякины, отнес вниз и поставил на ровном месте, потом ухватился за дышло и побежал по гладкой земле, и покривившиеся и неуклюжие колесики завертелись, и возле пустой хаты послышалось их задорное тарахтенье.

ОТТО РЕНЭ КАСТИЛЬО

ТРОНЕМСЯ, РОДИНА, В ПУТЬ...

(Строки гватемальского поэта-партизана, погибшего в бою)

Перевод с испанского
ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ

Всем, кто по-настоящему сражается за то, чтоб покончить с системой угнетения и нищеты в моей прекрасной стране.

Любовь моя — дальняя родина.
Сердце — влюбленный юнга.
Время — бурное море,
Волны свои метнувшее,
Чтоб с концами звезды далекой
Сомкнуться.

Голод

Он приходит неслышно,
чтоб навек завладеть твоим домом,
он с тобою как тень,
о рабочий страны моей!
Он за душу цепляется
в воспоминанье знакомом,
оседая туманом
на плечи твоих детей.
И к жене пристает,
очень худенькой, вечно молчащей,
и в усталую складку
кривит ее маленький рот...
И, поднявшись чуть свет,
мельтешит над семьей твоей спящей,
поздно ночью не ляжет,
и всё твои силы грызет —
те остатние силы,
что хозяин оставил рабочим...
И на всех языках
знает только лишь слово «еда»,
и его повторяет с издевкой,
и злобно хохочет,
и во взгляде детей
поселяет печаль навсегда.

И печальные дети
глядят, как за далью окраин
подымаются зори голодных, безрадостных дней...
Есть хозяин у голода —
тот же хозяин,
что у тебя и твоих детей.
И осилить твой голод поможет одно лишь —
Свобода,
о рабочий страны моей!
И единой семьею
вы встретите дружно у входа
восходящие зори
счастливых и радостных дней.

Рабочие хлопковых полей

Товарищам, так бесчеловечно эксплуатируемым на хлопковых полях моей страны

Видно, для рабочих
хлопковых полей
рассветает раньше,
чем для всех людей.
Солнце только встанет —
ан уже вокруг
путь его проложен
ритмом спин и рук.

Слышал я, рабочие
хлопковых полей
помнят даже ночью
о страде своей:
смуглою рукою
машут и во сне,
хлопья белой сказки
режут в тишине,
чтобы эта сказка
берегла других
от ночей холодных,
от ветров лихих.

Говорят, рабочие
хлопковых полей
столько накопили
солнечных лучей
у себя на лицах
в ходе тяжких лет,
что осветить могли бы
тысячи планет.

Я не видел твоей улыбки

Знаешь,
смуглая родина,
я никогда не видел
твоей улыбки,
хотя бы едва заметной.

Это печально.
Но, право же,
я не знаю
ни улыбки твоей,
ни лица твоего,
ни взгляда,
ибо, когда б мы ни встретились,—
ты плачешь.

Смуглая родина,
я никогда не слышал
твоего смеха.

Кожа моя стареет,
на душу ложатся морщины
с каждым днем,
а глаза твои даже не смотрят —
нет у них для меня ничего,
кроме слез безбрежных.

Думала ль ты, как ужасно,
если родина,
которую любишь,
совсем не умеет смеяться
и только печально
ожидает удара в спину
из тьмы проклятой...

Смуглая родина,
я у тебя не прошу ничего,
лишь только улыбку.
Как же можно, чтоб мать
не улыбнулась хоть раз сыну,
чтоб он вечно смотрел
на ее слезы?

Смуглая родина,
ты когда-нибудь мне улыбнешься,
ведь правда?

Это будет, я знаю.

И за такое мгновенье
не жалко
всю жизнь сражаться
против стольких смертей
и стольких, стольких печалей.

Тронемся, родина, в путь...

Чтоб шаги мои не исходили плачем,
чтоб слова мои не исходили кровью,
пою мои песни.

Про лицо твое, вобравшее душу,
что рекой родилась в моих ладонях,
пою мои песни.

Про тебя, прорастающую светом
в горестной костй моих стонов,
пою мои песни.

Чтоб слова «земля моя!» не звучали
мерою тоски и страданья,
пою мои песни.

О бессмертье твоего народа
пою мои песни.

Иду я тропою голоса, чтоб сказать тебе: слушай!
Ты, устремленная ввысь вопросом плодов и веток,
средь скрипучих стропил моего крика
с пути не собьешься,
ибо в его сердцевине живет гончар-майя
и высокó на звезде и глубокó в море,
корчась в корнях и дрожа на свету, вплетает
имя твое в слово моих песен.
Пою твое имя, веселое, как борозда от плуга,
навстречу спешащее моей человечьей боли,
вырывающее меня из объятий моря
и бросающее в объятья ветра,
чтоб уста мои во мраке не стыли;
помогающее вынести искус быть человеком,
никогда не падая в пропасть измены,
и помнить: кто от тебя отречется —
вручает тьме свою душу...

Тронемся, родина, в путь, я пойду с тобою.

Я спущусь в бездны, которые ты укажешь.
Я напьюсь из чаши твоей горького соку.
Я стану слепым, чтоб смотрели твои очи.
Я стану немым, чтобы звенел твой голос.
Я с жизнью расстанусь, чтоб ты жила вечно
и чтобы милый твой образ вставал, пылая,
в каждом цветке, рожденном из моего праха.

Так оно быть должно, и не будем, родина, спорить.

Я не хочу обладать лишь твоими слезами,
хочу идти с тобой посреди молний.
Вместе в рабочей страде — ведь я человек из народа
и в октябре родился, чтоб увидеть лицо мира.

Свобода

За тебя
столько нас мучили,
столько стреляли в сердце,
что мы не поместимся,
даже стоя,
в логове смерти.

В моей стране
Свобода —
это не вихрь души,
а мужество кожи.

На каждом из нас твое имя
написано кровью:
Свобода.
На скрюченных пытками пальцах.
В глазах,
открытых навстречу
ночи.
На лбу, окрыленном могучей волей.
На сердце,
готовом терпеть и не выдать.
На усталых ногах,
разбитых
о камни дороги.

За тебя
столько нам нанесли палачи
ударов,
столько раз высекали
у нас на спине твое имя,
что мы уже сами — Свобода
и, подобно тебе,— бессмертны.

Что ж,
пусть они мучают нас,
если еще не устали,
ты ведь их все равно победишь,
Свобода.
И в час,
когда мы расстреляем последние
пули,
ты изначальною песней
закипишь в горле
у сынов родимой моей земли,
Свобода.
Ибо под солнцем нет
ничего краше,
чем свободный народ,
ступающий с песней
по обломкам старого мира.

И будешь ты с нами
отныне всегда,
Свобода:
наш сон сторожить
и поутру идти на работу,
нас провожая,
влюбленных в твое прекрасное
имя —
Свобода!

Р. К. НАРАЙАН

Продавец сладостей

РОМАН

Перевод с английского
Н. ДЕМУРОВОЙ

8

Сруд порос синим лотосом, ступеньки, ведущие к воде, замшели и крошились. На берегу стоял маленький храм, каменные столбы поддерживали низкий навес из гранитных плит, почерневших от времени, дождей и дыма из очагов паломников. Над невысоким этим навесом шумели баньяновые и манговые деревья, а за ним уходила вдаль роща казуарины. Ветер шевелил ветви деревьев, и они шумели непрерывно, словно волны моря. Вокруг все заросло: ежевика, шиповник, олеандры переплелись и глушили друг друга. Солнце играло на поверхности пруда. Бородатый подвел Джагана к берегу и задумался, глядя, как птицы ныряют в воду.

— Как здесь спокойно,— заметил Джаган, решив нарушить гнетущую тишину.

Бородатый покачал головой:

— Не так, как бывало раньше. Слишком много автобусов идет по этой дороге. С тех пор как в горах начали это строительство...

Голос его замер.

— В те дни,— продолжал он, помолчав,— когда я жил здесь со своим учителем, можно было идти отсюда до самого города и не встретить ни души. В те дни люди не лазали на гору, как сейчас, разбойники прятались в джунглях, а у подножия горы бродили только слоны да тигры.

Мысль о том, что тигры уступили место автобусам, явно угнетала его.

— Почему вы решили жить здесь? — спросил Джаган.

— А где же еще? Нам нужен был камень.

Он указал вдаль, за рощу.

— Видите нос Мемпи? Это камень мягкий, из него хорошо резать фризы. Ну, а для богов, которых ставят внутрь, на алтарь, нужно брать камень повыше, из самой середины горы, хотя рубить его трудно и чаще бывают трещины.

Голова его была прямо битком набита всякими сведениями о камне.

Джаган смотрел на него в молчаливом изумлении.

---

* Окончание. Начало см. в № 1.

— А как здесь с едой, особенно если у тебя жена и дети?

Бородатый махнул рукой, словно отметал все эти мелочи.

— Мой учитель о таких вещах никогда не думал. Он не был женат. Я жил у него с пятилетнего возраста. Не знаю, кто были мои родители. Мне говорили, что учитель подобрал меня на ступеньках возле реки.

Джагану очень хотелось спросить, не был ли он рожден от одной из случайных наложниц своего неженатого учителя (так он его называл), — но сдержался. Бородатый погрузился в размышления о прошлом, а Джаган между тем думал:

«Борода у него белейшая, а краску для волос он продает чернейшую. Почему бы ему не выкрасить собственную бороду?»

Вслух он спросил:

— Как идут ваши дела?

Он задавал этот вопрос каждые несколько минут, как только в разговоре возникала пауза.

Бородатый ответил:

— Беспокоиться не о чем, налоговый инспектор до меня еще не добрался.

— Это благословение господне,— сказал Джаган, вспомнив о посещениях, которые приходилось терпеть ему самому, когда инспекторы вместе со своими подручными рылись в его столе, бухгалтерских книгах и расписках. В конце концов они подписывали его счета, не подозревая о сумме, которая все увеличивалась от вечерних сборов, поступавших в меньший сосуд.

Джаган тут ничего не мог поделать — не мог же он прекратить рост сорняков у себя на заднем дворе! К любым налогам относился он с неизменным, инстинктивным, непонятным беспокойством. Если бы Ганди когда-либо сказал. «Плати налог свой безропотно», он бы последовал его наказу, но Ганди, насколько Джагану было известно, о налогах нигде ничего не говорил.

Бородатый усмехнулся.

— Но рано или поздно инспекторы заметят, что седин в городе стало гораздо больше. Тогда-то они и забегают.

Джаган воспользовался случаем и заметил:

— Вы сами, правда, не следуете собственным правилам.

— Мне моя белая борода нравится, вот я и берегу ее. Никого ведь не заставляют краситься силой. Я бы и не подумал красить людям головы, если б мог работать по камню. Но вы же знаете, как бывает в жизни. Мой учитель всю жизнь меня кормил.

«Еще бы!— воскликнул про себя Джаган.— Ведь ты же был его единственным сыном, рожденным от случайной наложницы».

Бородатый указал в угол храма.

— Он работал над этим орнаментом, а я доставлял сюда камень. Он прожил здесь всю свою жизнь. Все его пожитки уместились бы у вас на ладони одной руки. Я варил ему рис вон в том углу, видите, стена там почернела. Весь день он работал. Порой мы уходили в каменоломню за камнем. Он никого не видел, только иногда к нему приходили из храмов, чтобы заказать новое изображение. Люди боялись сюда приходить из-за змей, но мой учитель их любил и не соглашался, чтобы заросли вырубали. А на этом дереве было много обезьян, вы и теперь их видите. «Я делюсь с ними плодами этого дерева»,— говаривал учитель. Он радовался змеям, и обезьянам, и всякой прочей живности. А раз здесь жил даже гепард. «Мы не должны забирать землю. Они нас не обидят»,— говаривал он. И правда, нас никто ни разу не обидел. Когда однажды ночью он умер, я зажег маленький светильник и просидел у его тела до рассвета, а потом сжег его за тем прудом на куче валежника и сухих листьев. На следующий день я отправился в город и жил там

подаянием, пока не придумал открыть свое дело. Вот и все. Мне и теперь жаловаться не на что, но в те дни мне было хорошо...

В задумчивости он обошел храм со всех сторон и заглянул внутрь.

— На алтаре в этом храме когда-то стоял бог, его украли задолго до того, как мы здесь поселились. Однажды ночью учитель разбудил меня и сказал: «Я сделаю нового бога для этого храма. Тогда он снова будет процветать». Он мечтал о боге Сияния, пятиликом Гайатри, равного которому не было бы нигде. Он даже вырубил для него камень и обтесал его с пяти сторон. Он лежал где-то здесь, во дворе... Где же он?

Внезапно бородатый оживился, забегал, заглядывая во все углы храма, зашарил в буйных зарослях цветущих олеандров и хибисков. Он нашел во дворе бамбуковую палку.

— А-а, ты все еще здесь!

Схватил ее и зашагал по двору, словно фигура, сошедшая с древнего барельефа. Джаган молча ходил за ним следом, смотрел на него, на храм и дикие заросли, и ему не верилось, что все это происходит в двадцатом веке. Торговля сластями, деньги, споры с сыном — все казалось ему таким далеким и странным. Грань реальности начала расползаться. Единственной реальностью был этот человек из прошлого тысячелетия. Он вел себя как одержимый. Он указал на траву, зеленевшую под высокой пальмой, и произнес:

— Вот здесь тело моего учителя было предано сожжению. Я до сих пор помню эту страшную ночь.

Он постоял под пальмой с закрытыми глазами, бормоча священные стихи.

— Мы не должны позволять телу вводить нас в заблуждение. Человек это не просто мясо и кости. Мой учитель это доказал,— провозгласил он и вдруг лихорадочно забил по кустам бамбуковой палкой, спугнув множество всяких существ — ящериц, хамелеонов, лягушек и птиц, долгие годы спокойно живших в своем зеленом убежище. Казалось, он радовался их смятению и жадно, с шумом вдыхал запах раздавленной зелени.

— Я уверен, что кобры, которые здесь живут, потихоньку уползли, как только мы появились. Жуткие у них привычки. Всегда настороже и все замечают...

Под сорняками открылись надтреснутые каменные плиты, какие-то части каменных фигур. Бородатый ткнул в них палкой и произнес:

— Это пьедестал для бога Вишну, нам заказал его какой-то храм... А это руки Сарасвати, богини знания, их нельзя было использовать, там в камне небольшая трещина. Мой учитель так огорчился, когда ее заметил, что вышвырнул их за дверь и три дня ни с кем не разговаривал. В такие минуты я боялся к нему подходить, прятался за ствол вон того тамаринда. Когда он успокаивался, он сам меня звал. Но где же тот камень? Где он? Плита два фута на два. Не могли же у нее вырасти ноги... не убежала же она... Хотя, верьте моему слову, если скульптура удалась, ее на пьедестале не удержишь. Я всегда вспоминаю историю об изображении танцующего Натараджа, который был так совершенен, что затанцевал космический танец, и весь город зашатался, словно от землетрясения, пока, наконец, не додумались и не отбили у него мизинец. Мы всегда так поступаем, никто этого не замечает, но мы всегда делаем где-нибудь небольшую щербинку — для безопасности.

Он продолжал говорить, а Джаган слушал его, широко раскрыв глаза. Внезапно перед ним возникла новая вселенная. Он понял, как узок был его мир: памятник Лоули, лавка и фокусы Мали —все это не имело никакого значения.

«Неужели я подошел к порогу новой жизни?» — подумал он. Для него уже ничто не имело значения.

— Такие вещи часто случаются в обычной жизни, но это всегда проходит,— сказал он вслух.

Бородатый подавил свое удивление от столь неожиданного замечания и ответил:

— Истинно, истинно, нельзя забывать о своей подлинной сущности, ведь это не просто мясо да кости.

Он протянул руку к дереву гуавы, сорвал с ветки плод и вонзил в него зубы с радостью десятилетнего сорванца.

— Это дерево всегда давало самые лучшие плоды. На нем вечно полно обезьян, а в некоторые месяцы на нем обезьян больше, чем листьев, честное слово.

Он снова наклонил ветку, сорвал еще плод и протянул его Джагану. Джаган, чтоб не обидеть бородатого, плод взял, но есть его не стал.

— Я не ем сладкого и соли.

— Почему?— спросил бородатый.

— Гм...

Как выразить смысл всей его жизни в нескольких обыденных словах?

— Вы прочтете обо всем этом в моей книге.

При слове «книга» бородатый поскучнел. Он привык к надписям на камне и на пальмовых листьях, печатное слово его не увлекало. А Джаган спокойно продолжал:

— Этот издатель, Натарадж, вы его хоть немного знаете?

Бородатый потерял всякий интерес к теме. Не обращая внимания на Джагана, он продолжал говорить сам, не замечая, что Джаган превозмог соблазн и вместо того, чтобы откусить от плода, уронил его потихоньку на землю. Джаган никак не мог решить, хорош он или плох с диетической точки зрения. Обидно, если он отказался от этого лакомства попусту! Плод был такой аппетитный, зеленовато-желтый сверху, и желто-красный внутри, и такой мягкий на ощупь. До того как Джаган разработал свои теории разумного существования, он съедал с десяток гуав каждый день. С семи и до десяти лет он, можно сказать, весь пропах гуавами! Во дворе их дома, прямо за жестяным сарайчиком, росла огромная гуава. Однажды отец взял топор и срубил ее, приговаривая: «Эти дьяволята ничего не будут есть, пока это проклятое дерево стоит у нас во дворе. Вечно маются животами...»

Джаган шел за бородатым, смутно слыша его слова, но мысли его были заняты плодом, от которого он отказался.

Наконец, бородатый спросил:

— Вы меня слушаете?

— Да, да, конечно,— ответил Джаган.

— Мы все обошли, но этой плиты здесь нет. Где же она может быть?— сказал бородатый. Он обнял палку, положил на нее подбородок и погрузился в раздумье.

Джаган не удержался и спросил:

— Почему это вас так беспокоит?

— Это очень важно. Я же вам сказал. Когда я ее найду, вы сами увидите.

Внезапно он выпустил палку из рук и сказал:

— А-а, вспомнил... Пойдемте!

И зашагал быстро к пруду.

— Сойдем вниз... Осторожно — ступеньки скользкие.

Он спустился по ступеням и зашел по колено в воду. Джаган отстал, не понимая поведения бородатого.

«А вдруг он швырнет меня в пруд, вернется в город и скажет: «Продавец сладостей исчез»?»

Бородатый, возбужденный и покрасневший, повернулся и закричал:

— Что же вы стоите? Боитесь замочить свое дхоти? Ничего, потом высохнет.

Тон его не допускал возражений.

Джаган спустился по замшелым ступенькам. Сердце у него замирало. Дхоти у него, конечно, намокло; легкая дрожь пробирала его; он зачарованно глядел на пчел, вьющихся над синим лотосом. На сердце у него было легко — было бы так чудесно умереть в эту минуту. Махнуть рукой на бесконечные сложности жизни — и умереть! Пока он был занят этими мыслями, бородатый опустился на четвереньки, оглянулся и сказал:

— Идите сюда!

Глаза у него горели, борода развевалась по ветру.

«Мне уже не спастись,— думал Джаган.— Он хочет сунуть меня головой в воду. Может, повернуться и убежать? Нет, надежды на спасение нет!»

И он шагнул вперед. Вода доходила ему теперь до пояса.

«Может, для ревматизма холодная вода и полезна, но я же не ревматик,— подумал он.— Если я не погибну здесь в воде, я умру от воспаления легких. В следующей моей жизни мне бы хотелось родиться...»

Он быстро перебрал в уме всевозможные варианты. Домашним псом? Котом-хищником? Уличным ослом? Махараджей на слоне? Все, что угодно, только не преуспевающим торговцем сладостями с испорченным сыном.

Бородатый, не подымаясь с четвереньек, командовал:

— Опустите руку в воду.

Джаган повиновался, с опаской ступая по скользкому дну.

— Нащупали?— спросил бородатый властно.

Джаган заметил, что с той минуты, как они оказались в саду, бородатый становился все более и более властным. Это уже был не скромный красильщик волос с Кабирской улицы, а грозный вождь, полководец, привыкший к тому, чтобы приказы его выполнялись беспрекословно. Полное, безоговорочное повиновение. Джаган опустил руки в воду и содрогнулся — чьи-то челюсти сомкнулись на его пальцах.

— А-а!— закричал он.

Но, оказалось, это бородатый схватил его за руку. Он улыбнулся и провел рукой Джагана по каменной поверхности, лежавшей на дне.

— Вот он, тот камень... Давайте вытащим его из воды. Возьмитесь покрепче за тот конец. Не подымается? Еще бы! Если б вы ели нормально, как все люди, или, по крайней мере, съедали б хоть немного собственных сластей, вы были бы посильнее. Теперь я вспомнил — учитель положил этот камень в воду, чтобы на нем поярче проступило зерно. Видите, вот тут зарубки? Он начал работу с них, а потом решил, что надо выдержать камень в воде. Он всегда говорил: чем дольше камень пробудет в воде...— В отчаянии он огляделся.— Вам нужно просто решиться и поднять этот камень... Вам не хватает силы воли. В конце концов это ведь не большое изображение, а маленькое, фута в два высотой, не больше. Когда я его закончу, в нем и вовсе будет дюймов восемнадцать. Неужели вы не можете поднять камень в восемнадцать дюймов высотой? Я удивлен. Я хочу только, чтоб вы мне помогли. Не подымайте его сами, а только помогите мне.

Он то просил его, а то ругал, так что в конце концов Джаган почувствовал, что должен сделать над собой усилие. Он обвязал шарфом голову и деловито подоткнул дхоти, готовясь к этой задаче. Не дыша, взялся он за свой край, остановившись лишь на мгновение, чтобы подумать о том, благоразумно ли в его возрасте тащить каменную плиту вверх по скользким ступеням. Впрочем, сейчас поздно было думать о

собственных желаниях или благе. Дойдя до верхней ступени, Джаган выпустил камень из рук, повалился ничком на траву и закрыл глаза.

Когда он пришел, наконец, в себя, он увидел, что бородатый переворачивает камень и говорит:

— Вот это будет верх... Подойдите поближе, и вы увидите линии, которые высек мой учитель... Это контур богини.

Он счистил мох с камня, который уже начал местами просыхать, и смотрел на него в глубокой задумчивости. На взгляд Джагана, камень этот ничем не отличался от любого другого, даже царапины, нанесенные на него рукой учителя, были не очень-то убедительны, но бородатый словно опьянел от одного его вида.

— Вот здесь будут руки богини. Всего у нее десять рук, одной рукой она благословляет, другой защищает, а в остальных держит всевозможные священные предметы.

Он погрузился в созерцание богини, а потом начал рассказывать.

— Я эту богиню знаю,— сказал Джаган.

— Конечно, кто же ее не знает?— отвечал красильщик волос.— И все же полезно вспоминать о ней снова и снова — тогда попадешь под защиту богини и удача будет сопутствовать тебе во всех начинаниях.

И зычным голосом затянул древний санскритский гимн. От внезапного шума с дерева взлетели птицы. Лягушки попрыгали обратно в пруд, а Джаган не мог отвести взгляд от едва заметных следов на воде, оставленных тритонами и другими невидимыми глазу водяными тварями.

— Если я смогу посвятить свою жизнь завершению этого дела, я умру спокойно,— сказал бородатый.

— Сколько вам лет?— спросил Джаган.

— Хотите узнать? Попробуйте угадайте.

Такие просьбы всегда смущали Джагана. Он никогда не знал, хочет ли собеседник выглядеть старше или моложе своих лет. И в том, и в другом случае ему не хотелось вступать в спор, а потому он просто сказал:

— Не знаю...

И, посмотрев на череп бородатого, на котором не было ни волоска, он подумал:

«Тут краска не поможет...»

— Мне шестьдесят девять лет,— сказал бородатый коротко и деловито,— и я готов спокойно умереть в семьдесят, если я смогу закончить эту богиню и водрузить ее на пьедестал.

— Вы думаете закончить ее в один год?— спросил Джаган.

— Возможно,— ответил бородатый.— А, может, и нет. Откуда мне знать. Все в руках господа. Камень так долго пролежал в воде, что может дать внутри трещину. Что тогда делать?

Джагану пришло в голову сразу несколько ответов на этот вопрос. Пока он соображал, что бы лучше сказать, бородатый провозгласил:

— Зарыть его в землю и начать все сначала — вырубить каменную плиту, выдержать ее в воде и попробовать снова.

— А если и этот камень даст трещину?

— Нельзя начинать работу с такими мыслями,— отрезал бородатый и прибавил:— Второй камень обычно трещин не дает.

Они посидели в молчании. Бородатый воскликнул:

— Десять рук! Как только подумаю, так дух захватывает от радости.

И он снова затянул древний санскритский гимн.

— Мукта — видрума — хема,— пел он.

Пропев четверостишие, он остановился и спросил:

— Вы все понимаете?

— Да, пожалуй,— осторожно ответил Джаган.

— Тут говорится о богине, в чьем лике сияет мукта, что есть жем-

чуг, и хема, что есть золото, а еще синева сапфира, равная синеве небес, и алый жар коралла.— Он перевел дыхание, помолчал, а потом продолжал:— Ибо она есть свет, которым светится само Солнце, в ней слились все цвета и все лучи, и символом того служат ее пять голов разного цвета. У нее десять рук, а в руках — раковина, начало звука, диск, который сообщает вселенной движение, стрекало для подавления зла, веревка, творящая связи, цветы лотоса, символ красоты и симметрии, и капалам, чаша для подаяний, сделанная из выбеленного солнцем человеческого черепа. В божественности своей она соединяет все, что мы чувствуем и постигаем, от лишенных плоти сухих костей до красоты всего сущего.

Картина эта наполнила Джагана почтительным ужасом.

Бородатый посидел в задумчивости, а потом сказал:

— Мой учитель не переставал размышлять над этим образом. Он хотел создать это изображение, чтобы и другие размышляли над ним. Такова была его цель, и если мне удастся осуществить ее, я откажусь от любого другого труда в этой жизни.

Он перешел к делу:

— Помочь мне в этой задаче может только такой человек, как вы.

Услышав это, Джаган вздрогнул. Он и не предполагал, что все это коснется его.

— Как это? Как?— спросил он с тревогой.

И не дожидаясь, пока бородатый опомнится, добавил:

— Не ждите от меня слишком многого. О нет! Я всего лишь скромный торговец.

Бородатый сказал:

— Почему бы вам не купить этот сад и не поставить здесь богиню?

— Я... я... я, право, не знаю,— отвечал Джаган, надевая на себя броню самозащиты. Он попытался отшутиться, но бородатый вдруг помрачнел и, приподнявшись, замахал пальцем перед лицом Джагана.

— Ну, хорошо,— сказал он.— Я все понимаю. Я только думал, что вам же лучше иметь здесь пристанище вдали от мирских забот.

— О да. Господь свидетель, такое место мне очень нужно. Знаете, мой друг, в жизни каждого наступает момент, когда нужно вырвать себя из привычной обстановки и исчезнуть, чтобы дать остальным возможность жить в мире.

— Священные книги учат нас, что это весьма достойное решение. Супруги должны в какой-то момент скрыться в лесу, оставив мирские дела молодежи.

Все это так отвечало настроению Джагана, что ему захотелось объяснить, зачем ему понадобилось бежать, рассказать о смерти жены, о том, как рос и странно изменялся сын, как старый дом за памятником Лоули превратился в ад... Но он промолчал. Ему неудобно и стыдно было говорить о сыне, как бывает стыдно выставлять напоказ свои болячки.

9

Теперь у Джагана был свой ключ. Он тихонько отпирал замок, проходил по коридору и закрывал за собой дверь на свою половину. Потом он вешал шарф на гвоздь, снимал рубашку, шел во двор, обливался холодной водой и наконец выходил из душа. Сегодня он проголодался — он поставил миску воды на плиту в кухне, нарезал овощей и бросил их в воду, сдобрив горсткой крупно смолотой пшеницы. День был жаркий, и он снял с себя нижнюю рубашку. Пока готовился ужин, он секунду постоял с закрытыми глазами в молельне, а потом зажег светильник, вынул из-за большого шкафа деревянную прялку, прикрепил к ней хло-

пок, повернул колесо и вытянул тонкую нить. С наслаждением следил он за тем, как она удлиняется; жужжание колеса и нить, бегущая между большим и указательным пальцами, успокаивали, убаюкивали.

Ганди учил, что прялка излечит страну не только от экономических бед, но и от всевозможных волнений духа. Джаган был неспокоен, но в то же время он чувствовал, что он уже не тот, кем был раньше. Если это так, к чему волноваться? К чему противиться? Связанный до вчерашнего дня множеством пут, связанный семьей и лавкой, в этот миг он был уже другим человеком. С ним произошла глубокая внутренняя перемена. Он еще думал о лавке и доме, и все же последнее его знакомство произвело на него сильное впечатление. Верно, боги сжалились над его одиночеством и растерянностью и послали ему белобородого спасителя. Сидя во дворе с прялкой в руках, он глядел на верхушки соседских кокосовых пальм, покачивающихся среди звезд, и мысли его приобретали необычайную ясность. Он спрашивал себя, не был ли бородатый посланцем с чужой планеты. Иначе зачем бы ему явиться к нему в лавку в тот самый миг, когда он был так нужен? Впрочем, кто кому был нужен? Бородатый сказал, что ему нужна помощь для того, чтобы поставить изображение богини, ну а Джагану казалось, что помощь оказывали ему. Решить эту загадку было нелегко, и Джаган ее бросил. Но вспоминать об этой встрече было удивительно приятно — бородатый взволновал его своим рассказом о пятиглавой богине. Помогать ему или нет? Ведь он о нем ничего не знает. Можно ли ему доверять? На каком основании? Предположим, он кончит изображение? А потом что? Жить в обществе бородатого в этой пустыне и уговаривать его высекать все больше и больше фигур? А что станет с краской для волос? Может, бородатый захочет, чтобы он взял это дело в свои руки, присоединив его к сладостям? Гоняться по всему городу за сединами, зарабатывать все больше и больше — и окончательно испортить Мали? На минуту он оторвался от прялки и от своих дум, чтобы помешать овощи, стоявшие на плите, а потом снова взялся за прялку, размышляя о том неизменном законе природы, согласно которому размолотая пшеница бывает готова ровно через полчаса. Если она простоит на огне сорок минут, она превратится в густую кашу и потеряет все свои питательные свойства. В пище, ее приготовлении и потреблении самое главное — точность. Это целая наука — что он и пытался доказать в своей книге, которая давно уже была бы в руках публики, если бы не Натарадж. Почему Натарадж так безразличен к его книге, а проспект Мали напечатал с такой быстротой? Может, он не одобряет его идей? Но печатникам вовсе не нужно одобрять идею, для того чтобы ее напечатать.

Печатник должен походить на Сиварамана — нравится ему или нет, он жарит все подряд. Хлопок в прялке поредел и вытянулся, словно ком теста, из которого Сивараман делал порой тонкую лапшу; прялка застонала, заворчала, закашлялась. Над кокосовыми пальмами встал месяц, два белых прозрачных облачка скользнули по его лицу.

«Может, дожди в этом году начнутся раньше? — размышлял Джаган.— В назначенный час ты вступаешь в новую жизнь. Глупо сопротивляться...»

Он уже не был отцом Мали, продавцом сладостей, накопителем денег. Постепенно он становился кем-то иным, возможно, опекуном бородатого ваятеля — или его подопечным?

В дверь постучали, но жужжание прялки заглушило стук. Средняя дверь отворилась, и вошел Мали, похожий в тусклом свете лампочки на пришельца с другой планеты. (Джаган всюду ввинтил лампочки по десять ватт.) Джаган заволновался, схватил полотенце и прикрыл им грудь. Если б он знал о приходе сына, он бы надел рубашку. Он бросил

прялку и вскочил, чтобы принести скамеечку для Мали. Тот взял ее у него из рук и пробормотал:

— Что ты суетишься?

Поставил скамеечку на землю и сел. Джаган неуверенно топтался на месте.

— Ну, что ты стоишь? — спросил Мали.— Садись, только не крути колесо. От него шум, а я хочу поговорить с тобой.

У Джагана засосало под ложечкой. Он облизнул пересохшие губы, отошел от прялки, сложил на груди руки и спросил:

— Что ж, скажи, чего ты от меня хочешь.

— В городе все только о тебе и говорят,— произнес Мали тоном обвинителя.

Джагана передернуло, но он промолчал.

«Когда обстоятельства вынуждают тебя переступить через порог твоей новой личности, противиться бесполезно»,— думал Джаган, и постепенно под ложечкой у него перестало сосать.

— О чем говорят? — спросил он. У него уже не было прежнего ужаса перед сыном.— И кто это «все»?

— Саит из «Дома радости» и еще кое-кто вчера говорил о тебе.

Джагану не хотелось продолжать разговор на эту тему.

— Пускай себе говорят,— пробормотал он.

Ему было нелегко так разговаривать с Мали — ведь раньше, бывало, он с трепетом ловил каждое слово сына. Ему хотелось крикнуть: «Я теперь другой и говорю поэтому по-другому». Он не видел выражения лица сына — месяц исчез за верхушками пальм, а в тусклом желтоватом свете лампочки, ввинченной Джаганом, все лица и все выражения выглядели одинаково.

Мали вынул из кармана какую-то бумажку, поднес ее к глазам и с упреком сказал:

— Почему ты не ввинтишь лампочку поярче?

Джаган ответил:

— Световые лучи должны успокаивать зрительный нерв, а не раздражать его.

Мали цинично улыбнулся и сказал:

— Это телеграмма от моих компаньонов, она пришла сегодня днем.

С Джагана достаточно было одного слова «компаньоны», дальше можно было не слушать. Сорок восемь часов назад он бы испугался, но сейчас он был совершенно спокоен.

«Я так переменился за эти несколько часов, а мальчик об этом и не подозревает,— размышлял он.— Надо мне быть с ним поласковее. Вреда от этого не будет. В конце концов...»

Его охватила привычная нежность и сожаление, что он так сухо говорит с сыном.

— И что же в телеграмме? — спросил он.

Мали снова поднес телеграмму к глазам, но разобрать текст не смог и прочитал по памяти:

— Экстренно телеграфируйте... ситуацию с нашим проектом.

Джаган растерялся. Язык был какой-то непонятный. Если не считать слова «телеграфируйте», он не понял в телеграмме ничего.

— Зачем же телеграфировать? — сказал он.— Нужно послать обычное письмо.

Мальчик ответил:

— В делах важна быстрота. Почему ты не предоставишь это мне? Я знаю, что делать. Что мне им ответить?

— Что такое «ситуация»? О какой ситуации речь?

Мали сжал кулаки и сказал:

— Продолжаем мы наше дело с машинами или нет?

— Ты хочешь поговорить об этом сейчас? — спросил Джаган.

— Мне нужно знать ответ.

Внезапно Джагану стало жалко сына. Тот сидел перед ним такой потерянный и грустный, и он проклял преграду, которая вставала между ними всякий раз, когда они были вместе.

— Сынок,— сказал он,— я отдам тебе лавку. Она твоя... Возьми ее.

При слове «лавка» мальчик поморщился. К счастью, свет был такой тусклый, что можно было этого не замечать.

— Запомни раз и навсегда, не хочу я быть...— Он замолчал, а потом прибавил: — Я узнал много ценного в Штатах, это стоило несколько тысяч долларов. Почему наша страна не хочет использовать мои знания? Я... я не могу...

Как он ни избегал слов «продавец сладостей», его отвращение к этой профессии было очевидно.

Они замолчали, а потом Мали сказал, чтобы раз и навсегда покончить с этим разговором:

— Во всяком случае, твое дело сейчас ничего не стоит.

— Кто это тебе сказал?

— Все об этом только и говорят. Ты что хочешь доказать?

Джаган молчал. А Мали снова описал во всех подробностях свою роман-машину и повторил содержание своего проспекта. Джаган слушал, а звезды на небе совершали свой путь. Когда Мали замолчал, дойдя до конца своего проспекта, Джаган спросил:

— Где Грейс?

— А что? — сказал сын.

Джаган не знал, что ответить, впрочем, он не обязан был отвечать на каждый вопрос.

Мали не отставал:

— Я должен знать, входишь ты в наше дело или нет.

— Что, если я скажу «нет»?

— Тогда Грейс уедет. Придется нам купить ей билет на самолет. Вот и все.

— При чем тут Грейс? — спросил Джаган. Все это представлялось ему таким же запутанным и загадочным, как мешанина проволочек в его радиоприемнике.

— Зачем ей здесь оставаться? — ответил сын просто.— Ей здесь нечего делать.

— Не понимаю, о чем ты говоришь. Я тебя вообще никогда не понимал. Позови ее, я хочу с ней поговорить.

Он привык к Грейс и пришел в отчаяние от мысли, что может потерять ее.

— Она вышла,— ответил Мали кратко.

— Так поздно? Куда?

— Она имеет право идти, куда захочет. Кто ей это запретит?

— Дело не в том,— сказал Джаган.

Видно, самой судьбой им было суждено не понимать друг друга. Какая-то невидимая сила, казалось, тянула их за язык и заставляла говорить не то, что они хотели сказать.

Джаган в отчаянии поднялся, наклонился к сыну и закричал:

— Куда она ушла? Почему? Разве ей здесь плохо?

Мали встал.

— Ты кто такой, чтоб запретить ей идти, куда она захочет? — сказал он.— Она свободна, не то что невестки в этой проклятой стране.

— Мне просто хотелось узнать, к чему ей уходить. Конечно, она свободна...

— А кто с этим спорит?

— Чем ей здесь плохо?

— А почему ей должно быть хорошо? — закричал Мали.— Проклятый городишко, жизни здесь никакой нет. Она привыкла к хорошей жизни. Она приехала сюда работать, а теперь уезжает, потому что здесь ей нечего делать.

Джаган проглотил слова, которые просились ему на язык:

«Но ведь она метет и убирает весь дом. А дом немаленький, и дела ей хватает на весь день. Чего ж ей еще желать?»

— Она приехала сюда из-за нашего проекта,— объявил Мали.— Чтобы работать со мной. Ты же видел ее имя в проспекте?

Джаган уже постиг искусство оставлять вопросы без ответа.

Мали встал и сказал:

— Раз ей здесь нечего делать, она уедет — вот и все. Нужно немедленно купить ей билет на самолет.

— Но жена должна оставаться с мужем, что бы там ни случилось.

— Это в твое время так было,— сказал Мали и ушел.

Эту ночь Джаган не спал. Его тревожила запутанность положения. Грейс так и не появлялась. А ему ее присутствие в доме было приятно, оно заполняло давнишнюю пустоту. Куда Мали спрятал ее? Делает вид, что даже не знает, куда она ушла. Разве муж так должен следить за своей женой?

10

Он стал подстерегать Грейс. По шороху веника в комнате Мали он понял, что она вернулась. Придет ли она, как бывало, на его половину, займется ли уборкой и здесь? Нет. Вот уже десять дней, как она к нему не заходит. Видно, она его избегает. От одной этой мысли у него испортилось настроение. Что он такого сделал? Неужели она была так внимательна только потому, что надеялась, что он вложит свои деньги в эту роман-машину? Теперь, когда он высказался, разделяющая их преграда стала непроницаемой, и не было никакой возможности подойти к Грейс и спросить, что случилось. А может, все-таки пойти на их половину и поговорить с ней? Что толку? Разве он мог в присутствии Мали попросить ее, чтоб она подтвердила его слова? В лучшем случае она с ним просто поздоровается — и только. Он оделся, чтобы идти в лавку, но потом передумал и сел на край своего ложа, смутно надеясь, что либо Грейс выйдет на веранду, либо Мали отправится по своим бесконечным делам, и тогда он сможет поговорить с Грейс. Но надежды его не оправдались. Мали все печатал у себя в комнате. Немного спустя шарканье веника прекратилось, и он услышал, что они ссорятся. Потом и эти звуки смолкли, и он остался один. В доме царила мертвая тишина. Надежды не было. Он потихоньку вышел из дому и отправился в лавку, где жизнь, как всегда, шла своим чередом. Лишь шум покупателей нарушал спокойное течение дня. В последнее время Джагану не удавалось сосредоточиться на чтении «Бхагавадгиты» до тех пор, пока толпа не расходилась. Они вели себя так, будто сласти полагались им по праву, не задумываясь о том, есть в лавке что-нибудь или нет. Джаган начинал уже сомневаться, правильно ли он поступил, снизив цены. Может, следует возвратиться к прежним?

Братец где-то пропадал. Вернувшись после нескольких дней отсутствия, он объяснил:

— Мне пришлось поехать с родными судьи в горы Тирупатхи. Они возили двух своих внучат в храм для обряда первого бритья. Все было великолепно. Сняли три дома, весь храм был в их распоряжении. Влия-

тельный человек этот судья... Конечно, я им говорил, что не могу уехать надолго, но меня никто и слушать не стал. Они меня просто похитили.

— Вы всем нужны,— сказал Джаган.— Мне вы со вчерашнего дня тоже очень нужны.

— Я к вашим услугам.

— Понижение цен отразилось на качестве наших сластей?

— Что вы! Это немыслимо.

— Саит из «Дома радости» был здесь...

— Знаю, знаю,— сказал братец.— Они там только о вас и говорят.

— Что же они говорят?

Джаган вдруг заинтересовался реакцией рынка.

— Говорят, будто вы согласились восстановить в ближайшее время старые цены.

— Не знаю... По-моему, я ничего такого не обещал,— сказал Джаган.

Братец ответил:

— Так они, по крайней мере, думают. Пусть подождут и посмотрят, как дела делаются. Им это пойдет только на пользу. Я не удивлюсь, если узнаю, что у нас в толпе есть их люди. Покупают у нас по дешевке, а потом продают у себя по своим ценам.

Такое Джагану в голову не приходило.

Он загрустил, и братец поторопился прибавить:

— Я пошутил, не огорчайтесь...

Джаган спросил:

— Вы давно видели Мали?

— Вчера вечером, в доме судьи. Они с его сыном приятели. Мали отвел меня в сторону. Он по-прежнему любит меня, как родного дядю... Ничто его не меняет...

Джаган вздохнул.

— Почему он не поговорит со мной по-хорошему? Двух фраз не скажет, чтоб не нагрубить...

Братец наслаждался своим превосходством.

— Не расстраивайтесь,— сказал он покровительственно.— Вы человек мудрый и не должны огорчаться из-за всего этого.

— Что он вам сказал?

— Он вызвал меня в сад, когда его друг пошел в ванную, и сообщил мне, что Грейс скоро уедет в Америку. Вы об этом слышали?

— Да, да, но я не понял почему.

Братец сказал:

— Она едет по делам. Так он мне сказал. Что-то в связи с его роман-машиной. Подумать только, до чего смелые эти девушки! Едет за тысячи миль, чтобы уладить дела, а мы даже не понимаем, чем они там занимаются.

Джаган не стал его поправлять — он предпочел молчать о том, что знал.

— Да, конечно, об этом я слышал, но мне хотелось узнать, что там еще происходит.

— У его фирмы блестящие перспективы,— сказал братец.— Саит из «Дома радости» и еще кое-кто обещали купить его акции.

Джаган искренне удивился.

— Как это он с ними договорился?

— Он времени не теряет — так и мелькает по всему городу. Куда ни пойдешь, всюду он.

— Мне нужна ваша помощь,— сказал Джаган.— Не смейтесь надо мной. Мне нужно поговорить с Грейс и кое-что выяснить.

Он осторожно объяснил братцу положение вещей, не раскрывая ему всего.

Братец понимал, что от него многое скрывают, но он не обиделся.

— Я видел, что Грейс иногда бывает в доме доктора Курувиллы,— сказал он.— Там у нее есть подруга, которую она знала еще в Америке. Я могу поговорить с ней и сказать, что вы хотите ее видеть.

— А разве Мали с ней не ходит?

— Иногда она приходит одна посидеть с докторскими дочками, а Мали в это время идет куда-нибудь вместе со своими друзьями.

Следующие два дня прошли в ожидании — братец придумывал, как бы отвлечь Мали и дать Джагану возможность поговорить с Грейс. На третий он, как всегда, пришел в лавку, чтобы отведать сластей. Вытерев рот полотенцем, он сказал:

— Если вы готовы уйти сейчас из лавки, вы застанете Грейс дома. Мали ждет меня в доме судьи. Я обещал пойти с ним посмотреть участок земли на Горной улице.

— Для чего ему этот участок?

— Чтобы строить фабрику.

— Ерунда! Подумаешь тоже — финансист! Если у него есть деньги на землю, зачем он их у меня просит?

— В городе все считают его настоящим дельцом. Уж очень хорошо он говорит!

— Да, со всеми, кроме меня,— сказал Джаган с горечью.

Братец произнес:

— Это мы обсудим потом. Вы идете домой? Сейчас момент самый подходящий. Мали уезжает за город и не вернется до самого вечера. Я побуду здесь до вашего возвращения. Мали посмотрит участок с кем-нибудь другим. Желающие найдутся.

Джаган отправился домой, вымылся, вышел в молельню и встал перед богами.

— Помогите мне. Просветите меня,— молился он.— Я не знаю, как мне поступить.

Секунду он стоял, погруженный в размышления, а затем, собравшись с духом, постучал в среднюю дверь. Странно было находиться в доме в это время дня. Яркое солнце бросало солнечные блики на стены, все казалось непривычным и чужим.

«Дом словно стал другим»,— подумал он.

Это утвердило его в недавнем чувстве, что он уже не тот, каким был прежде. Ему вспомнился совет бородатого: «Поначалу не торопитесь, но, приняв решение, действуйте быстро и решительно». Это было примерно то же, чему он научился у Ганди, но с годами этот урок забылся. Он вспомнил, как двадцать с лишним лет назад он, будучи волонтером Гражданского неповиновения, бросился к дому английского сборщика налогов и влез на крышу, чтобы сорвать британский флаг и повесить вместо него индийский. Во дворе было полно полицейских в шлемах, но он действовал так стремительно, что они растерялись — и опомнились только, когда он был уже на крыше. Пока они лезли за ним следом, он вцепился, словно крокодил, в британский флаг, сорвал его и обеими руками обнял флагшток в надежде повесить на него индийский флаг. Полицейские избили его и проломили ему голову — и только тогда он выпустил, наконец, флагшток из рук. Опомнился он спустя пятнадцать дней в больнице, а потом, всеми забытый, долго валялся в тюрьме. «Бывают моменты, когда волонтер должен действовать не раздумывая»,— этому учили его вожди.

Если ты был волонтером Неповиновения хоть раз — на всю жизнь останешься им. Ты можешь не бороться за правду против англичан, но тогда ты будешь бороться за правду еще с кем-нибудь, в делах личных

и всяких других. Он ведь это всегда знал, но только почему-то немного забыл. Подбодренный этими размышлениями, Джаган, наконец, решился постучать в дверь на половину Мали.

Грейс отворила дверь и воскликнула:

— Отец! Вы здесь в такое время! Вот не ожидала!

Джаган приступил прямо к делу.

— Мне нужно с тобой поговорить. Ты выйдешь или мне войти?

— Входите, пожалуйста. Идемте в холл. Там кресла удобные.

Он пошел за нею и опустился на диван. Она уселась в свое кресло, теребя цепочку на шее. На маленьком столике сбоку лежала раскрытая книга. Грейс была одета в желтое кимоно, делавшее ее похожей на японку.

«Что ни день, она разная! — подумал он, подавив желание спросить: «А ты уверена, что сегодня ты не японка?»

Вместо того он вслух произнес:

— Что ты читаешь?

— Ничего особенного...

И она назвала какое-то имя.

«Не отвлекайся,— приказал он себе.— Ты уже достаточно ходил вокруг да около и потерял всякий контакт с сыном. Смотри не потеряй также и сноху».

Первый его вопрос был такой:

— В последнее время я совсем не вижу тебя в моем доме. Почему?

Она покраснела. Губы ее дернулись, но она ничего не сказала.

Заметив ее смущение, он сказал:

— Можешь не отвечать на мой вопрос.

Он дал ей немножко прийти в себя, а потом спросил:

— Ты хочешь вернуться в свою страну?

И снова губы ее дернулись, она покраснела, опустила свои узкие глаза и промолчала. Закаркала ворона, севшая на изразцовые плиты открытого дворика. Хриплое ее карканье нарушило мрачную тишину.

— Опять эта ворона! — пробормотала Грейс.— Одну минутку...

Она вскочила, побежала на кухню, вынесла оттуда кусок хлеба и швырнула его на крышу. Ворона подхватила его и улетела. Спустя минуту прилетели еще вороны, уселись на крышу и тоже закаркали.

— Вот что плохо... Все они требуют свое, а у меня для всех не хватает,— сказала она.

Джаган не удержался и произнес:

— У меня в лавке то же самое. Весь город требует у меня сластей, но к четырем часам у меня уже ничего не остается.

Она промолчала. Джаган забеспокоился. Вся его решимость исчезла без следа. Он боялся Грейс. Он боялся, что, если он спросит ее о чем-нибудь еще, она расплачется. Он чувствовал, что она чем-то встревожена, и ему захотелось махнуть на все рукой и уйти. Когда часы пробили четыре, он встал и с необычайной четкостью произнес:

— Мне нужно в лавку.

Она молча проводила его до дверей. Когда он занес ногу за порог, она сказала:

— Отец, Мо хочет отправить меня домой.

— Почему? — спросил Джаган, остановившись.

Она заколебалась. Джаган боялся, что она заплачет, но она очень спокойно сказала:

— Все кончено, вот и все.

— Что кончено?

Она не ответила.

— Он хочет отправить меня домой,— повторила она.— Он говорит, что ему не по средствам держать меня дольше здесь.

Эти новые сведения о Мали были настолько поразительны, что Джаган не мог произнести ни слова.

Она продолжала:

— Раньше я работала. Когда я приехала сюда, у меня было две тысячи долларов. От них ничего не осталось.

— Почему?

Она только сказала:

— Я ему больше не нужна.

— Нужна или не нужна, но вот моя жена... Ну, понимаешь, я о ней заботился всю жизнь.

Грейс робко сказала:

— Хорошо, что хоть ребенка у нас нет.

Многое в ее словах было ему непонятно, но не мог же он взять и потребовать от нее разъяснений. Он ответил:

— Если ты прочитаешь наши древние книги *пураны**, ты поймешь, что жена должна оставаться с мужем, что бы там ни случилось.

— Но мы не женаты,— сказала Грейс просто.— Он обещал жениться на мне по индийскому обряду, потому что мне этого хотелось, и привез меня сюда.

— А когда вы приехали, свадьбы не было?

— Разве вы бы о ней не знали, если б она была? — ответила Грейс.

В голове у Джагана все это так сразу не укладывалось.

— Я ничего не понимаю,— жалобно протянул он.

— Может быть, вы зайдете на минутку в дом? Сядете, а я вам все объясню,— сказала Грейс.— Мне как-то неудобно здесь стоять.

Он посмотрел на нее. Она казалась такой добродетельной и хорошей, он так полагался на нее, а она, оказывается, жила все это время в грехе и так легко говорит об этом.

«Что они за люди?» — думал он.

Они осквернили его древний дом. Он многое от них вынес, но это было уж слишком.

— Нет,— ответил он холодно.— В дом сейчас я заходить не стану. Я пойду в лавку.

Когда в половине пятого пришел братец, Джаган закричал:

— Идите сюда, я вас жду.

Братец поднял руку, словно говоря: «Подождите, пока я выполню свой сладкий долг». В уме он произнес целую речь, начинающуюся словами: «А вам известно, что?..» Но пыл его несколько поугас, пока братец был в кухне. Когда наконец братец вышел, Джаган его только спросил:

— Вы хорошо знаете Мали?

Братец молча уставился на портного, крутившего ногой машинку на той стороне улицы, а это, как было известно Джагану, означало, что братец погрузился в глубокую задумчивость. Джаган вывел его из этого состояния.

— Мали не женат,— сказал он.

Братец проглотил вопросы, готовые сорваться с его языка, и спросил себя, не значит ли это, что он должен подыскать новую невесту для Мали.

— Конечно,— начал он,— скажите только слово, и люди будут рвать его гороскоп друг у друга из рук. Даже судья говорил, что у жены его брата есть племянница, которая очень хочет породниться с вашей семьей...

---

* Пураны — «сказания о древности», эпические поэмы, возникшие, по-видимому, в IV—XIV вв. н. э. и почитаемые священными книгами индуизма.

Джаган почувствовал легкое волнение при этом известии, но внезапно вспомнил, что обычные мирные радости не для него.

— Капитан, там опять школьники!

Капитан, не зная, гнать их или одаривать сластями, закричал в ответ:

— Что мне с ними делать, господин?

— Вели им уйти! Один раз проявишь к ним внимание, и они уже требуют его без конца. Наш народ сам себя не уважает.

— Я знаю, что вы хотите еще снизить цены, но не можете это сделать,— сказал братец.

— Не к чему нарушать общественное равновесие... Я не хочу наживать врагов. Саит из «Дома радости» и все остальные... У них за спиной стоят всякие люди.

Братец согласился, чтобы поскорее покончить с этой темой и вернуться к рассказу о Мали, который интересовал его гораздо больше.

— Что ж, видели вы эту девушку сегодня? — спросил он.

— Почему вы говорите «эту девушку», а не «жену Мали?» — спросил Джаган не без некоторой доли злорадства.

Братец почувствовал, что попался, и неопределенно ответил:

— Она, видно, хорошая девушка. Когда я ее встретил вчера у...

Но Джаган не дал ему кончить.

— Я в этом не сомневаюсь,— сказал он,— только она не замужем за Мали.

Братец выслушал это заявление молча, опасаясь, что любой ответ будет похож на злословие.

Джаган продолжал:

— Она сама мне это сказала. Почему бы мне ей не верить?

Братец спокойно заметил:

— Тогда почему бы не отпустить ее домой, как того хочет Мали?

Предложение было таким разумным, что Джаган не нашелся, что ответить.

Он долго молчал, не в силах вспомнить, что именно ему хотелось сказать. Праведное негодование, которое он испытывал, куда-то испарилось, и, как он ни старался, ему не удалось снова вызвать его.

Братец прибавил:

— Наша молодежь живет в другом мире, и мы не должны позволять себе слишком расстраиваться из-за некоторых их поступков.

Это были мудрые слова, но Джаган не мог принять философию безразличия, которую проповедовал братец, все еще не знающий точных фактов. Джаган сказал:

— В нашей семье такого не бывало. Даже брат моего деда, про которого все знали, что он человек безнравственный, никогда так не поступал. Если он не был женат, он никогда и не говорил, что женат, хотя...

— Да, я слышал, мой отец рассказывал о нем. У него было три жены и множество всяких женщин, но он от своей ответственности никогда не отказывался.

Вспоминая о грехах своих предков, оба испытывали какое-то странное удовольствие.

— Не понимаю, как это молодые люди могут жить вместе, если они не женаты,— сказал Джаган и умолк, дав волю своему воображению. Перед ним проплывали ясные, почти осязаемые картины того, что происходило в стенах его дома.

— У меня такое чувство, словно мой дом осквернен. Мне трудно в него вернуться.

Братец сказал:

— Вы знаете только одну сторону дела. Почему бы вам не поговорить с Мали и не узнать и второй стороны.

— Он мне уже сказал, что хочет, чтобы она уехала.

— Это потому, что его дело не трогается с места,— сказал братец.

— Какое дело? — закричал Джаган с таким жаром, что повар, который шел со сластями в лавку, замер на месте и чуть не выронил поднос. Джаган сверкнул на него глазами.

— А ты занимайся своей работой! Я не с тобой разговариваю.

Шепотом он прибавил:

— Теперь эти люди совсем не те, что раньше. Им все надо знать. Я уверен, что им уже все известно об этой истории.

Тут братец, как всегда, постарался придать разговору практический оборот.

— Почему вы так волнуетесь? В конце концов ведь это их дело.

— Они запятнали мой дом. Мали — мой сын. Но Грейс мне не сноха.

— Нет, это очень неправильное отношение. Так рассуждать может только себялюбец,— сказал братец, поняв, чего в глубине души жаждал Джаган. Перед ним забрезжил просвет. Ему предстояло помочь Джагану занять определенную позицию в момент кризиса.

— К чему было изучать «Гиту», если вы не можете сохранить внутреннюю свободу от этих мелочей? Вы же сами мне объясняли, что не следует отождествлять себя с предметами и обстоятельствами.

Джаган принял этот комплимент с огромным удовольствием, хотя, если б его спросили, он не мог бы вспомнить, что именно говорил он братцу, когда и почему. Вынужденный признать свою преданность «Гите» и мудрости, почерпнутой из нее, он пробормотал:

— Нас ослепляют наши привязанности. Всякая привязанность ведет к заблуждению, которое увлекает нас...

— Истинно, истинно,— подхватил братец.— Равновесие духа в жизни важнее всего.

— К этому-то я и стремлюсь, но никак не могу достигнуть,— проговорил Джаган жалобно и попытался усмирить свои мысли. Но тут он вспомнил, что молодые люди обманули его и что на доме, который поколениями хранился в чистоте, теперь было пятно. Разве мог он оставаться с ними в одних стенах? Он чуть было не заявил: «Я решил сказать им, чтоб они шли, куда хотят, и делали, что хотят, но только не в моем доме». Но остановился — язык его отказывался произнести такие слова.

Некоторые мысли, стоит только произнести их вслух, приобретают злую силу, но, если держать их про себя, они безвредны.

— Как же мне жить там?

— Если у вас есть дверь во двор, ходите через нее, а к ним на половину не заглядывайте. Куда же им теперь деться?

— Да, конечно, найти жилье сейчас очень трудно. К тому же начнутся разговоры. Пожалуйста, не рассказывайте об этом никому,— попросил он братца.

Братец в ужасе всплеснул руками.

— Немыслимо. То, что вы мне говорите, для меня священно. Вы можете на меня положиться.

Успокоенный этим заявлением, Джаган спросил:

— Что ж мне теперь делать?

— Относительно чего?

— Относительно Мали и этой девушки.

Братец дал хладнокровный совет:

— Пожените их побыстрее где-нибудь в горах. Это можно устроить за несколько часов.

— Увы, я даже не знаю, какой она касты. Разве это возможно?

— Ее нужно обратить. Я знаю, кто это может сделать.

С плеч Джагана свалилась гора.

— Вы мой спаситель,— проговорил он.— Не знаю, что бы я без вас делал.

II

Джаган забаррикадировался на своей половине. Он получал особое удовольствие от того, что принял все меры для очищения. Он закрыл дверь между своей половиной и комнатами Мали и запер ее со своей стороны. Он сделал все, что мог, чтобы оградить себя от влияния этой парочки, живущей во грехе. Между двумя половинами дома было отверстие для вентиляции. Джаган притащил старую скамейку и длинным бамбуковым шестом плотно закрыл его. Теперь отъединение, или, вернее, ограждение, было полным. Он перестал пользоваться дверью, ведущей прямо на улицу, чтобы не проходить по коридору, по которому ступали ноги осквернителей. Он посвятил этому все утро — переставлял лестницу, перетаскивал с места на место скамейку. Заперев заднюю дверь своего дома, он вышел на боковую дорожку, ведущую к улице. Дорожка вся заросла колючками и сорняками.

«Надо будет взять лопату и расчистить ее»,— сказал он себе.

Он не ступал на эту дорожку лет пятьдесят. В те дни, когда семья жила в маленькой хижине на заднем дворе, а большой дом еще только строился, Джаган с братом ловили здесь в сорняках кузнечиков. Длинные знойные дни проводили они за этим занятием, в то время как летнее солнце жгло все вокруг и даже кузнечики не желали покидать скудную тень сорняков. Старший брат держал в одной руке консервную банку, он накрывал кузнечика ладонью и, если кузнечик был большого размера, приличествующего старшему брату, сажал его в свою банку, а если маленький — передавал Джагану. Что бы там ни было, Джагану никогда не разрешалось ловить кузнечиков самому. Он только стоял позади, держа в руке свою банку, и ждал, пока ему улыбнется удача. Так продолжалось целыми днями, пока кузнечики не научились распознавать их шаги,— тогда уж их было не поймать.

Иногда братьев настигала сестра. Она ходила за ними по пятам и грозилась:

— Вы убиваете живых тварей. Я папе скажу. Они помирают в ваших банках. Вы оба попадете в ад.

Джаган боялся ее угроз и молил ее оставить их в покое, но старший брат говорил:

— Пусть болтает... Она нам не нужна. А наябедничает отцу, я ей голову сверну.

Он замахивался на нее, и она с визгом убегала.

«Они меня никогда не любили»,—размышлял Джаган.

Сестра вышла замуж за богатого деревенского дурака, стала сама деревенщиной и народила кучу уродливых детей, а брат после раздела отцовского имущества перестал с ним знаться. Ах, как бы они забегали, если б узнали про Мали! После появления Грейс родственники подвергли Джагана бойкоту. Только сестра прислала ему год назад открытку, на обороте которой было написано: «Нам стыдно называть тебя братом. Даже когда ты пошел за Ганди и, потеряв всякое чувство стыда и касты, ел и спал рядом с неприкасаемыми, а потом сел в тюрьму и всячески позорил свое имя, мы не роптали. Но теперь... Неужели в твоем доме живет сноха христианка и мясоедка? Мне стыдно перед родными моего мужа, что у меня такой брат. Бедный Мали, разве он виноват, что у него такой отец...» К счастью, заканчивала сестра с удовлетворением, родители их умерли, не дожив до этого позора. Джаган слышал, что брат его, который жил на улице Винаяка, часто отзывался о нем со стыдом и

гневом. Он никогда не приглашал Джагана на ежегодные поминки по отцу. Он был человек ортодоксальный, заправлял штабом религиозной общины, возникшей десять столетий назад и насчитывающей до миллиона членов, и давно уже не одобрял взглядов Джагана.

Время от времени до Джагана доходили его слова — то через общих друзей или родственников, а то через братца, который был всюду вхож. Однажды старший брат сказал: «Разве может у такого отца, как Джаган, быть хороший сын?»

Что бы они теперь сказали, если б узнали о последних событиях? Они бы, конечно, отошли от него еще дальше. Джаган был рад, что он такой отщепенец,— это освобождало его от всяких обязательств перед семьей. Иначе они бы все время что-нибудь ст него требовали, заставляли бы участвовать в бесконечных семейных сборищах, сидеть на ковре с целой толпой родственников и говорить о погоде в ожидании, когда же начнется пир.

Так ему удалось избежать свадеб племянниц, дней рождения бесчисленных детей брата и нескольких похорон.

Джаган как раз завернул за памятник, когда мимо него промчался зеленый автомобиль с Грейс и Мали. Мали затормозил и подождал, пока Джаган поравнялся с ними. Грейс открыла дверцу и спросила:

— Хотите, подвезем?

— Нет,— сказал Джаган и пошел мимо. Но они остановили его.

— Вы, кажется, затеяли большую уборку на своей половине, отец? Я слышала, вы там что-то двигали.

— Да, я пытался очистить там воздух,— сказал Джаган, вкладывая особый смысл в свои слова.

Мали сидел молча, глядя прямо перед собой. Джаган заметил, что взгляд у него был усталый и озабоченный, и у него заныло сердце. Если б только он мог махнуть на все рукой и объявить: «Да здравствует роман-машина! Вот моя чековая книжка, возьми ее, она твоя. Мне она не нужна». Тогда все их проблемы были бы решены. Нет, не все... Женитьба? Эти двое сидят так близко, что касаются друг друга ногами, а ведь они не женаты! Какие у них отношения? Говорят теперь друг о друге всякое, а сидят, прижавшись друг к другу!

Позже Джаган признался братцу:

— Я было решил им все высказать тут же, на месте, но потом передумал. Ничего, я найду другой случай... Все до конца выясню раз и навсегда.

Джаган так хорошо забаррикадировался на своей половине, что и не заметил, как Грейс исчезла. Хватился он ее только спустя две недели. На той половине царила тишина. Однажды утром Джаган не выдержал, подошел к средней двери и заглянул в замочную скважину, предварительно вынув из нее бумажную затычку, которую вставил раньше. Там никого не было, но в соседней комнате послышалось какое-то движение. Он вставил обратно затычку, выпрямился, вышел на задний двор, обошел дом, заглянул через занавеску в окно, но ничего не увидел. Из комнаты раздался голос Мали:

— Кто там?

Джаган хотел улизнуть, но тут Мали открыл окно и сказал:

— Ты мог бы постучать.

— Нет, нет,— сказал Джаган.— Я не хотел тебя...

И пошел к себе по боковой дорожке. Мали посмотрел ему вслед, а потом окликнул:

— Отец!

У Джагана радостно забилось сердце. Мали так давно не называл его отцом. Джаган остановился.

Сын спросил:

— Ты что тут рыщешь?

Джаган смущенно сказал:

— А где Грейс?

— Зачем она тебе? — спросил Мали грубо.

— Затем, что я ее давно не видел,— отвечал храбро Джаган.

Мали сказал·

— Как ты можешь ее видеть, если ты заперся у себя и к нам не заходишь? Это же глупо!

Джаган сделал вид, что занят кустом жасмина, растущим под окном,— он заметил, что за ними с интересом наблюдает сосед.

«С того самого дня, как он купил этот дом, он только и делает что наблюдает за нами. Зря я не купил этот дом, когда мне его предлагали. Я мог бы отдать его Мали. Жил бы достаточно близко и в то же время далеко...»

Джаган погрузился в свои мысли. Мали тоже заметил соседа и замолчал.

Джаган сказал:

— Я хочу поговорить с вами обоими. Почему бы вам не выйти сюда?

Голова Мали исчезла из окна, а через минуту он вышел через главную дверь. Он был одет в роскошный халат, а на ногах у него были домашние туфли. Можно было подумать, что он существо исключительное и выход его должен сопровождаться звуками фанфар и всеобщим ликованием. Но под лучами индийского солнца он как-то сразу обмяк и осел. Он подошел к отцу и сказал:

— Этот парень следит за нами. Мне это не нравится. Не говори громко.

— Хорошо,— прошептал Джаган хрипло.

От старания говорить шепотом вены у него на шее вздулись. Он задыхался. Он не привык к секретам.

Мали сказал:

— Зачем нам разговаривать в саду? Почему бы нам не войти в дом?

Джаган побоялся сообщить ему почему и только заметил:

— По-моему, здесь очень приятно...

— Ну, конечно,— сказал язвительно Мали.— Солнце палит, и соседям все слышно.

Джаган не заметил колкости — он наслаждался тем, что сын сегодня такой общительный.

— Давай сядем в тени вон там в уголке. Он нас там не увидит.

— Зато все прохожие увидят,— сказал Мали.

Джаган возразил:

— Ну и что? Почему бы им на нас не посмотреть? Разве мы делаем что-нибудь дурное?

— Люди должны уважать желание других уединиться, и все тут. В этой стране такого не бывает. Вот в Америке никто не пялит на тебя глаза.

— Если мы будем друг друга избегать, как же мы поймем друг друга. Чего нам стыдиться? Зачем нам прятаться?

Мали не стал больше спорить — отец сегодня был необычайно разговорчив. Он сдался. Джаган, торжествуя, спросил:

— Грейс дома или нет? Мне хотелось бы поговорить с вами обоими об одном важном деле.

— Ее здесь нет. Она уехала к друзьям на несколько дней.

— Когда она уехала?

Джаган испугался, что сыну может не понравиться этот вопрос, и, чтобы смягчить его, прибавил:

— Мне показалось, что я ее давно не видел.

— Ты запечатал среднюю дверь и ходишь через двор. В чем дело, отец?

Пока Джаган обдумывал ответ, Мали продолжал:

— Ты что, думаешь, моему делу конец, если ты запрешь свою дверь? Переписка продолжается, и я должен знать, что ты решил. Неужели ты думаешь, что я из-за тебя откажусь от своей идеи?

Какая жалость, что они, как всегда, несутся к самому краю пропасти.

Джаган попытался придать другой оборот их разговору:

— Вы должны поскорей пожениться.

— О чем ты говоришь? — закричал Мали.

Джаган объяснил. В ответ Мали только сказал:

— Ты наслушался всякого вздора. Я и не думал, что ты будешь слушать сплетни.

Джаган с удовольствием заметил, что сын больше не обзывает его глупцом. Он спросил:

— Зачем Грейс сплетничать о самой себе? Знаешь, я не хочу больше об этом говорить. Здесь есть неподалеку маленький храм, там вас быстро поженят. Не нужно никого приглашать, просто мы втроем и жрец, и через час все будет кончено.

— Грейс в последнее время стала что-то выдумывать... Поэтому я тебе и говорил, чтоб ты отправил ее домой, но ты пожалел расходов,— сказал Мали.— Она не в своем уме, ей нужно пойти к психиатру.

— Это что такое?

— Ты что, не знаешь, кто такой психиатр? Какая глушь! Ничего здесь у вас не знают.

С этими словами Мали повернулся и ушел в дом, а Джаган остался стоять, словно пригвожденный, на месте. Он попытался вспомнить слова, сказанные Мали, и разгадать их смысл. Но смысла не было. Кто такой психиатр? Что он должен был сделать? Пока он пытался разобраться во всем этом, сосед неслышно появился у забора и вкрадчиво произнес:

— Так редко вас здесь теперь увидишь. А что поделывает ваш сын?

— У него дело с американскими компаньонами.

— О-о, это очень хорошо. Значит, он зарабатывает доллары для нашей страны. Очень хорошо, очень хорошо...

На этой приятной ноте Джаган поспешил уйти: он чувствовал, что сейчас сосед спросит его о снохе. Странная ситуация — он даже не знал, сноха она ему или нет. Он никак не мог решить, кто же из них лжет.

12

Он очень волновался. Он не заметил, как прошел день. В голове у него гудело, он плохо понимал, что делает. Вопросы Сиварамана, деньги, принесенные в медном сосуде, появление братца в обычный час и его уход — все это почти не задело его сознания.

Братец поел, поговорил о том о сем, поджидая, пока речь, как всегда, зайдет о Мали, но Джаган не выказал никакого желания говорить о сыне, и братец не настаивал.

«Что ж, он когда говорит, а когда и нет. Надо принимать его таким, какой он есть, и все тут»,— подумал он и в нужный момент удалился.

Джаган считал деньги и делал записи в книгах, но в мыслях у него было одно: как разгадать загадку, которую задал ему Мали. При каждой новой встрече Мали поворачивался к отцу какой-то новой стороной, часто никак не связанной с остальными. Джаган вспомнил об одном эпизоде из «Бхагавадгиты». Когда воин Арджуна дрогнул на поле брани, господь предстал перед ним в образе его колесничего и явил себя во всей своей беспредельности. Он был тысячелик.

«Я взираю на тебя, бесконечного в своих формах, со множеством рук и чрев, уст и глаз, но не дано мне узреть ни конца твоего, ни середины, ни начала»,— процитировал Джаган про себя, понимая, впрочем, всю неуместность подобного сравнения.

Этот вечер Джаган провел один на ступеньках памятника. Все, кто обычно собирался возле него, давно разошлись по домам. Голова сэра Фредерика одиноко торчала в сверкающем звездами мире. Ночь была жаркой и душной; раскаленный воздух не шелохнулся. За памятником Джагану виден был дом — пойти бы и зажечь в нем свет, а то так и будет стоять, темный, тихий и мрачный. Он вспомнил, как раньше в доме кипела жизнь, в каждой комнате горели лампы, а в праздники вдоль веранды, бывало, ставили и зажигали сотни глиняных светильников. В те дни их дом был освещен ярче всех. Это было задолго до того, как родился Мали, намного раньше даже его собственной женитьбы. Внезапно он вспомнил, как кончилась его холостая жизнь, тот день, когда он отправился в деревню Куппам, чтобы взглянуть на невесту, предложенную ему старейшинами семьи. Он добрался на поезде до Миела, крошечной станции, сверкающей красной черепицей среди изумрудно-зеленых рисовых полей, на две остановки дальше Тричи. От Миела ехали на запряженной буйволами повозке по ухабистой дороге, а иногда без дороги, прямо по засеянным полям. Рядом с ним в повозке сидел младший брат невесты, который приехал на станцию встретить его. Это был знак внимания к жениху. Джагану радостно было ехать к невесте, и всю дорогу он громко смеялся над тряской. Каждый раз, когда колеса увязали и возница слезал и с проклятиями вытаскивал их из песка, Джаган приходил в восторг. Брат невесты все время хранил мрачное молчание и с повозки не слезал. Ему, видно, объяснили, что сдержанность есть лучшая форма уважения к будущему зятю, вот он и сидел как истукан. Позже он отрастил себе длинные усы и стал офицером-летчиком. След его затерялся в бирманской кампании 1942 года.

Отец послал с Джаганом старшего брата, а самому Джагану приказал:

— Не пялься там на невесту. Я ее видел и знаю, что она собой хороша. Не думай, что ты в этом разбираешься.

Наконец, тряское путешествие пришло к концу. Джагана встретили с большим волнением и усадили на ковре, разостланном на веранде старого дома. Будущий его тесть и другие родственники собрались, чтобы посмотреть на предполагаемого жениха и изучить его со всех сторон. Они все разговаривали с ним, стараясь оценить его ум и взгляды. Старший брат успел предупредить Джагана, чтоб он не очень-то болтал, так как в женихе должна быть некоторая загадочность. Родственники то и дело хором спрашивали:

— Как вы доехали?

Джаган гладил одной рукой прядь на выбритой голове, проводил по краю шапки пальцем и украдкой поглядывал на брата. Когда тот легонько кивал, он отвечал:

— Хорошо.

— Удобные у вас были места в поезде? — спросил один из экзаменаторов, сидевший в самом дальнем углу веранды, и на этот раз Джаган ответил сам, не дожидаясь подсказки:

— Конечно.

Приличия требовали, чтобы о путешествии говорилось только хорошее, потому что железнодорожная линия проходила через землю хозяев дома.

— Чем вы занимались в колледже? — спросил еще кто-то, и Джаган ответил, не дожидаясь разрешения брата:

— Историей.

Позже, когда они остались одни, брат толкнул его локтем и сказал: «Тебе бы сказать: «Математикой». Я знаю, что этим людям хотелось бы иметь в зятьях математика; в этой части страны все сыновья первоклассные математики». Джаган огорчился, вспомнив, что он не только сказал «Историей», но и попытался подшутить над собственными способностями к математике.

Беседуя, Джаган украдкой поглядывал на дом, в надежде хоть мельком увидеть свою будущую невесту. Он все еще не имел никакого представления о том, как она выглядит. Дома ему показали яркую глянцевую фотографию, украшенную сверху гирляндой цветов: на ней была изображена молодая особа с острым подбородком и туго заплетенной косой. Фотограф умудрился выполнить свою задачу, не показав невестиных глаз, а Джаган, когда ему дали фотографию, не мог долго ее разглядывать, так как отец внимательно следил за ним. Его мучила мысль, не косоглаза ли невеста,— всем известно, что фотографы всегда стараются скрыть подобные факты. Ему понравился ее рост — она стояла, опершись локтем на этажерку, на которой красовалась ваза с цветами; пальцы у нее были тонкие и длинные. На ней было столько украшений, что невозможно было понять, как же выглядела она сама, а фотограф, конечно, придал ей нужный цвет лица.

Теперь Джаган собирался убедиться во всем собственными глазами. Занятый ответами на вопросы, он в то же время напряженно ждал, когда же его пригласят в дом и он увидит невесту. На веранду вынесли серебряный поднос, на нем горой лежало золотистое печенье и бонда, приготовленная из сырых бананов, а в двух серебряных бокалах был кофе, горячий и густой. При виде угощения Джаган почувствовал страшный голод. Если б за ним не следило столько глаз, он проглотил бы все это в одно мгновенье (его теории о еде появились гораздо позднее), но брат взглядом удержал его. Неписаный закон был строг и нерушим — они были почетные гости, от слова которых зависела судьба девушки. Это была роль важная и серьезная, они должны были держаться с достоинством и не терять выдержки при виде печенья. Даже если б они умирали с голоду, им следовало сказать: «О-о, право, к чему все это? Я не могу съесть ни крошки. Мы только что поели в поезде и выпили кофе...» Джаган пробормотал эту фразу с крайней неохотой, за ним ее повторил брат, повторил раздельно и четко. И все же, согласно тому же неписаному закону, хозяева должны были настаивать. Тогда кончиками пальцев можно было отломить кусочек печенья и положить его в рот, всячески демонстрируя отсутствие аппетита и даже отвращение к еде. Затем, после дополнительных уговоров, можно было проглотить еще два или три кусочка, просто чтобы порадовать хозяев, и элегантно отхлебнуть кофе из чашки. В такой обстановке полагалось держаться так, будто ты делаешь все исключительно ради хозяев. Чашка с кофе оставлялась наполовину недопитой, а печенье и всякая другая еда практически нетронутыми. Надо было спокойно очистить банан, отломить кусочек и съесть с бесстрастным выражением лица, а остальное оставить. Джагану еще ни разу не доводилось так держать себя. Дома он славился своим аппетитом, и мать не уставала им восхищаться. Придя домой из школы, он тут же начинал шарить в шкафу на кухне и набивал рот орехами, сладостями и всякой прочей едой, которую мать

готовила специально для него. В субботу и воскресенье, когда он в школу не ходил, он ел без остановки с утра до ночи, чем вызывал неизменное одобрение отца, который всегда говорил: «Этот наш сынок был, верно, крысой в своей прошлой жизни, так он все славно сгрызает...»

Молодому человеку с такой репутацией нелегко было сдерживать себя — пальцы у него чесались, а рот наполнился слюной. И все же, положив в рот крошечную долю того, что стояло перед ним, Джаган решительно отодвинул поднос.

Потом в дверях появилась его будущая теща, незаметно разглядела жениха и кротко сказала в пространство:

— Почему бы нам не перейти в дом?

Хозяин дома поднялся и сказал:

— Почему бы всем не войти?

И это тоже диктовалось неписаным законом. Хотя все прекрасно знали о цели их приезда, обеим сторонам полагалось держать себя свободно, не выказывая особого интереса или волнения. Все поднялись. Брат Джагана, прирожденный дипломат, встал предпоследним — последним был сам Джаган, хоть он и сгорал от нетерпенья. Больше всего он боялся допустить какой-нибудь промах и тем опозорить свою семью, которой немало пришлось уже от него претерпеть. Вот уже три года, как Джаган ходил в женихах, он побывал на смотринах четырех невест. В двух случаях он смотрел на девиц открыв рот, потому что они оказались удивительными дурнушками. В третий раз он, не таясь, смотрел на ноги входившей невесты — шла молва, что она хромая. Ему сильно досталось за эти промахи, а истории эти вошли в репертуар семейных анекдотов. Когда к ним в дом приезжали братья матери или другие родственники с материнской стороны, после обеда все усаживались во дворе, соображая, о ком бы позлословить, и неизменно вспоминали эти истории. На этот раз, чтобы избежать ошибок, с Джаганом послали старшего брата, он должен был руководить им в сей деликатной миссии. Брат не собирался манкировать своими обязанностями: он строго следил за Джаганом, распоряжался и манипулировал им, то сужая глаза, а то широко открывая их.

Гости вошли в центральную комнату деревенского дома. В честь их приезда бесчисленные скамеечки, свернутые постели и всякие прочие вещи, стоявшие на ходу, были сдвинуты в угол и прикрыты большим ковром. На полу был разостлан другой ковер, огромный и полосатый; чтобы перебить шедший со двора запах хлева, в комнате курились благовония.

«У этих городских странные привычки, они не умеют жить с домашними животными»,— сказал отец невесты. Так, во всяком случае, передавала потом жена Джагана.

Джагану сцена действия показалась божественно красивой; на мгновение его охватила радость при мысли о том, что все это делается ради него (хоть им и распоряжался старший брат). Его усадили, а остальные устроились кругом. Джаган все время думал:

«Вокруг столько народу, что я ничего не увижу. Пусть пеняют на себя — я потребую, чтобы невеста вышла еще раз».

Он прекрасно знал, что второго выхода не бывает и быть не может, но воображение его разыгралось и он ничего не мог с собой поделать. За дверью послышались голоса. Джаган замер, решительно отвернувшись от брата. Где-то в доме вдруг заиграл аккордеон и под нестройные звуки музыки низкий голос, слегка похожий на мужской (позже Джаган с ним хорошо познакомился), запел гимн Тьягараджа: «Силой одной мысли Рамы...»

— Это Амбика поет... Она очень боялась петь в присутствии столь-

ких гостей, поэтому она и поет из другой комнаты. Она очень хорошо поет. Я выписал ей учителя из города.

И он назвал местечко, расположенное за шесть миль от их деревни. У Джагана не повернулся язык сказать, что они могли бы не беспокоиться, да это ему и в голову не пришло. Пение прекратилось. В соседней комнате послышался шум, кто-то спорил, упирался, а потом оттуда вышла девочка с туго заплетенной косой и, улыбаясь, сказала:

— Амбика не хочет выходить. Она боится.

Гости принялись шутить и смеяться. Хозяин дома громко позвал:

— Амбика, Амбика, выходи... Мы тебя ждем... В наши дни бояться нечего.

Он повернулся к женщинам и сказал:

— Не смейтесь над ней... Она скоро успокоится.

После всей этой подготовки в комнату, шелестя кружевным сари, вошла высокая девушка, повернулась лицом к публике и улыбнулась. Сердце у Джагана забилось.

«Совсем не такая, как на фотографии... Какая высокая! Не может быть...»

Но мысли его были прерваны хозяином дома.

— Это моя старшая дочь,— объявил он.

А высокая девушка сказала:

— Амбика сейчас выйдет.

Остальное Джаган не слышал. Он потерял интерес к высокой девушке, которая, оказывается, лишь возвещала о выходе младшей сестры. Наконец, появилась и та, низко склонив голову и опустив глаза. Она так быстро шла по арене, что Джаган не успел ее рассмотреть.

«Ни низкая, ни высокая, ни худая, ни толстая...»

Больше он ничего не мог бы сказать. Детали мешались, но общее впечатление было приятным, не то что с другими.

«Как же она узнает, какой я, если она так быстро идет? — размышлял Джаган.— Мне все равно, что скажет мой брат. Сейчас я буду смотреть, наблюдать и изучать. Мне все равно, что они подумают».

И он, не мигая, глядел на девушку. Ее густые волнистые волосы были заплетены в толстую косу и украшены цветами, на ней было множество драгоценностей. Одета она была в светло-зеленое сари, которое удивительно шло ей. Темная она или не очень? Кто знает? Глаза его туманились от счастья, и гляди он на нее, не отрываясь, хоть целый день, все равно он не смог бы сказать, какая она. В эти минуты тревоги и смятения она вдруг бросила на него быстрый, словно молния, взгляд, который волею судеб встретился с его взглядом, глаза их дрогнули, сердце Джагана стукнуло, бешено заколотилось,— и не успел он опомниться, как все было кончено. Публика встала, начала расходиться, видение исчезло.

Всю дорогу домой Джаган был погружен в свои мысли. Брат не пытался вывести его из задумчивости. До поезда было еще два часа, но запряженная быками повозка доставила их на маленькую станцию еще до захода солнца и вернулась к себе в деревню. Джаган уселся на товарные весы, глядя вдаль на цепь гор за зелеными полями. Брат, нетерпеливо шагавший по платформе, остановился возле него и сказал:

— Что это они нас бросили здесь, да еще так рано?

Джаган только ответил:

— У них на то были, верно, свои причины. Я слышал, как младший брат говорил, что буйволам трудно в темноте возвращаться домой.

— Ага, ты их уже защищаешь? Значит, ты?..

Джаган робко кивнул, встал и с волнением спросил:

— А как они узнают? Наверно, нам надо было им сказать.

Брат застыл на месте.

— Надеюсь, ты не ляпнул им сдуру, что девушка тебе понравилась?— сказал он.— Нельзя себя ронять в их глазах.

— Нет, нет,— успокоил его Джаган.— Я все время был с тобой и никому ни слова не сказал, только попрощался...

Когда пришло время уходить, ноги его словно приросли к полу. Он с трудом отдирал их и шел медленно, как улитка,— он все надеялся, что она выглянет из дверей, хотя бы в знак того, что она действительно его любит, как поведал ему ее молниеносный взгляд. Ему хотелось как-то заверить ее, что он на ней женится и что ее пение его совсем не смущает. Взбудораженному воображению Джагана казалось, что нужно немедленно передать ей все это, и если она и взаправду к нему неравнодушна, она могла бы, прощаясь, подать ему знак. Он никогда не думал, что быки и расписание поездов так бесцеремонно оторвут его от возлюбленной.

И в поезде он был грустен. Его огорчало, что он упустил возможность проститься с любимой. Мысль о ней была удивительно приятной, успокаивающей и в то же время волнующей. Брат, которому больше не нужно было ни о чем беспокоиться, крепко спал на своем месте. Джаган волен был мысленно вернуться в деревню и бродить там себе на свободе.

Перебирая в уме все подробности прошедшего дня, Джаган с удовольствием думал обо всем: дом их был хорош и удобен, в комнатах чудесно пахло благовониями, и запах этот как-то очень удачно смешивался с запахом навоза из хлева, аккордеон был расстроен, и по нему нельзя было судить о ее музыкальных способностях. Голос у нее был хрипловат, потому что ей пришлось приспосабливаться к этому ужасному инструменту. Он был уверен, что на самом деле голос у нее так же прелестен, как и лицо... Потом и он заснул и проспал до самого конца путешествия. Им нужно было сойти и сделать пересадку на какой-то станции, в Мальгуди поезд пришел рано утром. Брат окликнул повозку, долго торговался, а потом они отправились в свой старый дом на улице Лоули. Пока брат спорил с возницей, потребовавшим на две аны больше условленного, Джаган подхватил свою сумку и прошел в дом. Мать улыбнулась ему, но ничего не спросила. Отец доставал во дворе воду из колодца, он взглянул на Джагана и продолжал свое дело. Сестра ходила вокруг священного дерева туласи *, посаженного в центральном дворе. Она хитро улыбнулась ему, продолжая шептать молитвы. Джаган удалился к себе в комнату и подумал:

«Неужели никого не интересует, что я думаю об этой девушке? Никто меня даже не спрашивает, понравилась она мне или нет. Может, они не хотят, чтобы я женился?»

Брат его тоже не стал никому ничего сообщать, а прямо прошел во двор за домом и стал помогать отцу доставать воду.

Однако каким-то образом все стало известно. Сестра первая пришла к нему в комнату, когда он уходил в колледж. Глаза у нее хитро блестели.

— Эй-эй! — воскликнула она и, дразня, поцокала языком.— А кто-то у нас скоро женится...

Весь дом был в волнении. Для подготовки к свадьбе вызвали жену брата из дома ее родителей. Шаг за шагом темп все убыстрялся. От двенадцати до трех часов дня отец писал многочисленные открытки и сам относил их на станцию, чтобы собственными глазами убедиться, что они ушли почтовым. У него было множество старших родственников, он ставил их очень высоко и без их разрешения ничего не предпринимал. Каждое утро в десять часов он с нетерпением ждал почтальона. В те дни открытка стоила всего три пайсы, ее можно было густо исписать с

* Небольшое деревце, выращиваемое во дворе каждого индусского дома. Оно почитается воплощением богини, перед ним на рассвете молятся женщины семейства.

обеих сторон. Получив одобрение старших, отец Джагана несколько раз совещался о чем-то шепотом с женой в дальнем углу второго двора. Джаган, как подобало младшему, старался не проявлять слишком большого интереса к собственной свадьбе, но ему очень хотелось узнать, что же происходит. Если б он спросил об этом прямо, его бы поставили на место. Приходилось уповать на младшую сестру — стоило старшим разговориться, как она тотчас же оказывалась поблизости, а потом сообщала Джагану все новости. Она приходила к нему в комнату, где он сидел за письменным столом, делая вид, что занимается, и шептала:

— Двоюродный дедушка одобрил...

— Завтра отец напишет родным невесты. Они дожидаются удачного положения звезд...

— Отец требует приданое в пять тысяч рупий...

Последнее известие встревожило Джагана. А если отец невесты откажется? Что тогда?

— Они хотят отпраздновать свадьбу в сентябре...

Только три месяца! Джаган испугался при мысли, что через три месяца он уже будет женат. Одно дело мечтать о девушке и абстрактно размышлять о женитьбе, но стать вдруг и впрямь настоящим мужем... Это была ужасающая реальность.

— Почему они так быстро хотят сыграть свадьбу? — спросил он.

Письмо отца о согласии ушло в деревню Куппам. Стороны обменялись множеством, множеством писем. Переписка все росла. Отец Джагана методично накалывал письма на длинное острие на круглой деревянной основе, на котором с незапамятных времен хранилась вся семейная корреспонденция. Однажды вечером в доме появились родные невесты, они привезли с собой огромные медные подносы, нагруженные бетелем, фруктами, шафраном и новой одеждой. Еще на подносах стояла серебряная ваза с ароматной сандаловой пастой, серебряная тарелка, на которой горой были насыпаны крупные кристаллы сахара, и две серебряные лампы. В холле собрался с десяток жрецов и кое-кто из соседей и родных. Джагану подарили новое дхоти и усадили в середине. Затем они развернули большой лист бумаги, над которым заранее немало потрудились: на нем был написан точный текст извещения о свадьбе и стояли тщательно выверенные имена. Старший жрец дома, высокий худой старик, поднялся и громко прочел извещение. Голос его от волнения дрожал.

Он читал, что Джаганнатх, сын такого-то, 10 сентября женится на Амбике, дочери такого-то, и все прочее, что полагается в таких случаях. Отец невесты торжественно подал отцу Джагана этот важный документ вместе с конвертом, в котором лежал аванс, половина приданого наличными, и осторожно предложил:

— Пожалуйста, попросите своего старшего сына пересчитать деньги.

Отец Джагана что-то пробормотал в знак отказа, но передал конверт старшему сыну, который, не теряя времени, принялся пересчитывать деньги, а потом подтвердил:

— Две тысячи пятьсот.

— Считать было совсем не нужно,— сказал отец Джагана любезно,— но раз вы настаивали...

— В денежных делах лучше действовать наверняка. Разве я мог быть уверен, что не ошибся при подсчете? Я люблю пересчитывать деньги снова и снова,— сказал будущий тесть Джагана, и все засмеялись, словно услыхали блестящую шутку. А затем все перешли во второй дворик, где стояло угощение, приготовленное целой армией искусных поваров. Там были расстелены огромные платановые листья, на которых для каждого гостя стояли серебряный бокал и тарелка, а на ней горкой

лежал белоснежный мягкий рис и с десяток всевозможных закусок и приправ. Несколько музыкантов, сидящих в первой половине дома, нестройными звуками оповещали весь город о том, что здесь договариваются о свадьбе. Дом был ярко освещен бесчисленными медными светильниками и газовыми лампами, от них вокруг плясали зеленые тени. Джаган был глубоко взволнован всем этим торжеством. Он думал: «И все это ради моей свадьбы! Как они серьезно к ней относятся. Теперь уж не откажешься...»

Родных невесты посадили на полночный поезд. Как только их проводили, мать Джагана и ее родственники вошли в дом и, не теряя времени, принялись оценивать стоимость одежды и серебра, переданных им в подарок. Они остались довольны весом и формой серебра. Мать выразила свое крайнее одобрение Джагану:

— Твой тесть не скуп. Посмотри, сколько весят все эти подарки.

Джаган, уже отождествлявший себя с семьей невесты, обрадовался, будто это его самого похвалили.

По мере того как приближался сентябрь, дел в доме все прибавлялось. Джаган потерял счет времени. Экзамены за семестр пришли к концу, и отец разрешил ему не ходить в колледж, а помогать дома готовиться к свадьбе.

Мать ходила по дому и приговаривала:

— Хоть мы и родные жениха, мы себя не щадим, работы на всех хватит.

Надо было выбрать одежду невесте и ее родным. Для этого мать со своими родственниками отправились в «Универсальный дворец сари» и восемь часов, не разгибаясь, рассматривали золотую кайму, материю и сотни сари. Джаган часами торчал у своего портного, который снимал с него мерки для шелковых рубах и темного костюма. Его матери и всей семье очень хотелось, чтобы во время свадебной церемонии жених был в темном костюме. Сам Джаган предпочел бы рубашку и дхоти, но вынужден был согласиться на костюм из плотной шерсти. Особенно страстно настаивал на костюме старший брат — ведь и на него во время свадьбы надели костюм. Брат взял на себя печатание приглашений, носился к «Правдивому печатнику» и приготовил подробнейший список адресов. Отец допекал всех этим списком — он то и дело спрашивал, включили ли они такого-то, а если нет, требовал, чтобы его включили тотчас же. Он будил их глубокой ночью, если ему вдруг в голову приходило забытое имя. Он не хотел пропустить ни одного знакомого или родственника, хоть отдаленно связанного с Джаганом. Никто никогда и не подозревал, что отец будет с таким жаром рассылать приглашения, что он соберет и вспомнит столько имен. Правда, он почти никогда не знал, как пишется это имя или какие у этого человека инициалы (многие были ему известны только по своим сокращенным, домашним именам), живет ли он по старому адресу и вообще жив ли еще.

Они разослали три тысячи приглашений. В результате на свадьбу в деревне Куппам автобусами, поездом и всяческим другим транспортом прибыла огромная толпа гостей. Джаган только и делал что здоровался с прибывающими или простирался перед ними ниц, если то были старшие родственники. Жрецы посадили его перед священным огнем, а сами стали совершать сложные обряды и петь священные мантры *. Он утешал себя тем, что во время всех этих церемоний он должен был сжимать руку своей молодой жены. Глядя на священную нить тхали **, которую он обвязал вокруг ее шеи в самый торжественный момент, он

* Обрядовые песнопения индуизма.

** Желтая нить, которую жених завязывает невесте на шее во время обряда бракосочетания; она носит ее на шее всю жизнь.

чувствовал огромную ответственность. От запаха цветов, священного костра и гирлянд из жасмина, от надетых на него кружев и дорогих шелков, от шороха новых сари, в которых, словно видение, появлялась его жена, у него захватывало дыхание. Голос у нее оказался не такой грубый, как когда она пела под звуки аккордеона; ее улыбка, голос и смех были прелестны, и, как только ему удавалось остаться с нею вдвоем, она говорила с ним робко и сдержанно. В доме, битком набитом родственниками и гостями, это удавалось нечасто, присутствие стольких гостей тяготило и раздражало его. Стоило ему улучить свободную минутку и заговорить с молодой женой, как к ним обязательно подходил кто-нибудь и говорил:

— Ну, ладно, ладно, хватит... Нечего держаться за женскую юбку... Рано тебе еще... У тебя впереди целая жизнь, успеешь на нее насмотреться. А нас после свадьбы ты уже не увидишь.

Такие вторжения и шутки были обычными для всякой свадьбы, но Джаган страдал, чувствовал себя мучеником и думал о том, насколько все было бы лучше, если б вокруг было меньше родных и друзей. Шум, звуки барабанов и флейт, шутки и угощение — все это продолжалось три дня, в конце которых фотограф усадил всех большой группой с новобрачными посредине. В целом торжества прошли благополучно, хотя качество кофе, присланного в дом жениха родителями невесты, вызвало критику, а один из дядюшек Джагана, человек очень старый, пригрозил уехать со свадьбы.

В ночь свадебного пира возникло еще одно осложнение. Человеку, занимавшему самое высокое место на лестнице семейной иерархии (это был двоюродный брат отца Джагана, семидесятипятилетний старик, специально приехавший на свадьбу из Берхампора), дали разорванный банановый лист для еды и усадили среди детей, тогда как ему полагалось место в первом ряду. Это грозило крупным скандалом, но отец невесты при всех признал свою ошибку и извинился, и все было забыто.

Все женщины из семейства жениха очень взволновались, когда узнали, что в невестином приданом не оказалось обещанного золотого пояса, который значился в первом списке драгоценностей. Городской ювелир задержал заказ, а когда, наконец, он его привез, оказалось, что пояс сделан не из одной золотой пластины, а из множества золотых звеньев, соединенных между собой шелковой нитью. Женщины сочли это откровенным обманом.

— Они экономят на золоте! — сердито кричали они.

Они могли бы и вовсе прервать свадебную церемонию, но Джагану был неприятен весь этот шум из-за пояса, и он объяснил матери:

— Это же последняя мода, сейчас девушки не носят массивные золотые вещи. Они слишком тяжелые.

Тут все набросились на него, говорили, что он уже попал под каблук и что в его лице семья невесты приобрела дарового защитника. Даже брат отвел его в сторону и сказал:

— Ты что-то слишком скоро поглупел. Оставил бы все это женщинам. Пусть себе решают, как хотят...

На что Джаган храбро ответил:

— А что они напали на мою жену? Бедняжка она...

Услышав эту клятву верности, брат отвернулся от него с кислой улыбкой.

— Ты одержимый, что с тобой разговаривать,— сказал он уходя.

Джагану дали комнату в средней части дома. Когда он и его жена закрыли за собой дверь, они очутились в своем особом мире, в центре которого стояла массивная кровать под балдахином. Во время послед-

них переговоров отец Джагана настоял, чтобы комната новобрачных была обставлена должным образом за счет семьи невесты. В одном углу Джагану был устроен кабинет (ему еще предстояло сдавать экзамены). Когда они оставались одни, Джаган не выпускал жену из объятий. Он потерял счет дням. Колледж ему только мешал, он уходил с занятий и тайком проникал к себе в комнату. Он провалил все экзамены, вынудив своего отца сказать, что для того, чтобы Джаган получил диплом, нужно отправить Амбику к ее родителям по крайней мере на шесть месяцев. Дома Джаган не сидел больше с сестрой, матерью или братом, как раньше, а запирался у себя и ждал прихода жены. Но в большом общем хозяйстве у нее были свои обязанности: она возилась вместе с другими на кухне, помогала свекрови готовить, подавала еду, подметала, скребла полы, мыла посуду и, наконец, дожидалась свекрови, чтобы поесть вместе с ней. Было бы неприлично невестке искать общества мужа в то время, как все в доме были чем-то заняты. Примером во всех этих делах служила старшая невестка, а та, в свою очередь, брала пример с матери Джагана, которая смолоду прошла всю эту науку, войдя невесткой в дом мужа. Амбика то и дело напоминала Джагану о своих обязанностях невестки, но он не желал ни о чем слышать. Если он приходил домой и ждал у себя в комнате жену, а она была занята и не приходила, он дулся и ссорился с ней, а то притворялся, что погружен в свои книги. Жене хотелось, чтобы он всегда был в хорошем расположении духа и рано или поздно она соглашалась на его неумеренные требования. Отец сурово бранил его за равнодушие к занятиям. А мать часто говорила:

— Сын остается сыном, только пока нет жены.

Ей было обидно, что он не может найти времени для остальных членов семьи. Младшая сестра говорила:

— Кто ты, незнакомец? Мы уже забыли, как ты выглядишь.

Сама Амбика часто просила:

— Пожалуйста, не ставь меня в неловкое положение. Сделай хотя бы вид, что остальные тебя интересуют.

А старший брат отвел его однажды в сад и сказал:

— Я знаю, как ты себя сейчас чувствуешь. Я сам через это прошел. Но если ты проводишь четыре часа в спальной, проводи иногда хотя бы час с семьей. Иначе к тебе дома будут плохо относиться.

Так получилось, что в семье на Джагана стали смотреть косо, но он ничего не замечал: он упивался супружеской жизнью. Позже, когда у жены все еще не было ребенка и среди родных начались пересуды, Джаган сказал жене:

— Жаль, что они не могут увидеть нас сейчас, с этой стороны двери. Тогда бы они перестали судачить.

Несмотря на все его хвастовство, доказательств его мужественности все не было. Они уже были женаты около десяти лет, он много раз проваливался на экзаменах и все никак не мог сдать на бакалавра, а надежд на ребенка все не было. Брат переехал на улицу Виньяка, вместе с ним переехала и вся его семья — теперь их была целая куча. Сестра вышла замуж и уехала к мужу. Большой дом затих, и все начали замечать, как пусто в нем теперь стало. Мать Джагана ворчала, что в доме нет детей — это был еще один повод корить невестку. Когда она уставала от мытья полов, она начинала бормотать:

— Только одно от девушки и требуется, чтобы она принесла в дом детей, как все нормальные люди. Никто не требует от нее серебра или золота, пусть себе обманывают с золотым поясом. Но почему она не может родить, как миллионы других женщин на свете?

Все это предназначалось для ушей невестки, которая тут же скребла пол. Невестка продолжала скрести, не говоря ни слова, но стоило двери их комнаты закрыться за нею на ночь, как она напускалась на Джагана. Порой она относилась ко всему этому как к шутке. Он сидел со своими учебниками, а она присаживалась на край стола и, болтая ногами, говорила:

— Знаешь, я теперь боюсь месячных. Опять они начнут говорить...

— А почему бы тебе не притвориться, что у тебя ничего нет? Теперь многие девушки так делают.

Но это было легкомысленное предложение. В доме со старинным укладом, со всеми его молельнями и богами, женщина во время менструации не должна была соприкасаться ни с кем, так как вокруг нее возникало магнетическое кольцо осквернения. Три дня она ела в самом дальнем углу и не должна была ходить по дому. Джаган очень сердился и кричал:

— Зачем им еще дети? Мой брат народил их столько, что хватит на несколько семей. И сестричка уже оправдала надежды — трое за четыре года! Неужели им этого мало? Почему они не успокоятся?

— Потому что, если б у меня был ребенок, им не о чем было бы говорить,— отвечала Амбика и вполголоса прибавляла: — Что касается нашей семьи, то у всех моих сестер много детей. Твоя мать обвиняет меня в бесплодии, а...

Джаган тут же кидался на защиту своей семьи:

— С нашей стороны тоже не может быть никаких сомнений. Ты знаешь, у нас есть семейная фотография: бабушка в центре, а вокруг все ее дети и внуки. И знаешь, сколько голов можно насчитать на этой фотографии?

— Сорок? Пятьдесят? — спрашивала Амбика. — У нас тоже есть семейная фотография с бабушкой. И знаешь, сколько там детей, внуков и правнуков?

— Сто двадцать? — нарочно ответил Джаган.

Его жена отвечала:

— Нет, ты этим не шути. Сто три человека! А фотограф, как говорят, взял за эту фотографию вчетверо больше обычной цены.

Она покраснела под своим смуглым загаром и с жаром сказала:

— Нет, в нашей семье импотентов нет.

Джагана рассердило это слово, и он озабоченно вскинул глаза от книги. Ему было нечего ответить. Его увлечение постелью последнее время сильно уменьшилось. Он вспоминал, как часто он скатывал свой ковер, брал подушку и, жалуясь на жару, уходил спать на веранду.

— Здесь очень жарко. Может, мне пойти на веранду? Ты не будешь бояться?

— Бояться? Чего? — отвечала Амбика, сначала шутя, а потом, по мере того как шло время, с раздражением.

Теперь он почти все время спал на веранде. Только когда она возвращалась, после долгого отсутствия, из родительского дома, он дарил ее своим вниманием целую неделю подряд, не заботясь о том, что она при этом испытывает. Этот вопрос он никогда не задавал ни себе, ни своей жене. Джагану надоела вся эта процедура секса — надежда и тщета, печаль и усталость в конце, и он не сомневался, что и жена разделяет его настроение. К тому же в какой-то книге он прочитал, что природа предназначила секс только для продолжения рода, что одна капля белой крови равна сорока каплям красной и что от потери семени и нервного истощения сокращается срок жизни, а подлинным достижением является безбрачие и экономия сил.

Теперь он испытывал потребность произвести на свет ребенка. Но он не знал, что еще он мог сделать. Амбика тоже страстно желала иметь

ребенка. Надо было что-то предпринять. Она дулась, самым видом своим обвиняя его во всем. Увидев, как он скатывает свой ковер, она с горечью сказала:

— Почему бы тебе не пойти поспать у памятника Лоули? Там, верно, гораздо прохладней.

Когда она так дразнила его, он терялся и делал попытку отшутиться.

— Этот памятник не для того ставили, чтобы мы там спали.

Но шутка эта казалась глупой даже ему самому. Если же она продолжала язвить, он тушил свет, тащил ее к постели и валил, воображая себя шейхом из голливудского фильма, в котором Рудольф Валентино демонстрировал искусство брать женщину силой.

Однажды утром отец неожиданно сказал:

— Во вторник мы едем в храм на горе Бадри. Ты бы попросил, чтобы тебя отпустили из колледжа на два дня. Твоя жена тоже поедет с нами.

Отец, проводивший обычно все время во дворе за домом, пришел на его половину специально, чтоб сообщить ему об этом, что само по себе свидетельствовало о серьезности положения. И все же Джаган нашел силы спросить:

— Зачем мы едем в этот храм?

Отец ответил:

— Этот храм известен под именем Сантаны Кришны. Это единственное средство от бесплодия женщины, другого мы не знаем.

Джаган залился краской. Он хотел заверить отца, что его жена способна к деторождению, и рассказать ему о семейной фотографии, хранящейся в ее доме, на которой снята бабушка и сто три ее отпрыска, но язык у него словно прилип к гортани. Такие вещи не обсуждают с отцом и матерью. В этом году он много занимался, решив сдать экзамен на бакалавра и доказать, что можно быть супругом и ученым. По крайней мере, жену тогда перестанут винить в его неуспехах. Каждый раз, когда становилось известно, что он опять провалился, все намекали на это в ее присутствии, и, как только за ними закрывалась дверь спальной, Амбика говорила:

— Почему ты не соберешь свои книжки и не уедешь в гостиницу? Твоя мать, видно, думает, что я вечно сижу у тебя на коленях и мешаю тебе заниматься.

Она так сердилась, что он решил смягчить обиду шуткой собственного производства:

— Если я и не занимаюсь, то только потому, что образование, по-моему, никому не нужно, вот и все.

— Твоя мать говорит, что я сама необразованная и хочу тебя свести до своего уровня.

— Почему ты не заткнешь уши, когда мать начинает так говорить?

— Почему ты не возьмешься за ум и не сдашь, наконец, экзамен?

Он сказал:

— Да, это неплохая идея.

И изо всех сил принялся за дело. Теперь он никогда не опаздывал на занятия, никогда не прогуливал, составил список предметов и расписание подготовки к экзаменам. Он за полночь сидел за книгами. И вдруг отец нарушает эту жизнь, идущую по строгому распорядку, своим решением посетить храм.

— Разве нельзя поехать после экзаменов? — попросил Джаган.

Отец сердито взглянул на него и сказал:

— Мы уже достаточно ждали.

Потом, почувствовав, что он слишком суров, прибавил:

— Это единственный месяц, когда мы можем подняться в горы. Если начнутся дожди, мы туда не пройдем. Пиявки и все такое... Там дождь идет десять месяцев в году.

К подножию горы подъехали в автобусе. Их было четверо — Джаган с женой, его отец и мать. Джаган был тронут заботой отца — подняться пешком в горы в его возрасте было не шуткой. Мать казалась необычно довольной тем, что наконец-то найдено средство от бесплодия невестки. Она всю дорогу повторяла:

— Все хорошее приходит со временем. А то почему бы мне не подумать об этом раньше, скажем, в прошлом году?

Она прокричала эти слова во весь голос, перекрывая шум автобуса. Они сидели на длинном сиденье, сжимая в руках узелки с пожитками. Амбика робела. Какая-то женщина, сидевшая напротив, спросила:

— А вы куда едете?

— В храм на горе Бадри.

— А-а, сейчас самое время... Бог благословит вас детьми.

— Только не меня,— сказала мать Джагана.— У меня их хватает.

И все засмеялись.

Человек, сидевший рядом с женщиной, перегнулся вперед и сказал:

— Если будет на то благословение господне, у вас родятся близнецы. Я по опыту знаю.

И снова все засмеялись.

— Нет, близнецов мы не хотим — с ними очень трудно. У одного моего дальнего родственника были в семье близнецы, так родители чуть с ума не сошли. Оба в один голос требовали есть и так же в голос отказывались от еды. Я буду рада, если у моей невестки родится один ребенок, а второй уж пусть будет немного погодя,— сказала мать Джагана.

— Сколько у вас сыновей? — спросила женщина, и они углубились в семейные дела. Кого-то на заднем сиденье тошнило, и автобус то и дело останавливался, чтобы он мог высунуться из окна и опустошить желудок. Амбика, как и полагалось невестке, сидела рядом с матерью Джагана, а Джаган сидел рядом с отцом, у которого вид был деловой, словно он ехал заключать сделку.

Джаган с удовольствием сел бы с женой, но женщинам не разрешалось сидеть с мужчинами, Амбика должна была сесть со свекровью из вежливости, так что Джагану ничего не оставалось, как сидеть с отцом. Сиденье было длинное, оно шло вдоль всей стенки.

С другой стороны от Джагана сидел мужчина из лесного племени с ожерельем из крупных бус на шее. На коленях у него стояла небольшая деревянная клетка с пестрой птицей; время от времени раздавался крик, похожий на скрип двери на старых, несмазанных петлях. Крик этот заглушал голоса пассажиров, которых в автобусе было не менее пятидесяти, хотя официально автобус вмещал вдвое меньше. Одни пассажиры ехали с билетами, другие — без, так как кондуктор положил их деньги себе в карман и теперь подгонял отчетность, то и дело вынимая тетрадь и что-то в нее записывая.

Кто-то что-то говорил, спрашивал, советовал, объявлял, низко звучали мужские голоса, пронзительно — женские, смеялись и плакали дети — все это сливалось в один неясный гул, то и дело разрываемый резким криком птицы. Отец Джагана с увлечением говорил о различных типах навоза и о том, как копать колодцы, с крестьянином, сидящим справа от него. Тот щелкал земляные орехи и бросал скорлупу на пол.

Джаган взглянул на жену и увидел, что она устала — шум и грохот автобуса утомили ее. Он пожалел, что она не сидит с ним рядом. Он указал бы пальцем в окно и сказал:

«Видишь эти деревья, эти горы? Какие они красивые, правда? Ты понимаешь, что мы отправились в эту поездку ради тебя?»

А она бы, наверно, ответила:

«Скорее ради тебя. Мне чудес не надо. Вспомни семейную фотографию, которая висит в нашем доме».

А он бы тогда стал ее дразнить, ущипнул бы за спину и еще что-нибудь, и в результате они бы поссорились или она обратила бы все в шутку. Трудно сказать, что именно произошло бы. После стольких лет совместной жизни он все еще не знал, чего от нее ждать. Иногда она ко всему относилась легко и просто, а порой сердилась по пустякам и зло смотрела на Джагана. Вообще-то она была образцом доброты, веселого нрава и предупредительности, но, если ее рассердить, она могла наговорить всяких резкостей.

Несколько недель назад отец заметил, что соус какой-то невкусный; выяснилось, что он пересолен. Немедленно учинили расследование. Свекровь спросила:

— Амбика, ты солила соус?

Амбика вежливо ответила из глубины кухни:

— Да, конечно, мама.

Мать в столовой подавала еду мужчинам.

Услышав ответ невестки, она уронила тарелку и, пройдя на кухню, потребовала объяснения.

— Кто тебе велел солить соус?

Амбика холодно ответила:

— Не знаю.

После чего до мужчин донесся голос старшей из женщин:

— Неужели ни у кого не хватает разума спросить, посолили уже соус или нет? Что будет, если солить пищу будут несколько рук? Это месиво есть нельзя, его только в канаву вылить. Вот так все в доме портят и пускают на ветер, я знаю... Я знаю, как это делают.

— Дайте еще риса,— сказал отец из столовой.

Амбика принесла рис и разложила его по тарелкам. А свекровь между тем продолжала:

— Мы же не требуем ничего особенного. Это не для нас, мы не можем даже насладиться зрелищем золотого пояса, как сотни других людей. Но хотя бы разумная...

Она не кончила фразы. Они услышали, как Амбика крикнула:

— Мне все равно...

Бросила блюдо и удалилась со сцены. Она заперлась у себя в комнате и отказывалась от пищи, повергнув в волнение весь дом. Она говорила, что просто не хочет есть — и все. Спустя несколько дней, когда все немного улеглось, она объяснила Джагану:

— Знаешь, что я сказала твоей матери? «Почему вы никак не забудете об этом золотом поясе? Какое он имеет отношение к сахару и соли? Неужели вы в жизни не видели золотого пояса?»

С того дня мать Джагана была очень сдержанна в выражениях и о золотом поясе не вспоминала. Все это время они явно недооценивали характера Амбики.

В деревне у подножия горы они вышли из автобуса. Меньше деревушки не нашлось бы, верно, ни на одной карте — всего два ряда хижин и пара ларьков, сложенных из ящиков, на которых лежал немудреный товар, предназначенный для паломников,— кокосовые орехи, бананы, листья бетеля и цветы.

Мать явно устала от поездки и уселась на большой камень отдохнуть, а отец без конца торговался с продавщицами кокосовых орехов. Наконец он сдался, бормоча, что крестьяне теперь испорчены и стали эксплуататорами наихудшего сорта. Он в ярости замахал кулаками.

— Мы проехали двадцать миль. Неужели нам за наши труды нельзя сделать скидку? Если б я знал, какие здесь цены, я бы все привез из дому,— кричал он гневно.

Мать вмешалась, не вставая с камня, на котором сидела.

— Это не разрешается,— сказала она.— По обычаю...

— Ну, конечно, в *ведах* десять тысяч лет назад было написано, что в этой самой точке земли тебя должна эксплуатировать именно эта крестьянка. Истинно, истинно...— язвительно проговорил он, сердито глядя на сына и на сноху, сидевшую на другом камне, и намекая, что если б только у людей рождались, как у всех, дети, никому не пришлось бы покупать кокосовые орехи по безумным ценам. Джаган под взглядом отца сжался и почувствовал себя совершенно бессильным, но Амбика посмотрела на него с вызовом, словно готовясь предъявить семейную фотографию из ста трех человек.

Не будь Джаган трусом, он бы спросил своих родителей: «Разве у вас мало внуков? К чему вам еще? Почему вы не оставите меня в покое?»

Меж тем торговка кокосовыми орехами говорила:

— Не жалейте немножко потратиться... Когда у вас родится внук, он принесет в ваш дом богатство.

Старик смягчился и спросил:

— Откуда ты знаешь, что у них будет сын, а не дочь?

— У всех, кто молится в этом храме, рождаются сыновья.

Словно в подтверждение пророчества, родился Мали. Едва он появился на свет (это произошло в деревенском доме его матери), как его взвесили, не дав даже повивальной бабке обмыть его как следует, и точно такую же меру золота, серебра и пшеницы отправили богу с горы Бадри, во исполнение обета, который был дан во время поездки.

Через три месяца Амбика вернулась с младенцем домой. Ее родители прислали с ней множество подарков, как предписывал обычай при рождении первенца.

Был устроен большой праздник, на который пригласили сотню гостей. Полы во всех трех частях дома были покрыты листьями для еды. Мали был слабеньким, он едва дышал под грузом золота и драгоценностей, которым осыпали его любящие бабушки и дедушки. После обеда, жуя с удовольствием бетель, отец Джагана радостно огляделся. Дом гудел от смеха и говора гостей. Женщины, сидевшие группками, умудрялись принимать участие сразу в нескольких разговорах. Ребенок, который переходил из рук в руки, плакал, не в силах вынести шум вокруг. Как всегда в праздники, в воздухе стоял запах сандалового дерева, цветов и благовоний. Два дедушки оставили гостей и отошли на миг в сторону.

— Я положу на имя Мали тысячу рупий,— сказал один,— и каждый год в день его рождения буду прибавлять по сто рупий. Так испокон веку поступают в нашей семье, когда рождается ребенок.

— И у нас тоже,— сказал второй.— Должны же мы обеспечить новорожденного и дать ему хорошую основу в жизни.

— Новорожденный в доме — истинное сокровище в этой жизни и в следующей...

— Я боялся, что у Джагана не будет потомства.

— А я ни минуты не сомневался, что все будет хорошо. Бесплодия в нашем доме не бывало.

Лицо Джагана сияло торжеством — он обходил гостей и простирался у их ног, его благословляли. За ним шла Амбика, она тоже простиралась, и ее благословляли. Она держалась гордо, заняв, наконец, достойное положение в доме. Казалось, она особенно радовалась тому, что может добавить, если бы только это было возможно, еще одно лицо к семейным фотографиям, висящим на стенах обоих домов.

13

Джаган, верно, уснул у подножия памятника, размышляя о прошлом. Его разбудил гомон птиц, устроившихся на голове у сэра Ф. Лоули. Джаган сел и взглянул на дом, которого уже коснулся рассвет. Понемногу в утреннем свете вырисовывались тяжелые карнизы.

«Сейчас он не такой мрачный, как ночью,— подумал Джаган.— Но все же вид у него невеселый. Свет и радость тех дней к нему уже никогда не вернутся. Кто его оживит? Уж, конечно, не мой сын и не его... как же ее назвать?.. как же их вообще называют? Какое мне ей придумать имя? Во всяком случае, где они? Пропали из виду. Домой не приходят. Куда они ездят? Мне никогда не говорят. Они друг друга стоят. Они-то дом не оживят, не то что моя мать или даже Амбика, когда она была здорова. Напротив, они все вокруг омрачают. Им без меня там будет лучше».

Джаган чувствовал, что не может вернуться в дом.

«Он запятнан. Но это не мой дом запятнан. Это его дом. Зачем же мне ворчать и беспокоиться? Мне скоро шестьдесят, я проживу еще лет десять или пятнадцать, а Мали, со своей ли роман-машиной или без нее, должен будет прожить в этом доме еще лет шестьдесят или даже больше. Да одарит его господь долголетием!»

На минуту Джаган представил себе Мали восьмидесятилетним старцем, и сердце его дрогнуло. Но он тут же подумал: «А что же станет с Грейс, когда Мали будет восемьдесят лет? Так все и останется без изменений?»

Возможно, Мали удастся отправить ее назад. Это было бы наилучшим выходом, если они так и не согласятся освятить свою связь быстрым браком в горах.

При воспоминании об этом он снова почувствовал боль, словно иголкой тронули рану. «Должно быть, я зажился в этом доме. Если я проживу еще лет десять или пятнадцать, все будет совсем по-другому. В шестьдесят лет человек рождается заново и вступает в новую жизнь».

Вот почему люди так пышно празднуют свое шестидесятилетие. Он вспомнил, как его отец и мать, дядя и тетка, и с десяток других пар праздновали шестидесятилетие главы семьи, словно свадьбу, с музыкой и множеством гостей. Люди любят все время что-нибудь праздновать. Он видел много праздников на своем веку, жаловаться ему не на что. А вот Мали доказал, что в обрядах нет никакой необходимости, можно даже не завязывать священную нить тхали на шее новобрачной. Ничего. Никаких обещаний, никаких уз, никакой ответственности. Сойтись, пожить вместе, а потом отшвырнуть друг друга, когда в голову придет. Кто сильнее, тот первый другого и вышвырнет. Вышвырнет? О чем это он говорит? Они сидят в зеленом автомобиле, сплетя ноги, хоть и наговорили друг о друге всякого. Он совсем разволновался, думая обо всем этом. Искать смысла в поступках Мали было так же утомительно, как пытаться прочитать фразу, написанную на почти неизвестном языке. Он

не хотел больше ничего знать. Больше он не станет ломать себе голову над их поступками, а в доме с закрытыми ставнями не будет больше ни праздников, ни музыки. Когда ему исполнится шестьдесят лет, никто об этом даже не вспомнит. Вдовцу не пристало устраивать праздники. Ему оставалось только уйти со сцены. Какое магическое слово! Если уж отказаться от всего, то нужно сделать это решительно, полностью, не оставляя никакой лазейки, никакого пути назад.

И все же ему нужно было зайти в дом, чтобы собрать кое-что из вещей, хоть он и предпочел бы уйти не оглядываясь, как ушел Будда, когда получил озарение. Было пять часов, в это время в течение полувека он принимал душ.

Спустя час, поев и совершив омовение, он вышел из дому с небольшим узелком в руке, в котором, среди прочих вещей, лежала его прялка.

«Это мой долг перед Махатмой Ганди. Я дал ему клятву, что каждый день своей жизни буду прясть. Я должен сдержать свое слово, буду ли я дома или в джунглях».

Солнечный свет, холодный душ и съеденная им овсянка несколько смягчили пыл его отречения.

Он все еще держал ключ от дома в руке.

«Надо бы оставить его где-нибудь,— подумал он.— Отдать бы кому-нибудь. Не брать же его с собой...»

Впрочем, можно и взять, ведь это ключ от задней двери. Ключ от парадного входа должен быть у Мали. Если он никогда больше не откроет эту дверь, что ж, его дело... Это в его доме поселятся злые духи и будут с грохотом ронять вещи...

Джаган не очень-то верил во все это, впрочем, ему известны были покинутые дома, в которых такое случалось. Надо же и духам где-то жить. Он хмыкнул, подумав о своем любопытном соседе, вечно пристающем со всякими вопросами.

«Пусть поговорит, сколько его душа желает, с духом, который будет буянить в моем доме!»

Он все еще беспокоился о ключе.

«А почему бы мне не оставить его у брата? Это был бы хороший предлог зайти к нему».

Он поиграл с этой мыслью. Нанять такси Гафура, подъехать к улице Винаяка и оставить ключ у брата. Годы назад, когда он решил принять участие в Национальной борьбе, он торжественно попрощался со всеми, прежде чем пойти на добровольное заключение. В глазах у брата стояли слезы! Вся семья была тронута его самоотречением. Они толпой проводили его до угла, хотя вообще-то не одобряли его патриотических действий. Как он тосковал о тех днях, полных тепла и людей! Как ему хотелось, чтобы его и теперь провожали! Если они могли так горевать о человеке, идущем в тюрьму, они могли бы проявить немного чувства и к человеку, удаляющемуся из жизни,— нет, даже больше, потому что это была скорее смерть. Конечно, он будет дышать, видеть и временами даже как-то общаться с ними, но отречение будет полным, совсем как смерть. Ему хотелось, чтобы его проводили как следует, целой толпой. Но из всех них остался один лишь брат. Ему захотелось взглянуть на него. Братец рассказывал, что у него во рту не осталось ни одного зуба, и Джагану было интересно посмотреть, как он сейчас выглядит. Его потянуло услышать его грубый голос, короткие фразы — он был человек положительный, рожденный руководить младшими братьями. Вся улица сбежалась бы к такси Гафура, чтобы взглянуть на человека, у которого, по слухам, сноха была чужестранкой. Брат, вероятно, не пригласит его в дом и велит ему бросить ключ не подходя, ведь самая тень Джагана может запятнать порог его дома. Придется, верно, кричать через улицу:

«Я ухожу из этой жизни. Мне шестьдесят лет. Я вступаю в новую фазу».

Возможно, придется сказать и о Мали.

«Дело не только в его женитьбе. Ты должен знать правду, она всплыла совсем недавно: они не женаты, сидят прижавшись в автомобиле, а потом наговаривают друг на друга».

А брат в отчаянии закричит:

«Убирайся прочь, осквернитель семейной чести!»

Толпа, окружившая такси, засвистит, заулюлюкает, и он опоздает к автобусу у Базарных ворот.

«Лучше унести ключ с собою. Ведь он в конце концов только от задней двери».

Проходя мимо сэра Фредерика Лоули, он вдруг увидел братца, неуклюже катившего на велосипеде. Ветер развевал его волосы, колеса велосипеда опасным зигзагом приближались к самому краю водосточной канавы и каким-то чудом вновь возвращались на середину дороги. Джаган застыл на месте — никогда раньше он не видел братца на велосипеде. Теперь колеса ринулись прямо на него. Закричав что-то невнятное, Джаган отпрыгнул в сторону. Братец беспомощно пронесся мимо, но через десяток шагов свалился с седла, предоставив велосипеду лететь дальше в канаву. Он поднялся на ноги, а Джаган пришел в себя и строго спросил:

— Что это за цирк с раннего утра? В вашем-то возрасте! Вы себя убить могли!

— Да я и сам знаю,— проговорил, тяжело дыша, братец, отряхивая пыль с исцарапанных локтей.— Мне нужно было поскорее найти вас, вот я и одолжил эту машину у соседа. Если не возражаете, я оставлю ее у вас. Я боюсь ехать на ней обратно.

Джаган сказал:

— Я запер дом и больше туда не вернусь.

Он произнес эти слова так безоговорочно и твердо, что братец не стал ни о чем расспрашивать, а перешел прямо к делу:

— Идемте. Нас ждет адвокат. Мали нуждается в немедленной помощи.

— Господи, что случилось?

— Мали со вчерашнего вечера в тюрьме...

Джаган застыл на месте и закричал:

— Боже! Почему?

— У него в автомобиле нашли полбутылки спиртного.

— О, Шива! — возопил Джаган.— Вот почему я не хотел, чтобы он покупал этот ужасный автомобиль.

Он начал осыпать зеленый автомобиль проклятиями, но братец прервал его:

— Вполне возможно, что бутылку ему подбросили...

— Вы не понимаете. Когда у молодого человека есть автомобиль, у него тут же возникают всякие идеи,— объяснил Джаган и с удовольствием углубился в эту тему.— Все было бы хорошо, если б он не купил этот автомобиль.

— Не прерывайте меня,— сказал братец.— Слушайте. Вам нужно сейчас же вызволить его из полицейского участка. Это малоприятное место. Мы сделали бы это вчера вечером, если б вы вдруг не исчезли. Где вы были?

— Спал себе у памятника — и только,— сказал Джаган и вспомнил, как обижалась жена, когда он уходил спать на веранду.

— Тоже выбрали время сидеть с памятником, когда я искал вас по всему городу! — воскликнул братец.— Мы могли бы вызволить Мали еще вчера вечером!

— Что же теперь делать? Бедный мальчик! В полицейском участке! Ему там будет неудобно, ведь он с семи лет спал на пружинном матраце. Как же мне его освободить?

Слезы застлали ему глаза — братец вдруг исказился, пополз в сторону, уменьшился до неузнаваемости. Братец посмотрел на него спокойно и сказал:

— Ну, успокойтесь же. А то этот нищий увидит, что вы плачете.

Братец был человек чрезвычайно разумный, он всегда точно знал, что нужно делать. Немудрено, что на него во всем городе такой спрос, думал Джаган. Стрясется что-нибудь в семье: похороны, свадьба, несчастный случай или тяжба,— он всегда показывал себя с наилучшей стороны.

Джаган спросил:

— А где он там?

— В камере при полицейском участке. Это пока, до суда. Вставайте же, вставайте. Надо пойти и узнать, нельзя ли...

У Джагана закружилась голова. Он прижал руки к вискам.

— Подождите немного. Я так не могу.

Он почувствовал слабость и лег ничком у подножия памятника.

Братец сказал:

— Давайте вернемся в ваш дом.

— Нет,— отрезал Джаган.

— Вам надо отдохнуть. Не волнуйтесь. Я все устрою.

Братец нежно похлопал его по плечу и сказал:

— Не теряйте самообладания. Чего стоит вся ваша философия, если вы не можете выдержать этого маленького испытания?

— В камере...— простонал Джаган.— Я эту камеру знаю. Там грязь страшная, и заключенные мочатся в углу. Впрочем, может, теперь там лучше? — спросил он сморкаясь.

— Конечно, сейчас там все совсем по-другому.

— Да, должно быть, конечно, хотя в британские времена там было ужасно.

Братец продолжал:

— Перво-наперво я отправился в тюрьму и стал уговаривать надзирателей. Я повидал мальчика и поговорил с ним. Мне даже удалось передать ему чашку кофе.

— А поесть вы ему что-нибудь передали? Он, верно, был очень голоден.

— К нему там отнесутся особо. Я знаю районного сборщика налогов, мы все устроим. Я узнал обо всем этом в шесть часов. Я возвращался из дома главного инженера, куда я зашел, чтобы договориться о репетиторе для их сына. На углу возле почтамта посыльный главного инженера сообщил мне об этом. Зеленый автомобиль остановили около Мемпи, где обычно проверяют, не нарушаете ли вы сухой закон, потому что в джунглях, в горах незаконно варят самогон. Какой-то полицейский остановил автомобиль Мали и нашел спрятанные в нем полбутылки спиртного. Ну, вы их знаете... Полиция немедля схватила машину, запечатала при свидетелях бутылку и предъявила им обвинение в нарушении сухого закона.

— А кто там еще был?

— Два его приятеля.

— О, эти приятели, во всем виноваты они. А где сейчас машина?

— Ее пригнали в город. Оставят при полицейском участке, пока дело не будет закрыто.

Джаган сел и молча закрыл глаза, губы его зашевелились в беззвучной молитве.

— Я... Я не знал, что мальчик пьет,— проговорил он, сделав еще одно открытие относительно сына.

— Совсем не обязательно пить, чтобы тебя обвинили в нарушении сухого закона. Достаточно, чтобы у тебя изо рта слегка пахло алкоголем. Есть такие микстуры от лихорадки, у них алкогольный запах. Можно достать справку от врача, что он предписал ему выпить две дозы этой микстуры в тот день, вот и все.

— А где вы достанете такого врача?

— О, вы даром тратите время. Вставайте же, нам надо идти,— вскричал нетерпеливо братец.— Об этом позаботится адвокат. Доверьтесь ему, он все уладит...

— А зачем они поехали в горы?

— Это неважно... Впрочем, что ж — Мали поехал в горы, чтобы встретиться там кое с кем по своему делу и спокойно обсудить все в «Горном приюте». Он ждал представителя своих иностранных компаньонов.

Тут Джаган наконец опомнился:

— Ну, конечно, иностранные компаньоны! Очень внушительно. В Индии никто ничего не понимает! Только иностранцы! Всегда иностранцы! Что ж, все понятно. А бутылка? Как к нему попала бутылка?

— Ее там кто-то забыл. Какой-то незнакомый человек остановил в горах автомобиль, попросил его подвезти, потом сошел, а бутылку забыл в автомобиле.

От этих объяснений Джагану стало легче. Он посмотрел в лицо братца, чтобы понять, сколько в его словах правды, но тот отвел глаза и просто заметил:

— В наши дни все возможно. Людям нельзя доверять, особенно незнакомым. Когда я не смог вас найти, я пошел к Ганешу Рау, он лучший адвокат в нашем районе. Хоть у него работы по горло, он согласился взяться за наше дело. Он Мали знает и восхищается его планами. Он, кажется, обещал приобрести его акции, когда придет время...

— Неужели он верит, что эта машина будет писать романы?

— У меня не было времени с ним подробно поговорить, но, когда я упомянул об этом, он сказал: «А почему бы и нет?»

Джаган задумался. Братец произнес:

— Но вне зависимости от этого у нас есть все шансы выиграть дело. Мы просидели с ним до двух часов ночи, обсуждали все возможности. Я даже поспать не успел. В пять я взял у соседа велосипед. Четыре раза я с него падал, прежде чем добрался до вас.

— Больше не ездите на нем. Вы можете себя убить,— проговорил величественно Джаган.

Братец сказал:

— Кроме того, он хочет заняться полицейским, который остановил автомобиль Мали. Этот неизвестный, который попросил, чтоб его подвезли, мог быть его сообщником. У них, наверно, давно был на вас зуб.

— Но почему? — спросил Джаган.— Почему у какого-то полицейского должен быть на меня зуб?

— Много может быть всяких причин. Люди вообще злы. Возможно, он требовал бесплатных сластей у вас в лавке. Ведь им, беднягам, так мало платят, что им приходится добиваться расположения торговцев. Сейчас вы, вероятно, об этом забыли, но постарайтесь вспомнить, как вы пригрозили пожаловаться на него начальству.

— Я ни разу не видел у себя в лавке полицейского...

— Или, может, он запомнил вас еще тогда, когда вы нарушали британские законы...

Джаган со смехом отверг это предположение:

— В те времена мы не с полицией боролись, у нас были дела поважнее.

— Хорошо, тогда, возможно...

— К тому же, Махатма Ганди учил нас не помнить зла... Все равно, полицейские тех дней сейчас уже стали дряхлыми старцами или умерли.

— А может, он когда-то поссорился с Мали. Полицейские, знаете, вообще не любят молодых людей, у которых есть автомобиль или мотороллер. Впрочем, все это просто разговоры. Адвокат вам скажет, что говорить. Мы полностью положимся на его совет. Одно совершенно ясно — на перекрестном допросе вы повторите то, что он вам скажет. Все будет зависеть от ваших показаний.

Джаган коротко ответил:

— Если то, что вы говорите, правда, истина восторжествует. Если же нет, я ничего не могу сделать.

— Нет, нет, не говорите так. Мы должны постараться вызволить Мали. Они могут приговорить его к двум годам по этому закону.

— Кто мы такие, чтобы вызволять или не вызволять? — спросил философично Джаган. Он полностью пришел в себя после первоначального потрясения и теперь говорил даже с некоторым злорадством, хотя голос его все еще был немного хриплым от горя.

— Истина его вызволит, если то, что вы говорите, правда,— повторил он.

— Но адвокату надо будет все это сообразить и доказать,— сказал братец.— Свидетельскими показаниями. Сейчас он придумывает, как это сделать. Если он сумеет доказать mala fides * этого полицейского, мы сможем подать на него встречный иск, для того чтобы усилить нашу позицию.

Мысли Джагана приобрели, наконец, необычайную ясность. Он взглянул на свой узелок, легко поднял его с земли и сказал:

— Желаю всем вам удачи — вам, и вашему адвокату, и уважаемому клиенту, а также этому бедняге полицейскому, который имел несчастье остановить зеленый автомобиль. Только не ждите, что я буду принимать во всем этом участие. Не вмешивайте меня в эту историю. Забудьте обо мне, и я уйду, ни о чем вас не спрашивая.

— Но куда, куда вы идете? — спросил с тревогой братец.

— Поищу себе новое занятие — что-нибудь иное, чем то, что я делал шестьдесят лет подряд. Уйду куда-нибудь, забрав с собой только то, что унесет рука. Все, что мне нужно, в этом узелке...

— Включая чековую книжку, конечно,— заметил братец.— Это гораздо удобнее, чем носить с собой вещи. Куда же вы собрались?

Джаган описал пристанище за рекой. Братец пришел в ужас.

— Я знаю это место возле крематория. Неужели этот красильщик хотел всучить его вам? Простите, но я должен вас предупредить — держитесь от него подальше. Он колдун, знает черную магию и всем предлагает превращать низкие металлы в золото...

— Мне все равно. Я буду смотреть, как из камня появляется богиня. Меня ничто не связывает. Никогда в жизни я не чувствовал такой решимости. Я очень рад, что встретил вас, но я спешу. Здесь я или нет, все будет идти своим чередом. Даже когда великих людей убивают или они умирают от инфаркта, в мире все остается по-прежнему. Считайте, что мое сердце тоже не выдержало — и все тут...

Он отдал братцу связку ключей и сказал:

— Откройте лавку в обычный час и присмотрите за ней. В конце концов Мали возьмет ее в свои руки. Позаботьтесь о Сиварамане и всех остальных, не выгоняйте их. Вы всегда можете прийти ко мне, если

* Недобросовестность, злой умысел (*лат.*).

возникнет что-нибудь срочное или нужно будет составить отчет. Я вам объясню, как это делается. Автобусы на Мемпи отходят от Базарных ворот каждые четыре часа, начиная с половины девятого. Вы человек занятый, но прошу вас — помогите мне.

— Хорошо, я сделаю все, что скажете,— согласился братец, оробев от тона Джагана.— Адвокат просил две тысячи рупий на предварительные расходы. Он договорится, чтобы Мали выпустили на поруки. Он должен выйти еще до вечера.

— Иногда неплохо бывает посидеть немного в тюрьме. Возможно, это ему как раз и требовалось,— сказал Джаган, развязал узелок и вынул оттуда чековую книжку. Положив ее на колено, он выписал чек и подал его братцу.

— А если будут другие расходы? — спросил братец.

— Мы заплатим — и все. Когда нужно будет, скажите мне. Я ведь не на другую планету улетаю.

Братца поразила перемена в Джагане, а тот все повторял, не вытирая слез:

— Тюрьма еще никому не вредила... Не опоздать бы мне к половине девятого на автобус. Я не хочу вас ни о чем спрашивать, но скажите, где же она?

Он встал и перекинул узелок за плечо.

— Друзья нашли ей работу в женском общежитии,— начал братец. Но Джаган, не дослушав, махнул рукой и сказал:

— Если вы ее увидите, скажите ей, что, если когда-нибудь она захочет вернуться в свою страну, я куплю ей билет. Это наш долг перед ней. Она была хорошей.

О РОМАНАХ, МАШИНАХ, РОМАН-МАШИНАХ И НАСТОЯЩИХ ПИСАТЕЛЯХ

И вот мы снова в Мальгуди. Те же кривые улочки, по которым бродил со своими туристами простодушный обманщик и самозванный гид Раджу. И тот же фонтан на площади, где терпеливо поджидает пассажиров Гафур в своем древнем такси. И типография Натараджа, где все так же собираются соседи, чтобы потолковать о последних политических новостях и вспомнить «людоеда» Васу, бесславно погибшего от собственной силы. И звенящая детскими голосами школа миссии Альберта, возле которой сидит под развесистым деревом беглец от правосудия астролог со своим нехитрым оборудованием. И городской майдан на берегу реки Сарайу, где за гроши можно выиграть в лотерею паровой каток, с которым будешь потом маяться много месяцев кряду. А на горизонте— горы Мемпи, покрытые густыми зарослями, где когда-то рыскали тигры и прочие дикие звери. Теперь их распугали тяжелые грузовики, поднимающиеся к строительству в горах. Там, в «Горном приюте» останавливалась когда-то танцовщица Рози, поразившая своим мастерством южную Индию, с мужем, увлеченным раскопками, и будущим антрепренером. У подножия этих гор умирал от добровольной голодовки упрямый святой Раджу.

Мы снова в этом городе, вызванном к жизни воображением Р. К. Нарайана, мы проходим мимо статуи сэра Фрсдерика Лоули, величественно озирающего с высоты своего пьедестала прошлое и будущее Мальгуди, мимо аптеки доктора Кришны, мимо мостика над канавой для нечистот, где нас подстерегает городской нищий, и останавливаемся перед лавкой с выставленными в окне восточными сладостями. У дверей лавки стоит старый отставной солдат, которого хозяин величает для пущей важности «капитаном», а в глубине склонился над санскритскими текстами продавец сладостей Джаган. Отныне мы болеем его горестями, радуемся его радостями, берем его сторону в спорах.

В основе романа — конфликт двух поколений. Старое представлено в нем Джаганом, в характере которого переплелось множество самых странных противоречий. Здесь и верность национальным традициям, и забвение их (но только когда это очень нужно, и только до известного предела), и преданность Ганди и «Бхагавадгите», и нарушение их заветов, и безотчетное смешение высоких принципов и своекорыстных интересов.

В характере Джагана Нарайану удалось показать новую тенденцию Мальгуди — приспособиться к новым веяниям, приняв их на словах, обратить себе же на пользу.

Конечно, здесь, как и во всяком приспособлении, бывают моменты взлета, когда кажется, что вот оно, старое, тронулось с места, сдвинулось, пошло против самого себя, поднявшись чуть не до самопожертвования. Так и Джаган, став волонтером Гражданского неповиновения, кидается в самозабвенном порыве сорвать британский флаг, за что полицейские избивают его и бросают в тюрьму. Годы спустя, уже преуспевающим дельцом, он любит вспоминать об этом эпизоде, любит уснащать свою речь цитатами из Ганди, по большей части им же самим и придуманными. Он любит поговорить о том, что занялся торговлей, только чтобы обеспечить детей бедняков сладостями, приготовленными из первоклассных продуктов. Точно так же любит он вспоминать, как в свое время пошел бескорыстно за Ганди, чем навлек на себя гнев властей и собственных родных. Он забывает, что перед тем, как примкнуть к движению, он много раз подряд проваливался на выпускных экзаменах и что волонтерство спасло его от упреков и приставаний родных. Словом, Джаган представляет все тот же Мальгуди, только он слегка приспособился к новым требованиям или, вернее, приспособил их к себе. Это становится особенно ясно в его разговоре с Грейс. Та восхищается поступком Мали, привезшим ее к себе на родину и тем нарушившим законы кастовой системы.

— Ну, знаешь,— отвечает ей великодушно Джаган,— в наши дни мы уже не верим в касты. Ганди боролся за их уничтожение.

— Они уже исчезли? — спрашивает в простоте душевной Грейс.

— Мы о них больше не думаем,— отвечает Джаган, чувствуя себя политиком и надеясь, что она ни о чем больше не будет спрашивать.

Можно сколько угодно утверждать, что больше не думаешь о кастах, и чувствовать себя при этом политиком, однако действительность вносит поправки в твои слова. Грейс для Джагана навсегда остается «девушкой без касты», явлением настолько удивительным, что неизвестно, как к нему относиться. Когда же он узнает, что Грейс и Мали не женаты, он мигом забывает о своих высоких принципах. В минуты кризиса он и не вспоминает о Ганди и преподанных им уроках терпимости.

Старому мальгудийцу Джагану приходится иметь дело с собственным сыном Мали. Он — представитель молодого поколения (поостережемся называть его «новым»), того особого слоя молодежи, которая и от старого отстала и к новому не пристала. Мали недоучка, недоросль, отбросивший старую, традиционную культуру с ее священными текстами, кастами, системой предписаний и запретов и не нашедший ей взамен никакой новой культуры, никаких новых норм нравственности. Прожив несколько лет на Западе, Мали вывез оттуда лишь весьма сомнительные ценности (а ведь, казалось бы, было из чего выбирать!). И даже машины, которые он предполагает производить в Индии — в Индии, столь бедной на технику и столь в ней нуждающейся, оказываются насмешкой, анекдотом, фарсом.

Немаловажную роль в этом конфликте двух поколений играет безымянный родственник и прихлебатель, которого Джаган, во избежание долгих и заведомо бесполезных выяснений, зовет попросту «братец». Братец по самой природе своей оппортунист и соглашатель. Он ни во что не верит, ничем не дорожит, а лишь паразитирует на пороках обоих поколений. Приспособленчество Мальгуди доведено в нем до предела.

Ведь и сейчас в Мальгуди мало что изменилось после того, как в 1947 году в нем избрали первый муниципалитет Свободной Индии. Правда, тогда, в 1947 году, решили в патриотическом порыве замостить булыжником мостовую и даже привезли булыжник и свалили его на улице, но только этим все и ограничилось — булыжник так и остался лежать без применения. А ведь с тех пор прошло немало времени — Мали из Америки пишет своему отцу об убийстве Кеннеди.

На улицах Мальгуди все еще можно встретить нашего старого знакомого — адвоката, специалиста по отсрочкам. Это он вызволил в свое время Раджу. Он постарел, потерял все зубы, но клиентов у него не убавилось. Оттянуть время, выждать, не принимать никакого решения — он, как и прежде, помогает в этом своим подопечным.

Все еще бродит по городу нищий, ставший такой же его неотъемлемой принадлежностью, как статуя сэра Фредерика Лоули. Порой Джаган задает ему от праздности один и тот же вопрос:

— Почему ты не работаешь?

— Где у меня время, господин? — отвечает тот с готовностью.— Пока обойду весь город за подаянием, уж и день кончился.

«Где у меня время, чтобы работать?» — эти слова могли бы повторить многие в Мальгуди. И хоть мимо, по дороге в горы Мемпи, и грохочут грузовики, Мальгуди все еще слишком занят мечтами, молитвами, цитатами из священных книг, воспоминаниями о прошлом и всевозможными прожектами, чтобы работать и изменить свое существование.

Трезвый взгляд Нарайана подмечает мельчайшие детали. Он пишет о Мальгуди с любовью и грустью. Но чувства эти не затуманивают ясности его взора, их уравновешивает спокойная ирония. Критики часто сравнивают Нарайана с Чеховым. Сравнения эти всегда казались мне надуманными — слишком далеки друг от друга эти писатели, слишком несоизмеримы их таланты и мастерство. Но если уж искать в них что-то общее, то только в этом редком умении взглянуть на то, что любишь, ясным взглядом и вынести ему беспристрастную оценку.

Ирония Нарайана распространяется не только на Мальгуди, в еще большей степени направлена она на роман-машину, призванную, как уверяет Мали, обеспечить Индии достойное место в содружестве наций. Воспевая достоинства своего любимого детища, Мали особенно подчеркивает, что всякий дурак может писать на ней романы. Работать на ней так же просто, как печатать на пишущей машинке. Знай поворачивай ручки и бей по клавишам — и все будет в порядке! Роман-машина — это, конечно, сатира на писателей-роботов, пекущих, словно пончики, дешевое чтиво, заполняющее десятки журналов и газет.

«Роман-машинные» писатели — наболевшая тема для Нарайана, да и не для одного только Нарайана. При всем богатстве тем, материала, характеров, которые представляет для писателя Индия, количество настоящих художественных произведений в ней еще очень невелико. Причин на то множество. Одна из самых серьезных — та, что лишь очень немногие из индийских писателей могут нигде не служить, а полностью посвятить себя литературному труду. Обычно «свободный» писатель работает над романом год или два. У «работающего» писателя, который сидит над книгой только урывками, на роман уходит до восьми лет. Если ему повезет, он сможет найти для него издателя, если же нет — будет печатать за собственный счет. Если он не знаменитость, то прожить за счет серьезной литературной работы практически невозможно.

С другой стороны, писатель в Индии часто не имеет достаточно широкой читательской аудитории. Несколько лучше в этом смысле положение тех, кто пишет на бенгали, маратхи, хинди или по-английски. Остальным «языковым» писателям приходится довольствоваться весьма ограниченной аудиторией. Это, естественно, сказывается на возможностях издания, на тиражах — и в конечном счете на профессиональном уровне.

Хороший роман, написанный, скажем, на языке каннада (один из языков южной Индии), за три-четыре года после издания может разойтись в тысяче экземпляров. Значит, аудитория, к которой может соответственно обращаться автор такого романа, до крайности ограниченна. Объясняется это, прежде всего, не общей численностью национальной группы, зачастую насчитывающей несколько десятков миллионов человек, а процентом грамотности данной группы. Писатель в Индии может рассчитывать только на город (ведь сельская Индия все еще почти поголовно неграмотна), да и в городе количество грамотных очень невелико. Наконец, какой процент из этих грамотных сможет позволить себе купить книгу? И какой процент захочет это сделать?

Большое значение имеет здесь и определенная национальная традиция. «Писатель,— заявил Нарайан в одном из своих интервью,— по самой природе своей чужд нашей стране». Заявление весьма парадоксальное, особенно если вспомнить, что оно исходит от одного из крупнейших писателей Индии. «Устная традиция сидит у нас глубоко в крови. И по сей день мы спокойно просиживаем по четыре часа кряду, слушая рассказчика. А много ли найдется среди нас людей, готовых провести столько же времени с книгой?»

Правда, правительство Индии принимает меры к тому, чтобы дать писателям какую-то почву под ногами. Созданная в годы независимости Литературная Академия переводит лучшие произведения национальных литератур на другие языки Индии, присуждает премии, проводит совещания и семинары, пытается организовать общественное мнение. Однако все это только первые шаги.

Вместе с тем «коммерческая» литература в Индии процветает. Журналы и газеты в городах приобрели широкую читательскую аудиторию, которой так не хватает серьезной литературе, и издаются в десятках и сотнях тысяч экземпляров. Страницы их заняты дешевым развлекательным чтивом, продуктом творчества определенных «роман-машин».

«Разбросайте по страницам книги несколько трупов — и пусть читатель ломает себе голову над тем, кто же убийца,— пишет о них Нарайан в статье «Литература и современность».— Если же тема не насилие, тогда это должен быть, по крайней мере, секс. Это тоже идет хорошо. Все пишется по старым рецептам, и никто не возражает, даже если все заранее известно, как в простейшей задачке».

Горечь, с которой говорит о «роман-машинах» Нарайан, вполне понятна. Ведь сам он принадлежит к той горстке писателей, которым приходится годами вести борьбу с коммерческой литературой. Вот почему он подчеркнуто избегает тех клавиш, которые обеспечивают дешевый успех. В его произведениях нет поверхностной занимательности, нет грубого секса и нет насилия. Столкновение между его героями идет, в основном, в области идей или в нравственной области, хоть временами и омрачается насилием. Названия его романов всегда подчеркнуто «профессиональны» и сдержанны — «Учитель английской словесности», «Гид», «Печатник из Мальгуди», «Финансовый эксперт», «Продавец сладостей». Писатель словно пробует свою силу, испытывает самого себя — примут ли читатели романы с такими сухими, деловыми названиями, романы не о любви и не о смерти, романы без патетики, без экзотических красот, спокойные, сдержанные и ироничные? Как известно, читатели принимают, и принимают очень тепло.

Н. ДЕМУРОВА

МОРИО КИТА

ГОЛОВАСТИКИ

РАССКАЗ

■

Перевод с японского
В. ГРИВНИНА

Это рассказ о времени, предшествовавшем инциденту в Китае *, когда считалось, что на земле мир.

— Расстояние триста,— сказал ребенок.

— Стреляй! — сказал взрослый.

И оба открыли пальбу. Лежа ничком на тропинке, вившейся по цветущему овощному полю, с длинными бамбуковыми палками в руках, они вели огонь по вражеским войскам, укрывшимся в дубовой роще прямо перед ними.

— Да-ан, да-ан,— закричал мальчик.

— Да-ан,— тихо подал голос мужчина.

Бамбуковая палка, которую сжимал в руках мальчик, и в самом деле казалась ему винтовкой, и он самозабвенно целился, прищурив глаз. Ему представлялся и свист вражеских снарядов, прорезающих воздух, и грохот мин, взрывавшихся вокруг и взметавших комья земли, и каждый раз он низко опускал голову и, убедившись, что чудом остался жив, снова продолжал стрелять, припав к бамбуковой палке. В какое-то мгновение винтовка превратилась в пулемет, и, когда из его ствола вырывался огонь, вражеские солдаты в дубовой роще падали как подкошенные.

Мальчик стремительно вскочил, пробежал пять-шесть шагов и в следующую же секунду, скрючившись в три погибели, нажал на гашетку.

— Та, та, та, та-та-та-та...— Пуль сколько угодно — лишь бы язык не устал.

У мужчины, у взрослого, подобной фантазии не могло возникнуть. Да и кровавое поле боя, залитое ярким безмятежным солнечным светом, было для него спокойным овощным полем, над которым не рвутся вражеские снаряды. И все же он пробежал рысцой несколько шагов, держа в руках бамбуковую палку.

— Мина! Ложись! — закричал мальчик.

Мужчина послушно бросился на землю. Он предусмотрительно оделся в старое, и ему не страшно было вываляться в грязи. Но мужчине было уже за тридцать, и он был слишком большим, чтобы вместе

* Так в Японии официально именовалась развязанная ею война против Китая в 1937 году.

с ребенком размахивать бамбуковой палкой. Лицо его, смуглое, изрезанное складками, было увенчано выразительным орлиным носом, но глаза, странно испуганные, казалось, тревожно и вопрошающе смотрят на мальчика.

— Командир,— сказал вдруг мальчик.

Он сказал это с необыкновенно серьезным видом, лежа в лощине за овощным полем.

— Чего? — отозвался мужчина.

— Что это за «чего»,— сказал мальчик.— Нельзя говорить «чего». Ведь мы в бою.

— В бою,— вздохнул мужчина, и его мрачное морщинистое лицо пришло в движение.

— Тяжелый,— закричал мальчик и настороженно прислушался.— Точно, это гаубица.

— А может быть, миномет? — задумчиво сказал мужчина.

— Нет, нет,— заспорил мальчик.— Это стодвадцатидюймовая гаубица.

— Ага, возможно,— неуверенно сказал мужчина.

— Командир! — сказал мальчик совсем другим голосом.— Вражеская артиллерия ведет страшный обстрел. Если так будет продолжаться, наши войска ждет полное уничтожение.

— Что, уничтожение? — сказал мужчина.

— Уничтожение,— повторил мальчик.— Командир, немедленно выработайте план боя.

— Итак,— сказал мужчина.— Что же нам предпринять?

— А что, если пойти в обход? — предложил мальчик.— Обойти противника с левого фланга...

— В обход,— вздохнул мужчина и печально окинул взглядом уходящее вдаль овощное поле. У него болели все суставы и от долгого лежания ничком ныли колени: «А если придется еще ползти на животе?!»

— Нет,— сказал мужчина с серьезным видом.— Обход не годится.

— Тогда,— сказал мальчик,— пошлем отряд смертников.

— Отряд смертников,— вздохнул мужчина и спросил голосом, в котором явно ощущалось беспокойство: — А как мы его поведем?

— Пойдем прямо в атаку,— сказал мальчик.— С бомбами в руках ворвемся на позиции противника.

— Конечно же в атаку,— сказал мужчина, словно размышляя вслух.— Но бомб-то у нас, кажется, нет.

Мальчик озабоченно огляделся. К счастью, на глаза ему попался торчавший из земли кусок бревна.

— Вот,— энергично сказал мальчик,— это подойдет. Оно похоже на бомбы, с которыми сражались наши герои. Ну как, командир?

Мужчина, увидев, что деревяшка, которую притащил мальчик, наполовину сгнившая, мокрая и липкая и, если неосторожно взяться за нее, можно поранить руку, поспешно ответил:

— Нет, отряд смертников тоже не годится.

— Почему?

— Потери будут слишком велики.

— Но ведь они с самого начала готовы к смерти.

— Все равно не годится.

— Что ж тогда делать?

Мужчина медленно поднялся, потер поясницу и отряхнул грязь с брюк и рубахи. Потом, чувствуя, что на этом можно бы и закончить игру, погладил рукой лицо и покрутил головой. Всем своим видом он выражал независимость и своеволие взрослого: хватит, мол, этой дурацкой игры, вернусь к своим делам.

Но мальчику это совсем не нравилось.

— У-у-у,— скривил губы ребенок.— Давай еще.

— Нет, я кончил,— строго сказал мужчина.— Не могу же я играть до бесконечности.

— А, головастики,— сказал мальчик.— Кормить их пойдешь?

— Да,— ответил мужчина,— у меня еще много дел.

— А как же та дубовая роща,— сказал мальчик.— Ведь мы договорились, пока не захватим ее...

— Та роща,— ответил мужчина,— это не важно.

— Тогда,— угрожающе сказал мальчик,— в это воскресенье не пойду ловить головастиков.

— Ну что ж,— сказал мужчина.— Не хочешь — не надо.

Но было заметно, что внутри у него что-то дрогнуло. Этого мужчину дома не принимали всерьез. Он был еще холост, да к тому же не пристроился ни к какому делу и жил в семье старшего брата. Даже трое детей брата, хотя они и считали его хорошим партнером в играх, относились к нему с некоторым пренебрежением. И все же в глубине души он вынашивал честолюбивые замыслы — вел исследования, пытаясь поставить на широкую ногу разведение съедобных лягушек. Мужчина, у которого и карманных-то денег не было, делал такой эксперимент: вместе с детьми брата ловил головастиков, которых полным-полно в болотах префектуры Тиба, пускал их в бочки, наполненные водой, и наблюдал, как они развиваются. Но это было лишь одно название — «эксперимент», а на самом деле — обыкновенная детская забава. Прежде всего само слово «головастик» несерьезно, и ни мать, ни брат, ни невестка не сочувствовали его занятию. Одно это слово — «головастик» — превратило в их представлении и так-то ни к чему не способного мужчину в законченного чудака.

Мужчине было очень обидно, что даже дети брата, помогавшие ему в исследованиях, совсем его не слушаются. И дети это сразу же подметили.

— Главное,— сказал мальчик,— если я не пойду, много не поймаешь.

— Ага,— вздохнул мужчина.

— Ведь я ловлю в два раза больше, чем ты,— сказал мальчик.

— Да...— протянул мужчина.— Да, это верно.

— Я люблю тебе помогать,— сказал мальчик.— Если мы захватим ту дубовую рощу, я поймаю тридцать головастиков.

— Ага,— равнодушно кивнул мужчина.

— Я принесу сачок,— продолжал мальчик.— И тогда — пятьдесят головастиков...

— Ну что ж,— поспешно сказал мужчина.— Можно, пожалуй, захватить рощу.

— Да? — обрадовался мальчик.

— Но за это, за это,— ехидно промолвил мужчина,— карасей брать не будем. Будем брать только головастиков.

— Ага,— ответил мальчик.

— И понесешь их осторожно, чтобы они не погибли,— подчеркнул мужчина.— Не так, как в прошлый раз...

— Понял, дядя,— сразу же, но теперь совсем другим тоном — не приставай, мол,— сказал мальчик.— Командир, пошлем отряд смертников?

— Ладно,— обреченно сказал мужчина.— Отряд смертников — другого выхода нет.

— Кто их поведет? — четко спросил мальчик.

— Младший лейтенант Кодзима! — резко произнес мужчина.

— Слушаюсь!

— Отправимся вместе.

— Слушаюсь!

Мальчик ловко, точно кошка, вскочил на ноги, схватил полусгнившую деревяшку и приготовился бежать. Мужчина нехотя ухватился за другой конец «бомбы». Руки его ощутили мокрое гнилое дерево, облепленное сырой землей .

Мальчик двинулся вперед. Он шел упругим шагом, быстро, все быстрее и наконец, топча цветущие овощи, ринулся на штурм. Мужчина, неуклюже выбрасывая длинные ноги, нагнув голову, точно это была не игра, а настоящий бой, бежал по полю, увязая в рыхлой земле.

Немного спустя две фигуры — маленькая и большая — с гнилым обрубком в руках, издавая воинственные крики, ворвались в дубовую рощу. Маленький — издавая мужественный боевой клич, большой — стон, даже скорее вопль...

Еще немного спустя началась настоящая война. Она расширялась беспрерывно, до абсурда — от малой войны к войне большой.

Мужчина и мальчик попали на войну в таком порядке: сначала мальчик, потом мужчина. Мальчик пошел вместе с первыми школьниками, отправленными на фронт, и геройски погиб на юге. Мужчина был мобилизован в самом конце войны. Его долго перебрасывали с места на место в глубинных районах Китая, пока он не нашел, наконец, славную смерть.

Все это было так похоже на их старые войны.

ЭВЕЛИН ВО

НЕЗАБВЕННАЯ

(Англо-американская трагедия)

Перевод с английского Б. НОСИКА

День выдался нестерпимо жаркий, но к вечеру потянуло ветерком с запада, где в дрожащем мареве садилось солнце и лежал за холмами невидимый и неслышный отсюда океан. Дрогнули ржавые пятерни пальмовых ветвей, и шум их поглотил все другие звуки знойного лета — кваканье лягушек, верещанье цикад и нескончаемое биение музыкальных ритмов в домиках по соседству.

В снисходительном вечернем свете обшарпанные грязные стены бунгало и заросший бурьяном клочок земли между верандой и пересохшим бассейном не казались такими уж запущенными, да и два англичанина, сидевшие друг против друга в качалках — перед каждым виски с содовой, а на коленях старый журнал,— эти два образчика человеческой породы, совершенно идентичных своим бесчисленным соотечественникам, заброшенным в забытые богом уголки нашего мира, тоже словно бы подверглись иллюзорной реставрации.

— Скоро явится Эмброуз Эберкромби,— сказал старший из англичан.— Даже не знаю зачем. Оставил записку, что придет. Найдите, Деннис, еще стаканчик, если вам удастся.— И добавил с раздражением.— Кьеркегор, Кафка, Коннолли, Комптон Бэрнет, Сартр, Скотти Уилсон. Кто они? Чего они хотят?

— Некоторые из этих имен я слышал. О них много было разговоров в Лондоне, еще когда я уезжал оттуда.

— И о Скотти Уилсоне говорили?

— Нет. Кажется, нет. О нем не говорили.

— Вот вам Скотти Уилсон. Вот эти рисунки. Вы в них что-нибудь понимаете?

— Абсолютно ничего.

— Ах так, ничего.

Минутное оживление сэра Фрэнсиса Хинзли сменилось апатией. Он выпустил из рук журнал «Горизонт», и неподвижный взгляд его уперся в темный проем давно высохшего бассейна, где сейчас сгущались тени. У него было нервное, умное лицо, черты которого отчасти утратили свою четкость за долгие годы спокойной жизни и неизменной скуки.

— Когда-то говорили о Гопкинсе,— продолжал он,— о Джойсе, о Фрейде, о Гертруде Стайн. Этих я тоже не понимал. До меня медленно доходит все новое. «Влияние Золя на Арнольда Беннетта» или «Влияние Хенли на Флекера». Глубже я в современность не залезал. Мои коронные темы были «Английский пастор в английской прозе» или «Кавалерийская атака в поэзии» — все в таком роде. Похоже, тогда это нравилось публике. Потом она потеряла к этому интерес. Я тоже. Я был всегда самый утомимый из писак. Мне требовалась смена обстановки. И я никогда не жалел о том, что уехал. Здешний климат мне по душе. Люди здесь вполне пристойные и великодушные, и главное — их вовсе не интересует, слушают их или нет. Не забывайте об этом, дружок. В этом секрет непринужденности, с какой здесь держатся в обществе. Здесь говорят исключительно для собственного удовольствия. Ничто из сказанного не рассчитано на то, чтобы быть услышанным.

— Вон идет Эмброуз Эберкромби,— сказал молодой англичанин.

— Привет, Фрэнк. Привет, Барлоу,— сказал сэр Эмброуз Эберкромби, поднимаясь по ступенькам.— Ну и жарища была нынче. С вашего позволения, я присяду. Это мне? — Он повернулся к молодому англичанину, наливавшему ему виски.— Мне с содовой, пожалуйста.

Сэр Эмброуз был в костюме из темно-серой фланели, с итонским галстуком в розах и в соломенной шляпе с коричневой лентой. В этом костюме он неизменно появлялся в солнечные дни, а когда погода давала для этого повод, надевал фуражку с большим козырьком и накидку с капюшоном. Как довольно гуманно говорила леди Эберкромби, ему было «где-то около шестидесяти», однако, потратив столько многолетних усилий на то, чтобы казаться моложе своих лет, он теперь алкал почестей, которые приносит возраст. В самое последнее время его самолюбию стало льстить прозвище Наш Старикан.

— Давно уже собирался навестить тебя. Самое паршивое у нас тут, что дел до черта, они засасывают, и не остается времени для друзей. А нам ведь нельзя отрываться друг от друга. Мы, англичане, должны держаться вместе. И ты не должен прятаться, Фрэнк, слышишь, старый отшельник.

— Я еще помню время, когда ты жил неподалеку отсюда.

— Неужто! А ведь, должно быть, ты прав. Давненько же это было. Еще до того, как мы переехали на Беверли-хилз. Ты знаешь, конечно, что теперь-то мы живем в Бел-Эйр. Но сказать по правде, мне там что-то не сидится. Я купил участок в Пэсифик-Пэлисейдз. Жду вот только, когда строительство подешевеет. Так где ж это я жил в те времена? Вон там через дорогу, на той стороне?

Да, именно там, на той стороне улицы, лет двадцать назад или больше, когда этот ныне заброшенный район был еще фешенебельным; сэр Фрэнсис, едва вступивший в средний возраст, был в те времена единственным аристократом в Голливуде, старейшиной здешнего английского общества, главным сценаристом компании «Мегалополитен пикчерз» и президентом крикетного клуба. В те времена молодой еще или, точнее, моложавый Эмброуз Эберкромби, как и все прочие, развивал бурную деятельность, создавая свою знаменитую серию акробатически-героически-исторических ролей, требовавших незаурядных усилий и ловкости, и почти каждый вечер заходил к сэру Фрэнсису подкрепиться. Теперь английские титулы наводняли Голливуд, и некоторые были подлинными, что же до сэра Эберкромби, то известно было, что он с пренебрежением отозвался о сэре Фрэнсисе, как о «продукте эпохи Ллойд Джорджа». Сапоги-скороходы неудачника далеко унесли старого джентльмена от стареющего. На студии сэр Фрэнсис опустился до отдела рекламы, а в крикетном клубе занимал теперь пост одного из десятка вице-президентов. Его плавательный бассейн, в котором некогда, как

в аквариуме, сверкали длинные конечности ныне уже забытых красавиц, был пуст, стенки его потрескались и заросли бурьяном.

И все-таки между двумя джентльменами сохранялось какое-то подобие рыцарственной связи.

— Как дела в «Мегало»? — спросил сэр Эмброуз.

— Там сильно обеспокоены. Неприятности с Хуанитой дель Пабло.

— Сладострастная, томительная и ненасытная?

— Эпитеты не совсем те. Она считается — вернее, считалась — «вспыльчивой, блистательной и садистски жестокой». Уж поверь мне, я сам придумал. Тогда это звучало, как здесь выражаются, сногсшибательно и внесло совсем новую ноту в рекламу кинозвезд.

Мисс дель Пабло была с самого начала под моим особым покровительством. Я помню день, когда она здесь появилась. Ее купил бедняга Лео — за ее глаза. Звали ее тогда Крошка Ааронсон — у нее были великолепные глаза и роскошные черные волосы. Поэтому Лео и сделал из нее испанку. Он изрядно укоротил ей нос и послал на шесть недель в Мексику изучать песни фламенко. Потом передал ее мне. Это я придумал ей имя. Это я сделал ее беженкой, спасавшейся от фашизма. Это я объявил, что она возненавидела мужчин после того, что ей пришлось претерпеть от франкистских мавров. Тогда это был новый ход. И он сработал безотказно. Она и правда была очень хороша в своем роде — этакий, знаешь ли, устрашающий природный оскал. Ноги у нее, правда, никогда не были фотогеничными, так что мы выпускали ее в длинных юбках, а в сценах насилия отдельно снимали нижнюю часть тела. Я гордился ею, и она могла бы по меньшей мере еще лет десять работать.

Ну а теперь тут у них в верхах новая политика. В этом году мы выпускаем только здоровые фильмы, чтобы угодить Лиге благопристойности. Так что бедной Хуаните приходится начинать всю карьеру сначала — в амплуа ирландской простушки. Ей высветлили волосы и выкрасили в морковный цвет. Я им сказал, что ирландские простушки темноволосые, но режиссер по цвету настоял на морковном. Она трудится теперь по десять часов в день — осваивает произношение, а вдобавок ей, бедняжке, еще вытащили все зубы. Раньше ей никогда не приходилось мило улыбаться, а для усмешки собственные ее зубы вполне могли сойти. Теперь же ей все время придется весело хохотать. А для этого нужны зубы.

Я тут бился три дня, подыскивая для нее подходящее имя. Но ни одно ей не понравилось. Предложил Морин, но их оказалось уже две; Диэйдра — тут никто не смог выговорить; Уна — звучит по-китайски; Бриджит — слишком банально. Беда в том, что она в бешенстве.

Сэр Эмброуз, верный местным обычаям, не слушал, что говорил собеседник.

— Да-да,— сказал он.— Эти здоровые фильмы. Только и слышишь, что о здоровых фильмах. Я заявил в «Клубе ножа и вилки»: «Всю жизнь я придерживался в кинематографе двух принципов: никогда не делай перед кинокамерой того, чего не сделаешь дома, и никогда не делай дома того, чего не сделаешь перед камерой».

И он стал развивать эту тему, а сэр Фрэнсис, в свою очередь, углубился в собственные мысли. Так два аристократа просидели рядом в креслах-качалках добрый час, то давая волю красноречию, то рассеянно погружаясь в думы и созерцая вечерние сумерки сквозь монокли, тогда как молодой человек время от времени наполнял их стаканы, а заодно и свой собственный.

Вечерний час располагал к воспоминаниям, и, предоставляя слово своему собеседнику, сэр Фрэнсис мысленно переносился на четверть века назад на туманные лондонские улицы, только что освободившиеся

на вечные времена от страха перед цеппелинами; перед его глазами вставали то Гарольд Монро, читающий стихи в Книжной лавке поэтов; то выступление Бландена в «Лондонском Меркурии»; то появление Робэна де ла Кондамина на утренниках в «Фениксе»; то обеды с Мод на Гросвенор-сквер; то чаепития с Госс на Хэновер-террейс; то вечер в кабачке на Флит-стрит, где одиннадцать неврастеников исполняли баллады,— он еще тогда решил сбежать на денек в Метролэнд, поиграть в крикет, а посыльный из редакции с гранками хватал его за рукав на ходу; то бесчисленные тосты на бесчисленных банкетах в память бесчисленных сынов отчизны, чье бессмертие...

У сэра же Эмброуза было больше всяких передряг в прошлом, но жил он настоящим. Он с удовлетворением думал про себя о том, кем он был и кем стал, перебирал все преимущества своего нынешнего положения и радовался.

— Ну ладно,— сказал он наконец.— Я, пожалуй, поплетусь. А то супруга будет ждать.— Однако он и не подумал встать, а вместо этого обратился к молодому человеку: — Ну, а как ваши дела, Барлоу? Что-то давно вас не видно на нашем крикетном поле. Должно быть, много работы на «Мегало»?

— Да нет. Ведь срок моего контракта истек три недели назад.

— Ах, так! Но вы, наверно, рады сейчас отдохнуть. Что до меня, то я был бы рад.— Молодой человек промолчал.— Хотите послушаться моего совета — сидите спокойно дома, пока не подвернется что-нибудь приличное. Не хватайтесь за первое попавшееся. Эти люди умеют уважать человека, который знает себе цену. А для нас самое важное сохранить уважение этих людей.

Вы сами знаете, Барлоу, что у нас, англичан, положение тут особое, и нам приходится об этом помнить. Они, может, посмеиваются над нами — над тем, как мы говорим, как одеваемся, над нашими моноклями,— может, им кажется, что мы слишком чопорны и держимся особняком. Но, видит бог, они нас уважают. И ваше слово для них много значит. Эти люди не станут деньги зря платить, и потому здесь вы встретите только самый цвет английской нации. Я временами чувствую себя чем-то вроде посла, Барлоу. И, должен вам сказать, все дело в ответственности, которая в той или иной степени ложится здесь на каждого англичанина. Конечно, все мы не можем быть на самом верху, но все мы на ответственных ролях. Вы никогда не встретите англичанина в самых низах — разве что в Англии, конечно. И здесь это понимают, благодаря тону, который мы задаем. Есть должности, на которые англичанин просто не пойдет.

Несколько лет назад произошел тут печальный случай с одним весьма приличным молодым человеком, который приехал сюда на должность художника-декоратора. Неглупый парень, но он тут совсем ассимилировался — стал носить фабричные туфли, ремень вместо подтяжек, расхаживал без галстука и питался в забегаловках. А потом, хотите верьте, хотите нет, ушел со студии и открыл ресторанчик с партнером-итальянцем. Конечно, тот его надул, и скоро он уже стоял за стойкой бара — смешивал коктейли. Жуткая история. Мы собрали в крикетном клубе деньги по подписке, хотели отослать его обратно в Англию, так этот мерзавец не захотел ехать. Сказал, что ему, видите ли, тут нравится. Человек этот причинил нам непоправимое зло, Барлоу, и поступок его не что иное, как дезертирство. К счастью, тут началась война, он, как положено, отправился домой и был убит в Норвегии. Он искупил свою вину, но я считаю, что лучше, когда нечего искупать.

У вас есть имя, Барлоу. Иначе вы бы здесь не оказались. Не то чтобы сейчас был большой спрос на поэтов, но рано или поздно поэт им понадобится, и тогда они придут к вам на поклон, если только, конечно,

вы не сделаете до тех пор ничего такого, что уронило бы вас в их глазах. Вы меня понимаете?

Ну ладно, я тут со своими стариковскими нотациями совсем заболтался, а мадам ждет меня к ужину. Я уж поплетусь. До свиданья, Фрэнк, рад был побеседовать с тобой. Почаще заходил бы к нам в крикетный клуб. До свиданья, молодой человек, и запомните то, что я вам сказал. Вы можете подумать: вот ведь старый хрыч, учить вздумал, но поверьте, что я-то знаю, о чем говорю. Не надо провожать меня, я сам найду дорогу.

Было уже совсем темно. Фары ждавшей его машины разбрызгали сверкающий веер лучей за пальмами, на мгновение осветили стену бунгало и унеслись в сторону Голливудского бульвара.

— Что вы на это скажете? — спросил Деннис Барлоу.

— Он что-то прослышал. Оттого и приехал.

— Долго это не могло оставаться в тайне.

— Разумеется. И если считать изгнание из здешнего английского общества уделом мученика, тогда приготовься к нимбу и пальмовой ветви. Ты сегодня не был на службе?

— Я в ночную смену. Мне удалось даже пописать сегодня. Тридцать строк. Хотите взглянуть?

— Нет,— сказал сэр Фрэнсис.— Одно из бесчисленных преимуществ моего изгнания — то, что мне не приходится читать неопубликованных стихов, да и вообще никаких стихов. Забери их, мой мальчик, шлифуй и отделывай на досуге. Меня они только расстроят. Я не пойму их и, может, даже начну сомневаться, есть ли смысл в той жертве, которую я сейчас одобряю. Ты — молодой гений, надежда английской поэзии. Так о тебе говорят, и я в это свято верю. Я сослужил службу искусству уже тем, что помог тебе бежать из упряжки, с которой сам давно примирился.

Тебя водили в детстве на рождественское представление, которое называется «У конца радуги»? Очень глупая пьеска. Там святой Георгий и какой-то мичман летят на ковре-самолете спасать детей, заблудившихся в стране Дракона. Мне это всегда казалось грубым вмешательством в чужую жизнь. Ведь дети были там совершенно счастливы. Письма из дому, насколько я помню, они принимали с почтительностью, но даже не вскрывали. Так вот, твои стихи для меня как эти письма из дому — и Кьеркегор тоже, и Кафка, и Скотти Уилсон. Я принимаю их, не возмущаясь и не протестуя. Налей-ка мне еще, дружок. Я ведь твое memento mori*. Я крепко засел в путах короля Дракона. Голливуд — это моя жизнь.

Ты не видел тут как-то в одном из журналов фотографию отрезанной собачьей головы — русские для каких-то своих гнусных целей поддерживают в ней жизнь, подкачивая кровь из бутылочки. Так вот, стоит ей почуять кошачий запах, как с языка у нее начинает капать слюна. Так и с нами. Студии подкачивают в нас жизнь из бутылочки, и мы еще сохраняем способность к некоторым простейшим реакциям — не более того. А если нас отсоединят от бутылочки, мы просто погибнем. Мне лестно, что именно мой пример — то, что ты наблюдал изо дня в день больше года,— вдохновил тебя на героическое решение выбрать независимую профессию. Перед тобой был пример, а время от времени ты, вероятно, получал и совет. Ведь я, должно быть, не жалел слов, советовал бросить студию, пока ты еще способен на это.

— Советовали. Тысячу раз советовали.

— Ну, тысячу не тысячу, а раз или два, вероятно, говорил под хмельком. Но советовал я тебе, по-моему, вернуться в Европу. Я никогда

* Помни о смерти *(лат.). Здесь и далее примечания переводчика.*

не рекомендовал тебе такой мрачной, прямо-таки елизаветински жуткой работы, которую ты выбрал. А твой нынешний хозяин доволен тобой, как по-твоему?

— Я отвечаю требованиям. Так он сказал мне вчера. Человек, который работал до меня, оскорблял чувства клиентов неуместным энтузиазмом. Я же выгляжу почтительным. По всей вероятности, такое впечатление производит моя меланхолическая физиономия в сочетании с английским акцентом. Некоторые наши клиенты уже отзывались об этом весьма одобрительно.

— Да, но вот как быть с нашими соотечественниками? От них подобных похвал не дождешься. Как это выразился только что наш гость? «Есть должности, на которые англичанин просто не пойдет». И твоя должность, мой мальчик, стоит в этом ряду не последней.

После ужина Деннис Барлоу отправился на службу. Он мчался в машине по направлению к Бербанку, минуя ярко освещенные мотели, позолоченные врата и залитые светом храмы мемориального парка «Шелестящий дол», на окраину города, где размещалась его фирма. Его сослуживица мисс Майра Поски в ожидании смены уже успела навести красоту и водрузить на голову шляпку.

— Надеюсь, я не опоздал?

— Вы умничка. Если б не свидание в планетарии, я бы непременно осталась и сварила вам чашечку кофе. Делать весь день было нечего — только вот почта да несколько поминальных карточек. Да, еще мистер Шульц сказал, что если что-нибудь поступит, ставьте сразу на лед — такая жара. Ну, счастливо.— И она ушла, оставив на Денниса все дела.

Контора была обставлена со вкусом, и ее мрачную изысканность оживляли лишь два бронзовых щенка на камине. Если бы не низенькая металлическая тележка, отделанная белой эмалью, контору эту нельзя было бы отличить от сотни тысяч других американских контор и приемных,— тележка да еще больничный запах. Около телефона стояла вазочка с розами — запах роз мешался с запахом карболки, но не мог его одолеть.

Деннис уселся в одно из кресел, положил ноги на тележку и погрузился в чтение. Служба в военно-воздушных силах превратила его из простого любителя чтения в запойного книгочея. Известные вполне избитые стихотворные строки из всего множества ассоциаций неизменно вызывали в нем именно те ощущения, которых он жаждал, он никогда не искал наугад — это было патентованное средство, его надежное снадобье, великая магия. Он открывал антологию, как женщина вскрывает пачку любимых сигарет.

За окнами из города и в город непрерывным потоком неслись машины, ослепляя светом фар и рыча радиоприемниками, включенными на полную громкость.

«В твоих объятьях тихо угасаю,— читал он,— я здесь, у мира тихого предела»*,— и повторял про себя: — «Здесь, у мира тихого предела. Здесь, у мира тихого предела»...— как монах, который снова и снова повторяет в молитве один и тот же, полный тайного смысла текст.

Неожиданно зазвонил телефон.

— «Счастливая райская жизнь»,— ответил он.

До него донесся женский голос, хриплый от волнения; при всех других обстоятельствах он подумал бы, что женщина пьяна.

— С вами говорит Теодора Хайнкель, миссис Уолтер Хайнкель, улица Долороса, 207, Бел-Эйр. Приезжайте немедленно. Просто не могу рассказать вам всего по телефону. Мой маленький Артур... его только

* Из стихотворения А. Теннисона «Тифон».

что принесли. Он как выбежал из дому с утра, так и не возвращался. Я не особенно беспокоилась, потому что уже не раз бывало, что он убегал. Я говорю мистеру Хайнкелю: «Уолтер, как же я пойду на этот прием, когда я даже не знаю, где Артур?» А мистер Хайнкель говорит: «Какого черта! Не вваливаться же нам к миссис Лестер Скрип последними!» Ну вот, я и пошла. Сижу я как раз за столом справа от мистера Лестера Скрипа, и тут мне сообщают... Алло, алло, вы слушаете?

Деннис поднял трубку, уже давно лежавшую на промокашке.

— Выезжаю немедленно, миссис Хайнкель. Улица Долороса, 207, так вы сказали?

— Я сказала, что сижу я как раз за столом справа от мистера Лестера Скрипа и тут мне сообщают про это. Мистер Скрип и мистер Хайнкель довели меня до автомобиля.

— Выезжаю немедленно.

— Сколько жить буду, не прощу себе этого. Подумать только, дома никого не было, когда его принесли. Прислуга ушла, и шоферу мусорной машины пришлось звонить нам из аптеки... Алло, алло, вы слышите? Я говорю, мусорщику пришлось звонить из аптеки.

— Я еду, миссис Хайнкель.

Деннис запер контору и задом вывел машину из гаража — на этот раз не свою машину, а простой черный фургон, которым они пользовались для служебных выездов. Через полчаса он добрался до обители горя. Тучный мужчина встретил его на садовой дорожке. На нем был костюм из твида, который в соответствии с самой последней здешней модой одевали на официальные приемы, сандалии, шелковая рубашка травянисто-зеленого цвета с открытым воротом и монограммой в полгруди.

— Как я рад, что вы приехали! — сказал он.

— Всяческих вам радостей, мистер У. Х.! — вырвалось у Денниса.

— Простите? Что вы сказали?

— Я из «Счастливой райской жизни».

— Да, да, пройдемте сюда.

Деннис открыл заднюю дверь фургона и вынул алюминиевый контейнер.

— Размеры достаточны?

— Вполне.

Они вошли в дом. Женщина, также одетая для официального приема, в длинном, с низким вырезом платье и бриллиантовой тиаре, сидела в холле, со стаканом в руке.

— Миссис Хайнкель так переживает потерю!

— Я не хочу видеть его. Не хочу говорить об этом,— сказала она.

— Фирма «Счастливая райская жизнь» берет на себя все,— сказал Деннис.

— Вон там,— сказал мистер Хайнкель.— В кладовке.

Терьер лежал на сушильной доске возле раковины. Деннис поддел его контейнером.

— Вы не могли бы помочь мне?

Вдвоем с мистером Хайнкелем они донесли свою ношу до фургона.

— Мы обсудим все сейчас или вы предпочитаете позвонить нам утром?

— По утрам я очень занят,— сказал мистер Хайнкель.— Пройдем в мой кабинет.

На письменном столе стоял поднос. Они налили себе виски.

— Вот проспект, рекламирующий наши услуги. Что вы предпочитаете — простое погребение или кремацию?

— Простите? Что вы сказали?

— Зарыть или сжечь?

— Сжечь, я думаю.

— Вот фотографии, на них изображены урны разных стилей.

— Самую лучшую — только так.

— Вы хотели бы получить нишу в нашем колумбарии или предпочтете держать останки у себя дома?

— Это самое, что вы сказали первое.

— А как в отношении религиозных обрядов? У нас есть пастор, он охотно отправляет службу...

— Видите ли, мистер...

— Барлоу.

— Так вот, мистер Барлоу, мы с женой не очень-то набожные, но раз уж такой случай, миссис Хайнкель, пожалуй, захочет получить все утешение, какое вы можете дать.

— Погребение по первому классу происходит у нас совершенно уникально. Так, в момент предания тела огню белый голубь, символизирующий душу усопшего, отпускается на волю и вылетает из крематория.

— Да,— сказал мистер Хайнкель.— Пожалуй, миссис Хайнкель это дело с голубем понравится.

— В каждую годовщину вам бесплатно будет высылаться поминальная карточка с текстом: «Ваш маленький Артур вспоминает о вас сегодня на небесах и машет хвостом».

— Это прекрасная мысль, мистер Барлоу.

— В таком случае, как только вы подпишете заказ...

Миссис Хайнкель печально кивнула ему, когда он проходил через холл. Мистер Хайнкель проводил его до машины.

— Очень рад был познакомиться с вами, мистер Барлоу. Право же, вы избавили меня от больших хлопот.

— Именно это и входит в задачи «Счастливой райской жизни»,— сказал Деннис, и машина тронулась.

Остановившись у здания конторы, он отнес собаку в холодильник. Это была вместительная камера, в которой уже хранилось два или три небольших трупа. Возле сиамской кошечки стояла банка фруктового сока и тарелка с бутербродами. Деннис забрал свои припасы в приемную и, жуя бутерброды, вернулся к прерванному чтению.

■

Время шло, наступила пора дождей, количество вызовов сократилось, а потом их и вовсе не стало. Деннис Барлоу был доволен работой. Подлинные художники по самой своей натуре сочетают разносторонность с пунктуальной точностью, жалуются они лишь тогда, когда на долю их выпадает работа однообразная или временная. Деннис заметил это во время войны, его друг-поэт, служивший в гвардейском, гренадерском полку, до конца с энтузиазмом предавался этому занятию, тогда как ему самому до смерти надоели его офицерские обязанности в транспортной авиации.

Он служил в роте наземного обслуживания в одном итальянском порту, когда вышла в свет его первая и единственная книжка. Англия была в ту пору неподходящим гнездышком для певчих птичек, ламы напрасно таращились в белизну снегов, ожидая нового воплощения Руперта Брука. Стихи Денниса, появившиеся среди завывания бомб и удручающе бодрых изданий Канцелярии Его Величества, неожиданно для него самого произвели не менее сильное впечатление, чем подпольные издания Сопротивления в оккупированной Европе. Стихи эти превознесли до небес, и, если бы не лимит на бумагу, они разошлись бы тиражом романа. В тот же день, когда в Казерте получили номер «Санди таймс» с рецензией на его стихи, занимавшей целых два столбца, Деннису предложили пост личного помощника маршала авиации. Он угрюмо откло-

нил это предложение, остался у себя в части и заочно был удостоен на родине полудюжины литературных премий. Уволившись из армии, он отправился в Голливуд, где требовалась его помощь в создании сценария о жизни Шелли.

На студии «Мегалополитен» он обнаружил ту же бессмысленную суету, что и на военной службе, только умноженную нервным возбуждением, постоянно царящим здесь. Он возроптал, пришел в отчаяние и наконец бежал.

Нынешнее положение вполне его устраивало: у него была профессия, мистер Шульц был им доволен, а мисс Поски терялась в догадках. Впервые в жизни он познал, что значит «прокладывать новый путь». путь этот был довольно узок, но зато это был достойный путь, он проходил в стороне от главных дорог и вел в беспредельные дали.

Не все его клиенты были столь щедры и сговорчивы, как чета Хайнкелей. Некоторые старались отделаться десятидолларовыми похоронами, другие просили забальзамировать своих любимцев, а потом вдруг уезжали на Восток и забывали о них; одна клиентка больше недели продержала у них тушу медведицы, занимавшую полхолодильника, а потом вдруг передумала и вызвала чучельщика. Но иногда за эти тяжкие дни судьба вдруг вознаграждала его каким-нибудь поистине ритуалистическим, на грани оргии, сожжением языческой шимпанзе или, скажем, погребением канарейки, над чьей крохотной могилкой взвод трубачей морской пехоты выводил сигнал «тушить огни». Калифорнийские законы запрещают разбрасывать человеческие останки с самолета, однако для представителей животного мира небо открыто, и однажды Деннису пришлось рассеивать по ветру бренный прах какой-то домашней кошки над бульваром Заходящего солнца. В тот день его сфотографировали для местной газеты, и это ускорило его окончательное падение в глазах общества. Впрочем, ему это было безразлично. Его поэма то удлинялась, то укорачивалась, точно змея на лестнице, но все же продвигалась вперед. Мистер Шульц повысил ему жалованье. Раны юности затягивались. Здесь, «у мира тихого предела», он испытывал спокойную радость, какую ему довелось испытать лишь однажды. Это было в детстве на пасху. Подбитый в каком-то школьном состязании, он лежал в постели, лелея свои почетные раны, и слышал, как внизу под окнами изолятора вся школа выходит строем на тренировку.

Однако если Деннис процветал, то у сэра Фрэнсиса дела были плохи. Старик терял душевное равновесие. Он ерзал за ужином и бессонно шаркал по веранде в тихий рассветный час. Хуанита дель Пабло без восторга отнеслась к своему преображению и, не имея возможности воздать за это великим мира сего, терзала своего старого друга. Сэр Фрэнсис делился с Деннисом своими горестями.

Импрессарио Хуаниты упирал на аргументы чисто метафизического свойства: признаете ли вы существование его клиентки? А если так, то можете ли вы законным путем принудить ее уничтожить самое себя? И можете ли вы вступать с ней в какие-либо договорные отношения до того, как она обретет элементарные отличительные признаки личности? Ответственность за ее метаморфозу была возложена на сэра Фрэнсиса. С какой легкостью он породил ее на свет лет десять назад, эту начиненную динамитом вакханку с пристаней Бильбао! И как тяжко было ему сейчас рыскать в номенклатуре кельтской мифологии, сочиняя для нее новую биографию: любовь в Мурнских горах, босоногая девочка, о которой среди крестьян идет молва, что ее подбросили феи и что ей поверяют свои тайны горные духи; шальная девчонка, она выгоняет осла из хижины и морочит заблудившихся английских туристов среди скал и водопадов! Он читал все это вслух Деннису и сам понимал, что это из рук вон плохо.

Он зачитал все это и на совещании в присутствии безымянной и безликой пока еще актрисы, ее импрессарио и адвоката; при сем присутствовали также начальник юридического отдела студии «Мегалополитен», начальники отделов рекламы, кадров и внешних сношений. За все время своей службы в Голливуде сэру Фрэнсису ни разу не приходилось бывать на совещании, где собралось бы столько светил великого синедриона корпорации. Они отвергли его сюжет без всякого обсуждения.

— Поработай с недельку дома, Фрэнк,— сказал начальник отдела кадров.— Попробуй найти новый поворот. Или, может, тебе не по душе эта работа?

— Нет, что вы,— вяло возразил сэр Фрэнсис.— Совещание мне очень помогло. Теперь я знаю, чего вы хотите. Уверен, что теперь у меня все пойдет гладко.

— Я всегда с удовольствием смотрю все, что вы для нас стряпаете,— сказал начальник отдела внешних сношений. Однако, когда дверь за сэром Фрэнсисом закрылась, великие люди переглянулись и покачали головами.

— Еще один бывший,— сказал начальник отдела кадров.

— Ко мне только что приехал двоюродный брат жены,— сказал начальник отдела рекламы.— Может, дать ему попробовать?

— Да, Сэм,— согласились остальные.— Пусть двоюродный брат твоей жены попробует.

После этого сэр Фрэнсис засел дома, и каждый день секретарша приходила к нему писать под диктовку. Он молол какой-то вздор, сочиняя для Хуаниты новое имя и новую биографию: красавица Кэтлин Фитцбурк, гордость Голуэй Блэйзерс; вечерняя заря опускается на берега и отвесные скалы этой суровой страны, а Кэтлин Фитцбурк одна, со сворой гончих, вдали от полуразрушенных башен замка Фитцбурк... Потом наступил день, когда секретарша не явилась. Он позвонил на студию. Его соединяли то с одним кабинетом, то с другим, и в конце концов чей-то голос сказал:

— Да, сэр Фрэнсис, все верно. Мисс Маврокордато переведена в отдел работы со зрителем.

— Ну, так пусть мне пришлют еще кого-нибудь.

— Не уверен, что у нас найдется сейчас кто-нибудь, сэр Фрэнсис.

— Понимаю. Видите ли, мне крайне неудобно, но я должен закончить работу, которую делаю сейчас для студии. Вы не смогли бы послать за мной машину?

— Я соединю вас с мистером Ван-Глюком.

И снова его перекидывали, точно волан, соединяя то с одним кабинетом, то с другим, и наконец чей-то голос произнес:

— Транспортный отдел. Нет, сэр Фрэнсис, к сожалению, у нас сейчас нет ни одной свободной машины.

Уже ощущая, как плащ короля Лира обволакивает ему плечи, сэр Фрэнсис взял такси и поехал на студию. Он кивнул девушке, сидящей за столом у входа, с чуть меньшей учтивостью, чем обычно.

— Доброе утро, сэр Фрэнсис,— сказала она.— Чем могу быть вам полезна?

— Спасибо, ничем.

— Вы кого-нибудь ищете?

— Нет, никого.

Лифтерша взглянула на него вопросительно.

— Хотите подняться?

— Конечно, к себе на третий.

Он прошел по знакомому безликому коридору, распахнул знакомую дверь и замер на пороге. За его столом сидел какой-то неизвестный ему человек.

— Простите,— сказал сэр Фрэнсис.— Что за глупость. Никогда со мной этого не случалось.— Он попятился и закрыл дверь. Потом тщательно осмотрел ее. Да, это его кабинет. Он не ошибся. Однако в прорезь, где последние двенадцать лет — с тех самых пор, как его перевели из сценарного отдела,— стояло его имя, теперь была вставлена карточка с другим именем: «Лоренцо Медичи». Он снова открыл дверь.

— Простите,— сказал он.— Но, должно быть, произошла какая-то ошибка.

— Вполне возможно,— сказал мистер Медичи жизнерадостно.— Тут все какие-то малость чокнутые. Я добрых полдня выгребал из комнаты всякое барахло. Целая куча хлама была, точно здесь жил кто-нибудь: какие-то пузырьки с лекарствами, книжки, фотографии, детские игрушки. Видно, принадлежало какому-то старому англичанину, который недавно дал дуба.

— Я и есть тот старый англичанин, но я еще не давал дуба.

— Страшно рад за вас. Надеюсь, среди этого хлама ничего особенно ценного не было. Но может, все это еще валяется тут где-нибудь.

— Пойду повидаю Отто Баумбайна.

— Он тоже чокнутый, только вряд ли он что-нибудь знает насчет вашего барахла. Я просто выставил все в коридор. Вот, может, уборщица...

Сэр Фрэнсис прошел дальше по коридору, в кабинет помощника директора.

— Мистер Баумбайн сейчас на совещании. Передать ему, чтобы он позвонил вам?

— Ничего, я подожду.

Он уселся в приемной, где две машинистки предавались бесконечно долгому и сугубо интимному телефонному разговору. Наконец вышел мистер Баумбайн.

— Ах, это ты, Фрэнк,— сказал он.— Очень мило, что заглянул к нам. Очень рад. Нет, право же, очень рад. Заходи еще как-нибудь. Заходи почаще, Фрэнк.

— Я хотел поговорить с тобой, Отто.

— Видишь ли, сейчас я как раз страшно занят, Фрэнк. Давай так: я позвоню как-нибудь на той неделе.

— Я только что обнаружил в своем кабинете какого-то мистера Медичи.

— Все верно, Фрэнк. Только он произносит свою фамилию «Медисси» или что-то в этом роде; ты так произнес, будто он итальяшка, а на самом деле мистер Медисси очень приличный молодой человек, и у него очень, очень хорошие, прямо-таки замечательные анкетные данные, Фрэнк, и я с большим удовольствием познакомлю тебя с ним.

— Ну, а мне-то где работать?

— Ах, это. Видишь ли, Фрэнк, об этом мне очень хотелось бы поговорить с тобой, но только сейчас у меня совсем нет времени. Ну, просто совсем нет, правда, детка?

— Правда, мистер Баумбайн,— сказала одна из секретарш.— Сейчас у вас решительно нет времени.

— Вот видишь. У меня просто нет времени. А, я знаю, что надо сделать. Милочка, что, если нам устроить сэру Фрэнсису свидание с мистером Эриксоном? Уверен, что мистер Эриксон будет очень рад.

Так сэр Фрэнсис попал на прием к мистеру Эриксону, непосредственному начальнику мистера Баумбайна, и тот с недвусмысленной нордической прямотой объяснил ему то, о чем сэр Фрэнсис уже начал смутно догадываться,— что его долголетняя служба на благо компании «Метрополитен пикчерз инкорпорейтед» пришла к концу.

— Правила вежливости требовали, чтобы меня известили об этом,— сказал сэр Фрэнсис.

— Письмо уже послано. Вы же знаете, застряло где-нибудь: столько всяких отделов должны его завизировать — юридический, бухгалтерия, отдел производственных конфликтов. Впрочем, в вашем случае я не предвижу никаких осложнений. Вы, к счастью, не член профсоюза. А то время от времени их треугольник протестует против нерационального использования кадров — это когда мы привозим кого-нибудь из Европы, или из Китая, или еще откуда-нибудь, а через неделю увольняем. Но с вами не тот случай. У вас большой стаж. Ровно двадцать пять лет, так, кажется? У вас в контракте даже оплата обратного проезда на родину не оговорена. Так что расторжение вашего контракта должно пройти гладко.

Сэр Фрэнсис вышел из кабинета мистера Эриксона и стал выбираться из великого муравейника, который именовался корпусом памяти Уилбура К. Лютита и строился уже после того, как сэр Фрэнсис приехал в Голливуд. Уилбур К. Лютит был тогда еще жив, он даже пожал однажды руку сэру Фрэнсису своей коротенькой толстой ручкой. Сэр Фрэнсис видел, как росло это здание, он даже играл какую-то почетную, хотя и не выдающуюся роль во время церемонии закладки. На его глазах заселялись, пустели и вновь заселялись комнаты этого здания, менялись на дверях таблички с именами. На его глазах приходили одни и уходили другие. Он видел, как пришли мистер Эриксон и мистер Баумбайн и как ушли другие, имен которых он теперь уже не мог припомнить. Он помнил лишь беднягу Лео, который вознесся, пережил падение и умер, не оплатив счета в отеле «Сады аллаха».

— Вы нашли, кого искали? — спросила его девушка за столом в проходной, когда он выходил на залитую солнцем улицу.

Трава на юге Калифорнии растет плохо, и голливудская почва не благоприятствует высокому уровню крикета. К тому же в крикет здесь по-настоящему играли лишь несколько молодых членов клуба; что же до подавляющего большинства, крикет занимал в их деятельности столь же малое место, как, скажем, любительское рыболовство или сапожный промысел — в оборотах лондонских оптовиков. Клуб для них был просто символом английского происхождения. Здесь они по подписке собирали деньги для Красного Креста, здесь они могли вволю позлословить, не боясь, что их услышат чужеземцы — их хозяева и покровители. Здесь они и собрались, точно по удару набатного колокола, на другой день после внезапной смерти сэра Фрэнсиса Хинзли.

— Его нашел молодой Барлоу.

— Барлоу из «Мегало»?

— Да, когда-то он был в «Мегало». Но ему не возобновили контракта. С тех пор...

— Да, да, я слышал. Позорнейшая история.

— Я не был знаком с сэром Фрэнсисом. Его звезда закатилась еще до меня. Кто-нибудь знает, отчего он это сделал?

— Ему тоже не возобновили контракта.

Слова эти звучали зловеще для каждого. Это были роковые слова, произнося которые нужно было непременно прикоснуться украдкой к чему-нибудь деревянному или сложить пальцы крестом,— нечестивые слова, которых вообще лучше не произносить вслух. Каждому из этих людей был отпущен кусок жизни от подписания контракта до истечения его срока, дальше простиралась пустыня неведомого.

— А где же сэр Эмброуз? Он-то уж непременно придет сегодня.

Наконец он пришел, и все отметили, что он уже вдел черную креповую ленту в петлицу своей спортивной куртки в стиле Колдстрим. Несмотря на поздний час, он принял протянутую ему чашечку чая, потянул ноздрями до предела наэлектризованный воздух и заговорил:

— Все вы, без сомнения, уже слышали об этой жуткой истории со стариной Фрэнком?

Шепот.

— В конце жизни ему очень не везло. За исключением меня самого вряд ли в Голливуде остался хоть один человек, который еще помнит его расцвет. Он никогда не оставлял человека в нужде.

— Он был человек ученый и джентльмен.

— Совершенно верно. И он был одним из первых родовитых англичан, пришедших в кино. Можно сказать, именно он заложил фундамент, на котором я... на котором мы все выросли. Он был здесь нашим первым полномочным представителем.

— А по-моему, «Мегало» могла бы и не увольнять его. Ведь его жалованье — такой пустяк. Он и так уж, наверно, недолго бы обременял их кассу.

— Некоторые доживают здесь до преклонного возраста.

— Не в этом дело,— сказал сэр Эмброуз.— На это были свои причины.— Он выдержал паузу и продолжал тем же интригующим и несколько наигранным тоном: — Пожалуй, лучше все же рассказать вам, потому что это касается каждого из нас. Не думаю, чтобы вы часто навещали старика Фрэнка в последние годы. Я навещал. Я стараюсь поддерживать связь со всеми англичанами, которые здесь живут. Так вот, вам, наверно, известно, что Фрэнк приютил у себя молодого англичанина по имени Деннис Барлоу.— Члены клуба переглянулись, некоторые уже поняли, что к чему, другие только строили догадки.— Я не хочу сказать ничего дурного о Барлоу. Он приехал сюда известным поэтом. Мне кажется, он здесь просто не преуспел. Нельзя строго судить его за это. Здесь каждый подвергается суровой проверке. И победителями выходят лучшие. Барлоу потерпел неудачу. Когда я узнал об этом, я поехал навестить его. Со всей прямотой, какую только позволяли приличия, я посоветовал ему убраться восвояси. Я полагал, что сделать это — мой долг по отношению ко всем вам. Ни к чему нам, чтоб какие-то бедняки англичане околачивались в Голливуде. И я сказал ему об этом прямо и честно, как англичанин англичанину.

Полагаю, все вы знаете, что он сделал после этого. Он *пошел работать на собачье кладбище.*

В Африке, если белый компрометирует себя и бросает тень на свой народ, власти отправляют его обратно на родину. Мы здесь, к сожалению, не обладаем такими правами. И беда в том, что за безрассудство одного приходится платить всем. Маловероятно, чтобы «Мегало» уволила беднягу Фрэнка при других обстоятельствах. Но когда они увидели, что он живет под одним кровом с типом, который работает на собачьем кладбище... Судите сами! Вы не хуже меня знаете здешние обычаи. Я ни в чем не могу упрекнуть наших американских коллег. Это прекрасные люди, и они создали самую замечательную кинопромышленность в мире. У них свои мерки — вот и все. Кто станет винить их за это? В мире конкуренции человек весит столько, сколько он стоит. Все зависит от репутации — от твоего лица, как говорят на Востоке. Потеряй лицо — и ты потеряешь все. Фрэнк потерял лицо. Этого достаточно.

Лично мне жаль молодого Барлоу. Не хотел бы я быть сегодня на его месте. Я только что навестил его. Я считал, что этого требуют приличия. Надеюсь, всякий из вас, кто встретится с ним, будет помнить, что главный его грех в неопытности. Он не хотел слушать советов. И вот...

Я поручил ему все приготовления к похоронам. Как только полиция

передаст ему останки, он отправится в «Шелестящий дол». Я полагал, что надо занять его делом, отвлечь его от тяжелых мыслей.

В такую минуту мы должны не ударить в грязь лицом. Может, нам даже придется пошарить у себя в карманах — не думаю, чтобы у старины Фрэнка были какие-нибудь сбережения. Но деньги наши не будут потрачены зря, если нам удастся поддержать престиж английской колонии в глазах кинопромышленников. Я уже связался с Вашингтоном и просил прислать на похороны нашего посла, но похоже, что из этого ничего не выйдет. Попытаюсь еще раз. Это было бы очень важно. Во всяком случае, я не думаю, что студии останутся в стороне, если увидят, что мы держимся сплоченно...

Пока он говорил, солнце опустилось за поросший кустарником склон холма. Небо еще не начинало темнеть, но тени уже стлались по жесткой неровной траве крикетного поля, неся с собой пронизывающий холод.

■

Деннис был из породы молодых людей, скорее чувствительных, чем глубоко чувствующих. Он прожил свои двадцать восемь лет бок о бок с жестокостью и насилием, но принадлежал к поколению, которое даже смакует эту близость со смертью. И все же случилось так, что он ни разу не видел человеческого трупа до того самого утра, когда, вернувшись усталым с ночной смены, обнаружил своего домохозяина в петле под потолком. Зрелище было грубым и ошеломляющим, однако рассудок его принял это событие как часть установившегося порядка вещей. У других, живших в более мягкие времена, в результате подобного открытия ломалась вся жизнь, Деннис воспринял это как нечто такое, чего всегда можно ожидать в знакомом ему мире, и потому, направляясь сейчас в «Шелестящий дол», лишь ощущал, что приятно возбужден и полон любопытства.

С того самого дня, как он приехал в Голливуд, ему тысячу раз доводилось слышать из чьих-либо уст название этого грандиозного прибежища мертвых, оно упоминалось в местных газетах, когда чьему-либо выдающемуся бренному телу воздавались выдающиеся последние почести или когда заведение это присоединяло к своему собранию шедевров современного искусства какой-нибудь новый шедевр. В последнее время Деннис ощутил к нему повышенный профессиональный интерес, ибо «Счастливая райская жизнь» как раз и возникла в скромном соперничестве со своим великим соседом. Жаргон, на котором он изъяснялся теперь ежедневно у себя в конторе, был почерпнут именно из этого возвышенного и чистого источника. Сколько раз после очередного погребения мистер Шульц ликующе восклицал: «Это сделало бы честь самому «Шелестящему долу». И вот теперь, подобно священнику-миссионеру, совершающему свое первое паломничество в Ватикан, подобно верховному вождю из Экваториальной Африки, восходящему на Эйфелеву башню, Деннис Барлоу, поэт и собачий похоронщик, въезжал в Золотые Ворота.

Это были огромные, самые большие ворота в мире, и они сверкали подновленною позолотой. Особая надпись извещала о том, что все их соперники того же названия в Старом Свете уступают им по размеру. За воротами открывался полукруг золотистого тиса, усыпанный гравием широкий подъездной путь и островок подстриженной травы, посреди которого возвышалась диковинная массивная стена из мрамора в форме раскрытой книги. На ней полуметровыми буквами было высечено:

СОН

И привиделся мне сон, и увидел я Новую Землю, избранную для СЧАСТЬЯ. Там, в окруженье всего, чем Искусство и Природа могут возвысить Душу Человека, я увидел Счастливый Приют Упокоения Бесчис-

ленных Незабвенных. И увидел я Ждущих Своего Часа, что стояли на берегу узкого потока, еще отделявшего их от тех, кто ушел первыми. Молодые и старые, они были равно счастливы. Счастливы в окружении Красоты, Счастливы от сознания того, что их Дорогие, Незабвенные совсем рядом, среди Красоты и Счастья, недостижимых на земле.

И услышал я голос, сказавший: «Сделай это».

И тогда я пробудился и, озаренный Надеждой и Светом моего СНА, сотворил ШЕЛЕСТЯЩИЙ ДОЛ.

ВОЙДИ ЖЕ, ПУТНИК, И БУДЬ СЧАСТЛИВ.

Внизу гигантским курсивом было высечено факсимиле: *«УИЛБУР КЕНУОРТИ, СНОВИДЕЦ».*

Тут же рядом стоял скромный деревянный указатель, гласивший: *«О ценах справляться в конторе. Следуйте прямо».*

Деннис проехал зеленым парком и вскоре оказался перед зданием, которое в Англии принял бы за деревенскую усадьбу банкира времен короля Эдуарда. Дом был деревянный, черно-белый, с островерхим фронтоном, витыми кирпичными трубами и железными флюгерами. Деннис поставил свою машину рядом с десятком других и пешком пошел по дорожке, окаймленной самшитовой изгородью, мимо поникших растений, мимо солнечных часов и маленького бассейна с фонтаном для птиц, мимо простой каменной скамьи и голубятни. Повсюду тихо звучала музыка, из бесчисленных динамиков, спрятанных в разных частях сада, приглушенно лилась мелодия «Индусской песни любви», исполняемой на органе.

Когда Деннис впервые обходил съемочные площадки компании «Мегалополитен», в сознании его с трудом укладывалось то, что эти улицы и площади всех эпох и климатических поясов земли, казавшиеся такими незыблемыми, были всего-навсего оштукатуренными фасадами, открывавшими сзади свою фанерную фактуру. Здесь иллюзия была совершенно обратной. Деннис с трудом заставил себя поверить, что стоявшее перед ним здание было капитальной постройкой в трех измерениях; впрочем, здесь, как и во всех других уголках «Шелестящего дола», сомнительная действительность была удостоверена рисованным словом:

Эта точная копия английской усадьбы,— гласила надпись,— *как и все сооружения «Шелестящего дола», построена целиком из первоклассной стали и бетона, на фундаменте, переходящем в основание скалы. Его устойчивость гарантируется при пожаре, землетрясении и... Имена тех будут жить вечно, кто оставил их в анналах «Шелестящего дола».*

Над пробелом в надписи уже работал художник, и Деннис, присмотревшись, обнаружил, что стерты слова «при взрыве бомбы», а на их месте намечены контуры новых слов — «при ядерном взрыве».

Под неотступное звучание музыки Деннис попал из одного сада в другой; путь в контору вел через зал цветочного магазина. Молоденькая продавщица опрыскивала духами сирень на прилавке, другая разговаривала по телефону.

— ...Ах, миссис Боголов, я очень сожалею, но в «Шелестящем доле» как раз это не положено. Сновидец решительно против венков и крестов. Мы раскладываем цветы, сохраняя их естественную красоту. Это идея самого Сновидца. Я уверена, что мистер Боголов тоже предпочел бы это. Может быть, вы предоставите все нам самим, миссис Боголов? Вы только скажите, какой вы располагаете суммой, а уж мы позаботимся об остальном. Уверена, что вы будете очень довольны. Благодарю вас, миссис Боголов, очень приятно...

Деннис прошел через цветочный магазин и, толкнув дверь с надписью «Отдел справок», очутился в каком-то банкетном зале с потолком в деревянных стропилах. «Индусская песнь любви» звучала и здесь, неж-

но воркуя за темными дубовыми панелями. Отделившись от своих коллег, к Деннису тотчас же подошла молодая особа, типичная представительница той совершенно новой породы изысканно прелестных, обходительных и энергичных молодых особ, которых он на каждом шагу встречал в Соединенных Штатах. На ее белом форменном платьице, слева, над высоко поднятой грудью, было вышито: «Моргпроводница».

— Чем могу быть полезной?

— Мне нужно договориться о похоронах.

— О ваших собственных похоронах?

— Нет, конечно. А что, разве у меня такой уж безнадежный вид?

— Простите? Не поняла.

— Разве похоже, что я вот-вот умру?

— О, нет конечно. Просто многие из наших клиентов предпочитают Предварительную Договоренность. Пройдите, пожалуйста, сюда.

Она провела его через весь зал в мягко освещенный коридор. Здесь интерьер был выдержан в георгианском стиле. «Индусская песнь любви» кончилась, и теперь ее сменило пение соловья. В маленькой, задрапированной ситцем гостиной Деннис и девушка присели обсудить условия.

— Прежде всего я должна записать Основные Данные.

Деннис назвал свое имя, а также имя усопшего.

— Итак, мистер Барлоу, чего бы вы желали? Вначале, конечно, бальзамирование, а дальше уж по вкусу — с кремацией или без кремации. Наш крематорий сконструирован на научной основе, и температура сожжения в нем так высока, что все несущественные элементы улетучиваются с дымом. Дело в том, что некоторым клиентам не нравилось, когда прах сожженного гроба и одежды мешался с прахом их Незабвенного. Упокоение останков у нас производится, как правило, путем обычного предания земле, путем экскавации и погребения с памятником, погребения в урне — урнизации и погребения в стене — муризации, однако в последнее время многие стали предпочитать погребение в саркофаге — саркофагизацию. Это зависит исключительно от индивидуального вкуса. Гроб помещается в этих случаях внутрь герметически закрытого саркофага, мраморного или бронзового, и хранится постоянно на поверхности, в нише мавзолея, с индивидуальным смотровым окошком из цветного стекла или без такового. Это, разумеется, для тех, для кого соображения стоимости не играют существенной роли.

— Мы хотим, чтоб наш друг был предан земле.

— Вы уже не первый раз в «Шелестящем доле»?

— В первый.

— Тогда позвольте мне объяснить вам содержание Сна. Наш парк разделен на зоны. Каждая зона носит соответствующее название и имеет соответствующее Творение Искусства. Зоны, конечно, отличаются по цене, а внутри зоны цены различаются в зависимости от приближенности к Творению Искусства. У нас есть участки не дороже пятидесяти долларов. Они находятся в Приюте паломника — это зона, которую мы осваиваем сейчас за топливной свалкой крематория. Дороже всего стоят участки на Острове. Они стоят около тысячи долларов. Есть еще зона Гнездо любви, в центре которой очень, очень красивая мраморная копия знаменитой статуи Родена «Поцелуй». Там у нас есть парные участки по семьсот пятьдесят долларов с пары. Ваш Незабвенный был женат?

— Нет.

— Чем он занимался?

— Он был писателем.

— А, тогда ему подойдет Уголок поэта. Там у нас уже много выдающихся деятелей литературы — некоторые собственной персоной,

а некоторые еще в порядке Предварительной Договоренности. Вы, конечно, знакомы с произведениями Амелии Бергсон?

— Слышал.

— Мы только вчера продали мисс Бергсон участок в порядке Предварительной Договоренности, под статуей видного греческого поэта Гомера. Я могла бы поместить вашего друга рядом с ней. Но, вероятно, вы захотите осмотреть зону, прежде чем решить окончательно.

— Я хочу увидеть все.

— У нас, конечно, есть что посмотреть. Я попрошу одного из наших гидов показать вам всю территорию. Но давайте сперва покончим с Основными Данными, мистер Барлоу. Какого вероисповедания был ваш Незабвенный?

— Он был агностик.

— У нас есть две независимые церкви в парке и несколько независимых священников. Евреи и католики предпочитают собственные панихиды.

— Сэр Эмброуз Эберкромби, кажется, готовит какую-то свою панихиду.

— Уж не работал ли ваш Незабвенный в кино, мистер Барлоу? В таком случае ему следует упокоиться в Стране теней.

— Я думаю, он предпочел бы остаться с Гомером и мисс Бергсон.

— В таком случае вам лучше всего подойдет Университетская церковь. Мы стараемся избавлять Ждущих Своего Часа от продолжительной церемонии. Насколько я поняла, ваш Незабвенный был кавказец?

— Нет, с чего вы взяли? Он был чистейший англичанин.

— Англичане и есть чистейшие кавказцы, мистер Барлоу. В парке у нас существуют строгие разграничения. Сновидец сделал это для удобства Ждущих. В трудный час они предпочитают, чтобы их окружали представители их собственной расы.

— Кажется, я понял. И все же разрешите заверить вас, что сэр Фрэнсис был совершенно белый.

Не успел Деннис произнести эти слова, как в его сознании всплыло видение, которое все время таилось в глубине, исчезая лишь на какой-то миг: висящее кулем тело, а над ним лицо с красными, страшно выпученными глазами, со щеками в синих пятнах — точь-в-точь раскрашенный под мрамор корешок приходной книги — и с разбухшим языком, торчащим изо рта, точно кончик черной сосиски.

— Теперь решим, какой нужен гроб.

Они перешли в демонстрационный зал, где были установлены гробы всех видов и форм, изготовленные из различных материалов; где-то под карнизом все еще пел соловей.

— Крышка из двух частей пользуется наибольшим спросом для Незабвенных мужского пола. Открытой в этом случае остается лишь верхняя часть тела.

— Открытой?

— Конечно, когда Ждущие Своего Часа приходят прощаться.

— Да, но... Боюсь, нам это не подойдет. Я видел его. Он, понимаете ли, страшно обезображен.

— В особо сложных случаях необходимо предупредить наших косметистов. Вы увидитесь с ними перед уходом. Еще не было случая, чтоб они не справились со своей задачей.

Деннис выбирал не спеша. Он изучил все, что было выставлено на продажу, и со смирением признал, что даже самые скромные из здешних гробов превосходят самые пышные экземпляры, предлагаемые «Счастливой райской жизнью»; когда же он подошел к разряду двухтысячедолларовых — а это были еще не самые дорогие,— ему показалось, что он перенесся в Египет времен фараонов. Наконец он остано-

вился на массивном гробе орехового дерева с бронзовыми украшениями и с внутренней отделкой из стеганого атласа. Крышку, как ему и рекомендовали, он выбрал составную, из двух частей.

— Вы уверены, что его удастся привести в приличный вид?

— В прошлом месяце к нам поступил утонувший Незабвенный. Труп его находился целый месяц в океане и был опознан только по ручным часам. Наши так обработали этого жмурика,— сказала моргпроводница, небрежно отбрасывая высокий стиль, которого она до сих пор строго придерживалась,— что он у нас стал ровно жених. Уж что-что, а дело свое они знают. Да что там, даже если бы он на атомной бомбе сидел верхом, и то они бы его в божеский вид привели.

— Это звучит утешительно.

— Еще бы.— И снова перейдя на профессиональный тон с такою легкостью, будто она надела очки, моргпроводница продолжала: — Как будет одет ваш Незабвенный? У нас есть собственное ателье. Иногда после долгой болезни костюмы больше не годятся Незабвенному, а иногда Ждущие Своего Часа сами не хотят зря портить хороший костюм. Так вот у нас можно одеть Незабвенного по разумной цене, поскольку похоронный костюм не должен быть рассчитан на долгую носку, а в тех случаях, когда открытой для прощания остается только верхняя часть, и вовсе нужны только пиджак и жилет. Как правило, темное служит наилучшим фоном для цветов.

Деннис лишился от изумления дара речи.

— Сэр Фрэнсис был не такой уж денди,— произнес он, наконец.— Сомневаюсь даже, есть ли у него что-нибудь подходящее. У нас в Европе обычно пользуются саваном.

— Саваны у нас тоже есть. Я покажу вам несколько разновидностей.

Она подвела его к сооружению с выдвижными ящиками, похожему на шкаф для хранения церковных облачений, и, выдвинув один из ящиков, показала одеяние, подобного которому Деннис не видел ни разу в жизни. Заметив его интерес, моргпроводница позволила ему рассмотреть это одеяние самым тщательным образом. С виду это был обыкновенный костюм, но он был наглухо застегнут спереди и совершенно открыт на спине; рукава болтались свободно и не были сшиты по шву; полоска белого полотна шириной в полдюйма была пришита к обшлагу, и такой же треугольник заполнял вырез жилета; галстук-бабочка виднелся в просвете воротничка, который тоже был словно обрезан сзади. Это был апофеоз показухи.

— Наша фирменная модель,— сказала моргпроводница.— Впрочем, теперь ее копируют многие. Сама идея ее подсказана водевилем с переодеваниями. Костюм этот позволяет обряжать Незабвенного, не нарушая позы.

— Изумительно. Это как раз то, что нам нужно.

— В брюках или без брюк?

— А в чем, собственно, назначение брюк?

— Их надевают в салоне Забвения. Все зависит от того, какое прощание вы предпочтете — в шезлонге или в гробу.

— Прежде чем решить, вероятно, не мешало бы увидеть салон Забвения.

— Пожалуйста.

Они снова прошли через холл, и она повела его вверх по лестнице. Пение соловья сменилось теперь звуками органа, и мелодия Генделя сопровождала их до самого салона Забвения. Там моргпроводница спросила у коллеги:

— Какой салон у нас свободен?

— Бледно-желтых Нарциссов. Остальные заняты.

— Пройдите сюда, мистер Барлоу.

Миновав множество закрытых дверей, отделанных мореным дубом, она открыла наконец одну из них и посторонилась, пропуская Денниса. Он очутился в маленькой комнатке с жизнерадостной обстановкой и веселенькими обоями. Комнатка эта вполне могла сойти за кабинет роскошного современного загородного клуба, если бы не одна существенная деталь. Вокруг обитой ситцем кушетки стояли вазы с цветами, а на кушетке возлежало нечто вроде восковой фигуры, изображающей пожилую женщину, одетую, как на вечерний прием. Ее белые руки в перчатках сжимали букет цветов, на носу поблескивало пенсне.

— Ой! — вскрикнула провожатая Денниса.— Какая же я дура! — Мы не туда попали. Это салон Подснежников. Он уже занят,— добавила она, хотя это было ясно и без объяснений.

— Понятно.

— Прощание начнется здесь только после обеда, но нам лучше уйти, а то еще кто-нибудь из косметичек застанет нас тут. Они любят делать завершающие мазки в последнюю минуту, перед тем, как впускают Ждущих Своего Часа. Во всяком случае, вы получили представление о том, что такое прощание в шезлонге. Мужчинам мы обычно рекомендуем прощание в полуоткрытом гробу, потому что ноги у них всегда выглядят некрасиво.

Они вышли из салона.

— Много ли народу придет прощаться?

— Да, я полагаю, что довольно много.

— Тогда лучше заказать салон с прихожей. Лучше всего салон Орхидей. Заказать?

— Да, пожалуйста.

— Прощание в полуоткрытом гробу, а не в шезлонге?

— Нет, не в шезлонге.

Она повела его обратно в приемную.

— Вам, должно быть, стало немножко не по себе, мистер Барлоу, когда мы вдруг наткнулись на Незабвенную.

— Да, по правде сказать, стало.

— В день похорон все будет иначе, вот увидите. Прощание очень, очень большой источник утешения. Ведь нередко Ждущие Своего Часа в последний раз видят Незабвенного на ложе страдания, в окружении всех мрачных деталей больничной палаты. А у нас он вновь предстает им таким, каким они знали его в расцвете жизни,— преображенный покоем и счастьем. На обычных похоронах они едва успевают бросить на него прощальный взгляд, когда проходят мимо гроба. Здесь же, в салоне Забвения, они могут стоять сколько угодно, в последний раз запечатлевая его образ.

Деннис отметил, что она говорит то как по-писаному — словами Сновидца, то вдруг бойко и весело — своими словами. Они вернулись в приемную. Она пробормотала:

— В общем, я вроде все у вас узнала, мистер Барлоу, теперь только распишитесь под заказом и под счетами.

Деннис ожидал этого. Так делалось и у них, в «Счастливой райской жизни». Он заплатил пятьсот долларов и получил квитанцию.

— А теперь одна из наших косметичек ждет вас, чтобы записать *свои* Основные Данные, но прежде чем проститься с вами, мне бы хотелось ознакомить вас с системой Предварительной Договоренности. Как вы на это смотрите?

— Меня глубоко интересует все, что касается «Шелестящего дола». Впрочем, этот аспект занимает меня, пожалуй, меньше всех прочих.

— Система эта дает вам двойную выгоду,— теперь она шпарила как по-писаному,— с точки зрения финансовой и с точки зрения пси-

хологической. Вы сейчас в той поре жизни, мистер Барлоу, когда человек получает максимальное жалованье. И вы задумываетесь над тем, каким образом обеспечить свое будущее — выгодным ли помещением денег в бумаги, страховкой ли и так далее. Вы хотите спокойно прожить остаток своих дней. Но подумали ли вы о том, каким бременем ляжет ваша смерть на тех, кого вы оставите после себя? В прошлом месяце, мистер Барлоу, к нам обратилась одна супружеская пара, она просила ознакомить ее с системой Предварительной Договоренности. Это были весьма почтенные граждане в расцвете сил, у них были две дочери, едва вступившие в пору девической зрелости. Так вот, они подробно ознакомились с нашей системой, и она произвела на них большое впечатление. Они сказали, что зайдут через несколько дней договориться обо всем окончательно и подписать контракт. Но прошел один лишь день — и людей этих не стало. Да, мистер Барлоу, они погибли в автомобильной катастрофе, и вместо них к нам в приемную явились две безутешные сироты, они пришли спросить, какой контракт был подписан их родителями. И вот мы были вынуждены сказать, что никакого контракта не существует. В час величайшей нужды и горя бедные дети не получили утешения. А как было бы хорошо, если б мы могли сказать им: «Добро пожаловать, друзья, под Счастливую Сень «Шелестящего дола».

— Все это так, но у меня, знаете ли, нет детей. Да к тому же я иностранец. Я не собираюсь умирать здесь.

— Мистер Барлоу, вы боитесь смерти.

— Нисколько, уверяю вас.

— Это естественное чувство, мистер Барлоу, робеть перед неизвестностью. Но если вы поговорите об этом открыто и откровенно, ваши мрачные мысли рассеются. Этому учат нас психоаналитики. Извлеките ваши тайные страхи на белый свет повседневности, взгляните на них повседневным взглядом рядового человека, мистер Барлоу. Поймите, что смерть — это не ваша личная трагедия, а участь каждого человека. Как прекрасно писал Гамлет: «То жребий всех живущих; живущее умрет» *. Возможно, вы считаете, мистер Барлоу, что размышлять на эту тему нездорово и даже небезопасно, но научные исследования доказывают нам обратное. Многие поддаются страху смерти, и из-за этого их жизненная энергия преждевременно иссякает, а доходы падают. Избавившись от страха смерти, эти люди смогли бы реально умножить свои достижения на жизненном поприще. Обдумайте на досуге, в здравом уме и добром здоровье, какая форма последнего упокоения вас больше устраивает, оплатите ее сейчас, пока вам это не так трудно, и избавьтесь от всех тревог. Гоните денежки, мистер Барлоу, «Шелестящий дол» найдет им применение.

— Я самым тщательным образом обдумаю ваше предложение.

— Вот наш проспект. А теперь я должна представить вам косметичку.

Она вышла из комнаты, и Деннис мгновенно забыл, какая она. Он и раньше встречал ее повсюду. Американские матери, подумал он, очевидно, узнают своих дочерей по каким-то неуловимым признакам, точно так же, как китайцы, говорят, все-таки различают представителей своей, казалось бы, совершенно единообразной расы; но на взгляд европейца, молоденькая моргпроводница была на одно лицо со своими бесчисленными сестрами, которых можно встретить в салоне пассажирского лайнера или за конторкой любого учреждения, на одно лицо с мисс Поски из «Счастливой райской жизни». Это был стандартный продукт. Мужчина может расстаться с такой девушкой в гастрономическом магазине

* Искаженная реплика королевы из трагедии Шекспира «Гамлет».

Нью-Йорка, пролететь три тысячи миль и обнаружить ее в табачном киоске Сан-Франциско с той же неизменностью, с какой он находит свои любимые комиксы на привычной полосе местной газеты; и девушка эта будет мурлыкать те же самые слова в минуту нежности, высказывать те же взгляды и пристрастия в споре на политические темы. С такой — легко и просто. Но Деннис принадлежал к более древней цивилизации, и запросы его были тоньше. Его манило неосязаемое за пеленой тумана лицо, силуэт в освещенном дверном проеме, тайная грация тела, скрытая под вельветом форменного платьица. Он не вожделел соблазнов этого изобильного континента, длинных трепещущих ног в плавательных бассейнах, широко раскрытых подведенных глаз и губ в свете прожекторов. Но девушка, которая вошла сейчас в дверь, была единственной в своем роде. И подыскать определение ей казалось нетрудным — подходящий эпитет пришел на ум Деннису, как только он увидел ее: единственная Ева в суматошном гигиеническом Эдеме, девушка эта принадлежала к вымирающему племени.

На ней был форменный белый халатик, она вошла в комнату, присела к столу и положила перед собой авторучку с той же профессиональной уверенностью, что и ее предшественница, и все же это была она, та, которую Деннис тщетно искал весь этот одинокий год, проведенный в изгнании.

Волосы у нее были темные и прямые, брови вразлет, кожа прозрачная, не тронутая загаром. Губы ее, без сомнения, подкрашенные, не были, однако, покрыты толстым слоем помады, как у ее подруг, и пурпурные комья не забивали их нежных изгибов, и тем не менее они, казалось, сулили безмерную полноту чувственного наслаждения. У нее был округлый овал лица, профиль чистый, классически легкий. В рассеянном взгляде ее зеленоватых глаз таился явственный отблеск безумия.

У Денниса перехватило дыхание. Когда девушка заговорила, голос ее звучал энергично и прозаически.

— Отчего скончался ваш Незабвенный? — спросила она.

— Повесился.

— Сильно ли изуродовано лицо?

— Ужасно.

— Так обычно и бывает. Вероятно, им займется лично мистер Джойбой. Видите ли, тут все дело в массаже, надо разогнать кровь с тех участков, где она скопилась. У мистера Джойбоя просто замечательные руки.

— А чем занимаетесь вы?

— Волосами, кожей и ногтями, кроме того, я даю бальзамировщикам указания относительно позы и выражения лица. У вас есть с собой фотографии вашего Незабвенного? Они бывают очень полезны при восстановлении облика. Это был жизнерадостный пожилой джентльмен?

— Нет, скорее напротив.

— Записать ему спокойное философское выражение или сосредоточенно-решительное?

— Я думаю, первое.

— Это выражение придать труднее всего, но мистер Джойбой как раз на нем специализируется — и на Улыбке Лучезарного Детства. У Незабвенного были собственные волосы? А каким был обычно цвет его лица? Мы, как правило, различаем три цвета: сельский, спортивный и научный, другими словами: румяный, смуглый и белый. Ученый? И очки? Ах, монокль. Это всегда трудно: мистер Джойбой любит придавать голове легкий наклон, чтобы достичь большей естественности позы. А пенсне и монокли трудно закрепить, когда тело окоченеет.

К тому же монокль выглядит менее естественно — ведь глаз-то закрыт. Вы хотите непременно сохранить эту черту Незабвенного?

— Для него это было весьма характерно.

— Как вам угодно, мистер Барлоу. Разумеется, мистер Джойбой справится и с этим.

— А мне даже хочется, чтобы глаз был закрыт.

— Отлично. Ваш Незабвенный окончил жизнь на веревке?

— На подтяжках.

— Тогда нам будет нетрудно. А то иной раз остается неизгладимый след. В прошлом месяце у нас был Незабвенный, который повесился на электрическом проводе. С ним даже мистер Джойбой ничего не мог поделать. Пришлось повязать ему шарф до самого подбородка. Но с подтяжками все обойдется.

— Я вижу, вы чрезвычайно высокого мнения о мистере Джойбое.

— Это настоящий художник. Иначе его не назовешь, мистер Барлоу.

— Вам нравится ваша работа?

— Я считаю очень, очень большой честью работать здесь, мистер Барлоу.

— И давно вы здесь?

Деннис заметил, что американцы, как правило, довольно терпеливо отвечают на расспросы об их карьере. Но эта косметичка словно опустила еще одну невидимую завесу между собой и собеседником.

— Полтора года,— ответила она коротко.— Ну вот, я уже обо всем вас расспросила. Есть ли в его облике какая-нибудь индивидуальная черта, которую вы хотели бы сохранить? Скажем, иногда Ждущие Своего Часа просят, чтобы Незабвенный был с трубкой в зубах. Или держал что-нибудь в руке. Например, детям мы даем в руки игрушку. Есть что-нибудь особенно характерное для вашего Незабвенного? Многим нравится, чтоб были музыкальные инструменты. Одна дама прощалась с близкими с телефонной трубкой в руках.

— Нет, я думаю, это не подойдет.

— Значит, просто цветы? Еще один вопрос: зубные протезы. Был ли он с протезом в момент кончины?

— Право, не знаю.

— Попытайтесь, пожалуйста, выяснить. Протезы часто пропадают в полицейском морге, и для мистера Джойбоя это создает дополнительные трудности. Незабвенные, которые накладывают на себя руки, как правило, носят протезы.

— Я поищу у него в комнате и, если не найду, спрошу в полиции.

— Большое вам спасибо, мистер Барлоу. На этом мои Основные Данные можно считать исчерпанными. Рада была с вами познакомиться.

— Когда я увижу вас?

— Послезавтра. Вам лучше прийти чуть пораньше — до начала прощания и проследить, все ли так, как вы хотели.

— Как мне спросить вас?

— Спросите просто косметичку салона Орхидей.

— А имя?

— Это ни к чему.

Она ушла, и к нему снова подошла моргпроводница, о которой он уже и думать забыл.

— Мистер Барлоу, я договорилась с зональным гидом, чтобы она показала вам участок.

Деннис очнулся от глубокой задумчивости.

— О, я доверяю вам выбор,— сказал он.— По правде говоря, на сегодня с меня хватит.

Деннис подал заявление и получил согласие шефа «Счастливой райской жизни» на отпуск для участия в похоронах и подготовки к ним. Правда, мистер Шульц отпустил его без особого энтузиазма. Им сейчас было трудно обойтись без Денниса: все больше автомобилей сходило с конвейеров, все больше людей разъезжало по дорогам, все больше домашних животных попадало в морг, к тому же в Пасадене прокатилась волна смертей от пищевого отравления. Холодильник был набит до отказа, печи крематория пылали денно и нощно.

— Это ведь весьма полезно для меня, мистер Шульц,— сказал Деннис, желая хоть как-то оправдать свое дезертирство.— Я знакомлюсь с методами их работы, набираюсь самых разнообразных идей, которые мы сможем использовать у себя.

— Зачем вам новые идеи? — удивился мистер Шульц.— Поменьше платить за топливо, поменьше платить сотрудникам, побольше работать — вот и все новые идеи, которые мне требуются. Вы только посмотрите, Барлоу, мы с вами одни обслуживаем все побережье. От Сан-Франциско до самой мексиканской границы нет ни одного заведения нашего типа. И разве мы требуем, чтобы за похороны любимых зверюшек люди платили по пять тысяч долларов? Да и многие ли платят пятьсот? Ну, от силы два клиента в месяц найдутся. А что нам обычно говорят? «Сожгите его подешевле, мистер Шульц, лишь бы он не попал в руки городским властям, а то сраму не оберешься». Или закажут могилку и какой-нибудь надгробный камень из нашего ассортимента за пятьдесят долларов, включая налоговый сбор. С самой войны нет больше спроса на шикарные похороны, мистер Барлоу. Люди только делают вид, будто любят своих зверьков, разговаривают с ними, точно это их собственные дети, приезжает какой-нибудь гражданин в новой машине, льет целые реки слез, а потом: «Действительно есть нужда в надгробии с точки зрения приличий, мистер Шульц?»

— Мистер Шульц, вы просто завидуете «Шелестящему долу».

— А почему бы и нет, когда я вижу, как люди тратят такие деньги на всяких родственников, которых они ненавидели всю жизнь, а зверюшек, которые их любили, и были им верны, и никогда не задавали никаких вопросов, и ни на что не жаловались, жили ли они в роскоши или в бедности,— зверюшек люди торопятся зарыть, будто это падаль какая? Возьмите отпуск на три дня, мистер Барлоу, но только не воображайте, что вам их оплатят за то, что вы откопаете там какую-нибудь идею.

Со следователем все обошлось гладко. Деннис дал показания; фургон «Шелестящего дола» увез останки; сэр Эмброуз сумел мягко отшить газетчиков. Он же с помощью других видных представителей английской колонии составил Ритуал Службы. Литургия в Голливуде — скорее дело Режиссуры, чем Церкви. И каждый из членов крикетного клуба потребовал себе роль.

— Нужно будет прочитать отрывок из его «Сочинений»,— сказал сэр Эмброуз.— Не знаю даже, есть ли у меня сейчас что-нибудь под рукой. Такие вещи пропадают совершенно загадочным образом, когда переезжаешь из дома в дом. Вы ведь из пишущей братии, Барлоу, и сможете отыскать подходящий отрывок. Что-нибудь такое, что передавало бы самую сущность этого человека — его любовь к природе, к честной игре, ну, сами знаете.

— Разве Фрэнк любил природу или честную игру?

— Ну, должен был бы. Все-таки видный деятель литературы и все такое прочее, отмечен королевскими почестями.

— Не помню, чтобы мне попадались в доме его «Сочинения».

— Найдите что-нибудь, Барлоу. Какое-нибудь небольшое высказывание. Ну, сочините, наконец, сами, если нужно: вы ведь, наверно, знаете его стиль. И вообще, вы же все-таки поэт. Не кажется ли вам, что сейчас самое время написать что-нибудь о старине Фрэнке? Что-нибудь такое, что бы я мог прочесть на его могиле. В конце-то концов, черт возьми, вы должны это сделать ради него — да и ради нас тоже. Не такое уж это трудное дело. Берем же мы на себя всю черную работу.

Вот именно, «черную работу», подумал Деннис, наблюдая, как члены крикетного клуба составляют список приглашенных. По этому вопросу мнения разошлись. Часть англичан была за то, чтобы приглашенных было немного и чтобы все они были англичане; большинство, возглавляемое сэром Эмброузом, хотело включить в список всех боссов кинопромышленности. Незачем «держать марку», объяснил сэр Эмброуз, если все равно не перед кем ее держать, кроме бедняги Фрэнка. В том, кто возьмет верх, сомневаться не приходилось. Вся тяжелая артиллерия была на стороне сэра Эмброуза. И пригласительные билеты были напечатаны в большом количестве.

А Деннис тем временем пытался отыскать хоть какой-нибудь след «Сочинений» сэра Фрэнсиса. Книг у них в доме было совсем немного, да и те по большей части принадлежали Деннису. Сэр Фрэнсис перестал писать задолго до того, как Деннис научился читать. И Деннис не мог помнить этих очаровательных изданий, вышедших в свет в ту пору, когда он еще лежал в колыбели, книжек в цветастых картонных переплетах с бумажными наклейками, зачастую с меленьким неразборчивым автографом Ловата Фрэйзера на титульном листе — всех этих плодов поверхностного, но живого ума: биографий, путевых дневников, критических заметок, стихов, драм,— одним словом, того, что называют изящной словесностью. Наибольшие претензии на бессмертие заявляла книга «Свободный человек приветствует рассвет», наполовину биографическая, на четверть политическая, на четверть мистическая, произведение, которое кратчайшим путем дошло до сердца каждого подписчика Бутса в начале двадцатых годов и принесло сэру Фрэнсису дворянское звание. Книга «Свободный человек приветствует рассвет» давным-давно не переиздавалась, все ее изящные афоризмы вышли из моды и были забыты.

Когда Деннис встретился с сэром Фрэнсисом на студии «Мегалополитен», имя Хинзли показалось ему знакомым. В антологии современной поэзии был один его сонет. Если бы Денниса спросили об авторе, он бы высказал предположение, что автор сонета, по всей вероятности, был убит при Дарданеллах. Нет поэтому ничего удивительного в том, что у Денниса не оказалось «Сочинений» сэра Фрэнсиса. А тех, кто знал сэра Фрэнсиса, не удивило бы и то, что произведений этих не оказалось и у самого автора. До конца своих дней он был наименее тщеславным из всех литераторов, а следовательно, и был наиболее прочно забыт.

Деннис тщетно пытался найти что-либо и уже начал с отчаяния подумывать о вылазке в публичную библиотеку, как вдруг обнаружил старый затрепанный экземпляр «Аполлона», хранившийся бог знает зачем в бельевом ящике сэра Фрэнсиса. Это был февральский номер 1920 года, его синяя обложка выцвела и стала серой. Большую часть его составляли дамские стихи, многие из этих дам сейчас, вероятно, уже стали бабушками. Но вполне возможно, что в одном из этих задушевных лирических творений крылась разгадка, почему журнал хранился так долго и в таком укромном углу. В конце номера была помещена рецензия, подписанная инициалами Ф. Х. Деннис обнаружил, что

в ней говорилось о поэтессе, чьи сонеты были напечатаны в начале номера. Имя ее было уже забыто, но, возможно, здесь, подумал Деннис, таилось то, «что сердце его задевало», и могло объяснить долгое изгнание сэра Фрэнсиса; во всяком случае, это избавляло Денниса от вылазки в публичную библиотеку. «Тоненькая книжка, отмеченная яркой печатью страстного и глубокого таланта, возвышающегося над посредственностью...» Деннис вырезал рецензию и послал ее сэру Эмброузу, а сам вернулся к заказанным ему стихам.

Мореный дуб, ситец, мягкие ковры и лестница в георгианском стиле — все это вдруг исчезало на границе второго этажа. Выше лежала область, куда не ступала нога непосвященного. Служащие поднимались сюда в простой открытой клетке лифта площадью в восемь квадратных футов. Здесь, на верхнем этаже, царили кафель и фаянс, линолеум и хромированная сталь. Здесь были расположены бальзамировочные с рядами наклонных фарфоровых плит, с кранами, трубами, насосами для подкачки, глубокими стоками и резким запахом формальдегида. А еще дальше шли комнаты косметичек, где царили запах шампуня и паленых волос, ацетона и лаванды.

Служитель вкатил носилки в клетушку Эме. На них лежало тело, укрытое простыней. Рядом шествовал мистер Джойбой.

— Доброе утро, мисс Танатогенос.

— Доброе утро, мистер Джойбой.

— Это Незабвенный удавленник для салона Орхидей.

Мистер Джойбой был воплощением профессиональной этики в высшем смысле этого слова. До его появления в фирме подъем из приемной в производственный цех неизменно сопровождался падением благовоспитанности. Здесь в ходу были такие слова, как «труп» или «тело», а один игривый молодой бальзамировщик из Техаса употреблял даже слово «туша». Этот молодой человек покинул заведение буквально через неделю после того, как мистер Джойбой был назначен в отдел Старшим Захоронителем, а это событие произошло, в свою очередь, через месяц после того, как Эме Танатогенос поступила в «Шелестящий дол» на должность младшей косметички. И, вспоминая мрачные времена, предшествовавшие приходу мистера Джойбоя, Эме всегда с благодарностью думала об атмосфере безмятежного спокойствия, которая, казалось, по природе была присуща этому человеку.

Мистер Джойбой не был красавцем по стандартам кинематографа. Он был высок, но сложения отнюдь не атлетического. Голова и туловище его не отличались правильностью пропорций, а цвет лица — свежестью; брови были еле намечены, ресницы почти отсутствовали; глаза, укрытые пенсне, казались розовато-серыми; волосы, тщательно причесанные и надушенные, были редкие, а руки — мясистые; лучше всего, пожалуй, обстояло дело с зубами, ровными и белыми, но и они казались великоватыми для его лица; он страдал едва заметным плоскостопием и обладал весьма заметным брюшком. Однако все эти физические несовершенства ничего не значили в сравнении с его нравственной чистотой и всепобеждающим обаянием его мягкого и звучного голоса. Казалось, будто где-то внутри него спрятан динамик, который воспроизводит слова, произносимые в далекой студии; каждое его слово могло транслироваться по радио в наиболее ответственные часы вещания.

Доктор Кенуорти всегда покупал только самое лучшее, а мистер Джойбой к моменту его появления в «Шелестящем доле» был уже знаменит. Он получил степень бакалавра бальзамирования на Среднем Западе и до поступления в «Шелестящий дол» провел несколько лет на похоронном факультете знаменитого университета на востоке страны.

Он был шефом протокола на двух Всеамериканских съездах похоронщиков. Он возглавлял миссию доброй воли, ездившую к захоронителям Латинской Америки. Фотография его была помещена в журнале «Тайм», хотя и с несколько фривольной подписью.

До его появления в бальзамировочной ходили слухи, что мистер Джойбой чистейший теоретик. Слухи эти были развеяны в первый же день его работы. Достаточно было увидеть, как он работает с трупом, чтобы проникнуться к нему уважением. Так, иной раз появится на поле неизвестный охотник — собаки еще не спущены и не рванулись по следу, но всем, кто увидел его в седле, уже ясно, что это настоящий наездник. Мистер Джойбой был холост, и все девушки «Шелестящего дола» пожирали его глазами.

Эме знала, что и ее голос звучит по-особому, когда она говорит с ним.

— Это был очень трудный случай, мистер Джойбой?

— Да, пожалуй, но полагаю, что все получилось как надо.

Он отдернул простыню и открыл тело сэра Фрэнсиса, совершенно нагое, если не считать белых полотняных подштанников. Оно было белое и слегка прозрачное, как подточенный временем мрамор.

— О, мистер Джойбой, он прекрасен.

— Да, похоже, что он получился недурно.— Мистер Джойбой легонько ущипнул сэра Фрэнсиса за бедро, как делают торговцы домашней птицей.— Мягкий, гибкий.— Он поднял руку покойника и осторожно согнул ее в кисти.— Полагаю, часа через два-три можно будет придать ему позу. Голову придется слегка наклонить, чтобы шов на сонной артерии оказался в тени. Скальп подсох очень мило.

— Но, мистер Джойбой, вы же придали ему Улыбку Лучезарного Детства!

— А что, она вам не нравится?

— Мне-то она, конечно, нравится, но Ждущий Часа ее не заказывал.

— Мисс Танатогенос, вам Незабвенные улыбаются помимо воли.

— Ах, мистер Джойбой...

— Истинная правда, мисс Танатогенос. По-моему, я просто бессилен что-либо с этим поделать. Когда я готовлю работу для вас, некий внутренний голос говорит: «Он поступит к мисс Танатогенос»,— и пальцы мои перестают меня слушаться. Разве вы этого не замечали?

— Да, мистер Джойбой, я только на прошлой неделе заметила это. «Все Незабвенные, которые поступают в последнее время от мистера Джойбоя,— сказала я себе,— улыбаются прекраснейшими улыбками».

— Всё для вас, мисс Танатогенос.

Музыки здесь не было слышно. На этом этаже деловито журчали краны в бальзамировочных, жужжали электрические сушилки в косметических кабинетах. Эме трудилась, как монахиня, сосредоточенно, бездумно и методично; сначала мытье шампунем, потом бритье, потом маникюр. Она разделила на пробор седые волосы, намылила щеки и взялась за бритву, потом подрезала ногти и проверила, нет ли заусениц. Затем она подкатила столик на колесиках, где стояли ее краски, кисти, кремы, и сосредоточенно, затаив дыхание приступила к завершающей фазе своего искусства.

Часа через два задача была выполнена. Голова, шея и руки усопшего вновь обрели краски — несколько жестковатые по тону, с несколько грубоватыми тенями, пожалуй, но ведь творение Эме предназначалось для показа не в беспощадном свете косметического кабинета, а в янтарном полусвете салона Забвения и в полумраке окруженного витражами алтаря. Она подсинила тени у век и отступила на шаг, спокойно

любуясь своей работой. Мистер Джойбой неслышно подошел к ней и стал рядом.

— Прелестно, мисс Танатогенос,— сказал он.— Я всегда могу быть уверен, что вы осуществите мой замысел. У вас были трудности с правым веком?

— Немножко.

— Приоткрывался внутренний уголок?

— Да, но я положила немного крема под веко, а потом закрепила его шестым номером.

— Блестяще. *Вам* никогда не приходится говорить, что и как. Мы работаем в унисон. Когда я направляю к вам Незабвенного, мисс Танатогенос, у меня такое ощущение, будто я веду с вами через него разговор. У вас когда-нибудь бывало такое же чувство?

— Я могу сказать только, что горжусь вашим доверием и особенно тщательно работаю над Незабвенными, которые поступают от вас, мистер Джойбой.

— Верю, мисс Танатогенос. Благодарю вас.

Мистер Джойбой вздохнул. Послышался голос носильщика:

— Два Незабвенных поступили, мистер Джойбой. К кому их?

Мистер Джойбой вздохнул еще раз и вернулся к работе.

— Мистер Вогел, вы могли бы взять следующего?

— Да, мистер Джойбой.

— Один ребенок,— сказал носильщик.— Им вы сами займетесь?

— Да, как обычно. Это что, мать и дитя?

Носильщик взглянул на ярлычки, привязанные к кистям рук.

— Нет, мистер Джойбой, они не родственники.

— Хорошо, мистер Вогел. Тогда займитесь, пожалуйста, взрослым. Если бы это были мать и дитя, я сам занялся бы ими, хотя работы и так много. У каждого из нас своя индивидуальная техника, не всякий это, возможно, заметит, но когда передо мной пара, забальзамированная разными мастерами, я сразу это замечаю, и у меня такое ощущение, будто ребенок не от этой матери, словно их разлучили в смерти. Вам, наверно, кажется, что я выдумываю?

— Вы, должно быть, любите детей, правда, мистер Джойбой?

— Да, мисс Танатогенос. Я стараюсь быть беспристрастным и не делать различий между Незабвенными, но ведь я человек. Есть в невинном ребенке нечто такое, что пробуждает во мне все самое лучшее, и даже больше того! Временами на меня словно нисходит вдохновение. Откуда-то извне, что-то такое... высокое... впрочем, я не могу сейчас позволить себе увлечься любимой темой. За дело...

Тут пришли костюмеры и обрядили сэра Фрэнсиса Хинзли в саван, ловко пригнав его к телу. Потом они подняли покойного — он уже начал отвердевать — и уложили в гроб.

Эме подошла к занавеске, отделявшей косметические кабинеты от бальзамировочных, и подозвала служащего.

— Передайте, пожалуйста, мистеру Джойбою, что мой Незабвенный готов для придания позы. Мне кажется, сейчас самое время. Он начал затвердевать.

Мистер Джойбой завинтил кран и подошел к сэру Фрэнсису. Он поднял его руки и сложил кисти, но не так, как складывают для молитвы, а так, как кладут их одна на другую в минуту смирения. Потом он поднял голову покойного, поправил подушку и чуть склонил шею, так чтоб лицо было видно вполоборота. Затем он отошел в сторону, осмотрел свою работу, еще раз склонился над телом и слегка приподнял подбородок.

— Блестяще,— сказал он.— Там кое-где смазали краску, когда его укладывали в гроб. Пройдитесь еще разок по смазанному, чуть-чуть.

— Хорошо, мистер Джойбой.

Мистер Джойбой помедлил еще мгновенье, потом решительно повернулся к выходу.

— А теперь за младенца,— сказал он.

■

Похороны были назначены на четверг; в среду после полудня в салоне Забвения предстояла церемония прощания. В среду утром Деннис приехал в «Шелестящий дол» посмотреть, все ли готово.

Его провели сразу в салон Орхидей. В комнате было много цветов, почти все из цветочного магазина с первого этажа и почти все «в своей естественной красоте». (После особой консультации с руководством фирмы великолепный символ крикетного клуба — скрещенные крикетные биты и воротца — был также водворен в салоне. Доктор Кенуорти лично высказал по этому поводу свое мнение: крикет по самой сути своей является напоминанием о жизни, а не о смерти, этот аргумент и решил дело.) В прихожей салона цветов было так много, что казалось, будто здесь нет никакой мебели, да и вообще ничего нет, кроме цветов. Двустворчатые двери вели в большую комнату — это и был собственно салон Забвения.

Деннис взялся за ручку и остановился на мгновенье в нерешительности, почувствовав, что с той стороны двери другая рука тоже держится за ручку. Именно так в десятках романов стояли друг против друга влюбленные. Дверь отворилась — перед ним стояла Эме Танатогенос, позади нее тоже были цветы, много цветов, ее словно овевала насыщенная ароматами оранжерейная атмосфера, а из-за карниза звучал тихий хор голосов, сливавшихся в священном песнопении. В тот момент, когда он увидел ее, певец с мучительно-сладостным трепетом пропел: «О, крылья голубки».

Все словно замерло в зачарованной тишине этих двух комнат. Свинцовые рамы окон были наглухо завинчены. Воздух приходил откуда-то издалека, как и юный голос певца, измененный и выхолощенный. Здесь было чуть прохладнее, чем в обычном американском жилище. Комнаты казались отгороженными от всего мира и неестественно тихими, точно вагон поезда, который вдруг стал среди ночи где-то далеко от станции.

— Заходите, мистер Барлоу.

Эме посторонилась, и Деннис увидел в середине комнаты целую гору цветов. Он слишком поздно родился, чтобы своими глазами видеть оранжерею времен короля Эдуарда во всем ее блеске, но был знаком с литературой того периода и в воображении своем уже воссоздавал подобное зрелище. И вот она была перед ним со всеми своими атрибутами, вплоть до позолоченных стульев, расставленных парами, словно в ожидании накрахмаленных и сверкающих бриллиантами флиртующих парочек.

Катафалка в комнате не было. Гроб стоял на постаменте, убранном цветами, и лишь чуть-чуть возвышался над устилавшим пол ковром. Верхняя половина крышки отсутствовала, и сэр Фрэнсис был виден до пояса. Деннису пришла на память восковая фигура Марата в ванной.

Саван был подогнан безукоризненно. В петлице красовалась свежая гардения, еще одну гардению покойный сжимал в пальцах. Белоснежные седые волосы были разделены на прямой пробор от лба до макушки, и полоска пробора обнажала такой бесцветный и гладкий скальп, точно кожа с него была содрана и взгляду уже открылся нетленный череп. Золотой ободок монокля обрамлял аккуратно подрисованные веки.

Недвижность сэра Фрэнсиса ошеломляла страшней любого неожиданного буйства. Тело, не защищенное оболочкой подвижности и разума, казалось сейчас меньше, чем при жизни. А лицо, обратившее к Деннису свой невидящий взгляд,— лицо это было просто ужасно — оно как панцирь черепахи было лишено примет возраста и так же бесчеловечно: раскрашенная самодовольная и непристойная пародия на человеческое лицо. По сравнению с ней даже дьявольская личина, которую Деннис видел в петле, была невинной карнавальной маской, какую может надеть добрый дядюшка на рождественскую вечеринку.

Эме стояла у творения рук своих — художник на домашнем просмотре — и слышала, как у Денниса перехватило дыхание от этого зрелища.

— Вы довольны? — спросила она.

— Больше того...— сказал он. И затем: — Он совсем твердый?

— Да.

— Можно мне потрогать его?

— Пожалуйста, не надо. Это оставляет следы.

— Хорошо.

И в соответствии с этикетом заведения она вышла, оставив его наедине со своими мыслями.

Чуть позже тишину салона Орхидей нарушили суетливые шаги входящих и выходящих людей; девушка из канцелярии «Шелестящего дола» сидела в прихожей, записывая имена посетителей. Это были еще не самые крупные знаменитости. Звезды, продюсеры, начальники отделов ожидались только завтра, к кремации. Пока здесь толклась лишь мелкая сошка. Все это напоминало вечеринку, которую устраивают накануне свадьбы, чтобы показать подарки, и на которую приходят только близкие родственники, а также наименее занятые и наименее значительные из гостей. Тон здесь задавали подпевалы. Человек предполагает. Бог располагает. Вежливые, упитанные господа выражали свое окончательное и бесповоротное одобрение мероприятию, кивая слепой маске смерти.

Сэр Эмброуз забежал на минутку.

— У вас все готово к завтрашнему дню, Барлоу? Не забудьте про оду. Хотелось бы получить ее по крайней мере за час до начала, порепетировать перед зеркалом. Как она — продвигается?

— Думаю, что успею.

— Я прочту ее над могилой. В церкви будут зачитаны только отрывки из его «Сочинений» да еще Хуанита споет «С зеленой веточкой»... Это пока единственная ирландская песня, которую она успела разучить. Но можно только диву даваться, до чего это у нее отдает фламенко. А с местами в церкви все улажено?

— Нет еще.

— Члены клуба должны быть вместе. «Мегалополитен» займет первые четыре ряда. Вероятно, придет сам Эриксон. Ну, я могу доверить все это вам, не правда ли? — А выйдя на улицу, сказал: — Право, мне очень жаль молодого Барлоу. Должно быть, он ужасно переживает все это. Главное, чтобы он ни на минуту не оставался без дела.

Деннис поехал в Университетскую церковь. Это было небольшое каменное строение, квадратная башня которого возвышалась среди молодых дубков на вершине холма. У входа в храм был вмонтирован специальный аппарат — любой посетитель мог простым нажатием кнопки включить его и прослушать лекцию о достопримечательностях этих мест. Деннис остановился послушать.

Голос показался ему знакомым — это был голос диктора, сопровождающий видовой фильм:

«Вы находитесь в оксфордской церкви святого Петра-вне-стен, одной из древнейших и наиболее почитаемых в Англии святынь. Сюда приходили многие поколения студентов из всех стран мира и предавались своим юношеским мечтам. Будущие ученые и государственные мужи, еще неизвестные в ту пору, мечтали здесь о своих грядущих триумфах. Здесь Шелли замыслил сделать карьеру величайшего из поэтов. Отсюда молодые люди, исполненные надежды, отправлялись по пути успеха и счастья. Это символ приюта, откуда душа Незабвенного начинает свой путь к величайшему и невиданному преуспеянию на вечные времена. Тому преуспеянию, которое уготовано всем нам, какие бы разочарования ни постигли нас в нашей земной жизни.

Это не просто копия памятника, а реконструкция. Воспроизведение того, что древние мастера пытались построить примитивными орудиями минувших веков. Время сыграло свою недобрую шутку с прекрасным оригиналом. Здесь вы видите его таким, каким некогда мечтали его увидеть первые строители.

Вы заметите, что боковые приделы сооружены исключительно из стекла и первосортной стали. Существует прекрасная легенда, связанная с этим прекрасным памятником. В 1935 году доктор Кенуорти совершал поездку по Европе, ища в этой сокровищнице искусства что-нибудь, достойное для украшения «Шелестящего дола». Путешествие привело его в Оксфорд, в знаменитую нормандскую церковь св. Петра. Она показалась ему слишком сумрачной. Она показалась ему слишком традиционной и полной удручающих напоминаний о смерти. «А почему,— спросил доктор Кенуорти,— вы называете ее церковью святого Петра-вне-стен?» — и ему объяснили, что в старые времена городская стена проходила между церковью и деловым центром города. «У моей церкви,— сказал доктор Кенуорти,— вообще не будет стен». И вот сегодня она предстает перед вами, полная божьего света, солнечных лучей и чистого воздуха, среди пения птиц и цветов...»

Деннис внимательно вслушивался в интонации, так часто пародируемые, но ни в одной пародии не достигающие ни полной бессмысленности, ни гипнотизирующей убедительности оригинала. Интерес его на сей раз был не только профессионального или иронического свойства. «Шелестящий дол» зачаровал его. За эту заповедную грань, где уже меркнет разум, куда не дерзает вторгаться никто, кроме художника, стекались несметные племена. И Деннис, дозорный у границы, мог разбирать следы и знамения.

Голос смолк и после паузы продолжал снова: «Вы находитесь в оксфордской церкви святого Петра-вне-стен...» Деннис выключил аппарат, вернулся в отведенный для панихиды придел и приступил к выполнению своей прозаической задачи.

Канцелярия фирмы снабдила его отпечатанными на машинке карточками. Разложить их по скамьям было несложно. Под органом стояла уединенная скамья, отделенная от придела железной решеткой и шифоновым занавесом. В случае необходимости безутешные родственники могли укрыться за этой чадрой от любопытных глаз. Деннис отвел эти места репортерам скандальной хроники.

Через каких-нибудь полчаса работа была закончена, и Деннис вышел в сад, который не уступал нормандской церкви ни в яркости света, ни в обилии цветов, ни в оснащенности птичьим щебетом.

Ода тяжким грузом лежала у него на совести. Он не написал еще ни строки, а томительный, напоенный ароматами день не располагал к трудам. К тому же в душе его тихо и настойчиво звучал другой голос,

напоминавший ему о задаче куда более трудной, чем погребение Фрэнка Хинзли. Он оставил машину у калитки и пошел вниз с холма по усыпанной гравием дорожке. Могилы, обозначенные лишь бронзовыми дощечками, зачастую позеленевшими и сливавшимися с окружающей травой, были едва различимы. Струйки воды играли там и сям, вырываясь из спрятанной в траве системы труб и образуя сверкающий дождевой пояс, из которого поднималось скопище бронзовых и мраморных статуй, аллегорических, детски-наивных или эротических. Здесь бородатый волшебник пытал будущее в темных глубинах какого-то предмета, похожего на футбольный мяч из гипса. Там малыш прижимал к своей каменной груди мраморного Мики Мауса. За поворотом дорожки открылась опутанная ленточками и все же нагая Андромеда: она разглядывала свою отполированную руку, на которой пристроилась мраморная бабочка. И все время поэтический инстинкт Денниса был настороже, точно гончая, идущая по следу. В «Шелестящем доле» крылось что-то такое, что было ему необходимо и что только он один мог отыскать здесь.

Наконец он вышел на берег озера, изобиловавшего лилиями и водяной птицей. Объявление гласило: «Здесь продаются билеты на озерный остров Иннисфри». Три юные парочки стояли у примитивной пристани. Деннис купил билет.

— Только один? — спросила его женщина в окошечке кассы.

У молодых людей, окутанных почти осязаемой пеленой любви, вид был такой же отсутствующий, как и у него самого. Никто не обращал внимания на Денниса, пока он стоял в ожидании небольшого дизельного парома, который, бесшумно отчалив от противоположного берега, подошел наконец к причалу. Все поднялись на борт, и, когда недолгая переправа закончилась, парочки скользнули под сень сада. Деннис в нерешительности стал на берегу.

Перевозчик спросил:

— Ждешь кого-нибудь, друг?

— Нет, никого.

— Что-то после обеда ни одной девицы не появлялось. Уж я бы заметил, коли пришла. Тут парочками ходят. Иной раз бывает, парень назначит здесь девице, а она не придет. Так-то даже чаще бывает. По-моему, лучше уж сперва девицу добыть, а потом билет покупать.

— Да нет,— сказал Деннис.— Я просто пришел написать стихотворение. Как тут, подходящее место?

— Не знаю, друг. Никогда не писал стихов. Но вообще-то они тут все устроили поэтически. Да и сам остров называется по какому-то стиху. Тут и ульи есть. Раньше были и пчелы, но только они всегда гуляющих жалили, так что теперь уж тут все на механике, по-научному. И задница не искусана, и поэзии сколько хошь.

Оно, конечно, место тут поэтическое, чтоб в земле-то лежать. Небось тыщу монет могила стоит. Самое что ни на есть распоэтическое во всем этом чертовом парке. Я еще помню, как его строили. Они думали, что тут ирландцы будут своих хоронить, но потом оказалось, что ирландцы и так от рождения поэтические и за природу такие деньги платить не хотят. К тому же у них свое дешевое кладбище есть, в ихней части города, потому что они католики. Так что у нас тут все больше евреи из хорошего общества. Им эта тишина нравится. А вода, она тут, видишь, от всякого зверья защищает. Зверье это на кладбищах самая беда: доктор Кенуорти тут как-то отколол про это на Годичном собрании. Большинство, говорит, кладбищ служит сортиром для собак и мотелем для кошек. Ничего сказал, а? Доктор Кенуорти, он в грязь не ударит, когда доходит до Годичного.

Ну, а у нас на острове с собаками и кошками все спокойно. Вот с девицами беда, девицы с парнями просто в очень большом количестве

миловаться приходят. Я так думаю, что им это уединение нравится не меньше, чем кошкам.

Несколько юных пар вышли из рощицы и остановились, ожидая, когда их позовут на паром,— зачарованные Франчески и Паолы, выходящие из своей преисподней в пылающем ореоле любви. Одна из девушек пускала изо рта пузыри жевательной резинки, точно жующий жвачку верблюд, а в широко раскрытых ласковых глазах ее стояло воспоминание о пережитом наслажденье.

По контрасту с огромным парком Озерный остров казался маленьким и уютным. Почти непрерывное кольцо кустарников скрывало его берега от глаз. Подстриженные травянистые тропки петляли между купами деревьев, иногда выводя к одинокой могиле на прогалине, и сходились у главной поляны, где стоял сплетенный из прутьев шалаш, девять рядов горошка (который благодаря какой-то рациональной системе пересадки круглый год цвел алыми цветами), а также несколько плетеных ульев. Гуденье пчел здесь скорее напоминало рев динамо-машины, зато в остальных уголках острова оно было мерное, баюкающее, почти такое же, какое производят настоящие пчелы.

Могилы, расположенные ближе к пасеке, были самыми дорогими, хотя внешне ничем не отличались от всех прочих; на простых бронзовых дощечках, вокруг которых буйно росла трава, были увековечены самые звучные имена коммерческого мира Лос-Анжелеса. Деннис заглянул было в шалаш, но тут же выскочил, извинившись за беспокойство перед его временными обитателями. Потом он заглянул в улей и увидел в глубине светящийся глазок, свидетельствующий о том, что звуковое устройство работает исправно.

День был теплый, ни малейшее дуновение не шевелило вечнозеленой листвы деревьев; время текло мирно и неспешно, на вкус Денниса — даже слишком неспешно.

Свернув на одну из тропок, Деннис вдруг очутился в тупике. Здесь был семейный участок великого фруктовщика — так сообщала бронзовая дощечка. Кайзеровские «персики без косточки» красовались своими розовыми пушистыми боками на витринах всех магазинов страны. Специальная кайзеровская получасовка по радио наводняла мелодиями Вагнера каждую кухню. Здесь уже покоились два представителя семейства Кайзеров, жена и тетушка. Здесь по истечении отпущенного ему срока будет покоиться и сам Кайзер. Ветви деревьев широким пологом нависали над землей. Деннис прилег в их густой тени. На расстоянии жужжанье пчел в ульях звучало совсем как настоящее. Мирное течение времени ускорило темп.

Он принес с собой записную книжку и карандаш. Нет, не так были написаны стихи, приведшие его к славе и к нынешнему странному существованию. Они обретали плоть во время поездок в холодных военных поездах: багажные полки доверху набиты снаряжением, тусклый свет выхватывает из темноты чьи-то колени, лица скрыты в тени, табачный дым мешается с морозным дыханием; какие-то непонятные остановки, перроны — темные и безлюдные, как пустынные тротуары. Он писал свои стихи в бараках из рифленого железа с цементным полом или весенними вечерами на вересковой пустоши, в миле от аэродрома, а то и на металлическом сиденье транспортных самолетов. Нет, не так напишет он в один прекрасный день то, что еще предстоит ему написать; не здесь ублажит он духа, который теперь все слабее настаивает на своих таинственных правах. Нынешний жаркий день располагал скорее к воспоминаниям, чем к стихотворству. Ритмы из антологии тихо пульсировали у него в памяти.

Он написал:

Зароем великого рыцаря,
Возложит студия розы,
Зароем великого рыцаря,
Арбитра изящной прозы.

И дальше:

Слыхал я, Фрэнсис Хинзли, висел ты под
потолком,
С глазами, налитыми кровью, с черным
в зубах языком.
Слезы пролил я, вспомнив, как часто ты и я
Смеялись над этим городом, где зароют
тебя;
В формалине, раскрашенный,
как шлюха на мостовой,
Киснешь, законсервирован,—
не мертвый и не живой.*

Он поднял взгляд на полог листвы. Персик без косточки. Подходящая метафора для Фрэнка Хинзли. Деннису вспомнилось, как однажды он решился попробовать столь широко разрекламированный продукт мистера Кайзера и обнаружил, что это всего-навсего шарик сырой сладкой ваты. Бедняга Фрэнк Хинзли, он был очень похож на такой плод.

Сейчас не время сочинять стихи. Голос вдохновения молчал, голос долга звучал совсем глухо. Придет ночная пора, и мужчины смогут взяться за труд. А сейчас — время следить за фламинго и размышлять о жизни мистера Кайзера. Деннис повернулся к надгробью и стал изучать воспроизведенный на нем почерк представительниц знаменитого дома. Судя по всему, они не обладали сильным характером. Кайзер ничем не был обязан женщинам. Персик без косточки был только его детищем.

Деннис услышал приближающиеся шаги и, не поворачиваясь, понял, что это женщина. Ступни, лодыжки, икры в должной последовательности появились в поле его зрения. Как и всякая другая пара ножек в этой стране, они были стройны и аккуратно обтянуты чулками. Что возникло раньше в недрах этой странной цивилизации, подумал он,— ступни или туфелька, нога или нейлоновый чулок? Или, может, эти элегантные типовые ножки от края чулка до самой пятки продаются в целлофановом пакете где-нибудь в универмаге за углом? Может, они пристегиваются каким-нибудь хитроумным приспособлением к стерилизованным резиновым прелестям, расположенным чуть выше? И может, они продаются в том же универмаге, что и легкие небьющиеся головы из пластмассы? А может, все это устройство сходит с конвейера уже готовым для немедленного употребления?

Деннис лежал неподвижно. Девушка подошла к нему совсем близко, опустилась на колени в тени того же дерева и хотела было прилечь на траву, как вдруг заметила его и вскрикнула.

Деннис сел и, повернувшись к ней, увидел, что это та самая девушка из покойницкой. На лице у нее были огромные продолговатые сиреневые очки против солнца, и она сняла их, чтобы разглядеть его как следует.

— Ах! — воскликнула она.— Прошу прощения. Вы не друг того Незабвенного удавленника из салона Орхидей? У меня очень плохая память на живые лица. Вы меня испугали. Я не ожидала, что здесь кто-нибудь будет.

— Я занял ваше место?

— Не совсем так. Ведь это место мистера Кайзера, не мое и не ваше. Но в это время здесь обычно никого не бывает, вот я и стала приходить сюда после работы, и я даже начала считать это место чуточку своим. Но я пойду куда-нибудь еще.

* Эти строки — циничный перифраз стихотворения В. Дж. Корн «Гераклит».

— Ни в коем случае. Это я должен уйти. Я просто прилег здесь, чтобы написать стихотворение.

— *Стихотворение?*

Что-то в его словах затронуло ее. До сих пор она относилась к нему с тем безличным, равнодушным дружелюбием, которое заменяет вежливость в этой стране безродных и заблудших. Глаза ее удивленно расширились.

— Вы сказали, *стихотворение?*

— Ну да. Я, видите ли, поэт.

— Но ведь это же чудесно! Ни разу не видела живого поэта. Вы не были знакомы с Софи Дэлмейер Крамп?

— Нет.

— Она сейчас в Уголке поэта. Поступила в первый месяц моей работы здесь. Я тогда была еще начинающей косметичкой, и мне не позволили ею заниматься. Да к тому же она была после трамвайной катастрофы и нуждалась в специальной обработке. Но все же я воспользовалась случаем и изучила ее. У нее очень ощутимо была выражена Душа. Можно сказать, я впервые поняла Душу, изучая Софи Дэлмейер Крамп. И вот теперь, когда нужно особо подчеркнуть Душу, мистер Джойбой поручает это мне.

— Вы займетесь мной, когда я умру?

— С вами будет нелегко,— сказала она, окидывая его профессиональным взглядом.— У вас неподходящий возраст для Души. Наиболее отчетливо она проявляется у совсем молодых или у совсем старых. Но я, конечно, сделаю все, что смогу. Мне кажется, это очень, очень замечательно — быть поэтом.

— Но ведь и у вас здесь тоже весьма поэтическое занятие.

Он сказал это шутливо, чуть поддразнивая ее, но она ответила с величайшей серьезностью:

— Да, я знаю. Я знаю, что это так. Но бывает, к концу рабочего дня, когда устанешь, вдруг начинает казаться, что все это как-то недолговечно. Я хочу сказать, что вот вы и Софи Дэлмейер Крамп напишете стихи, их напечатают, а может, даже прочтут по радио, и миллионы людей их услышат, и, может, их и через тысячу лет все еще будут читать. А мое творение сжигают иногда через несколько часов. В лучшем случае его могут положить в мавзолей, но, знаете, даже там оно портится. Я видела раскраску, которой нет еще и десяти лет,— она утратила все оттенки. Как вы думаете, может такое недолговечное творение быть великим произведением искусства?

— Вы должны рассматривать это как нечто, стоящее в одном ряду с драматическим искусством, пением или игрой на музыкальных инструментах.

— Я тоже так думаю. Но ведь в наше время все это можно записать на пластинку, и она сохранится, правда?

— Об этом вы и размышляете тут в одиночестве?

— Последнее время. А раньше я просто приходила сюда, лежала на траве и думала: как мне повезло, что я попала в «Шелестящий дол».

— И что же? Вы больше так не думаете?

— Нет, что вы, конечно, я и теперь так думаю. Каждое утро и потом весь день на работе. Просто по вечерам на меня что-то находит. Со многими художниками так бывает. Наверно, и с поэтами тоже так бывает, правда?

— Я хочу, чтобы вы рассказали мне о своей работе.

— Да ведь вы вчера сами все видели.

— Точнее, о себе и о работе. Что побудило вас этим заняться? Где вы учились? И занимало ли вас в детстве что-нибудь в этом роде? Меня это страшно интересует.

— У меня всегда были наклонности к искусству,— сказала она.— В колледже я целый семестр изучала искусство как второй предмет. Я бы даже взяла его как основной, да только отец разорился на религии, вот мне и пришлось приобретать специальность.

— Разорился на религии?

— Да, на Истинном Евангелии *. Поэтому меня и назвали Эме, в честь Эме Макферсон. Когда отец разорился, он хотел дать мне новое имя. Мне тоже хотелось, чтобы было новое, но старое так пристало ко мне, что ничего из этого не вышло. Мама всегда забывала, на какое имя мы его поменяли, и придумывала новое. А уж как начнешь менять имена, то и не знаешь, где остановишься. Нет-нет да и услышишь какое-нибудь новое, которое звучит еще лучше. К тому же, по правде сказать, бедная моя мама пила запоем. Так вот и вышло, что мы всегда возвращались к Эме в промежутках между всеми этими модными именами, и в конце концов Эме победило.

— А что еще вы изучали в колледже?

— Психологию и китайский язык. Китайский мне не очень легко давался. Но это, конечно, тоже были второстепенные предметы — так, для общего развития.

— Понятно. А какой предмет был у вас основной?

— Косметика.

— О!

— Ну да, все эти перманенты, массажи, парафиновые маски — все, чем занимаются в салонах красоты. Только, конечно, мы занимались еще и историей, и теорией тоже. Я писала диплом на тему «Восточные прически». Вот почему я и занималась китайским. Я думала, он мне поможет, но он не помог. Зато по психологии и искусству у меня в дипломе «отлично».

— И все то время, пока вы занимались психологией, искусством и китайским языком, вы мечтали о покойницкой?

— Ну что вы, нисколько. Вам это правда интересно? Тогда я расскажу, это довольно поэтично. Я закончила колледж в сорок третьем году, и многие девушки из нашей группы пошли работать на оборону, а меня это нисколько не интересовало. Не то чтобы я не была патриоткой, вовсе не поэтому. Просто война меня вообще не интересует. Вот теперь все такие. А я еще в сорок третьем была такая. Поэтому я и пошла работать в салон красоты в «Беверли-Уолдорф», но даже там нельзя было по-настоящему забыть о войне. Эти женщины — они как будто ничего лучше не могли придумать для разговора, только все про бомбежки да про бомбежки. А одна там была хуже всех, ее звали миссис Комсток. Она приходила утром каждую субботу укладывать волосы и подцвечивать их синькой, и вроде бы я ей понравилась. Она всегда меня спрашивала. Никто, кроме меня, ей не мог угодить, и все равно она мне на чай больше двадцати пяти центов не давала. У этой миссис Комсток один сын был в Вашингтоне, а другой в Дели, внучка в Италии да еще племянник какая-то шишка по части военного обучения, вот мне и приходилось все про них выслушивать, так что я под конец стала бояться субботы больше всех дней недели. Потом через какое-то время миссис Комсток заболела, но я и тогда еще от нее не избавилась. Она посылала за мной, чтоб я обслуживала ее на дому, тоже раз в неделю, но и тут она по-прежнему давала мне только двадцать пять центов на чай и так же много говорила о войне, хотя уже не так связно. И вот, представляете, как я удивилась, когда в один прекрасный день мистер

* «Международная церковь Истинного Евангелия» — одна из американских сект. Основана в Лос-Анжелесе в 1918 г. проповедницей Эме С. Макферсон, применявшей в своих пышных богослужениях музыку и световые эффекты.

Джебб, наш заведующий, вызывает меня и говорит: «Мисс Танатогенос, мне даже неудобно просить вас об этом. Я просто не знаю, как вы на это посмотрите, но дело в том, что эта миссис Комсток, она умерла, и тут пришел ее сын, который из Вашингтона, и он очень хочет, чтобы вы уложили волосы миссис Комсток, как раньше. У них, кажется, нет ее последней фотографии, а в «Шелестящем доле» никто не знает, какую она носила прическу, а полковник Комсток не может как следует ее описать. Вот я и подумал, мисс Танатогенос, что, может, вы окажете такую любезность полковнику Комстоку и поедете в «Шелестящий дол», чтобы причесать миссис Комсток, как просит полковник Комсток?»

Ну, я просто не знала, что сказать. Я до этого никогда не видала покойников — отец-то ведь ушел от матери до того, как он умер, хотя, может, он еще до сих пор не умер, а мать уехала на Восток искать его, когда я окончила колледж, и там умерла. Ну, и я никогда не была в «Шелестящем доле», потому что, с тех пор как мы разорились, мать перешла в новую веру и вообще перестала признавать смерть. Так что я очень нервничала, когда в первый раз сюда шла. Ну, а как пришла, все оказалось совсем по-другому, чем я ожидала. В общем, вы сами видели, так что понимаете. Полковник Комсток пожал мне руку и сказал: «Девушка, вы совершаете поистине прекрасный и благородный поступок»,— и отвалил мне пятьдесят монет.

Потом он повел меня в бальзамировочную, и там на столе лежала миссис Комсток в свадебном платье. Никогда не забуду ее лица. Она преобразилась. Иначе просто не скажешь. С тех пор я, наверно, тысячу раз имела удовольствие представлять людям их Незабвенных, и больше половины всегда восклицают: «Ба, да они совсем преобразились!» Конечно, она еще была бледная, без красок, и волосы у нее были жидкие какие-то. Она была такая белая-белая, словно воск, и такая холодная, и молчала. И я сперва просто не решалась к ней прикоснуться. А потом я помыла ей волосы шампунем, сполоснула синькой и уложила так, как всегда ей укладывала, и немножко начесала там, где они у нее редкие. Потом, пока она сохла, косметичка стала ее подкрашивать. Она разрешила мне смотреть, и мы с ней разговорились, и она мне сказала, что у них как раз есть место младшей косметички, так что я сразу пошла в салон и сказала мистеру Джеббу, что ухожу. Это было почти два года назад, и с тех пор я здесь.

— И не жалеете об этом?

— Что вы, никогда, ни минуты не жалела. А то, что я вам сейчас насчет недолговечности сказала, ведь это каждый художник когда-нибудь про свою работу так думает, правда? У вас так не бывает?

— Надеюсь, что и платят вам здесь больше, чем в салоне красоты?

— Да, немножко больше. Но зато Незабвенные не дают чаевых, так что выходит так на так. Но только я здесь не из-за денег работаю. Я бы и бесплатно здесь с удовольствием работала, но ведь кушать-то нужно, да к тому же Сновидец требует, чтоб мы выглядели прилично. А знаете, я только в прошлом году полюбила свою работу по-настоящему. До этого мне просто нравилось обслуживать людей, которые не могут говорить. А уж только потом я начала понимать, какое утешение приносит наша работа людям. Это замечательно — каждый раз просыпаться утром и знать, что сегодня ты вернешь радость чьему-то истерзанному сердцу. Конечно, моя роль тут совсем невелика. Я всего-навсего подручная у похоронщика, но зато мне выпадает счастье показывать людям конечный результат нашей работы и видеть, какое впечатление это на них производит. Я и вчера это видела, по вашему лицу. Вот вы англичанин и не очень проявляете свои чувства, но я сразу поняла, что творится у вас в душе.

— Сэр Фрэнсис преобразился, это несомненно.

— Только когда к нам пришел мистер Джойбой, я вроде бы по-настоящему начала понимать, что такое «Шелестящий дол». Мистер Джойбой — он как святой. С того самого дня, как он пришел, у нас в похоронном даже атмосфера стала возвышенная. Никогда не забуду, как однажды утром мистер Джойбой сказал одному молодому похоронщику: «Мистер Паркс, я хотел бы напомнить вам, что вы не в «Счастливой райской жизни».

Деннис ничем не выдал, что это название ему знакомо, но ощутил мгновенную радость, вспомнив, что в начале знакомства хотел перекинуть мостик между ними, упомянув походя о своем занятии, но потом передумал. Это бы не было должным образом оценено. И сейчас он лишь молча глядел на нее. Эме продолжала:

— Не думаю, чтобы вы когда-нибудь слышали об этом заведении. Это ужасное место, там хоронят животных.

— Не поэтичное?

— Я никогда не бывала там сама, но мне рассказывали. Они стараются делать все, как у нас. По-моему, это вроде даже кощунство.

— А о чем вы думаете, когда приходите сюда по вечерам?

— Только о смерти и об искусстве,— ответила Эме Танатогенос просто.

— В целительницу-смерть полувлюблен...

— Что это было, что вы сказали?

— Это из одного стихотворения.

Я, внемля песнопенью, стал уныл;
В целительницу-смерть полувлюблен,
Ее нередко я в стихах молил
Мое дыханье взять на небосклон —
Но сколь желанней умереть сейчас
И в полночь без мучений отойти...*

— Это вы написали?

Деннис заколебался:

— Вам нравится?

— Еще бы, это же прекрасно. Как раз то, о чем я так часто думала, но только не могла выразить. «Но сколь желанней умереть сейчас» и еще: «И в полночь без мучений отойти». Ведь как раз для этого и существует «Шелестящий дол», правда? Как это, должно быть, чудесно — создавать такие стихи. Вы написали их после того, как впервые пришли сюда?

— Нет, они были написаны задолго до этого.

— Все равно, даже если б вы написали их в «Шелестящем доле»... даже на самом Озерном острове, они и тогда не могли бы быть прекраснее. Наверно, до моего прихода вы тоже что-нибудь в этом роде сочиняли?

— Не совсем.

Над водами озера пронесся музыкальный перезвон колокольчиков Прекрасной Башни, возвещавший о времени.

— Уже шесть. Сегодня я должна вернуться пораньше.

— А мне еще предстоит закончить стихотворение.

— Вы допишете его здесь?

— Нет. Дома. Я пойду с вами.

— Мне бы хотелось прочесть его, когда оно будет готово.

— Я вам его пришлю.

— Меня зовут Эме Танатогенос. Живу я совсем недалеко отсюда, но пошлите его сюда, в «Шелестящий дол». Здесь мой настоящий дом.

* Из стихотворения Джона Китса «Ода соловью»; перевод В. Рогова.

Когда они подошли к переезду, паромщик заговорщически подмигнул Деннису.

— Она все-таки пришла, друг,— сказал он.

■

Профессиональные движения мистера Джойбоя были исполнены жизнерадостности. Он стянул с рук резиновые перчатки с тем же изяществом, с каким стягивает их герой Уйды *, вернувшись из конюшни, бросил их в маленький тазик и натянул новую пару, которую держал наготове ассистент. Потом он достал визитную карточку, какими снабжали работавших на первом этаже цветочниц, и хирургические ножницы. Одним движением он вырезал из нее овал и отстриг от него по полдюйма с каждого конца. Затем он склонился над трупом и, потрогав челюсти, убедился, что они крепко сомкнуты. Оттянув губы, он вставил карточку вдоль зубов и десен покойника. Это был великий момент: ассистент мистера Джойбоя с неустанным восхищением следил, как ловкими движениями больших пальцев он загнул края карточки, а потом ласкающим прикосновением других, обтянутых резиной пальцев вернул на место сухие, бесцветные губы покойника. И вот, извольте! Там, где раньше была скорбная гримаса страдания, теперь сияла улыбка. Все было проделано мастерски. Никаких доделок не требовалось. Мистер Джойбой отступил на шаг от своего творения, стянул перчатки и сказал:

— Это для мисс Танатогенос.

За последние недели выражение лиц, приветствовавших Эме с покойницкой тележки, эволюционировало от безмятежного спокойствия до ликующего восторга. Другим девушкам приходилось обрабатывать лица суровые, отрешенные или вообще лишенные выражения — навстречу Эме всегда сияла радостная улыбка.

Эти знаки внимания были весьма неодобрительно встречены в косметических, где любовь к мистеру Джойбою скрашивала трудовые будни всего персонала. Конечно, в нерабочее время у каждой из девушек был собственный повелитель — супруг или поклонник, ни одна из них даже не помышляла всерьез о том, чтобы стать подругой жизни мистера Джойбоя. И когда он расхаживал среди них, как расхаживает мэтр среди молодых художников, похваливая одного или делая замечание другому, время от времени мягко кладя руку то на плечо живого, то на бедро покойника, он являл собою фигуру поистине романтическую, как бы созданную для всеобщего поклонения, но вовсе не предназначенную в награду кому-нибудь одному.

И нельзя сказать, чтобы Эме не испытывала неловкости, попав в столь исключительное положение. А сегодня взгляд, каким она встретила приветственную улыбку трупа, был и вовсе неискренен, ибо она решилась на шаг, который, насколько она понимала, вряд ли одобрил бы мистер Джойбой.

Существовал в этих краях некий духовный наставник, своего рода оракул, ежедневно появлявшийся в одной из местных газет, где он заполнял своей мудростью специальную рубрику, пользовавшуюся большой популярностью. Когда-то, во времена семейного благочестия, рубрика эта называлась *«Почта тетушки Лидии»;* теперь она была озаглавлена *«Мудрость Гуру Брамина»* и украшена фотографией бородатого, почти голого мудреца. К этому экзотическому источнику мудрости и прибегали те, кого постигали тягостные раздумья и горе.

Может показаться, что в этой оконечности Нового Света простота и бесцеремонность поведения и откровенность высказываний не оставля-

* Уйда — псевдоним писательницы Марии Луизы де ля Раме (1839—1908), автора многочисленных романов о жизни высшего общества, герои которых были наделены необычайной красотой и изысканностью манер.

ют места для мучительных сомнений, а бодрость духа не дает впасть в отчаянье. Увы, это не так: проблемы этикета, детской психики, эстетики и секса просовывают свои змеиные головы и в этот рай, а потому Гуру Брамин предлагал своим читателям слово утешения и ответ на мучившие их вопросы.

К нему-то и обратилась за советом Эме несколько дней назад, когда улыбки покойников впервые стали недвусмысленными. Ее смущали не столько намерения мистера Джойбоя, сколько ее собственные. Ответ, который она получила, не удовлетворил ее полностью.

«Нет, Э. Т., не думаю, чтобы Вы были влюблены,— пока еще нет. Признание достоинств мужчины и преклонение перед его деловыми качествами могут создать основу для развития дружеских отношений, но это еще не Любовь. Судя по Вашему письму, чувства, которые Вы испытываете в его присутствии, не дают нам основания полагать, что между вами существует физическое влечение,— пока еще нет. Однако не забывайте, что ко многим любовь приходит поздно. Известны случаи, когда настоящая любовь приходила только после нескольких лет брака и появления Наследника. Почаще встречайтесь с Вашим другом. Любовь может прийти».

А вскоре после того, как она получила это письмо, Деннис Барлоу поверг ее в еще большее смятение. Прошло полтора месяца с того дня, как они встретились на Озерном острове, и вот сегодня утром по дороге на работу она опустила в почтовый ящик еще одно письмо, на составление которого у нее ушло полночи. Это было самое длинное письмо, какое ей приходилось когда-либо писать.

«Дорогой Гуру Брамин!

Вы, может быть, помните мое майское письмо, в котором я просила у Вас совета. На этот раз высылаю Вам надписанный конверт с маркой, чтобы Вы ответили мне лично. Мне не хочется, чтобы то, о чем я собираюсь Вас спросить, появилось в газете. Пожалуйста, ответьте мне сразу же или как только сможете, потому что я очень расстроена и должна как можно скорее что-то предпринять.

На случай, если Вы забыли, напоминаю Вам, что я работаю вместе с одним мужчиной, который возглавляет наш отдел и вообще во всех отношениях это самый замечательный человек, какого я только могу себе представить. Для меня это большая честь работать вместе с таким преуспевающим и культурным человеком, который к тому же еще прирожденный руководитель, истинный художник и образец хорошего воспитания. Разными мелкими знаками внимания он дал мне понять, что отдает мне предпочтение перед другими девушками, и, хотя он еще не сказал этого, потому что он не из тех, кто так легко смотрит на вещи, я уверена, что он любит меня самым достойным образом. Но дело в том, что в его обществе я не испытываю тех чувств, какие, как мне рассказывали другие девушки, они испытывают, когда бывают со своими молодыми людьми, и какие можно увидеть в кино.

Я же, мне кажется, испытываю такие чувства к другому, но он совсем не такой замечательный человек. Во-первых, он англичанин и потому во многих отношениях его никак не назовешь Истинным Американцем. Дело не только в том, что у него акцент, и в том, как он ест, но он относится цинично ко всему, что должно быть священным. Он, наверно, даже не признает религии. Правда, я сама тоже не религиозная, потому что в колледже у меня были передовые взгляды и воспитание в смысле религии у меня было очень неудачное и в остальных смыслах тоже, но зато у меня есть этика. (Поскольку письмо это личное, я могу также сказать Вам, что мать у меня была алкоголичка, и, наверно, поэтому я более чувствительная и застенчивая, чем другие девушки.) У него нет гакже никакого представления о Гражданском и Обществен-

ном Долге. Он поэт, и в Англии у него вышла книжка, которую очень хвалили их критики. Я видела эту книжку и некоторые рецензии, поэтому я знаю, что это правда, но о своей здешней работе он говорит как-то загадочно. Иногда он говорит, что он как будто работает в кино, иногда же — что он ничем не занимается, а только пишет стихи. Я видела его дом. Он живет один, потому что его друг (мужчина), с которым он жил, умер полтора месяца назад. Не думаю, чтоб он встречался с какой-нибудь другой девушкой или был женат. Денег у него не очень много. С виду он очень представительный мужчина, только не в американском стиле, и вообще с ним очень весело, когда он не ведет себя непочтительно. Взять, к примеру, Творения Искусства в мемориальном парке «Шелестящий дол». Так вот, он часто высказывается о них непочтительно, а ведь это, по-моему, средоточие всего, что есть прекрасного в Американском Образе Жизни. Так вот, можно ли мне при этом надеяться на истинное счастье?

К тому же он совсем некультурный. Вначале я думала, что он должен быть культурным, потому что ведь он поэт и жил в Европе и видел там настоящее Искусство, но многих наших великих писателей он ни во что не ставит.

Иногда он бывает очень нежный и любящий, но потом вдруг ведет себя неэтично, и у меня тогда появляется такое чувство, что я тоже веду себя неэтично. Так что мне очень нужен Ваш совет. Простите, что я так много Вам написала.

С сердечным приветом
Эме Танатогенос.

Он написал для меня много стихотворений, некоторые из них очень красивые и вполне этичные, некоторые — не совсем».

Мысль о том, что это письмо ушло по почте, смущала совесть Эме, и она была рада, что утро прошло без особых знаков внимания со стороны мистера Джойбоя, кроме обычной улыбки привета с мертвецкой тележки. Она старательно разрисовывала клиентов у себя в покойницкой, и Деннис Барлоу был тоже очень занят в то утро у себя в «Счастливой райской жизни».

У них работали обе печи, и им предстояло избавиться от шести собак, одной кошки и одного дикого козла. Хозяева усопших при кремации не присутствовали. Так что Деннис и мистер Шульц могли действовать энергично. На кошку и собак у них ушло двадцать минут. Деннис выгребал не остывшую еще золу с угольками и складывал ее в ведра с этикетками, чтобы остудить. На козла ушел почти целый час. Деннис поглядывал время от времени в смотровое окошечко и в конце концов сокрушил рогатый козлиный череп кочергой. Потом он завернул газ, открыл дверь топки и стал готовить погребальные контейнеры. Только одного из владельцев животных удалось подбить на покупку урны.

— Я ухожу,— сказал мистер Шульц.— А вы подождите, пожалуйста, пока остынет зола, и закончите упаковку. Всех, кроме кошки, надо развезти по домам. Кошка останется в колумбарии.

— Хорошо, мистер Шульц. А как быть с карточкой для козла? Не можем же мы написать, что он машет хвостом на небесах. Козлы хвостами не машут.

— Когда они гадят — машут.

— Да, но для поминальной карточки это как-то не подходит. Они не мурлычут, как кошки. Не поют песнопенья, как птицы.

— Вероятно, они просто вспоминают.

Деннис написал: «Ваш Билли вспоминает о вас сегодня на небесах».

Он поворошил серые дымящиеся кучки золы на дне ведер. Потом вернулся в контору и снова принялся разыскивать стихотворение для Эме в оксфордской антологии английской поэзии.

Книг у него было мало, и он уже ощущал недостаток в материале. Сперва он попытался писать для нее стихи сам, но убедился, что она отдает предпочтение мастерам более ранним. К тому же ему не давала теперь покоя собственная муза. Он забросил поэму, которую начал писать еще в далекие ныне времена Фрэнка Хинзли. Не к ней сейчас толкала его муза. Она пыталась внушить ему какую-то важную, весьма сложную и вовсе не лаконичную мысль. Это было как-то связано с «Шелестящим долом», но не имело связи (во всяком случае непосредственной) с Эме. И раньше или позже он должен будет ублаготворить музу. Она стояла на первом месте. Что же касается Эме, то ей пока придется довольствоваться кормушкой антологий. Однажды он был на волосок от разоблачения: она сказала вдруг, что «Сравню ли с летним днем твои черты»* напоминает ей какие-то стихи из школьной хрестоматии; в другой раз — на волосок от позора, когда она сочла «На полночной постели» неприличным. «Пурпурный лепесток уснул и белый»** попало в самую точку, но он знал не много стихов, которые были бы столь же возвышенны, роскошны и сладострастны. Английские поэты оказались ненадежными гидами в лабиринте калифорнийского флирта — почти все они были слишком поверхностными или слишком унылыми, слишком жеманными или требовательными, они брюзжали, они умоляли, они превозносили. А Деннису нужно было что-то рекламное, зазывное: он должен был развернуть перед Эме неотразимую картину не столько ее собственных достоинств и даже не столько его собственных, сколько того безмерного блаженства, какое он ей предлагает. Фильмы умели это, популярные певцы тоже, а вот английские поэты, оказывается,— нет.

Проведя полчаса в поисках, он отказался от этой затеи. Первых двух собак уже можно было укладывать в контейнеры. Он встряхнул козла, местами еще тлевшего под серо-белой шапкой пепла. Сегодня Эме обойдется без стихов. Вместо этого он поведет ее в планетарий.

Бальзамировщики ели за обедом то же, что и остальные сотрудники похоронной фирмы, но сидели они отдельно, за столом, установленным в центре зала, где согласно не очень старой, но свято соблюдаемой традиции они ежедневно бросали кости, и проигравший платил за всех. Мистер Джойбой бросил кости, проиграл и жизнерадостно заплатил по счету. За месяц каждый проигрывал примерно одну и ту же сумму. Эта игра привлекала их возможностью продемонстрировать, что для них выигрыш или потеря каких-нибудь десяти-двадцати долларов в неделю не так уж много значит.

В дверях столовой мистер Джойбой помедлил, мусоля во рту таблетку, ускоряющую пищеварение. Девушки выходили в одиночку и парами, закуривая в дверях сигареты; Эме единственная из них не курила. Мистер Джойбой увел ее в парк. Здесь они остановились перед аллегорической группой «Загадка бытия».

— Мисс Танатогенос,— сказал мистер Джойбой.— Я хотел бы сказать вам, как высоко я ценю вашу работу.

— Благодарю вас, мистер Джойбой.

— Я отметил это вчера в разговоре со Сновидцем.

— О, благодарю вас, мистер Джойбой.

— Мисс Танатогенос, Сновидец смотрит далеко вперед. Вы знаете, что он всегда умеет смотреть вперед. Это человек с безграничным воображением. Он считает, что пора предоставить женщинам подобающее

---

* 18-й сонет Шекспира; перевод С. Маршака.

** Из «Принцессы» Теннисона.

место в «Шелестящем доле». Работая на низших постах, они показали себя достойными постов более высоких. К тому же он считает, что есть немало тонко чувствующих людей, которых удерживает от выполнения долга по отношению к своим Незабвенным лишь некоторая, я бы сказал, щепетильность, хотя доктор Кенуорги видит тут естественное нежелание подвергать своих Незабвенных чему-либо, пусть в малейшей степени отзывающему нескромностью. Короче говоря, мисс Танатогенос, Сновидец намерен выдвинуть на бальзамирование женщину, и его выбор, его весьма мудрый выбор, пал на вас.

— Ах, мистер Джойбой...

— Ни слова больше. Я понимаю ваши чувства... Могу ли я передать ему, что вы согласны?

— Ах, мистер Джойбой...

— А теперь позвольте мне внести в наш разговор некоторый личный элемент: не считаете ли вы, что подобное событие следует как-то отпраздновать? Не сделали бы вы мне честь, согласившись отужинать со мной сегодня вечером?

— Ах, мистер Джойбой, даже не знаю, что вам ответить. У меня на сегодня назначено вроде как свидание.

— Но ведь оно было назначено до того, как я сообщил вам новость. По-моему, это несколько меняет дело. К тому же, мисс Танатогенос, я вовсе не имел в виду ужин наедине. Я приглашаю вас к себе домой, мисс Танатогенос. Я считаю себя вправе притязать на огромную честь и удовольствие представить первую женщину-бальзамировщицу «Шелестящего дола» своей мамуле.

Этот день был полон треволнений. После обеда Эме никак не могла сосредоточиться на своей работе. К счастью, у нее не было на этот раз ничего особенно важного. Она помогла девушке из соседней кабинки приклеить накладные волосы к какому-то необычно скользкому скальпу, потом наспех прошлась кистью по коже ребенка, возвращая ей телесный цвет, но мысли Эме все это время витали в бальзамировочной и слух ловил шипение и свист кранов, шаги ассистентов, выносивших закрытые эмалированные тазики, и негромкие голоса, требовавшие то нить для шва, то перевязку для сосудов. Она ни разу не бывала за клеенчатой занавеской, отделявшей бальзамировочные от косметических, скоро она получит доступ во все эти помещения.

В четыре старшая косметичка сказала ей, что можно закончить работу. Эме с привычной тщательностью собрала краски и бутылочки, промыла кисти и пошла в гардеробную переодеваться.

Она условилась встретиться с Деннисом на берегу озера. Он заставил себя ждать, а когда явился, воспринял новость о том, что она приглашена на ужин, с раздражающим спокойствием.

— С тем самым Джойбоем? — сказал он.— Что ж, это должно быть забавно.

Однако новость о предстоящем повышении настолько переполняла ее, что она не удержалась и рассказала ему все.

— Ого...— сказал он.— Вот это дело. Сколько же это даст?

— Не знаю. Я этим не интересовалась.

— Ты будешь теперь зарабатывать прилично. Не меньше сотни в неделю, как ты думаешь?

— Не думаю, чтобы кто-нибудь, кроме самого мистера Джойбоя, получал столько.

— Ну, хотя бы полсотни. Полсотни тоже неплохо. Тогда мы могли бы пожениться.

Эме остановилась как вкопанная, изумленно глядя на него.

— Что ты сказал?

— Мы могли бы пожениться, неужели не понимаешь? Уж меньше полсотни-то тебе платить не будут, правда?

— А с чего ты взял, скажи на милость, что я за тебя пойду?

— А как же, детка, меня ведь только деньги и останавливали. Теперь ты сможешь содержать меня, и нам ничто больше не мешает пожениться.

— Американец стал бы презирать себя, если б жил на деньги жены.

— Это так. Но я, видишь ли, европеец. В наших, более древних цивилизациях не осталось всех этих предрассудков. Я не говорю, конечно, что полсотни это много, но мы могли бы перебиться.

— По-моему, это просто низость.

— Ну, не будь дурочкой. Нет, ты что, и вправду разозлилась?

Эме и вправду разозлилась. Она повернулась и ушла и в тот же вечер, еще до того, как отправиться на ужин, нацарапала второпях письмецо Гуру Брамину: «Пожалуйста, не трудитесь отвечать на мое утреннее письмо. Я теперь сама знаю, что мне делать». Письмецо это она отправила в редакцию срочной почтой.

Бестрепетной рукой Эме исполнила весь ритуал, рекомендуемый американской девушке, которая готовится к свиданию с возлюбленным: протерла подмышки препаратом, долженствующим закупорить потовые железы, прополоскала рот другим препаратом, чтобы освежить дыхание, и, садясь за прическу, капнула на волосы пахучей жидкостью под названием «Яд джунглей». *«Из глубин малярийных болот,*— гласила реклама на флакончике,— *где колдовские заклинания барабанов алчут человеческих жертв, беспощадной походкой каннибала, вышедшего на охоту, подбирается к вам «Яд джунглей», последнее высококачественное творение Жанеты».*

Полностью экипированная таким образом для домашней вечеринки, Эме с легким сердцем ждала, когда у входной двери раздастся мелодичный возглас мистера Джойбоя: «Эй, там!» Она знала, что это ее судьба, и была готова выйти ей навстречу.

Однако все вышло не совсем так, как она представляла себе. Самый уровень, на котором проходил вечер, оказался гораздо ниже ее ожиданий. Она почти не бывала в гостях и, вероятно, именно по этой причине имела преувеличенные представления на этот счет. Мистер Джойбой был известен ей как человек блистательный в смысле профессиональном, как постоянный корреспондент «Гроба», как близкий друг доктора Кенуорти и единственное светило похоронного отделения. Она благоговейно обводила киноварью несравненные контуры его творений. Она знала, что он член Ротарианского клуба и кавалер Пифийского ордена; его костюмы и его машина были безупречно новыми, и когда он с щегольским шелестом шин уносился в свою личную жизнь, ей казалось, что он переносится в мир совершенно иной, гораздо более возвышенный, чем тот, в котором жила она. А между тем это было не так.

Они долго ехали по бульвару Св. Моники, затем свернули в какой-то район новой застройки. Квартал был не из привлекательных, создавалось впечатление, что он знавал лучшие времена. Многие участки до сих пор пустовали, а те, что были застроены, уже утратили первоначальную свежесть, и деревянный домишко, возле которого они наконец остановились, не отличался сколько-нибудь выгодно от своих собратьев. Все дело в том, что похоронщикам, даже самым выдающимся, платят меньше, чем звездам кино. К тому же мистер Джойбой был человек предусмотрительный. Он откладывал про черный день и выплачивал страховку. Он старался производить благоприятное впечатление на окружающих. В один прекрасный день он обзаведется домом и детьми. А тратить

деньги просто так, неизвестно на что, или тратить их на «мамулю» — это все равно что выбрасывать деньги на ветер.

— Никак не соберусь заняться садом,— сказал мистер Джойбой, как будто улавливая смутное неодобрение во взгляде Эме, осматривавшейся вокруг.— Этот домишко я приобрел в спешке, так просто, чтоб пристроить мамулю, когда мы перебрались сюда, на Запад.

Он отпер парадную дверь, пропустил Эме вперед и громко загудел ей вслед:

— У-у-у, мамуля. А вот и мы!

Раскаты грубого мужского голоса сотрясали крохотный домишко. Мистер Джойбой открыл дверь и повел Эме к источнику шума — радиоприемнику, который стоял на столе в невзрачной гостиной. Миссис Джойбой сидела у самого динамика.

— Сидите тихо, пока не кончится,— сказала она.

Мистер Джойбой подмигнул Эме.

— Моя старушка никогда не пропускает комментариев на международные темы,— сказал он.

— Тихо! — повторила злобно миссис Джойбой.

Они сидели молча минут десять, пока хриплый голос, изливавший на них поток дезинформации, не уступил место более вкрадчивому, начавшему расхваливать один из сортов туалетной бумаги.

— Выключи,— сказала миссис Джойбой.— Ты слышал, говорят, в этом году снова будет война.

— Мамуля, это Эме Танатогенос.

— Хорошо. Ужин на кухне. Можешь ужинать, когда захочешь.

— Проголодались, Эме?

— Нет... Да. Немножко.

— А ну-ка посмотрим, что за сюрприз приготовила нам старушечка.

— Что и всегда,— сказала миссис Джойбой.— Некогда мне сюрпризами заниматься.

Миссис Джойбой повернулась в кресле к странному, накрытому платком предмету, который стоял тут же на столе, у нее под рукой. Она откинула край платка — под ним оказалась проволочная клетка, а в ней почти совсем лысый попугай.

— Самбо,— проговорила она заискивающе.— Самбо.

Птица склонила голову набок и моргнула.

— Самбо,— повторила она.— Ты не хочешь поговорить со мной?

— Мамуля, ты отлично знаешь, что птица уже много лет не говорит.

— Она говорит сколько угодно, когда тебя нет. Правда, Самбо?

Птица склонила голову на другой бок, моргнула и, взъерошив жалкие остатки перьев, засвистела, как паровоз.

— Вот,— сказала миссис Джойбой.— Не будь у меня Самбо, который меня любит, никто и не заметил бы, живу я или умерла.

На ужин была лапша, приготовленная из консервов, миска салата с консервированными крабами, мороженое и кофе. Эме помогла расставить посуду. Они вместе сняли приемник и накрыли на стол. Миссис Джойбой недружелюбно следила за ними из своего кресла. Матери великих людей часто обескураживают поклонниц своих сыновей. У миссис Джойбой были маленькие злобные глазки, волосы в мелких завитках, пенсне на непомерно толстом носу, бесформенное тело и прямо-таки омерзительное платье.

— Никогда мы тут не жили, и жить мы так не привыкли,— сказала она.— Мы перебрались сюда с Востока, и если бы меня слушались, то мы бы и сейчас там жили. В Вермонте к нам приходила цветная девчонка за пятнадцать монет в неделю, да еще рада была. Здесь этого нет. И вообще здесь ничего нет. Вы только поглядите на этот салат. Там, где мы раньше жили,— там всего было больше, все было дешевле, и вс

было лучше. Конечно, достатка у нас дома никогда не было, попробуйка вести хозяйство на те деньги, что мне дают.

— Мамуля любит шутить,— сказал мистер Джойбой.

— Шутить? Хорошенькие шутки — вести хозяйство на такие деньги, да еще чтоб гости ходили! — Потом, взглянув на Эме, она добавила:— В Вермонте девушки *работают*.

— Эме очень много работает, мамуля. Я же вам рассказывал.

— Ничего себе работа. Я бы свою дочь и близко не подпустила к такой работе. А где ваша мать?

— Она уехала на Восток. Наверно, умерла.

— Да уж лучше умереть, чем тут жить. Вы сказали, наверно? Вот так-то нынешние дети заботятся о родителях.

— Полно, мамуля, как можно говорить такие слова. Ты ведь знаешь, как я забочусь...

Некоторое время спустя Эме смогла наконец проститься, не нарушая приличий. Мистер Джойбой проводил ее до калитки.

— Я бы отвез вас домой,— сказал он,— но мне не хочется оставлять мамулю одну. Трамвайная остановка за углом. Вы легко доберетесь до дому.

— Да, конечно,— сказала Эме.

— Вы очень понравились мамуле.

— Правда?

— Ну, конечно. Я это сразу чувствую. Когда человек нравится мамуле, она обращается с ним запросто, без церемоний, как со мной.

— Она действительно обращалась со мной запросто.

— Ну, еще бы. Она обращалась с вами запросто — это уж точно. Вы произвели на мамулю очень большое впечатление.

В тот вечер, прежде чем лечь спать, Эме написала еще одно письмо Гуру Брамину.

■

Гуру Брамином были два мрачных мужчины и способная юная секретарша. Один мрачный мужчина вел рубрику, другой, мистер Хлам, занимался письмами читателей, на которые нужно было отвечать лично. К тому времени, как мрачные мужчины приходили на службу, секретарша успевала рассортировать письма и положить каждому на стол. Мистеру Хламу, который работал здесь еще со времен «Тетушки Лидии» и сохранил ее стиль, обычно доставалась меньшая пачка: корреспонденты Гуру Брамина любили, чтобы их затруднения обсуждались публично. Это преисполняло их чувством собственной значимости, а иногда помогало завязать переписку с другими читателями.

Письмо Эме все еще дышало запахом «Яда джунглей».

«Дорогая Эме,— диктовал мистер Хлам, добавляя новое звено к бесконечной цепочке выкуренных сигарет.— Меня чуточку встревожил тон твоего последнего письма».

Сигареты, которые курил мистер Хлам, были, если верить рекламе, приготовлены медиками с единственной целью — уберечь от страданий его дыхательные пути. И все-таки мистер Хлам страдал, а вместе с ним ужасно страдала и юная секретарша. С самого утра, как только он приходил на службу, мистера Хлама по несколько часов бил кашель; он поднимался откуда-то из самых глубин ада, и облегчить его могло только виски. В особо тяжкие дни безмерно страдающей секретарше начинало казаться, что еще немного — и мистера Хлама вырвет. Сегодня выдался особо тяжелый день. Мистер Хлам тужился, корчился, содрогаясь всем телом, и вытирал лицо носовым платком.

«Хозяйственная и домовитая американская девушка не найдет ничего предосудительного в приеме, который Вы встретили. Ваш друг оказал

Вам самую большую честь, какую мог, пожелав познакомить Вас со своей матерью, а она не была бы матерью в истинном смысле слова, если бы не захотела Вас видеть. Настанет время, Эме, когда Ваш собственный сын приведет домой незнакомку. Тот факт, что человек этот помогает матери по хозяйству, на мой взгляд, не бросает на него тени. Вы говорите, что он выглядел недостойно в своем переднике. Но ведь помогать другим, не считаясь с условностями,— это и есть высшее проявление истинного достоинства. Единственное, чем можно объяснить перемену в Вашем отношении к нему,— это то, что Вы еще не любите его так, как он того заслуживает, о чем Вы и должны сказать ему прямо при первом же удобном случае.

Вам отлично известны недостатки Вашего второго друга, о котором Вы упоминаете, и я уверен, что Ваш здравый смысл сумеет отличить внешний блеск от истинного достоинства. Стихи — вещь неплохая, но, на мой взгляд, человек, который с таким энтузиазмом возлагает на себя скромный груз домашней работы, стоит десятка речистых поэтов».

— Не слишком ли я сильно?

— Да, это сильно сказано, мистер Хлам.

— А, черт, я себя сегодня отвратно чувствую. Да и девица эта, судя по всему, отъявленная шлюха.

— Мы уже привыкли к этому.

— Ну, ладно, смягчите чуть-чуть. Тут еще одно письмо, от женщины, которая кусает ногти. Что мы ей советовали в прошлый раз?

— Размышлять о Прекрасном.

— Напишите ей, пусть продолжает размышлять.

А в пяти милях от редакции, в своем крошечном косметическом кабинете Эме, прервав работу, перечитывала стихи, которые получила утром от Денниса.

Всевышний дал ее глазам,—

читала она,—

Способность зажигать —
И пепел сердца моего
Стал пламенем опять.

И тело у нее — цветок,
А кудри — словно лен;
Коль полдень солнечный сверкнет,
Ее напомнит он.

А если ручкой невзначай
Пошевелит она,
Пойму я: гибель за любовь
Нимало не страшна.

Шалунья милая! Она
Святыня для меня...*

Одинокая слеза сбежала по ее щеке и упала на застывшую в улыбке восковую маску трупа. Эме вложила листок в карман полотняного халатика, и ее нежные мягкие ручки снова забегали по лицу покойника.

В конторе «Счастливой райской жизни» Деннис сказал:

— Мистер Шульц, я хотел бы получить прибавку к жалованью.

— Пока это невозможно. Дела у нас идут не так уж блестяще. И вы знаете это не хуже меня. Вы и так получаете на пять монет больше, чем ваш предшественник. Я не хочу сказать, что вы не заслужили прибавки, Деннис. Если дела пойдут в гору, вы первый ее получите.

* Перевод В. Рогова.

— Я собираюсь жениться. Моя девушка не знает, что я работаю здесь. Она романтична. И я вовсе не уверен, понравится ли ей мое занятие.

— А у вас есть на примете что-нибудь получше?

— Нет.

— Ну, так скажите ей, пусть она отложит на время романтику. Сорок монет в неделю — это все-таки сорок монет.

— Помимо воли я стал жертвой Джеймсовой проблемы. Вы никогда не читали Генри Джеймса, мистер Шульц?

— Вы же знаете, что у меня нет времени для чтения.

— Его не нужно читать много. Все его рассказы посвящены одной теме — американской наивности и европейской искушенности.

— Думает, что он нас перехитрил, так, что ли?

— Нет, Джеймс и был тем самым наивным американцем.

— Тем более я не стану тратить время на молодцов, которые капают на своих.

— Нет, он не капает на своих. Все его рассказы по-своему трагичны.

— На трагедии у меня тоже нет времени. Возьмите-ка гробик с того конца. А то через полчаса придет пастор.

В то утро у них были похороны с полным соблюдением обряда — впервые за месяц. В присутствии десятка скорбящих гроб с овчаркой опустили в могилу, обсаженную цветами. Преподобный Эррол Бартоломью произнес проповедь:

— Псу, рожденному от суки, выпадает на долю короткая жизнь, но и та полна горя. Как цветок, он выходит и опадает; убегает, как тень, и не останавливается...

После похорон, вручая в конторе чек мистеру Бартоломью, Деннис спросил его:

— Скажите, пожалуйста, как становятся священником свободной церкви?

— Человек слышит Зов.

— Разумеется. Но вот он услышал Зов — какова дальнейшая процедура? Я хочу спросить, есть ли в свободной церкви епископ, который посвящает в сан?

— Нет конечно. Тот, кто услышал Зов, не нуждается в человеческом посредничестве.

— Просто можно заявить в один прекрасный день: «Я священник свободной церкви»,— и открыть лавочку?

— Требуются значительные расходы. Необходимо помещение. Впрочем, банки, как правило, охотно помогают. Ну и потом, конечно, каждый рассчитывает на радиослушателей.

— Один мой друг услышал Зов, мистер Бартоломью.

— Что ж, я посоветовал бы ему крепко подумать, прежде чем откликнуться на Зов. Конкуренция с каждым годом становится все ожесточеннее, особенно в Лос-Анжелесе. Некоторые из новичков ни перед чем не останавливаются, лезут в психиатрию, занимаются столоверчением.

— Это нехорошо.

— Это совершенно выходит за рамки писания.

— Мой друг хочет специализироваться на похоронах. У него есть связи.

— Жалкие крохи, мистер Барлоу. Гораздо больше можно заработать на свадьбах и крестинах.

— Моего друга не прельщают сейчас свадьбы и крестины. Для него важно положение в обществе. Можно ли сказать, что священник свободной церкви в социальном отношении стоит не ниже бальзамировщика?

— Бесспорно можно, мистер Барлоу. В душе американца живет глубочайшее уважение к служителю культа.

Церквушка Уи-Керк-о-Олд-Лэнг-Сайн стояла у самого края парка, вдали от Университетской церкви и мавзолея. Это было низкое строение без колокольни и каких-либо архитектурных украшений, призванное скорее пленять душу, чем потрясать. Храм был посвящен Роберту Бернсу и Гарри Лодеру *, с именами которых были связаны памятные предметы, выставленные в приделе. Скромный интерьер церкви оживлял лишь яркий шотландский ковер. Снаружи стены ее поначалу были обсажены вереском, но под калифорнийским солнцем вереск разросся так пышно, что живая изгородь превзошла все, что могло привидеться доктору Кенуорти в его сновидениях, так что в конце концов он велел повыдергать вереск, а участок вокруг церкви огородить стеной, выровнять и замостить, в результате чего он стал походить на школьный двор — в полном соответствии с традиционно высоким уровнем образования той нации, которую эта церковь обслуживала. Однако безыскусная простота и слепая верность традиции были в равной степени чужды вкусам Сновидца, и он ввел усовершенствования. За два года до поступления Эме в «Шелестящий дол» он устроил в этом аскетически строгом дворе Гнездо любви; конечно, здесь не было столь пышной растительности, как на Озерном острове, располагавшем к поэтическому флирту, зато здесь, по мнению доктора Кенуорти, было нечто сугубо шотландское — в таком уголке можно было прийти к согласию и закрепить любую помолвку. Гнездо любви представляло собой возвышение со скамьей на двоих из грубо отесанного гранита. Скамью разделяла посредине гранитная плита, в которой было вырезано окошечко в виде сердца. Надпись на спинке скамьи гласила:

СКАМЬЯ ЛЮБВИ

Эта скамья сделана из подлинного шотландского камня, добытого в древних горах Эбердина. Она олицетворяет также старинный символ — Сердце Брюса **.

По традиции шотландских долин влюбленные, которые дадут друг другу обет на этой скамье и запечатлеют поцелуй через Сердце Брюса, увидят веселотворных много дней и под гору сойдут, не разнимая рук, как бессмертная чета Андерсонов.

Рекомендуемый текст обета был вырезан на плите так, чтобы сидящая чета могла прочесть его вслух:

Пока не высохнут моря,
Не растает, как снег, скала
И жизни пески не утекут,
Я буду любить тебя.

Выдумка эта пришлась по вкусу широкой публике, и в Гнездо любви зачастили влюбленные. Тех, кто просто прогуливался по парку, сюда ничто не влекло. Сама церемония длилась около минуты, и чуть не каждый вечер здесь можно было увидеть влюбленные парочки, ожидающие в очереди, пока непривычные к шотландскому диалекту губы прибалтов, евреев и славян справятся с текстом, который звучал в устах этих чужеземцев как священное заклинание африканских племен. Поцеловавшись через прорезь в граните, они уступали место следующей паре и уходили, присмиревшие после совершенного ими непонятного и таинственного об-

* Гарри Лодер (1870—1950) — шотландский эстрадный певец и композитор, сочинитель простодушных комических песенок для мюзик-холла.

** Имеется в виду Роберт де Брюс (1210—1295) — король Шотландии. Сердце его было похоронено отдельно от тела.

ряда. Здесь не слышно было пения птиц. Его заменяло верещание шотландской волынки среди сосен и остатков вереска.

Именно сюда, исполнившись новой решимости, Эме привела Денниса через несколько дней после своего визита к мистеру Джойбою, и он, пробегая цитаты, в изобилии нацарапанные на камне по обычаю «Шелестящего дола», радовался про себя, что врожденное отвращение к диалекту помешало ему заимствовать любовные тексты из Роберта Бернса.

Они дождались своей очереди и наконец уселись рядышком на скамье.

— Пока не высохнут моря,— прошептала Эме. Лицо ее чу́дно светилось в маленьком сердцеобразном окошке.

Они поцеловались, потом торжественно спустились с возвышения и, не поднимая глаз, прошли мимо шеренги ожидающих парочек.

— А что значит «веселотворных много дней», Деннис?

— Никогда не задумывался. Наверно, что-нибудь вроде того, как под Новый год в Шотландии.

— А что тогда бывает?

— Блюют на мостовой в Глазго.

— А-а...

— Знаешь, как кончаются эти стихи? «Теперь мы под гору бредем, не разнимая рук, дойдем и ляжем там вдвоем, Джон Андерсон, мой друг».

— Деннис, почему все стихи, которые ты знаешь, такие грубые? А еще хочешь стать пастором.

— Пастором свободной церкви. Впрочем, в подобных вопросах мне ближе анабаптисты. Так или иначе, для тех, кто уже обручился, все этично.

Помолчав немного, Эме сказала:

— Я должна буду написать обо всем мистеру Джойбою... и... и еще кое-кому.

И она написала в ту же ночь. Письма ее были доставлены утренней почтой.

Мистер Хлам сказал:

— Пошлите ей наше обычное поздравительное письмо с пожеланиями и наставлениями.

— Но ведь она выходит не за того, мистер Хлам.

— Эту сторону вопроса обойдите молчанием.

В пяти милях от редакции Эме сдернула простыню с первого поступившего к ней трупа. Он прибыл от мистера Джойбоя, и на лице его было выражение такого безысходного горя, что сердце у нее болезненно сжалось.

■

Мистер Хлам опоздал в тот день на работу и жестоко страдал с похмелья.

— Еще одно письмо от красотки Танатогенос,— сказал мистер Хлам.— А я-то уж думал, что мы отделались от этой дамы.

«Дорогой Гуру Брамин!

Три недели назад я писала Вам, что все уладилось, что я приняла решение и счастлива, но я все равно несчастна и в некотором смысле даже несчастнее, чем раньше. Иногда мой английский дружок бывает со мной очень нежен и пишет стихи, но часто он требует от меня неэтичных вещей и ведет себя очень цинично, когда я говорю, что нет и мы должны подождать. Я начинаю даже сомневаться, получится ли у нас когда-нибудь настоящая американская семья. Он говорит, что собирается

стать пастором. Я уже писала тебе, что у меня прогрессивные взгляды и я не верю ни в какую религию, но мне кажется, что нельзя же к религии относиться цинично, потому что она приносит многим людям большое счастье и ведь не все могут быть прогрессивными на этой ступени Эволюции. Он пока еще не стал пастором, он говорит, что должен сначала закончить одно дело, которое он обещал одному человеку, но не говорит, что за дело, и я даже иногда думаю, что это что-то нехорошее, раз он так скрывает.

Теперь о моем продвижении по службе. Передо мной открылись Великие Возможности улучшить мое положение, но об этом больше ничего не слышно. Глава нашего отдела — тот джентльмен, о котором я Вам уже писала, он еще помогает своей матери по хозяйству, и вот теперь, после того как я дала обет и обручилась со своим английским дружком и написала обо всем этому джентльмену, он со мной не разговаривает даже на служебные темы, как с другими девушками в отделе. А учреждение, где мы работаем, должно приносить людям Счастье—это одно из главных наших правил, и этот джентльмен для всех Образец, но он очень несчастлив, а ведь цель нашего учреждения совсем другая. Иногда даже кажется, как будто он недобрый, а раньше этого никогда не казалось, нисколько. Мой жених только и знает, что зло смеется над этим джентльменом. Еще меня тревожит, что мой жених так интересуется моей работой. Я не хочу сказать, что мужчина совсем не должен интересоваться работой своей девушки, но он уж слишком интересуется. Я просто хочу сказать, что в каждом деле есть такие технические подробности, про которые, наверно, людям не хотелось бы, чтобы говорили после работы, а он как раз про это все время и спрашивает...»

— Вот так они всегда, женщины,— сказал мистер Хлам.— Для них просто нож острый упустить хоть одного мужчину.

На своем рабочем столе Эме часто находила послания от Денниса. Если накануне вечером они расставались недовольные друг другом, Деннис, прежде чем отправиться спать, переписывал какое-нибудь стихотворение, а по пути на работу заносил его в покойницкую. Эти послания, переписанные его красивым почерком, должны были заменить ей исчезнувшие улыбки. Незабвенные, подобно самому мастеру, глядели теперь на нее с горестным укором.

И в то утро Эме шла на работу, вспоминая, как яростно препирались они с Деннисом накануне, но придя, обнаружила на своем столе стихи. Она стала читать, и сердце ее вновь открылось навстречу любимому.

Эме, красота твоя
Никейский челн дней отдаленных.*

Мистер Джойбой в темном костюме прошел через косметическую к выходу. На лице его застыла скорбная маска горя. Эме улыбнулась ему смущенно и умоляюще; неловко кивнув, он прошел мимо, и тогда, повинуясь внезапному порыву, она написала в верхней части страницы над стихами: «Попытайтесь понять меня. Эме», потом проскользнула в бальзамировочную и почтительно положила листок на сердце трупа, вверенного заботам мистера Джойбоя.

Мистер Джойбой вернулся через час. Эме слышала, как он вошел в комнату, слышала, как он включил краны. Встретились они только за обедом.

— В этих стихах,— сказал он,— там недурно сказано.

— Это написал мой жених.

* Из стихотворения Эдгара По «К Елене» в переводе В. Брюсова. Имя Елены заменено на Эме.

— Тот англичанин, с которым я видел вас во вторник?

— Да, он очень известный в Англии поэт.

— В самом деле? Что-то не припомню, чтобы мне доводилось встречать английских поэтов. А чем еще он занимается?

— Учится на пастора.

— Ах, вот что. Послушайте, Эме, если у вас есть еще какие-нибудь его стихи, я бы с удовольствием взглянул.

— О, мистер Джойбой, я и не знала, что у вас склонность к поэзии.

— Наверно, когда переживаешь горе и разочарование, настраиваешься на поэтический лад.

— У меня очень много этих стихов. Я их тут и храню.

— А я, право, хотел бы познакомиться с ними поближе. Как раз вчера я ужинал в «Клубе ножа и вилки», и там меня представили одному человеку из Пасадены, он занимается литературой. Я бы, пожалуй, показал ему эти стихи. Вероятно, он мог бы чем-нибудь помочь вашему другу.

— О, мистер Джойбой, это так благородно с вашей стороны.— Она запнулась. Они едва перекинулись словом с самого дня ее обручения. Благородство этого человека потрясло ее, как и в прошлый раз.— Надеюсь, миссис Джойбой здорова? — произнесла она несмело.

— Сегодня мамуля немного не в себе. У нее трагедия. Вы помните Самбо, ее попугая?

— Конечно.

— Он скончался. Он, конечно, уже вроде как староват стал, чуть не за сотню перевалило, и все же так неожиданно. Миссис Джойбой, конечно, переживает.

— Ах, мне так жаль.

— Да, очень переживает. Никогда не видел ее в таком подавленном состоянии. Сегодня все утро я хлопотал о погребении. Потому-то и отлучался. Ходил в «Счастливую райскую жизнь». Похороны назначены на среду. Я вот и подумал, мисс Танатогенос: у мамули не так уж много знакомых в этом штате. И она бы, конечно, высоко оценила, если бы на похоронах присутствовал кто-нибудь из друзей. Он был такой общительный, этот Самбо, когда был помоложе. Помню, на Востоке он больше всех радовался гостям. Даже как-то вроде обидно, что никто не придет отдать ему последний долг.

— Ах, что вы, мистер Джойбой, я бы с удовольствием пришла.

— Нет, правда придете, мисс Танатогенос? Это будет очень мило с вашей стороны.

Так Эме в конце концов появилась в «Счастливой райской жизни».

■

Эме Танатогенос изъяснялась на языке Лос-Анжелеса; скудная меблировка ее интеллекта, все атрибуты этой меблировки, о которые обдирал себе коленки пришелец из Европы, были приобретены в местной школе и университете; она представала перед миром одетой и надушенной в соответствии с велениями рекламы; и мозг, и тело ее едва ли можно было отличить от других изделий стандартизованного производства, но дух — о, дух ее витал в других краях, и искать его нужно было далеко отсюда, не здесь, в пропитанных мускусом садах Запада, но в чистом воздухе горного рассвета, на подоблачных перевалах Эллады. Кафе и фруктовые лавчонки, древние темные промыслы (скупка краденого и сводничество), словно пуповиной, независимо от воли Эме связывали ее с горными высями, где обитали ее сородичи. Она росла, становилась старше, и тот единственный язык, которым она владела, все в меньшей степени способен был выражать потребности ее созревающего духа; факты, засорявшие ее память, теряли свою значимость; в фигуре,

которую отражало зеркало, ей было все труднее узнавать себя. Эме удалялась в возвышенные и священные места обитания.

Вот почему открытие, что человек, которого она любила и с которым была связана нежнейшими клятвами, оказался лжецом и обманщиком, затронуло только часть ее души. По всей вероятности, сердце ее было разбито, но это был лишь незначительный и недорогой продукт местного производства. Зато в плане более широком и более высоком она почувствовала, что трудности, стоящие перед ней, упрощаются. В натуре ее жила бесценная способность к любым уступкам, она лишь стремилась со скрупулезной тщательностью воздать каждому из соперников по заслугам. Отныне не оставалось места для колебаний. Искусительные и сладострастные зовы «Яда джунглей» умолкли.

И тем не менее ее последнее письмо Гуру Брамину было написано на языке, который дан был ей воспитанием.

Мистер Хлам был нечисто выбрит; мистер Хлам был не совсем трезв; «Хлам все больше опускается,— сказал главный редактор.— Заставьте его взять себя в руки или увольняйте». Не ведавший о нависшей над ним угрозе мистер Хлам воскликнул:

— Бог мой, опять Танатогенос. Что она там пишет, милочка? Я что-то сегодня даже читать не могу.

— Ее постигло страшное прозрение, мистер Хлам. Человек, которого она, как ей казалось, любила, оказался лжецом и обманщиком.

— Ну, тогда напишите ей, пусть выйдет за другого.

— Кажется, так она и намерена поступить.

Помолвка Денниса и Эме не была объявлена ни в одной газете и потому не требовала публичного расторжения. Помолвке мистера Джойбоя и Эме были посвящены полтора столбца в «Журнале похоронщиков» и фотография в «Гробе»; что касается местного журнала «О чем шелестит дол», то он посвятил этой любви почти весь очередной номер. Была объявлена дата брачной церемонии в Университетской церкви. Мистер Джойбой получил баптистское воспитание, и священник, который у них в бюро отпевал баптистов, охотно предложил ему свои услуги. Кастеляншa отыскала для невесты белое усыпальное покрывало. Доктор Кенуорти выразил желание лично присутствовать на церемонии. Трупы, поступавшие к Эме для дальнейшей обработки, ликующе скалились.

За все это время Эме ни разу не встречалась с Деннисом. В последний раз она видела его у могилы попугая. Как будто совершенно не испытывая смущения, он подмигнул ей над маленьким пышным гробиком. В действительности он был крайне смущен и просто почел за лучшее притаиться на день-два. А потом он увидел объявление о помолвке.

Эме было не так легко избежать нежелательных для нее встреч. Она не могла попросту предупредить: «Если придет мистер Барлоу, меня нет дома»,— и наказать слугам, чтоб его не пускали. У нее не было слуг; если звонил телефон, она сама брала трубку. Ей надо было есть. Надо было ходить по магазинам. В обоих случаях она оказывалась беззащитной перед возможностью тех как будто случайных дружеских встреч, которыми изобилует жизнь американца. И вот как-то вечером, незадолго перед свадьбой, поджидавший ее Деннис прошел за ней в закусочную и уселся рядом за стойкой.

— Привет, Эме. Хочу с тобой поговорить.

— Что бы ты теперь ни сказал, не имеет значения.

— Но послушай, милая, ты, кажется, совсем забыла, что мы с тобой обручены и должны пожениться. Мои теологические занятия подвига-

ются вперед. День, когда я заявлю о своих жениховских правах, уже не за горами.

— Лучше смерть, чем за тебя выйти.

— Признаться, этой альтернативы я не предвидел. Знаешь, я первый раз в жизни пробую эти пирожки с орехами. Меня поражает даже не то, что они такие противные, а то, что они совершенно безвкусные. Но давай поговорим начистоту. Ты что же, отрицаешь, что торжественно поклялась выйти за меня замуж?

— Но ведь девушка может и передумать, правда?

— Ну, по правде сказать, я в этом не так уверен. Ты ведь дала торжественное обещание.

— Да, но я была обманута. Ты посылал мне стихи и притворялся, будто сам их написал, и все они такие были возвышенные, что я даже учила наизусть отрывки, а оказывается, все эти стихи написали другие люди, а некоторые из них даже умерли много сотен лет назад. В жизни мне так обидно не было, как тогда, когда я все узнала.

— Так, значит, в этом все дело?

— И еще эта твоя ужасная контора. Ладно. Я пойду. Мне даже есть расхотелось.

— Но ведь ты сама выбрала это место. Когда я тебя приглашал, я никогда не кормил тебя этими пирожками.

— Или когда я тебя приглашала.

— Это уже несущественно. Но не можешь же ты идти вот так по улице и плакать. Моя машина стоит напротив. Давай я подброшу тебя до дому.

Они вышли на улицу, ярко освещенную светом неоновых ламп.

— Ладно, Эме,— сказал Деннис,— давай не будем дуться.

— Дуться? Ты мне отвратителен.

— Когда мы виделись в прошлый раз, мы были помолвлены и собирались сочетаться браком. Надеюсь, что я могу рассчитывать на какие-то объяснения. Пока единственное, в чем ты обвиняешь меня, это то, что не я автор нескольких наиболее знаменитых шедевров английской поэзии. Ну, а кто же, спрашивается, папаша Джонджой?

— Ты хотел, чтобы я думала, будто это ты написал.

— Ну, Эме, ты несправедлива ко мне. Это я должен быть разочарован тем, что девушка, на которую я растрачивал свои чувства, незнакома с самыми популярными сокровищами литературы. Но я прекрасно понимаю, что твои критерии образования отличаются от тех, к которым я привык. Без сомнения, ты лучше меня разбираешься в психологии и китайском языке. Но, видишь ли, в том загнивающем мире, из которого я пришел, цитирование это поистине национальный порок. Раньше оно распространялось на античных писателей, теперь перешло на лирическую поэзию.

— Никогда больше не поверю ни одному твоему слову.

— Черт побери, чему ж тут не верить?

— Я в тебя не верю.

— А, это уже другое дело. Одно дело верить кому-то, другое — верить в кого-то, и тут есть существенное различие.

— Ох, да перестань ты рассуждать.

— Что ж, согласен.

Деннис подогнал машину к обочине и попытался заключить Эме в свои объятья. Она сопротивлялась яростно и умело. Он тотчас отступился и закурил сигару. Эме долго всхлипывала, забившись в угол, а потом вдруг сказала:

— Эти ужасные похороны.

— Попугай Джойбоя? Да. Это я, пожалуй, смогу тебе объяснить. Мистер Джойбой требовал, чтобы гроб был открытый. Я возражал, ведь

в конце концов мне виднее. Я изучал это дело. Открытый гроб годится для собак и кошек, они очень естественно сворачиваются в клубочек. Другое дело попугаи. Они выглядят просто нелепо, когда голова их покоится на подушке. Но я наткнулся на непробиваемую стену снобизма. Раз так хоронят в «Шелестящем доле», значит, так должны хоронить в «Счастливой райской жизни». Или, может, ты думаешь, он вообще все это подстроил? Может быть. Вполне допускаю, что этот ханжа и зануда даже хотел, чтобы бедняга попугай выглядел так нелепо, лишь бы уронить меня в твоих глазах. Да и вообще, кто приглашал тебя на эти похороны? Ты что, была знакома с покойным?

— Подумать только, все то время, пока мы встречались с тобой, ты тайком ходил туда, в *это место*...

— Дорогая моя, тебе, как американке, меньше всего пристало презирать мужчину за то, что он начинает с нижней ступеньки социальной лестницы. Я, конечно, не притязаю на столь высокое положение в похоронном мире, какое занимает твой мистер Джойбой, но зато я моложе его, гораздо привлекательней и у меня свои зубы. А в будущем у меня — свободная церковь. Я, наверно, уже стану главным священником «Шелестящего дола», а мистер Джойбой все еще будет потрошить трупы. У меня задатки великого проповедника — что-то такое метафизическое, в стиле семнадцатого века, апеллирующее скорей к разуму, чем к грубым страстям. Нечто в духе Вильяма Лода — этакое манерное, многословное, остроумное и совершенно не догматическое, свободное от предрассудков. Я думал о своем одеянии. Широкие рукава, вероятно...

— Ах, замолчи, пожалуйста! Мне до смерти надоело.

— Эме, как твой будущий муж и духовный наставник, я должен предупредить тебя: ты не должна разговаривать так с человеком, которого любишь.

— Я не люблю тебя.

— «Пока не высохнут моря».

— Понятия не имею, что это все значит.

— «Не растает, как снег, скала». Это, надеюсь, достаточно ясно. «Буду л-любить тебя...» Уж эти-то слова тебе наверняка понятны. Именно так их произносят популярные певцы. «И жизни пески не утекут, я буду л-любить тебя». Предпоследняя строка, готов признать, звучит несколько туманно, но общий смысл поймет даже человек, вконец ожесточивший свое сердце. К тому же, ты что, забыла о Сердце Брюса?

Рыдания утихли, и по наступившему молчанию Деннис понял, что в прелестной и слабой головке, уткнувшейся в угол, мыслительный процесс идет полным ходом.

— Это Брюс, что ли, написал стихотворение? — спросила она наконец.

— Нет. Но имена этих людей настолько похожи, что разница просто не существенна.

Последовала пауза.

— А этот Брюс или как там его, он не оставил никакого выхода для тех, кто дал клятву?

Деннис не возлагал больших надежд на обет, данный в церквушке Олд-Лэнг-Сайн. Он и упомянул-то о нем, сам не зная зачем. Но теперь он поспешил использовать свое преимущество:

— Послушай, ты, сладостное и безнадежное созданье. Ты сейчас стоишь перед дилеммой — это по-нашему, по-европейски, а по-вашему — ты попала в переплет.

— Отвези меня домой.

— Хорошо, я могу объяснить тебе все по дороге. На твой взгляд, в мире нет ничего прекраснее «Шелестящего дола», разве только рай небесный. Я тебя понимаю. На свой грубый английский манер я разде-

ляю твой восторг. Я даже собирался написать об этом один опус, но боюсь, что не смогу в этой связи повторить вслед за Доусоном: «Если вы его прочтете, все поймете вы». Ты не поймешь в нем, милая, ни единого слова. Но это все так, между прочим. Твой мистер Джойбой — это воплощенный дух «Шелестящего дола», как бы недостающее звено между доктором Кенуорти и простыми смертными. Итак, оба мы, ты и я, одержимы «Шелестящим долом», «в целительницу-смерть полувлюблен», как я сказал тебе однажды,— и, чтобы избежать дальнейших осложнений, позволь мне сразу добавить, что эти стихи тоже написал не я. Так вот, ты баядерка и девственная весталка этого заведения, и совершенно естественно, что меня влечет к тебе, а тебя влечет к Джойбою. Психологи объяснят тебе, что подобное случается на каждом шагу.

Вполне может статься, что, с точки зрения Сновидца, моя репутация небезупречна. Попугай выглядел в гробу просто ужасно. Так что из того? Ты любила меня и поклялась любить вечно самой священной клятвой во всем религиозном арсенале «Шелестящего дола». Теперь тебе понятна та дилемма, перед которой ты стоишь, тот тупик или перелет, в который ты попала? Святость неделима. Если целовать меня через сердце Бернса или Брюса это не священный акт, то и ложиться в постель со стариной Джойбоем тоже не священный акт.

Она молчала. Деннис и не ожидал, что его слова произведут на нее такое глубокое впечатление.

— Ну, мы приехали,— сказал он наконец, остановившись перед домом, где она снимала квартиру. Он знал, что всякое проявление мягкости сейчас неуместно.— Вылезай.

Эме ничего не сказала и вначале даже не двинулась с места. Потом она прошептала:

— Ты мог бы освободить меня?

— Но я не стану.

— Даже если я совсем забыла тебя?

— Но ведь ты не забыла.

— Забыла. Когда я отворачиваюсь, я даже не могу вспомнить, какой ты. А когда тебя нет, я совсем о тебе не думаю.

Когда Эме очутилась одна в бетонированной клетке, которую она называла своей квартирой, на нее набросились все демоны сомнения. Она включила радио, безрассудная буря тевтонской страсти захватила ее и вынесла на крутой обрыв безумия, потом музыка вдруг оборвалась. «Передача была организована благодаря любезности компании «Кайзеровских персиков без косточки». Помните, что ни один другой сорт персиков из поступающих ныне в продажу не гарантирует ни отсутствия косточек, ни столь высокого качества. Только покупая «Кайзеровские персики без косточки», вы покупаете полновесную сочную персиковую мякоть без всяких посторонних...»

Она взяла телефонную трубку и набрала номер мистера Джойбоя.

— Пожалуйста, ну, пожалуйста, приезжайте. Я так мучаюсь.

В трубке слышался страшный гвалт человеческих и нечеловеческих голосов, и среди этого гвалта тихий слабый голос, повторявший:

— Погромче, роднуля-детуля. Я не совсем понимаю, о чем ты.

— Я так несчастна.

— Я совсем тебя не слышу, роднуля-детуля. У мамули новая птица, и мамуля учит ее разговаривать. Может, мы просто отложим наш разговор на завтра?

— Пожалуйста, милый, приезжайте сейчас, ну, пожалуйста...

— Что ты, детуля-роднуля, не могу же я оставить мамулю в первый вечер, когда у нее новая птица, правда ведь? Каково ей будет, по-

думай! Сегодня у мамули большой праздник, детуля-роднуля. Я должен быть с ней.

— Я о нашем браке.

— Ну да, детуля-роднуля, уж я как-нибудь догадался о чем. Масса всяких проблем и вопросиков. А только утро вечера мудренее. детуля. Выспись хорошенько, детуля-роднуля.

— Мне надо увидеть вас.

— Ну-ну, детуля-лапуля, папочка будет строгим. Сейчас же сделай, как велит папуля, а то папуля и правда рассердится.

Она повесила трубку и снова прибегла к высокой опере, лавина звуков захватила и оглушила ее. Это было нестерпимо. В наступившей затем тишине сознание ее стало оживать понемногу. Телефон. В редакцию.

— Я хочу поговорить с Гуру Брамином.

— А он по вечерам не работает. Очень жаль, но...

— Мне очень важно. Вы не могли бы дать мне его домашний телефон?

— А какой именно вам нужен? У нас их двое.

— Двое? Я не знала. Мне нужен тот, который отвечает на письма.

— Это мистер Хлам, но он у нас с завтрашнего дня не работает, да и дома его в это время все равно не застанешь. Попробуйте позвонить в «Салун Муни». Там чаще всего бывают по вечерам наши из редакции.

— И его действительно зовут мистер Хлам?

— Во всяком случае, так он утверждает, милочка.

Мистер Хлам был в тот день уволен из газеты. Этого события давно ждали все, кроме самого Хлама, и вот теперь он излагал историю о том, как его предали, в разных питейных заведениях, где ее выслушивали безо всякого сочувствия.

Бармен сказал:

— Тут вам звонят, мистер Хлам. Сказать, что вас нет?

В его теперешнем состоянии мистеру Хламу казалось вполне вероятным, что это звонит его редактор, исполненный раскаяния. Он потянулся через стойку бара за трубкой.

— Это мистер Хлам?

— Да.

— Наконец-то я вас разыскала. Это Эме Танатогенос... Вы меня помните?

Это было памятное имя.

— Конечно,— сказал мистер Хлам после продолжительной паузы.

— Мистер Хлам, у меня беда. Мне нужен ваш совет. Вы помните того англичанина, о котором я вам писала?..

Мистер Хлам поднес трубку к уху своего собутыльника, ухмыльнулся, пожал плечами, положил трубку на стойку бара, закурил сигарету, выпил и заказал еще. С замызганной деревянной стойки чуть доносилось взволнованное бормотанье. Эме потребовалось довольно много времени, чтобы изложить суть своих затруднений. Затем поток звуков оборвался и сменился прерывистым всхлипывающим шепотом. Мистер Хлам взял трубку.

— Алло... Мистер Хлам... Вы слушаете?.. Вы слышите меня?.. Алло.

— Ну-ну, милая, что там?

— Вы меня слышали?

— Конечно же, прекрасно слышал.

— Ну и что... что мне теперь делать?

— Что делать? Я тебе скажу, что делать. Садись-ка ты в лифт и поезжай на самый верхний этаж. Подыщи окно поудобнее и прыгай. Вот что тебе делать.

Послышалось тихое сдавленное рыдание, а потом спокойное:
— Спасибо.
— Я сказал ей, чтоб она совершила прыжок в высоту.
— Мы слышали.
— А что, я неправ?
— Тебе видней, друг.
— Бог ты мой, это надо же, чтоб у человека была такая фамилия!

В ванной Эме, в шкафчике среди инструментов и химических препаратов, столь необходимых для женских побед, лежал темный тюбик со снотворным, столь необходимым для женского отдыха. Эме проглотила обычную дозу, легла и стала ждать, когда придет сон. И он пришел наконец, вторгся бесцеремонно и грубо, без предупреждающей сонливости и обволакивающей неги. Не было блаженного прилива, осторожного прикосновения, приподнимающего и куда-то несущего, не было чувства свободы и парения и наконец приземленья. Без двадцати десять она снова лежала без сна, безутешная в горе, с мучительным саднящим ощущением боли, сжимавшей виски; потом слезы выступили у нее на глазах, и она зевнула; потом вдруг было двадцать пять минут шестого, и она снова лежала без сна.

Еще не начинало светать, небо над ней было беззвездное, а пустынные улицы внизу сверкали огнями. Эме встала, оделась и вышла из подъезда на свет дуговых ламп. Небольшое расстояние, отделявшее ее дом от «Шелестящего дола», она прошла, никого не встретив. Золотые Ворота бывали закрыты от полуночи до утра, но для ночной смены обычно оставалась незапертой боковая калитка. Эме вошла в калитку, и знакомая дорога привела ее к возвышению у церквушки Олд-Лэнг-Сайн. Здесь Эме села на скамью и стала ждать рассвета.

Душа ее была теперь спокойна. Неизвестно где и неизвестно как обрела она утешение и совет в глухой черной ночи; быть может, она связалась с духами своих предков, того нечестивого и одержимого племени, что, покинув алтари старых богов, садилось на корабли и пускалось по свету, гонимое неведомыми страстями по неведомым улочкам среди неведомых варварских языков и наречий! Отец ее посещал храм Истинного Евангелия, мать пила. Аттические голоса пророчили Эме более возвышенную участь; голоса, прилетавшие издалека, из другого века, пели ей о Минотавре, что бьет копытами под землей в самом конце лабиринта; голоса нежно шептали ей про тихую водную гладь у Беотийского побережья, про вооруженных воинов, что стояли молча безветренным утром, про флот, недвижно застывший на якоре, про Агамемнона, отвращавшего свой взгляд; они говорили ей об Альцесте и гордой Антигоне.

Восток светлел. В круговращении суток только эти первые, самые ранние часы остаются незахватанными людьми. В этой части континента люди подолгу нежатся в постелях. Эме, застыв в экстазе, наблюдала, как бесчисленные статуи, едва мерцавшие в полумраке, начинают белеть, как все четче проступают их очертания, а серебристо-серый покров лужаек становится зеленым. Теплый луч коснулся ее. И все близ нее и дальше по склонам, насколько хватал глаз, превратилось в пляшущее море света, в миллионы крошечных радуг и языков пламени. Это дежурный повернул рычажок орошения в проходной будке, и вода брызнула из бесчисленных отверстий укрытой от человеческого глаза системы труб. Садовники с тачками и садовыми инструментами вышли из проходной и разбрелись по своим делам. День наступил.

Эме быстро спустилась по усыпанной гравием дорожке к зданию похоронной конторы. В приемной дежурные ночной смены пили кофе.

Они взглянули на нее без всякого любопытства, когда она молча проскользнула мимо: срочную работу выполняли здесь в любое время суток. Эме поднялась в лифте на верхний этаж. Там царила тишина и не было никого, если не считать накрытого простыней покойника. Она знала, где искать то, что ей нужно было сейчас,— широкогорлую синюю бутылочку и шприц для подкожных вливаний. Она не стала писать никаких писем, чтобы проститься или просить прощенья. Она далека была сейчас от обычаев общества и обязательств перед людьми. Оба героя — и Деннис, и мистер Джойбой — начисто стерлись в ее памяти. Дело сейчас было в ней самой и в божестве, которому она служила.

То, что она выбрала для инъекции рабочее место мистера Джойбоя, было чистой случайностью.

■

Мистер Шульц подыскал на место Денниса какого-то молодого человека, и всю последнюю неделю, проведенную им в стенах заведения, Деннис потратил на то, чтобы посвятить этого молодого человека в секреты производства. Это был очень способный молодой человек, живо интересовавшийся, что почем.

— У него нет вашего обаяния,— сказал мистер Шульц.— У него не будет вашего индивидуального подхода, но, я думаю, свое жалованье он оправдает иным путем.

В утро, когда умерла Эме, Деннис, отправив своего ученика чистить топку крематория, принялся было за уроки заочного курса для проповедников, который он получал по подписке, когда дверь конторы вдруг отворилась, и Деннис с изумлением узнал в вошедшем человека, с которым был едва знаком и который был его соперником в любви, а именно мистера Джойбоя.

— Мистер Джойбой,— сказал он.— Неужели еще один попугай?

Мистер Джойбой сел. Вид его был ужасен. Убедившись, что они одни, он начал всхлипывать.

— Эме,— наконец выговорил он.

Вопрос Денниса был полон глубочайшей иронии.

— Надеюсь, не забота о ее похоронах привела вас сюда?

Услышав это, мистер Джойбой закричал с неожиданной страстью:

— Вы знали об этом! Вы, наверно, и убили ее. Вы убили мою детулю-роднулю.

— Мистер Джойбой, вы сошли с ума.

— Она умерла.

— Моя невеста?

— Моя невеста.

— Сейчас не время для прекраний, Джойбой. С чего вы взяли, что она умерла? Еще вчера вечером она была жива и здорова.

— Она там, на моем столе, под простыней.

— Да, это, конечно, то, что ваши газеты назвали бы «фактической достоверностью». Вы уверены, что это она?

— Еще бы не уверен. Она отравилась.

— Неужели? Пирожком с орехами?

— Цианистым калием. Ввела себе под кожу.

— Тут есть над чем задуматься, Джойбой.— Деннис помолчал.— Я любил эту девушку.

— Нет, это я любил ее.

— Умоляю вас.

— Она была моя детуля-роднуля.

— Я бы попросил вас не употреблять в нашем серьезном разговоре этих до крайности интимных и странных уменьшительных слов. Что вы сделали?

— Я осмотрел ее, потом накрыл снова. У нас есть стенные холодильники, мы иногда храним в них незаконченную работу. Я спрятал ее туда.

Он бурно зарыдал.

— Так зачем же вы пришли ко мне?

Мистер Джойбой хрюкнул.

— Не понимаю.

— Помогите,— сказал мистер Джойбой.— Это вы виноваты. Вы должны что-нибудь сделать.

— Сейчас не время для взаимных обвинений, Джойбой. Позвольте лишь напомнить вам, что официально это вы ее жених. В подобных обстоятельствах некоторое проявление чувств является естественным — но не впадайте в крайности. Я, конечно, никогда не считал, что она психически полноценна, а вы?

— Она была моя...

— Не произносите этого, Джойбой. Не произносите, не то я вас выгоню.

Мистер Джойбой принялся плакать с еще большим самозабвением. Ученик Денниса открыл дверь и замер, пораженный этим зрелищем.

— Заходите,— сказал Деннис.— У нас клиент, который только что потерял любимое существо. На вашей новой должности вам придется привыкать к подобным проявлениям горя. Вы что-нибудь хотели мне сказать?

— Я только хотел сказать, что газовая печь снова работает нормально.

— Отлично. А теперь очистите похоронный фургон. Джойбой,— продолжал Деннис, когда они снова остались вдвоем,— прошу вас взять себя в руки и прямо сказать мне, чего вы от меня хотите. Пока что я ничего не могу разобрать, кроме семейного надгробного плача, всех этих мамуль, папуль и детуль.

Мистер Джойбой издал какие-то новые звуки.

— На сей раз это прозвучало как «доктор Кенуорти». Вы это хотели мне сказать?

Мистер Джойбой всхлипнул.

— Доктор Кенуорти знает?

Мистер Джойбой застонал.

— Он не знает?

Мистер Джойбой снова всхлипнул.

— Вы хотите, чтобы я сообщил ему эту новость?

Стон.

— Вы хотите, чтобы я скрыл от него?

Всхлип.

— Знаете, это похоже на гадание с медиумом.

— Крышка,— произнес мистер Джойбой.— Мамуля.

— Насколько я вас понял, вы полагаете, что карьера ваша пострадает, если доктор Кенуорти узнает, что вы храните труп своей невесты в холодильнике. И что надо не допустить этого ради вашей матушки? И вы хотите, чтобы я помог вам избавиться от тела?

Всхлип и снова поток слов.

— Вы должны помочь мне... все из-за вас... простодушное американское дитя... липовые стихи... любовь... мамуля... детуля... должны помочь... должны... должны.

— Мне не нравится, Джойбой, что вы без конца повторяете «должны». Знаете, что сказала королева Елизавета своему архиепископу — вот, кстати, был священник подлинно свободной церкви: «Ах, человечек, человечек, слово «должны» не употребляют в разговоре с царственными

особами». Скажите, а кроме вас имеет кто-нибудь доступ к холодильнику?

Стон.

— Понятно. Можете идти, Джойбой. Отправляйтесь к себе на работу. Я рассмотрю этот вопрос. Приходите снова после обеда.

Мистер Джойбой ушел. Деннис слышал, как отъезжала его машина. И тогда он ушел на собачье кладбище, чтобы остаться наедине со своими мыслями, в которые он не намерен был посвящать мистера Джойбоя.

Размышлениям его помешал приход человека, с которым он также был некогда знаком.

День выдался прохладный, и сэр Эмброуз Эберкромби носил по этому случаю костюм из твида, накидку с капюшоном и охотничью войлочную шляпу — одеяние, в котором щеголяло множество сыгранных им комических персонажей в фильмах из жизни английской деревни. В руке у него был пастушеский посох.

— А, Барлоу,— сказал он,— трудитесь в поте лица.

— Сегодня спокойное утро. Надеюсь, вас привела сюда не тяжкая утрата?

— Нет, упаси боже. Никогда не заводил здесь животных. И, надо сказать, скучаю без них. Вырос среди лошадей и собак. Думаю, что вы тоже, так что вы правильно меня поймете: тут для них неподходящее место. Спору нет, удивительная страна, но человек, который по-настоящему любит собаку, никогда не привезет ее сюда.

Он помолчал, с любопытством оглядывая скромные памятники, окружавшие его.

— Неплохое у вас тут местечко. Жаль, что вы уходите.

— Вы получили мою карточку?

— Да, вот она. Сначала подумал, что кто-то довольно глупо подшутил над нами. Однако это не подделка, не так ли?

Откуда-то из глубин своей накидки он извлек карточку с печатным текстом и протянул ее Деннису. Там говорилось:

«Командир дивизиона преподобный Деннис Барлоу оповещает о том, что в ближайшее время он открывает контору на Арбакл-авеню, 1154, Лос-Анжелес. Все службы свободной церкви отправляются быстро и по выгодным ценам. Специализация на похоронах. Надгробные речи в стихах и в прозе. Тайна исповеди строго сохраняется».

— Да, это не подделка,— подтвердил Деннис.

— Так. Этого я и опасался.

Они снова помолчали. Деннис сказал:

— Карточки эти, как вам известно, рассылает агентство. Я не думал, что вас это особенно заинтересует.

— Однако это меня заинтересовало. Мы могли бы здесь поговорить где-нибудь?

Размышляя, уж не придется ли ему первую исповедь выслушать именно сегодня, Деннис повел гостя в помещение. В конторе оба англичанина уселись друг против друга. Ученик Денниса просунул на мгновение голову в дверь и доложил, что с фургоном все в порядке. Потом сэр Эмброуз заговорил:

— Так не пойдет, Барлоу. Позвольте мне, старому человеку, сказать вам это без обиняков. Так не пойдет. Ведь вы все-таки англичанин. Они тут все прекрасные люди, но вы сами знаете, как это бывает. И среди самых прекрасных людей может найтись несколько подонков. А международную обстановку вы знаете не хуже моего. Всегда найдутся какие-нибудь политики и журналисты, которые только и ждут случая оклеветать наше Отечество. Подобный факт будет лить воду на их мельницу. Мне не понравилось, когда вы начали здесь работать. Я вам тогда

об этом прямо сказал. Но это было ваше частное дело. Ну, а с религией обстоит иначе. Вы, наверно, мечтали о каком-нибудь милом сельском приходе у нас на родине. Но здесь религия совсем не то. Уж вы мне поверьте, я знаю эту страну.

— Странно слышать это от вас, сэр Эмброуз. Главная моя цель — достичь более высокого положения в обществе.

— Тогда бросьте эту затею, мой мальчик, пока еще не поздно.

Сэр Эмброуз пространно заговорил о промышленном кризисе в Англии, о том, как нуждается их родина в молодых людях и в долларах, о титанических усилиях, которые затрачивают они тут в кинематографе, чтобы не уронить марку.

— Отправляйтесь-ка на родину, дорогой мой. Там ваше настоящее место.

— Собственно говоря,— начал Деннис,— с тех пор, как я дал это объявление, обстоятельства несколько переменились. Зов, который я услышал, звучит теперь несколько слабее.

— Вот и отлично,— сказал сэр Эмброуз.

— Но у меня есть некоторые затруднения практического характера. Все мои небольшие сбережения я вложил в теологические занятия.

— Нечто в этом роде я предвидел. Тут-то и придет на помощь крикетный клуб. Надеюсь, никогда не настанет такое время, чтобы мы не смогли прийти на помощь соотечественнику в беде. На вчерашнем заседании комитета как раз упомянули ваше имя. И было достигнуто полное согласие. Короче говоря, мы отправим вас домой, дружочек.

— Первым классом?

— Туристским. Но мне говорили, что там потрясающий комфорт. Что вы на это скажете?

— И вагон-салон?

— Нет, салона нет.

— Ладно,— сказал Деннис.— Полагаю, что, как священник, я должен теперь привыкать к некоторому аскетизму.

— Вот теперь я слышу речь не мальчика, но мужа,— сказал сэр Эмброуз.— Чек у меня с собой. Мы его вчера же и подписали.

Через несколько часов снова пришел похоронщик.

— Вы уже взяли себя в руки? Тогда садитесь и слушайте внимательно. Перед вами две проблемы, Джойбой, и разрешите подчеркнуть, что это ваши проблемы. Это у вас хранится труп вашей невесты, и это ваша карьера сейчас под угрозой. Итак, у вас две проблемы — как избавиться от трупа невесты и как объяснить ее исчезновение. Вы пришли ко мне за помощью, и так уж случилось, что я, и только я, могу помочь вам разрешить обе эти проблемы.

В моем распоряжении прекрасный крематорий. Мы тут счастливые люди. У нас все делается запросто, без формальностей. Если я приезжаю с гробом и говорю: «Мистер Шульц, у меня тут овца, ее нужно сжечь», то он говорит мне: «Валяйте». Вы, кажется, склонны были смотреть на нас свысока из-за этой свободы обращения. Теперь, по всей вероятности, вы относитесь к этому иначе. Единственное, что нужно сделать, это забрать нашу Незабвенную, если вы простите мне это выражение, и привезти ее сюда. Сегодня вечером после работы — самое подходящее для этого время.

Вторая проблема — как объяснить ее исчезновение. У мисс Танатогенос почти не было знакомых и не было родственников. Она исчезает накануне свадьбы. Известно, что я некогда ухаживал за ней. Может ли быть более правдоподобное объяснение, чем то, что у нее от рождения оказался хороший вкус, что он восторжествовал в последний момент и

она убежала со своим прежним возлюбленным? Единственное, что потребуется при этом, это чтобы я исчез одновременно с ней. Как вам известно, никто в Южной Калифорнии не интересуется тем, что происходит там, за горным хребтом. Возможно, что мы оба, она и я, будем в какой-то момент осуждены как люди, поступившие неэтично. На вашу долю может выпасть не совсем приятное вам сострадание. Но этим все ограничится.

Меня в последнее время стала несколько угнетать непоэтическая атмосфера Лос-Анжелеса. Мне нужно закончить одну работу, а здесь для этого неподходящее место. Только наша юная подруга удерживала меня здесь — она да еще скудость моих средств. Кстати, о скудости, Джойбой. Я полагаю, у вас должны быть солидные сбережения?

— Известная сумма вложена в страховку.

— А сколько вы могли бы получить под нее? Тысяч пять?

— Нет, что вы, ни в коем случае.

— Две?

— Нет.

— Сколько же тогда?

— Ну, может, тысячу.

— Так получите их, Джойбой. Нам понадобится вся сумма. И заодно получите вот по этому чеку наличными. Тогда мне как раз хватит. Вам это может показаться сентиментальным, но я хотел бы уехать из Соединенных Штатов с тем же комфортом, что и приехал. Гостеприимство «Шелестящего дола» не должно уступать гостеприимству студии «Мегалополитен». Из банка зайдите в туристическое агентство и купите мне билет в Англию, причем чтоб до Нью-Йорка — в вагон-салоне, а оттуда на теплоходе компании «Кунард» — в каюте-люкс с ванной. Дорогой мне понадобится много денег на всякие путевые расходы. Так что оставшиеся деньги принесите мне вместе с билетами. Вы все поняли? Отлично. Я приеду с фургоном к вам в покойницкую сразу после ужина.

Мистер Джойбой ждал Денниса у служебного входа в покойницкую. «Шелестящий дол» был идеально оборудован для беспрепятственной транспортировки мертвых тел. На быстроходную и бесшумную тележку фирмы они установили самый большой из похоронных контейнеров Денниса, сначала пустой, потом полный. После этого они отправились в «Счастливую райскую жизнь». Там, конечно, было больше кустарщины, однако вдвоем им без особого труда удалось перенести на руках свою ношу в крематорий и поставить в печь. Деннис повернул рычажок и зажег газ. Пламя рванулось из всех отверстий кирпичной кладки. Он закрыл железную дверцу.

— Полагаю, на нее потребуется часа полтора,— сказал Деннис.— Вы хотели бы присутствовать?

— Мне больно думать, что она уходит вот так — она любила, чтобы все было по правилам.

— Я уже подумывал о том, чтобы отслужить похоронную службу. Мою первую и последнюю службу под эгидой свободной церкви.

— Этого я не перенесу,— сказал мистер Джойбой.

— Ну что ж. Тогда я прочту вместо этого небольшое стихотворение, написанное мной специально по этому случаю.

— Эме, красота твоя —
Никейский челн дней отдаленных...

— Эй, вы не смеете! Опять липовые стихи.

— Джойбой, не забывайте, пожалуйста, где вы находитесь.

Что мчал средь зыбей благовонных
Бродяг, блужданьем утомленных,
В родимые края!

— Просто удивительно, до чего эти стихи подходят к случаю, вы не находите?

Но мистер Джойбой уже покинул помещение.

Огонь бушевал в кирпичной печи. Деннису еще предстояло дождаться, пока огонь поглотит всю свою пищу. Ему предстояло еще помешивать жаркие угольки, разбивать кочергой череп, а может, и тазобедренные кости, перемешивать их кусочки с золой. А пока он зашел в контору и сделал отметку в специальном журнале.

Завтра и в каждую годовщину смерти, до тех пор пока будет существовать «Счастливая райская жизнь», мистер Джойбой будет получать почтовую карточку: «Твоя маленькая Эме машет сегодня хвостиком на небесах, вспоминая о тебе».

— Никейский челн дней отдаленных,—

повторил Деннис,—

Что мчал средь зыбей благовонных
Бродяг, блужданьем утомленных,
В родимые края!

В этот свой последний вечер, проведенный в Лос-Анжелесе, Деннис думал о том, что ему еще повезло. Другие, более достойные, чем он, потерпели здесь крушение и погибли. Побережье было усеяно их костьми. А он уезжал отсюда не только не обобранный, но даже обогащенный. Он тоже внес свой штрих в общую картину крушения; он оставил здесь нечто, давно досаждавшее ему,— свое молодое сердце; он увозил вместо него багаж художника, огромную, бесформенную глыбу пережитого опыта, увозил ее домой, к древним и безрадостным берегам, чтобы трудиться над ней потом долго и упорно, бог знает, как долго и упорно. Для минуты прозренья иногда мало и целой жизни.

Деннис взял роман, забытый на столе мисс Поски, устроился поудобнее и стал ждать, пока прогорит до конца его незабвенная.

«Англо-американская трагедия» Эвелина Во

Будь в его распоряжении уэллсовская «машина времени», он ни за что бы не подумал отправиться на ней в будущее — «будущее, этот безрадостнейший из всех миров»,— а, усевшись в седло, подал бы команду «медленный задний ход!» и направился бы потихонечку в прошлое — «не далее, чем сквозь тридцать столетий». Так начинает свою автобиографию Эвелин Во (1903—1966). Это признание многое объясняет в его творчестве — и не только в отношении писателя к будущему, но и в его отношении к настоящему.

Заглавие первого романа Во «Упадок и разрушение» («Decline and Fall», 1928) забавно пародировало название классического многотомного труда историка Гиббона «Упадок и разрушение Римской империи». Но пародийная «соль» романа заключалась в том, что эти громкие определения относились не только к трагикомическим превратностям судьбы юного богослова, простодушного Поля Пеннифезера, а и ко всей жизни послевоенной Англии. Университет, школа, «высший свет», суд, усовершенствованная «образцовая» тюрьма и снова университет — все сферы, сквозь которые фантастическими прыжками проносится за один год «герой», выглядят как эпизоды нелепой и смехотворной клоунады, разыгрываемой на арене гигантского цирка, именуемого Англией. Все здесь действительно разрушается и приходит в упадок; все претензии фальшивы, все нравственные авторитеты мертвы. «Мужчины и женщины, какими я их вижу, были бы невероятны... если бы я изобразил их с буквальной точностью»,— писал Во о своих ранних романах, объясняя природу гротеска, столь характерного для его творчества.

По замечанию современного критика Кэренса, Во уже в своих ранних книгах 20-х годов выступает как «абсурдист», предвосхищая позднейший «роман абсурда». Это

не вполне точно. Для Во действительно характерна фантастическая, доведенная до невероятия экстравагантность положений и поступков его персонажей. В «Горсточке праха» («A Handful of Dust», 1934) молодой даме с деликатными предосторожностями сообщают печальное известие: ее сын стал жертвой несчастного случая.— Он убит? — Да.— Слава богу! — восклицает мать (маленький Джон был последней помехой ее адюльтеру). В «Черных проказах» («Black Mischief», 1932) Бэзил Сил, восхищенный прелестями своей возлюбленной, дочки британского посла в африканском государстве Азании, бормочет: «Вот так бы и съел тебя!» — «Изволь, миленький»,— игриво отвечает она. И что же — в финале романа, к концу пиршества, которым был отмечен очередной переворот в Азании, Бэзил узнает, что полакомился жарким, изготовленным из тела его Патриции!

В этом жестоком, поистине «людоедском» юморе Во есть, однако, своя логика, проступающая сквозь гротескные ситуации гораздо более явственно и последовательно, чем у позднейших «абсурдистов». В основе ее прежде всего глубокое презрение к претензиям современной цивилизации — а в том числе, может быть, и к собственному читателю; автор бьет его по нервам, оглушает и ошарашивает своими «макабрическими» (как говаривал когда-то Тургенев) эффектами, словно иной язык и не дойдет до этой серой скотинки...

Гримасы юмора Во призваны воспроизвести действительную уродливость, противоестественность и бездуховность жизни, о которой он пишет. Но вместе с тем в них выражается и демонстративный, доведенный до предела нигилизм писателя. Нигилизм этот наглядно проявился, в частности, в суждениях Эвелина Во о сатире. В ответе критикам, писавшим о «сатирическом бунте» как содержании его творчества, он громогласно отверг это предположение. Сатира, уверял он, «процветает в устойчивом обществе и предполагает единство нравственных критериев». В наше время, «в век Среднего Человека, когда порок даже на словах не склоняется перед добродетелью», сатира, заявлял Во, вообще невозможна.

Эта экстравагантная игра парадоксами содержала в себе и долю истины, поскольку речь шла об исходных предпосылках сатирических выпадов самого автора. Высмеивая существующие порядки западного мира, Во с еще большим ожесточением ополчался против всего, что могло угрожать им революционным взрывом. Его собственные «нравственные критерии» предполагали и презрение к буржуазной пошлости, и озлобленный антидемократизм. В книге «Пожива: роман о журналистах» («Scoop: A Novel About Journalists», 1938) «комизм» основной сюжетной ситуации, как понимает его сам Во, заключается в том, что английским агентам, действующим в вымышленном африканском государстве Ишмаэлии, удается подавить революционное движение и предотвратить превращение Ишмаэлии в советскую республику! Читатели 30-х годов не могли не сопоставить этот роман с недавними репортажами Во-журналиста из Абиссинии, боровшейся за свою независимость против агрессии итальянского фашизма. В своей книге «Во в Абиссинии» («Waugh in Abyssinia», 1936) автор солидаризировался с политикой Муссолини и приветствовал итальянских империалистов как культуртрегеров, несущих «порядок и процветание» в страну варваров.

В 1930 году Эвелин Во перешел в католичество. Это не было следствием мистического порыва, а скорее — обдуманным политическим актом. Католическая церковь казалась писателю последним международным оплотом консервативных традиций, единственным прибежищем от хаоса современности. Объясняя свое «обращение», он говорил не столько о вере, сколько о политике, указывая, в частности, на «материалистический, механистический строй, уже существующий в России и быстро распространяющийся на юг и на запад», как на главную опасность, от которой католичество должно спасти мир. Католические симпатии Во объясняют возникновение и характер многих — далеко не лучших — его произведений. Среди них — довольно пресный квазиисторический роман о житии императрицы Елены — ей легенда приписывает находку «подлинного» креста, на котором был распят Иисус Христос. Более интересен очень двойственный по смыслу и настроению роман «Снова в Брайдсхеде» («Brideshead Revisited», 1945), своего рода отходная старым, разоренным и погибающим католическим «дворянским гнездам», к числу которых принадлежит и усадьба Брайдсхед.

Обломок прошлого, последыш старого католического дворянского рода стоит в центре трилогии Во, посвященной событиям второй мировой войны,— «Вооруженные люди» («Men at Arms», 1952), «Офицеры и джентльмены» («Officers and Gentlemen», 1955) и «Безоговорочная капитуляция» («Unconditional Surrender», 1961). Для Гая Кручбека, во многом выражающего точку зрения самого автора, нападение Германии на СССР и заключение военного союза между нашей страной и Великобританией означает начало конца его патриотических иллюзий. По мере того как война принимает отчетливый антифашистский характер, «офицеры и джентльмены», подобные Кручбеку, чувствуют себя лишними и чуждыми этой борьбе. Трилогия содержит и прямые сатирические выпады против британской бюрократической военной машины. Во полон опасений за будущее британского империализма, который теряет свои командные позиции.

Именно в эту пору Во, прежний эксцентрик-скандалист, смущавший почтенных филистеров, приобретает, как пишет его биограф М. Брэдбери, «репутацию столпа общества и своей веры».

В поздних публицистических книгах Во (в частности, в его путевых заметках «Турист в Африке» — «A Tourist in Africa», 1960) * сказалась его возрастающая тревога в связи с крушением и распадом колониальной системы Британской империи. Мрачные прогнозы будущего, ожидающего Англию, отразились и в его антиутопиях. В одной из них герой, проснувшись в Англии XXV века, обнаруживает, что она стала колонией африканских негров. На месте Лондона простираются джунгли и болота, одичавшие англичане ютятся в убогих хижинах... Единственное, что сохранилось от прошлого,— это католическая церковь!

Историко-литературное значение творчества Эвелина Во как художника определяется по преимуществу не этими его произведениями, а теми сатирико-юмористическими романами и повестями, которыми он начал свой писательский путь и в которых ярче всего проявилась его индивидуальность. Именно они дают ему право на внимание советских читателей.

Вряд ли надобно воскрешать великие тени Вольтера или Стерна, как это делают иные зарубежные литературоведы, охотно сопоставляющие «трагикомедии» или «трагифарсы» Эвелина Во то с «Кандидом», то с «Тристрамом Шенди». Историческая природа и дух этих произведений настолько различны, что подобные сопоставления бесполезны. Напрасно было бы искать у автора «Упадка и разрушения» или «Горсточки праха» той страстной ненависти к угнетателям человечества или нежной любви к людям, которая воодушевляла сатириков и юмористов Просвещения. Но ему нельзя отказать в сатирической наблюдательности, в блестящем остроумии и уничтожающем презрении к фальши, пытающейся выдать себя за нечто подлинное и настоящее.

Эти достоинства, присущие сатирико-юмористическим произведениям Во, которые исследователи считают характерными для «первой манеры» его творчества, в полной мере проявляются в «Незабвенной». Проявляется здесь, сохраняясь в переводе, и стилистическое своеобразие прозы Во — мастера иронического намека, язвительной недомолвки, точной, невозмутимо-хладнокровно переданной детали, обладающей вместе с тем еще и «вторым» обобщающе-символическим смыслом.

Повесть «Незабвенная. Англо-американская трагедия» представляется очень характерным образцом сатирико-юмористической прозы Во. Эта книга, вышедшая в 1948 году, была написана под свежим впечатлением поездки английского писателя в Соединенные Штаты.

Комментаторы отмечают, что в Калифорнии существует доподлинный оригинал похоронного заведения, так свирепо осмеянного в «Незабвенной» под именем «Шелестящего дола»,— это знаменитое кладбище «Лесные поляны» в Лос-Анжелесе. Но дело не в этом. И «Шелестящий дол», где погребают людей, и «Счастливая райская жизнь» (похоронное бюро для животных), и «великий муравейник» кинокомпании «Мегалополитен», где фабрикуют эрзацы искусства для живых,— все это для Эвелина Во явления одного порядка, воплощение отталкивающих его лицемерия, бездушия, стандартизации, распространяющихся на все области американской жизни.

В статье «Смерть в Голливуде», которая может рассматриваться как авторский комментарий к «Незабвенной», Во писал, что археологи далекого будущего, изучая через тысячу лет развалины Лос-Анжелеса, установят, что «великий упадок культуры» XX века начался именно с кладбищ. Во-католик подкрепляет свою аргументацию и религиозными доводами: его возмущает то, что великое таинство смерти в изображенном им похоронном заведении лишается всякой значительности: «суровая традиционная альтернатива рая или ада» отбрасывается в сторону и «спасение души включается, как одна из расходных статей, в стоимость похоронного обслуживания». Эти рассуждения писателя дали повод некоторым критикам (как, например, Малькольму Брэдбери) трактовать «Незабвенную» как «христианскую сатиру» — определение, слишком узкое и одностороннее, никак не охватывающее действительного содержания повести.

Примечателен подзаголовок «Незабвенной» — «Англо-американская трагедия». Подзаголовок этот, конечно, прежде всего ироничен. Эме Танатогенос **, косметичка из «Шелестящего дола», с «явственным отблеском безумия» в глазах, так же как и ее самоуверенный поклонник, мистер Джойбой ***, главный бальзамировщик того же заведения, со своей злющей «мамулей» и ее облезлым попугаем,— не более как талантливо сделанные Эвелином Во марионетки, условные персонажи его «гиньоля».

Только эта подчеркнутая условность и позволяет читателям принять как литературное явление сатирическую повесть Во, детали которой, в противном случае, были бы попросту отвратительны.

По замыслу повести, главное, что характеризует «Шелестящий дол» и нравы его служащих и клиентов,— это непроходимая, самодовольная, победоносная пошлость. Она проникает во все сферы жизни. Мистер Джойбой изъясняется в своих чувствах к Эме, посылая ей вместо букетов покойников, подлежащих ее косметической обработке, чьи лица он, пользуясь несложной техникой, украшает стандартной «Улыбкой Лучезарного Детства» (когда в нем пробуждается ревность, улыбки исчезают, и Эме

---

* См. рецензию в «Иностранной литературе» № 4 за 1961 г.

** Имя и фамилия героини символичны: «Любимая, смертью рожденная» — таков их пародийно-патетический смысл.

*** Джойбой — по-английски буквально «весельчак-парень» — фамилия, комически контрастирующая и с профессией, и с нравом этого персонажа.

получает из бальзамировочной трупы, на лицах которых лежит печать самого зловещего уныния).

Это чудовищно. Но «англо-американская трагедия», излагаемая писателем, потому только и становится возможна, что в этой среде подлинное чувство вытеснено суррогатами и люди живут, от колыбели до могилы окруженные пошлой, крикливо разрекламированной фальшью, которую принимают за правду. Деннису Барлоу, молодому англичанину, глазами которого читатель смотрит на жизнь США в «Незабвенной», все здесь кажется стандартизованным, обездушенным и отталкивающе поддельным. Все, начиная с искусственного, изрыгаемого динамиком жужжания пчел, которое должно создавать иллюзию «сельской идиллии» на кладбище «Шелестящий дол», и кончая косме́тически обработанным, «бесчеловечным» лицом его мертвого друга («раскрашенная, самодовольная и непристойная пародия на лицо...»).

Барлоу, начинающий поэт, приглашенный в Голливуд, чтобы составить сценарий о жизни Шелли, оказавшийся на мели и ставший «собачьим похоронщиком» в фирме «Счастливая райская жизнь», вторгается в этот мир как чужак. Эме в нем подозрительно все: любовные стихи Шекспира и Китса, которые он читает ей, выдавая за свои, кажутся ей «неэтичными», так же как и его беспечная, не подогнанная под надлежащий американский стандарт влюбленность. К тому же он непочтительно отзывается о «Творениях Искусства», собранных в парке «Шелестящего дола» — а ведь это, по убеждению Эме, «средоточие всего, что есть прекрасного в Американском Образе Жизни». То ли дело преуспевающий в похоронном бизнесе, самоуверенный и самодовольный мистер Джойбой, законченное воплощение идеала «Истинного Американца»!

Если вместо того, чтобы стать его достойной супругой, Эме нашла другой, не менее плачевный конец, то это, по словам Во, объяснялось тем, что в «скудной меблировке ее интеллекта», приобретенной в школе и университете (где она изучала преимущественно искусство прически), стихийно возобладали инстинкты, унаследованные от ее дальних предков, рожденные чистым воздухом древней Эллады. Впрочем, горестная кончина маленькой косметички воспринимается в повести не слишком патетически. Мистер Джойбой чересчур озабочен своей репутацией и карьерой. Деннис Барлоу рад свести счеты с соперником и не брезгует шантажом, чтобы с полным комфортом вернуться на родину. А Эвелин Во, верный себе, завершает свою «англо-американскую трагедию» таким лихим трюком, который возможен только в репертуаре его свирепого юмора.

В «Незабвенной» вместе с сатирической язвительностью, наблюдательностью и остроумием Во достаточно ясно проступают и нигилистические черты его творчества. Их почувствует и критически оценит читатель. Однако знакомство с этой сатирической повестью, где в гротескных образах отразились некоторые действительные уродливые стороны образа жизни буржуазной Америки, представит известный интерес для читателей «Иностранной литературы» и даст им возможность составить собственное суждение об одном из широко известных английских писателей нашего времени.

А. ЕЛИСТРАТОВА

ЭНДРЕ АДИ (1877—1919)

■

Перевод с венгерского
ЛЕОНИДА МАРТЫНОВА

Чем велики великие поэты? Вероятно, особо тонкой восприимчивостью души, позволяющей им улавливать и, пропустив сквозь себя, сквозь сердце, отражать все важнейшие токи эпохи.

Такой восприимчивостью, сверхчувствительностью души обладал Эндре Ади, венгерский поэт, один из величайших поэтов XX века. Ади прожил трудную жизнь в мучительном разладе со своим временем, с его общественным устройством, но он был безмерно нужен этому времени, вынашивавшему революцию.

Эндре Ади называют на родине «буревестником революции». Он и был им — поэт, весь пронизанный предчувствием очистительной революционной грозы, которая должна неминуемо смести, разрушить до основания мир «свиноголовых магнатов». И для него крушение это желанно, ибо оно — предпосылка к созиданию нового мира: «Кому же должен принадлежать Будапешт, кому должна принадлежать страна? Только тем, кто внизу»,— пишет он в одной из статей и напряженно, с надеждой прислушивается, как «гремят далекие телеги» — телеги внуков легендарного крестьянского вождя Дёрдя Дожи, телеги «тех, кто внизу». Но как часто — и как долго — на заре века этот спасительный «грохот» заглушался липкими, обволакивающими речами «отцов народа», как грозно пытались заглушить его пушки первой мировой войны... И какое глубокое отчаяние охватывало тогда поэта. На такое отчаяние не способен равнодушный, оно — обратная сторона любви. У Ади самое его бунтарство проистекает из огромной способности любить, из любви к человеку, к людям, к жизни. Из страстного, почти языческого поклонения Красоте, воплощенной и увековеченной поэтом в героине его любовной лирики Леде, из совершенно языческого дара наслаждаться всеми красками и формами бытия. Нам, людям XX века, особенно понятно это противопоставление в сопоставлении: только любя жизнь и все то прекрасное, что она способна дать людям, можно до конца ненавидеть зло, несправедливость — ненавидеть насмерть и восставать против них ежечасно, пока бьется сердце. Творчество Эндре Ади, самая жизнь его — яркое тому свидетельство.

Е. МАЛЫХИНА

Битва с Магнатом

Меня Магнат Свиноголовый
убьет, коль я ему позволю.
Он ухмылялся мне, застывший
на золоте, как на престоле,
и он убьет, коль я позволю.

Стихи взяты из сборника стихотворений Эндре Ади, который готовится к выпуску в издательстве «Художественная литература».

Его свиную тушу гладил
я, он дрожал весь, колебался.
«Ты глянь, кто я!» — шептал я. Череп
себе пробил, чтоб он узнал все.
Он глянул в мозг мой и смеялся.

Пал на колени я. (Быть может,
я алчный плут в глазах Магната!)
На берегу шумящей Жизни
мы были двое в час заката.
— Дай золото свое, дай злато!

Ведь каждый миг грозит мне смертью!
Нет времени для ожиданья!
Меня зовут в путь к сладострастью
таинственные заклинанья.
Нет времени для ожиданья!

Ты сердце защитил щетиной,
мое нутро темно, убого,
но сердце все же благодатно —
в нем и мечты и жизни много.
Дай золота мне в путь-дорогу!

Ждут мой корабль чужое море,
шатры чужие в царстве зноя,
чужой бальзам, чужое солнце,
страсть новая, вино иное —
все не изведанное мною.

Весь мир во мне клокочет. Чуя
священное смятенье духа,
ко мне стремится все, что ново.
Твое же ухо к зовам глухо,
так обнажи златое брюхо!

И рухнул вечер, слеп и скорбен,
на нас. И ныл я, ныл. И волны
гудели: — Ждем! Неужто златом
утробы сум твоих не полны! —
гудели волны, волны, волны.

И мы схватились. Берег трясся,
царапал я свиное мясо,
терзал и рвал. Но зря старался:
звенелс злато, он смеялся.
И прочь уйти мне не удастся!

И тысячи зорь угасают.
Я весь в крови. Я слышу зовы
издалека. Но тщетны зовы.
И снова бьемся мы и снова —
я и Магнат Свиноголовый!

Впереди доброго князя Тишины

По лунному лесу блуждаю, посвистывая,
но только оглядываться мы не должны:
идет
вслед за мной, вышиной в десять сажен,
добрейший князь Тишины.

И горе мне, если бы впал я в безмолвие
или уставился на лик луны:
стон, треск —
растоптал бы меня моментально
добрейший князь Тишины.

Вечное детство

Сладостное проклятье —
с юных лет и до последнего дыханья
вглядываться в мирозданье
взором малого дитяти.

Вечная людская злоба
вновь и вновь меня ввергает в ужас, в трепет,
порождая только лепет:
— Почему же? Отчего бы?

Вопрошаешь ты об этом:
— Почему здесь чуть не каждый зол и грязен?
И ответ хоть не бессвязен,
но бог с ним, с таким ответом!

Утешенья не нашедший,
от испуга ты трепещешь и от грусти,
как ребенок, точно кустик,
ни засохший, ни расцветший!

Скорбное богатство это —
детство, вянущее без конца и края,—
обожаю: ничего другого
все равно ведь у меня и нету!

Далекие телеги

Когда над городской окрайной
луна появится на небе,
по мостовой загромыхают
они,
далекие телеги.

Луна взошла, звучат мотивы
росисто блещущих элегий.
В осеннем блеске лунно-белом
скрипят
далекие телеги.

И на луну взирает спящий
через приспущенные веки:
какой тут сон, когда усердно
гремят
далекие телеги.

Купить-продать, ведь вот какие
сидят заботы в человеке.
Скрипят колеса, плачут оси,
кряхтят
далекие телеги.

Светает. Отвращает лик свой
луна, мечтая о ночлеге.
При электричестве погасшем
ползут
далекие телеги.

Вот в городе от снов тяжелых
очнулись бедняки, калеки,
и ждут они: кто едет? Едут,
гремят
далекие телеги.

Ушла Луна. И Солнце в блеске
всеблагости своей и неги
смешливым чудом лезет в небо:
ползут
далекие телеги!

Жертва Христов

Восторженность неистово-святую
Мне подарили Эрские края.
Слепой надеждой и мечтой беспечной,
Сплошным язычеством была душа моя.
Вокруг меня кружился бестолково
Весь мир; шумел, неистово скакал.
А я искал, какую-то все время
Великую гармонию искал.

Я родился крестьянским Аполлоном,
Язычником, певучим силачом,
Который отлюбил свое и с песней
Пал на закате жизни. Бить ключом
Языческая сила перестала,
И не бурлят ни песни, ни мечты.
Убили душу мне евангелисты
И мудрецы житейские, Христы.

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ

ЛИЧНОСТЬ И КЛАССОВОЕ САМОСОЗНАНИЕ

Знаменитейший в наши дни парикмахер Западного мира — это некий молодой лондонец по имени Видаль Сэссун, чьи весьма дорогостоящие заведения можно увидеть в самых фешенебельных кварталах Лондона, Парижа, Нью-Йорка и других городов. Сэссун провел детские годы в лондонском Ист-энде в большой бедности, а затем стрижкой и прической женских голов добился такой славы, что недавно получил рекордную плату — 3000 долларов — только за то, что подстриг актрису Майю Фэрроу, жену Фрэнка Синатра.

Недавно Би-би-си включила интервью с Сэссуном в одну из своих почтенных серий политических передач «24 часа». Во вступлении к интервью было отмечено, что в то время как раньше в «Светской хронике» газет фигурировала только родовитая земельная аристократия и высшие классы, теперь ту же «Светскую хронику» заполняют анекдоты о представителях любого класса, «достигших» чего-то благодаря собственным талантам или умению.

В этой связи интервьюер спросил Сэссуна, почему в его речи уже не слышно произношения, типичного для рабочего класса, и тот ответил: «Когда я был мальчишкой, с таким произношением не брали на работу в шикарные парикмахерские Вест-энда, вот я и пошел к специалисту по этой части — и переучился». Тогда интервьюер спросил: «А как обстоит дело теперь?», и Сэссун ответил: «Ну, теперь-то всем плевать на то, откуда ты вышел и какое у тебя произношение».

В Англии такие вещи приводят сейчас в доказательство того, что классы в нашем обществе отмирают. По мнению умных скептиков, говорить так — значит хватать через край, но почти все, вероятно, признают, что известный сдвиг во взглядах на классовые барьеры имеет место даже в верхах общества.

Так, например, еще несколько лет назад газета «Таймс» была собственностью аристократического семейства Астор и отражала образ мыслей и общественные взгляды старой аристократии, наиболее воспитанной и тактичной части финансово-промышленной верхушки, англиканской церкви, армии и флота и высших государственных чиновников. Сейчас, когда газета перешла в руки более пробивного и отнюдь не родовитого лорда Томсона, она в основном отражает мнения более откровенных крупных бизнесменов-технократов, управляющих промышленностью, и финансовых воротил. Теперь лорд Томсон и «Таймс» говорят от лица счетно-электронных, монополистически-телевизионных капиталистов.

Та же перемена коснулась и всех других сторон нашей общественной жизни — не только бизнеса, но также образования, искусства, журналистики, религии, политики и труда. Не кто иной, как рассерженные молодые люди из мира финансов, политики и искусства, утвердили свою роль и свою мораль как единственно важные. Джимми Портер и ему подобные — вот кто теперь говорит нам, что нам нравится, и что нам требуется, и что нам делать.

Но следует ли из этого, что вся ситуация с классами изменилась? Верно ли, что появился совершенно новый тип рабочего, более того — что рабочего класса не стало вовсе? Или эти новые представления всего лишь отражают более широкий и вер-

ный взгляд на наш рабочий класс и наши междуклассовые отношения? К примеру, как отражаются эти новые представления в многочисленных новых книгах, пьесах и фильмах с рабочих? Какого рабочего нам показывают, узнаем ли мы в нем прежнего рабочего?

Вот некоторые из вопросов, на которые я постараюсь ответить.

Традиция Трессела — классовое самосознание

Традиция современного английского романа о рабочем классе ведет свое начало от книги Роберта Трессела «Филантропы в рваных штанах», впервые изданной в 1914 году. Трессел сам был рабочим, и его широко известная книга посвящена жизни английских рабочих в первые годы нашего века. Герой ее — рабочий-социалист Фрэнк Оуэн, всеми силами пытающийся убедить своих товарищей в том, что только социализм может разрешить их проблемы. До последнего времени книга выходила в жестоко отредактированном варианте и кончалась самоубийством Фрэнка Оуэна, отчаявшегося внушить рабочим веру в социализм. Но несколько лет назад была найдена полная рукопись книги, и оказалось, что хотя Трессел действительно закончил роман самоубийством героя, он написал и другой, куда более оптимистический вариант конца, по которому Фрэнк Оуэн остается в живых и продолжает борьбу за создание социалистической партии.

При всем своем стремлении вызвать сочувствие к рабочему классу Трессел не идеализирует отдельных рабочих. Он не скрывает, что они верят обещаниям политиков-консерваторов и лживым посулам фабрикантов, своих злейших врагов и эксплуататоров. Он даже дает понять, что в представлении большинства рабочих социализм означает потерю их сбережений, убийство королевского семейства и раздел богатства страны между лентяями и бездельниками. И моральной чистотой они не блещут. Они рассказывают непристойные анекдоты, слишком большую часть своих кровью и потом заработанных денег тратят на выпивку и имеют незаконные любовные связи.

Однако так сильно в этом романе сочувствие к рабочим и так значительна в нем роль Оуэна и другого социалиста — Баррингтона,— что вполне оправдана точка зрения компартии Великобритании на этот роман, как на классику английской литературы о рабочем классе. От нее пошла у нас традиция классово сознательного искусства, не оборвавшаяся и до наших дней; и хотя не все писатели, испытавшие на себе влияние Трессела, способны сравниться с ним по глубине понимания и верности характеристик, все же классовый роман о рабочих прочно утвердился в нашей литературе.

Политически наиболее верны жанру Трессела романы Герберта Смита и Дэвида Лэмберта. Первый роман Герберта Смита «Поле людей» вышел в 1957 году, почти одновременно с первой постановкой пьесы Джона Осборна «Оглянись во гневе». Но в то время как пьеса Осборна произвела сенсацию, роман Г. Смита почти не вызвал откликов, и такое отношение к нему не случайно.

Романы Смита дидактичны, лишены живого сочувствия, какое мы находим в книге Трессела,— это признает большинство рабочих, читавших «Поле людей». В своем отзыве об этой книге редактор «Металлиста» пишет: «Мистер Смит пытается показать характер рабочих через их семейные отношения, но это ему не всегда удается. Некоторые из них упорно отказываются стать живыми людьми и остаются только типами». Критик-марксист Арнольд Кеттл тоже говорит, что персонажам Смита недостает «того неуловимого, из чего создается характер». Все это так, и однако же Смит умеет сплавить рабочего с его трудом, человека с его классом, рабочего с политикой социалистов.

Место действия «Поля людей» — западный Лондон, сюжет строится вокруг одного из цехов завода «ЭМФ». Герой — пожилой рабочий Альберт Юингз, проработавший на заводе «ЭМФ» сорок три года. Юингз — видимо, мастер, но по психологии — все еще рабочий, верящий в «мягкую форму социализма». Есть там два рабочих-коммуниста — Том и Дэн — и работница Кэти, «упрямо жизнерадостная» наперекор всем невзгодам. Фабула проста: новое руководство пытается перевести работу завода на поток и поставить новое оборудование, что позволит сократить сотни рабочих. Драматизм романа заключен не столько в личных переживаниях героев, сколько в проблемах организованного труда, организованных политических действий, организованной классовой тактики и организованного протеста — плюс известная доля личных конфликтов и отношений.

Большинство рабочих в романе — несложные натуры. Их не отличает ни жадность, ни грубость, ни эгоизм, ни потеря иллюзий, ни невежество, ни чрезмерная сексуальность. Это нормальные люди, неглупые, работящие, с ясной головой, добрые, верные своему классу, в их семейной жизни и романах нет ничего непристойного или даже пошлого. Беда в том, что в них не всегда веришь, потому что Смит слишком их типизировал и часто оперирует ими не как живыми людьми, а как идеальными образцами.

То же делает и Дэвид Лэмберт в своем романе «Так он должен жить» (1956), но характеры его героев развиваются на более широком фоне. Действие романа происходит перед самой войной, когда Англия, сжав зубы, выбиралась из кризиса и война в Испании порождала классовые конфликты по всей Европе. Как и у Герберта Смита, в центре романа Лэмберта пожилой рабочий, коммунист Билл Омонд; и, тоже как у Смита, конфликт возникает в заводском цехе, между управлением, сокращающим штаты, и рабочими, противящимися увольнению.

В целом, однако, эта книга лучше, чем «Поле людей», потому что все действующие лица — живые характеры и есть в ней отличный второй конфликт — между коммунизмом и католичеством в среде рабочих Клайдсайда. Из этого конфликта, в сущности, и вырастают характеры. Хотя Билл Омонд, коммунист, живет «в грехе» с Джинни О'Брайен, католичкой, брошенной мужем, нравственный уровень и отдельных рабочих и всего класса определяет не секс, а общественная позиция. Классовая позиция вообще не ставится под сомнение. Когда же на демонстрации Билл получает почти смертельный удар по голове полицейской дубинкой, его поведение являет наглядный пример силы и выдержки отдельного человека, а в человеке, сильном социалистической идеей, мы узнаем наследника тресселовского Фрэнка Оуэна.

И Дэвид Лэмберт и Герберт Смит пишут с политических позиций коммунистов, вот почему я назвал их самыми верными в политическом смысле продолжателями Трессела. Но есть и романы, тоже написанные в духе Трессела, тоже изображающие рабочих как класс, с социальных позиций, но уже не коммунистических.

В 1964 году Рэймонд Уильямс опубликовал роман «Второе поколение» — о жизни организованных рабочих некоего английского фабричного города. Все его персонажи неразрывно связаны с жизнью и политикой рабочего класса. В центре романа — Харольд Оуэн, профсоюзный деятель и цеховой староста, но у Рэймонда Уильямса, в отличие от Смита и Лэмберта, герой существует не для развития коммунистического тезиса, хотя и носит ту же фамилию, что герой Трессела.

Харольд Оуэн и его брат — валлийцы и в Англию перебрались во время кризиса, в поисках работы. Занимаясь по ночам, неустанно трудясь, Харольд, при поддержке своей жены Кэт, человека более интеллектуального склада, стал профсоюзным организатором, и в своей работе он делает упор на сравнительно узкие задачи — добиваться повышения зарплаты и лучших условий труда, не включаясь в более возвышенную и важную борьбу за социализм. Оуэн, разумеется, социалист; но в первую очередь он борется с предпринимателями за лучшую зарплату и лучшие условия, и это типично для английского рабочего движения еще со времен Маркса и Энгельса.

Жена Оуэна не разделяет его слишком узких, по ее мнению, взглядов, и они на время расстаются, причем Кэт становится любовницей преподавателя университета Артура Дина. Дин, интеллигент и социалист, видит намного дальше Харольда, но он менее практичен, он далек от жизни, хуже умеет добиваться своего, чем профсоюзный деятель Харольд, и Кэт возвращается к мужу.

Тем временем их сын Питер уходит из дому — ему опротивело и поведение матери, и позиция отца. К концу книги Кэт глубже понимает свой класс и значение его борьбы, Питер возвращается к рабочим, чтобы служить им как классу. И только сам Харольд в конце романа в точности тот же, что и в начале: социализм для него — недостижимый идеал, и он попросту остается не политическим, а профсоюзным деятелем.

Сам Рэймонд Уильямс смотрит на дело шире, чем его герой: книгу его пронизывает тот идейный конфликт, который в 1960-х годах расшатал все здание лейбористской партии Великобритании. Возможен ли какой-то социализм в рамках капиталистической системы или же есть некий «абсолютный» социализм, за который необходимо продолжать борьбу? В Харольде Оуэне побеждает, при всей ее нелепости, идея социализма внутри капиталистической системы. Это нынешняя точка зрения лейбористского правительства. Это идея мистера Вильсона: лучше заставить капитализм работать, чем вырвать его с корнем и заменить социализмом.

Однако не менее нелепо и то, что во «Втором поколении» противопоставлено этой идее,— «абсолютный» социализм, за который ратует Артур Дин. В интеллигентском сознании Дина социализм приобретает чуть ли не религиозную окраску, точно социализм может родиться на свет цельным и чистым, как языческий бог.

В очерке об Уильямсе, изданном берлинским университетом им. Гумбольдта, профессор Леонард Гольдштейн пишет, что «Уильямс, с одной стороны, сочувствует рабочим и их борьбе настолько, что считает самую эту борьбу необходимой для рабочего класса... с другой стороны, он убежден, что борьба рабочих, как бы долго и упорно она ни велась и каких бы ни стоила жертв, в основном не изменит положения рабочих». И далее Гольдштейн пишет: «Разочарование и пораженчество, которые выражает Уильямс, — это чувства буржуазного интеллигента, исповедующего левые взгляды, но уже не связанного кровно с левыми силами».

И все же классовая сознательность и самый подход к теме позволяют включить книгу Уильямса в традицию Трессела. То же относится к другой некоммунистической книге — роману Роберта Шоу «Флаг» (1965). Это очень своеобразный роман, и, возможно, более непосредственное влияние на него оказал не Трессел, а Джордж Оруэлл и Олдос Хаксли. Однако речь в нем идет об объединяющей силе политической идеи, об идеологии рабочего класса и его цели — социализме. Шоу (кстати сказать, известный киноактер и драматург) задумал этот роман как первую часть трилогии, которая будет называться «Исцеление душ». Сюжет «Флага» основан на подлинной истории его преподобия Конрада Ноэля, в свое время бывшего священником в поселке Такстед. В 1925 году Ноэль водрузил в своей сельской церкви красный флаг и стал проповедовать социализм, за что он подвергся преследова-

---

ДЖЕИМС ОЛДРИДЖ
ЛИЧНОСТЬ
И КЛАССОВОЕ САМОСОЗНАНИЕ

ниям епископов и травле в прессе, а его дом — нападениям хулиганов. Ноэль был другом Бернарда Шоу и Честертона и, хотя принадлежал к «высокой» церкви, был убежденным христианским социалистом. Что важнее — это был отнюдь не фанатик и не ограниченный человек. Он был очень умен, здраво разбирался в политике и отлично понимал, что истинная основа социализма — это позиция рабочего класса.

А вот вымышленный священник в романе Роберта Шоу, бывший шахтер Джон Кальвин, изображен фанатиком, который, как бомбой, поражает своим революционно-христианским социализмом поселок Ист-уолд. Кальвин, как и следует ожидать, судя по его имени, — талантливый оратор, и ему удается обратить в свою эклектическую социалистическую веру некоего отставного генерала и владелицу ближайшего поместья. Кульминация романа — рассказ о том, как старик Рокинхем и беременная девушка Джин идут пешком с красным флагом через всю Англию — от родного городка Кальвина на севере до Ист-уолда, и по дороге к ним примыкают единомышленники. Они водружают свой красный флаг в церкви, где служит Кальвин, скорее как символ абсолютной веры, которая и заменяет социализм в представлении христианских фанатиков, чем как символ организованной борьбы рабочих за социализм.

Трагическая развязка наступает, когда группа юных кембриджских реакционеров похищает флаг из церкви, усмотрев в нем оскорбление Христу. Стоимость флага — четыре с половиной шиллинга — они опускают в кружку для пожертвований. Но флаг в церкви должен сыграть роль на выборах в местный приходский совет, в которых заинтересованы отставной генерал и владелица поместья, и его пытаются отбить силой. Старик Рокинхем, завладев флагом, лезет с ним на колокольню, там его настигает один из кембриджских фашистов, и оба, сцепившись, сверзаются на землю вместе с флагом. Завершает книгу некое драматическое разъяснение символики красного флага и декларация, утверждающая, что социалистический рай — более реальная перспектива, нежели рай, обещанный христианской религией.

В отличие от Рэймонда Уильямса, Роберт Шоу вообще не касается темы рабочих как организованной силы. Значение красного флага — единственное, что связывает эту книгу с темой рабочего класса. Старик рабочий Рокинхем, недалекая девушка Джин и все те, кто примыкает к ним по дороге, отнюдь для своего класса не типичны. Кальвин, бывший шахтер, а ныне священник, — в сущности, законченный интеллигент, и поддержка, которую он получает в своей деревне, не имеет отношения к социализму. На первых страницах Шоу, правда, описывает шахтерский рабочий поселок на севере Англии, где живут по восемь человек в комнате, уборная в пятидесяти метрах от дома, и у рабочих лица и руки все в синих шрамах — извечной татуировке шахтеров. Но это и все, что мы узнаем об условиях жизни рабочих, если не считать нескольких ночлежек, где Рокинхем останавливается во время своего похода с флагом. Подобно Олдосу Хаксли, Шоу стоит как бы в стороне от описываемой им действительности, и если в романах Хаксли о довоенных интеллигентах из Блумсбери этот прием удается, то в книге Шоу его нельзя назвать удачным — персонажи существуют в каком-то безвоздушном пространстве, в воображаемом мире, оторванном и от символики красного флага и от идеи социализма в целом.

И еще одного автора, писавшего о рабочих, следует причислить к наследникам Трессела, хотя англичане его почти не знают и книги его невозможно достать. Это Джек Коммон, умерший в мае прошлого года. В некрологе о нем, помещенном в «Санди таймс», Сид Чаплин назвал его «пожалуй, лучшим после Трессела летописцем английского рабочего класса».

Джек Коммон написал три книги и был составителем и редактором еще одной книги. Авторы последней («Семь смен», 1938) — семь рабочих, написавших каждый о своей жизни. В том же 1938 году Коммон выпустил книгу очерков о рабочих под общим заглавием «Улица — для всех». Некоторые из них звучат сейчас еще более злободневно, чем в 1938 году, особенно очерк «О второсортности рабочего», содержащий анализ хитроумного метода капитализма — втягивать способных молодых рабочих в ряды буржуазии. Лишь в 1951 году Джек Коммон попробовал свои силы в жанре автобиографического романа и написал «Счастье Киддара», за которым в 1954 году последовало продолжение «И К°».

Сид Чаплин назвал «Счастье Киддара» маленьким шедевром. Строго говоря, это не роман, а тринадцать новелл о детстве и семье Уилла Киддара. Из отдельных персонажей и отдельных эпизодов возникает достоверная, нередко лирическая картина довоенной рабочей Англии, и несмотря на разницу в возрасте авторов ни один герой так не сродни послевоенным рабочим Алана Силлитоу и никакая другая английская книга так не проникнута свойственной Силлитоу поэтичностью.

Вот почему я, вслед за Сидом Чаплином, готов включить эту книгу в традицию Трессела. Тут можно поспорить, поскольку в романах Коммона нет прямых призывов к социализму. Но во всех главных действующих лицах глубоко заложено чувство социализма и своего класса. Подчеркивать их политические взгляды нет необходимости, они обнаруживаются естественно, почти незаметно, Так, в одной из лучших, самых трогательных глав книги «Счастья Киддара», в новелле «Одноглазый стрелок», пятилетнего малыша Уилла Киддара отправляют в школу, но по дороге он встречает одноглазого мальчика Бена, и оба несколько недель не показываются в школе. Идиллия, прелестно написанная, длится, пока их проступок не раскрывается. Тогда тупые и грубые чиновники устраивают над пятилетним мальчиком нечто вроде суда и приказывают его отцу задать маленькому бунтарю хорошую порку. Отец подчиняется, но потом «он (отец) сел

на свое обычное место у огня, сильный, чисто одетый, улыбающийся, но виноватый, кругом виноватый. Он предал свои лучшие чувства, а для таких, как он, не бунт, а предательство — самое тяжкое преступление».

Последняя новелла, озаглавленная «Требуется сговорчивый хозяин», написана в форме письма четырнадцатилетнего Уилла Киддара своему будущему нанимателю. Это уже прямое изложение классовой позиции. Мальчик пишет, что родился рабочим, жил рабочим и рабочим умрет и что «как член уличной общины» он присоединится к любой организации или движению, ставящим себе целью принудить вас (хозяина) повысить зарплату». На попытки выманить его из рядов его класса подкупами он отвечает: «Рабочий, который оторвался от своих корней, — такая же аномалия, как богатый священник, признанный обществом поэт, ученый, получивший титул, или бородатая женщина». Эту мысль Джек Коммон проводил и раньше, в очерке «О второсортности рабочего», когда высмеивал фабианцев, поучающих свою буржуазную публику, как примирить противников в классовой борьбе. По его мнению, это безнадежная затея.

Изолированная личность

При всех различиях в политической точке зрения на рабочий класс и Джек Коммон, и Герберт Смит, и Рэймонд Уильямс, и Роберт Шоу строят свои романы вокруг политических конфликтов и идеи социализма. Диаметрально противоположный подход создал вторую линию в наших романах и пьесах о рабочих — изображение рабочего только как отдельной личности, иными словами, изображение Видаля Сэссуна и подобных ему выходцев из нашего рабочего класса в их новой роли.

Истоки этого образа следует искать все в той же нашумевшей двенадцатилетней давности пьесе Осборна «Оглянись во гневе». Джимми Портер, первый из рассерженных молодых людей, строго говоря — не рабочий. Осборн очень осторожно обходит вопрос о его происхождении, мы знаем только, что его отец сражался в Испании. Но в представлении большинства людей Джимми — один из многих тысяч молодых рабочих, которые в то время, при лейбористском правительстве 1945 года, получили высшее образование, ранее для английских Джимми Портеров недоступное.

Осборну важно показать (я не раз уже упоминал об этом), что буржуазия Джимми Портера не приемлет, хотя своим образованием он вполне подготовлен к тому, чтобы в нее влиться. Отсюда его гнев и издевательство над всей системой буржуазной морали. Это человек, обманутый в своих надеждах, человек, которому не дали возможности добиться личного успеха.

Однако глубоко в пьесе запрятано и подлинное отношение Осборна к рабочему классу. Типичным рабочим представляется ему Клиф Льюис, приятель Джимми. Клиф добр, чувствителен, мягок, неглуп, сострадателен; но в то же время он пассивен, по натуре он — жертва, человек, не способный нарушить моральные запреты, которыми опутала его буржуазия, и уж конечно ему нечего противопоставить агрессивному «варварству» самого Джимми.

Мне кажется, что именно такими воспринимает Осборн рабочих как класс, и именно поэтому Джимми Портер их терпеть не может. Точка зрения эта интеллигентская, и мы снова и снова встречаем ее в нашей литературе — не только в пьесах Осборна, но почти во всех новых произведениях о рабочих, где отдельный молодой рабочий, по образу и подобию Джимми Портера,—талантливый бунтарь-анархист, нежный, грубый, аморальный, глупый, умный, страстный, стыдливый, чувственный, обаятельный, неповторимый, непобедимый и несокрушимый. С другой стороны, рабочие как класс — косноязычны, легковерны, раздробленны, эгоистичны, великодушны, непоследовательны и не способны противостоять лукавству и силе своих хозяев. И поскольку такое противоречие между индивидуумом и классом кажется неразрешимым — над ним не стоит и задумываться. Таким образом, драматизм не в классовой ситуации, а всего лишь в личности, которую она порождает.

В результате необычайно обострился интерес к типу обывателя. Так, например, по телевидению сейчас можно каждый вечер увидеть этот новый «образец» рабочего во всевозможных разновидностях, калибрах, обличиях и драматических ситуациях. Одна из таких серий телевизионных передач под названием «Пока смерть не разлучит нас» написана автором из рабочих Джонни Спейтом. Ее герой — Альф Гарнет, рабочий и отец семейства — вульгарный, невежественный, тупой и ребячливый реакционер и расист. Из недели в неделю он выставлял напоказ свое невежество и идиотские предрассудки. Жена его презирает. Сын и невестка пытаются высказывать какие-то радикальные взгляды, но сам Альф остается заядлым, непоколебимым реакционером.

Альф Гарнет стал в своем роде национальной фигурой, олицетворением всего, что есть в рабочих тупого, ограниченного, рожденного предрассудками. Многие убеждены, что Альф Гарнет — пародия, измышление, ложь. Но автор, Джонни Спейт, уверяет, что вывел его из собственного опыта.

Что же, разве у нас нет тупых, невежественных, отягченных предрассудками рабочих? Конечно есть. Но телевидение зачастую так сгущает и типизирует эти черты, что возникает вопрос: кто же тогда входит в ряды организованных членов профсоюзов в нашей стране? Кто организует и поддерживает забастовки? Кто ведет классовые бои? Спейт — не враг рабочего класса, порой его оценки достаточно честны. Но в конечном счете все это фальшь, запоминается только

образ предубежденного болвана — и ничего более.

Таков один способ изображать личность в чистом виде. Другой, пожалуй, наиболее распространенный, — изображать молодого рабочего в первую очередь как существо сексуальное. Известный драматург Дэвид Мерсер, друг Осборна (Осборн играл в одной из его пьес), недавно создал телеспектакль «Давай убивать Вивальди». Герой — молодой рабочий, получивший образование, сын мусорщика, задумавший стать скрипачом. Он живет с девушкой из средних классов, секретаршей крупного государственного чиновника. Молодой человек до того необуздан и ревнив, и притом до того независимого нрава, и до того против официальных браков, что время от времени крушит мебель, угрожает своей подруге ножом и в конце концов наносит ей удар ножом по лицу, после чего она уходит от него и проводит конец недели со своим шефом.

А шеф ее — не только крупный чиновник, перед ним большое будущее. Жена шефа — скверная женщина, она не дает ему житья разговорами о его и своих изменах, и однажды за утренним завтраком, когда он только что вернулся домой, проведя воскресенье с секретаршей, а жена похваляется своей очередной изменой, он, потеряв терпение, убивает ее. Секретарша тем временем вернулась к своему рабочему парню, и хотя ясно, что впереди у них — новые стычки, сейчас они садятся играть Вивальди. Девушка — неважная пианистка, парень — неважный скрипач, отсюда и название пьесы. Исполняя Вивальди, они его «убивают», и одновременно в другом доме отчаявшийся, незадачливый в половой жизни буржуа убивает свою жену. На этом пьеса кончается.

Пьеса насквозь фрейдистская, в ней без конца дебатируют вопросы пола, пользуясь фрейдистской терминологией, не всегда понятной для непосвященных, и молодой рабочий (разумеется, получивший образование) говорит на темы секса точно таким же языком, как девушка и ее шеф. Отличается он от них только своей личностью, более крайними, откровенными и вульгарными взглядами на жизнь. Ему чужда заторможенность, присущая девушке из мелкобуржуазной семьи, крупному буржуа — ее шефу и жене последнего. Он необуздан и груб. А главное — им далеко до его сексуальности. Мысль автора ясна: буржуазия решила, что ей для возрождения породы требуется новая кровь, и в поисках производителя готова обратиться к рабочим. Рабочие, «убивающие Вивальди», нужны ей для собственного обновления.

Этот вид драмы, в котором перемешаны личность, секс и класс, родился задолго до Мерсера и Осборна. Д. Лоуренс великолепно развил эту мысль о сексуальной силе рабочего класса и в «Белом павлине», и в «Сыновьях и любовниках», и во многих своих рассказах. Но подход теперь изменился. Во времена Лоуренса, а также в молодости Коммона речь шла о том, чтобы «обтесать» молодого рабочего, поднять его до уровня молодого буржуа и тогда — может быть — открыть перед ним двери.

Сам Лоуренс с горечью писал об этой манипуляции в одном из своих стихотворений:

Когда лезешь вверх, в мелкие буржуа,
Много чего оставляешь позади.
Многое оставляешь, многое теряешь,
И некому тебе напомнить
Обо всем, что они в тебе убили,
Когда принялись тебя обтесывать.
...Думаешь, что они такие же, как ты,
А оказывается — они другие,
И всегда были и всегда будут другими,
Все до одного...*

В наше время подход иной. Теперь желательно не столько «обтесать» молодого рабочего, сколько позаимствовать его силу, даже в необработанном виде, лишь бы он не пытался навязать вам свое классовое сознание. Талант — да, сила — да, но классовое сознание — нет. Отсюда — удачливые молодые люди вроде Видаля Сэссуна, которых принимают «где угодно», с их полезным талантом, с их рабочим произношением или без оного. Джимми Портер, яркая личность, все же взломал дверь в буржуазный мир и переступил порог.

Подобных выходцев из рабочих изображают так часто, что говорить об этом подробно нет возможности. Но очень редко это напоминает настоящую литературу. Обычно это ежевечерние порции по телевидению, вроде серии про Альфа Гарнета, или же фильмы, искусно состряпанные молодыми режиссерами, которые в технике — гении, а в общественных вопросах — младенцы. Редко когда хитроумные убийства на наших экранах обходятся без сексуальных мотивов, и все чаще в убийствах и сексуальных похождениях оказывается замешан молодой рабочий или работница, даже если ситуация в целом сугубо буржуазная.

Порой из тенденции изображать рабочего прежде всего как личность рождается нечто близкое к подлинной литературе. Порой авторы достигают в этих узких рамках известной типичности. Лучшим примером такого полуискусства, такой полуправды, которая на самом деле — большая ложь, может служить книга Нелл Данн «Клепем-Джанкшен».

В этой книге — в который раз!—сила, сексуальность и здоровая вульгарность рабочих оказываются открытием для буржуазии. Интересно, что автор ее — женщина, и притом из буржуазной среды. Это не роман, а, подобно «Счастью Киддара», ряд эпизодов (числом 16), связанных между собой только присутствием рассказчика. Клепем-Джанкшен — рабочий район Лондона (я сам там живу), известный царящей в нем грубостью нравов. В роли рассказчицы выступает автор в своем собственном обличье — буржуазка из Челси, в высшей степени буржуазного района на противоположном берегу Темзы. На наш берег она переправилась лишь для того, чтобы познакомиться с жизнью низов.

Нелл Данн пишет, что дом, который она купила в Бэттерси (часть Клепема),— «са

* Перевод подстрочный

мое прекрасное жилище, какое я знаю. Уборная в саду была вся увита диким виноградом, и росли там подсолнухи шестифутовой высоты с цветами величиной в столовую тарелку. В конце нашей улицы виднелись четыре высоченные трубы...» Эти четыре высоченные трубы — несомненно, местный газовый завод. Автор находится в самой гуще черного рабочего района Лондона.

Но как она видит его, как чувствует и понимает?

Упор делается на том, чтобы видеть и чувствовать. Внешняя обстановка в книге абсолютно достоверна, диалог безупречен, краски, звуки и запахи трущобной жизни схвачены, казалось бы, безошибочно. Слух автора улавливает тончайшие нюансы языка рабочих, самый ритм их разговоров. Казалось бы — сама жизнь. А между тем...

Между тем в чем-то все это фальшиво, очень фальшиво. Каждая новелла у Нелл Данн—всего лишь показ, почти клиническое исследование сексуальных отношений, определяющих все мировоззрение мужчин и женщин этого невеселого района. И в авторской речи, и в диалоге, и в самых ситуациях — почти сплошь эта сексуальная игра городских джунглей, где нет моральных принципов, кроме самосохранения, да и о нем подчас забывают.

В центре книги три женщины лет двадцати — Руби, Сильвия и сама рассказчица, которую Руби представляет одному из местных парней как «богатую наследницу из Челси». Мир, окружающий здесь людей, — это поп-мюзик, деньги, дешевая одежда, трущобные ночные клубы, выпивка и секс. Девушки тянутся к мишурному блеску реклам, парни равняются на грубые нравы кино и улицы. Сильвию, Руби и рассказчицу интересуют почти исключительно мужчины и их мотороллеры. Мужчины же рассуждают так: «Мне бы только мотороллер, да десять фунтов в неделю, да чувиху, с которой переспать». У женщин одна радость — отбивать друг у друга мужчин, раззадоривать их, сопротивляться, уступать, а потом опять все сначала. Брак для них не цель, но и не препятствие (ведь и Сильвия, и рассказчица замужем).

Из мелких кусочков создается картина анархической борьбы за существование, морали физических влечений, и носители ее, в сущности, не рабочие, а люмпены. Лучшее в книге — это изображение жизни в Клепеме и Бэттерси. Ужасающие условия труда на конфетоупаковочной фабрике, в прачечной, даже на дому у работниц и сейчас, в 1960-х годах, заставляют вспомнить Диккенса. Обитателей этих закопченных улиц все время обманывают, и в отместку им остается одно — тоже обманывать. Это уже нечто вроде социального комментария, но воспринимаешь его, пожалуй, помимо авторской воли.

Казалось бы, далеко от «Клепем-Джанкшен» до «Оглянись во гневе», но это только кажется. Не получи Джимми Портер высшего образования, из него вполне мог бы выйти один из героев Нелл Данн — до умиления невежественный, буйный парень из Клепема, помешанный на сексе и быстрой езде. Да, язык Нелл Данн поэтичен и характеры ее красочны, но рабочий класс в ее книге — это люди и без настоящей работы и без своего класса. В основном это книга об интереснейших открытиях отважной исследовательницы, обнаружившей племя бесшабашных, но привлекательных каннибалов: они ходят голыми и, когда придет охота, занимаются любовью, но ни разу за всю жизнь не задумываются о том, что есть на свете нечто поважнее их сексуальных прихотей. Они — тот материал, из которого делаются жертвы, тот элемент, на котором ставили крест старые социалисты типа Фрэнка Оуэна из «Филантропов в рваных штанах», и, если довести их до логического завершения, — это идеальный типаж для показа личности рабочего в чистом виде, вырванного из своего класса.

После этой обвинительной речи все, что остается от рабочих Нелл Данн, это проникновенная поэтичность и интимность ее отношения к ним — черта, отсутствующая почти во всех современных романах о рабочих, если не считать Силлитоу и Коммона. Но та же поэтичность и интимность есть в поп-мюзик, и хотя сама по себе поп-мюзик не литература, не поэзия и не драма, все же это единственная поэзия, которая входит в жизнь современных рабочих и как-то отражает ее.

Читателям в социалистической стране это может показаться невероятным, но в Англии для большинства рабочих, и старых и молодых, не существуют даже наши великие поэты-классики. В школе дети рабочих обычно учат по нескольку строк из Теннисона, Шекспира и Браунинга, но их последующее житейское образование так враждебно поэзии, что они стараются как можно скорее забыть все, что знали, и относятся к серьезной поэзии с насмешкой и презрением. Пример такого отношения есть в романе Догерти «Хороший лев». В школе Уолт Моррис читает вслух стихи и на вопрос учителя, любит ли он поэзию, отвечает: «Да, сэр». Услышав это, «весь класс разразился злобным смехом», и Уолт краснеет от «нестерпимого стыда» — как он мог признаться, что любит поэзию?

Отнимать у рабочих членораздельную речь и богатое наследие собственной литературы — давнишний прием капитализма, а поп-мюзик порой возвращает им хоть какую-то поэзию. В прежние времена английские рабочие пели романсы — по большей части сентиментальный вздор. Немало чепухи поют и теперь. Но своей необычайной популярности битлы достигли тем, что нередко выходят за пределы этой сентиментальщины.

Каждая песенка битлов—это, в сущности, маленькая опера. Среди них есть и хорошие и плохие. Но в лучших образцах схвачено и выражено какое-то настроение молодежи, какое-то понимание жизни. Снова и снова в песенках битлов появляются живые

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ
ЛИЧНОСТЬ
И КЛАССОВОЕ САМОСОЗНАНИЕ

люди. В «Элинор Ригби» — это трагедия одинокой девушки. В «Земляничных грядах» на мгновение обнажается своего рода нереальность того мира, в котором живет вся наша молодежь. Нас подводят к самым стенам больницы для умалишенных (она и называется «Земляничные гряды»), где «ничего настоящего нет». В долгоиграющей пластинке «Джаз одинокого сердца сержанта Пеппера» есть несколько песенок, которые хоть и не касаются специально рабочих, но рисуют ситуации, типичные для рабочего класса. В двадцати пяти строках песни «Все лучше» рассказана вся история человека от школьных дней, когда он чувствует, что его не пускают вперед, до «рассерженной» молодости и брака. Он признает, что не считается с интересами своей жены, но решил исправиться и с каждым днем становится все лучше. «Она уходит из дому» — законченная маленькая опера о девушке, которая уходит из отчего дома, потому что ее «респектабельные» родители, тупые святоши, не понимают, что ей нужно от них нечто большее, чем крыша над головой. Она жила с ними, но была совсем одна. И теперь она бежит к «одному человеку, который торгует машинами», что должно означать — к прохвосту.

Если поэзия, как утверждает Кристофер Кодуэлл в «Иллюзии и реальности»,— «есть приноравливание к внешней действительности... эмоционального восприятия мира»,— тогда, значит. битлы, чьи песенки обожают миллионы рабочей молодежи, нередко позволяют этой молодежи увидеть в поэтическом свете свою собственную жизнь, поскольку других возможностей для этого у нее нет. Это очень суровый приговор нашему обществу. У наших рабочих нет Маяковских, нет Байронов и Шелли. Наибольшим приближением к живым поэтам для них являются битлы, и надо сказать, что битлы — лучшие поэты, чем многие из тех молодых англичан, что забираются в абстрактные дебри и называют себя поэтами.

Однако в поэзии битлов рабочие фигурируют только как отдельные люди, о классе речь не заходит. Но пусть до класса битлам нет дела, они хотя бы к отдельному рабочему относятся с уважением, в их песенках не найти и намека на то, что рабочий — болван, или олицетворение секса, или всего лишь орудие для манипуляций буржуазии. Личность рабочего подается честно, без предательства, а это важно в эпоху, когда другие изображают его как существо, плывущее по течению и наделенное только животными инстинктами. Битлы, при всех своих других недостатках, лучшего мнения о рабочем человеке.

Классовое самосознание плюс личность

Наиболее перспективна третья линия нашей литературы об английских рабочих, сочетающая яркую личность отдельного рабочего с упором на классовое самосознание в традиции Трессела. Ее представляют наши лучшие «рабочие» прозаики и драматурги — Силлитоу, Уэскер, Лен Догерти, Дейв Уоллис и другие.

Следует, однако, помнить, что в их произведениях есть явные просчеты, как политические, так и художественные. Но эти молодые писатели хотя бы пытаются показать, с одной стороны, яркую личность рабочего и, с другой, его крепкие общественные связи. Все они считаются с тем, что после войны в Англии появилась рабочая молодежь нового типа — порождение нашего достатка, нашего общественного распада и нашего узаконенного ханжества.

В то время как в пьесе «Оглянись во гневе» отражены черты чисто личного бунта, в рассказах и романах Силлитоу в этом личном бунте явственно слышны классовые обертоны. Книги его известны, и я не буду их перечислять, но интересно разобраться в том, как воплощен у Силлитоу (и его собратьев) этот новый образ современного рабочего и в чем он отличается от своих предшественников.

Иногда—например, у того же Силлитоу— эти новые черты определяются различием поколений. Психология старших рабочих, познавших бедность, борьбу и безработицу,— не та, что у молодых, которым послевоенная «социалистическая» Англия дала работу, приличный заработок, социальные услуги и известную долю уверенности в завтрашнем дне — чувство, не знакомое их отцам. Отчасти этим и в самом деле определяется их новая житейская философия. Рабочие у Силлитоу, Дейва Уоллиса и Лена Догерти не такие, как у Трессела и Коммона, потому что живут в иных условиях.

Более того, именно повышение материального уровня вызывает у этих рабочих буржуазные настроения. Вспомним роковой недостаток центрального персонажа из «Второго поколения» Рэймонда Уильямса — он мог думать только о зарплате и об условиях труда, словно этого для рабочих достаточно. Молодые бунтари говорят — нет, этого мало. И отчасти поэтому наши молодые писатели не очень-то симпатизируют профсоюзным чиновникам. Силлитоу — этот просто презирает «чисто» профсоюзного деятеля, радеющего только о зарплате. В романе «В субботу вечером и в воскресенье утром» он ставит «толстопузого профсоюзного паразита» на одну доску с властью, хозяином, полицией и с «типами в пиджаках и котелках», которые говорят: «У этих людей есть телевизоры, есть на что жить, есть квартиры в муниципальных домах, пиво и тотализаторы, а у некоторых даже машины. Чего же им еще нужно?» Многим рабочим старшего поколения, измученным долгими годами нужды и борьбы, этого и вправду достаточно, молодые же считают, что это не конец борьбы, а только начало.

Да, и деньги, и пиво, и машины им нужны. Это относится ко всей рабочей молодежи — и к юным каннибалам из рассказов Нелл Данн, и к Артурам Ситонам. Но Ситону и ему подобным нужно еще многое другое, в этом и разница. Им нужно нечто

большее и лучшее, чем удовлетворение элементарных потребностей. Их не обмануть классовыми подкупами, и они со всей энергией и нетерпением молодости обрушиваются на старших, которые довольствуются столь малым и так легко идут на уступки.

Что же им нужно? И как они сами намерены действовать?

Прежде всего они хотят слышать правду о самих себе. Отсюда — антигероическая тенденция этого вида литературы. Но для начала им нужна отправная точка, чтобы продолжать борьбу с того места, где прежняя борьба как будто кончилась. Это и есть глубинная тема всех книг Силлитоу, так же как и Уэскера, Дейва Уоллиса и Лена Догерти.

Лучше всего это видно на примере романа Дейва Уоллиса «В живых остались только любовники», начинающегося с того, что в Англии все, кроме молодежи, совершают самоубийство. «Старики» пали жертвой какого-то таинственного и неумолимого влечения к смерти. Молодежь, таким образом, оказывается предоставленной сама себе, и после периода хаоса, распада и войн между бандами из соперничающих классов (так, «Королевская» банда защищает Виндзорский замок) возникает «естественная аристократия ума и отваги». В результате — возврат к своего рода племенному строю, а в конце книги нам позволяют предположить, что из примитивных связей между бродячими кланами родится новая нация. Все, так сказать, начинается сызнова.

В каждой строке этого романа сквозит горькое озлобление молодежи против отцов, помирившихся на малом и предавших будущее своих детей. Рабочие у Дейва Уоллиса напоминают героев Нелл Данн, но они крепче привязаны к своему классу и ко всему общественному порядку. Уоллис их не поэтизирует, он оценивает их с социальной точки зрения. И оценка его сводится к тому, что «старики» потерпели поражение, а значит — молодым придется действовать самостоятельно и в классовом смысле, и в более широком, чтобы вообще выжить.

По-своему близок к этому взгляду и Уэскер. В 1960 г. в интервью, посвященном его знаменитой драматургической трилогии *, он сказал: «Мне страшно хотелось написать пьесу, из которой молодое поколение могло бы понять: «Ну ладно, пусть нас предали, но мы-то не должны стоять на месте». Я сам был частью поколения, охваченного отчаянием и гневом, но меня спасало желание вырваться из мрака на свет и выжить». (Обратите внимание на слова «нас предали».) Силлитоу в своих ранних вещах подобно Уоллису видел выход только в уничтожении — не только поколения, а всей общественной системы в целом. Всех перестрелять, и крышка. Но в «Ключе от двери» и даже в «Смерти Уильяма Постерса» он приходит к гораздо более взрослым выводам. Борьбу, даже классовую борьбу, ведут не одиночки, и никакой фантастический пулемет не решит ее исхода. Борьба идет во всем мире, накладывая на каждого серьезную ответственность. Вот почему Брайен Ситон в «Ключе от двери» отказывается стрелять в малайского партизана-коммуниста.

О достоинствах и слабостях этой литературы говорилось достаточно. Мне бы хотелось еще остановиться только на одной, очень важной черте. Все писатели этой группы так или иначе касаются отношений между рабочими и интеллигенцией. Ни один из них этого вопроса не решил и даже не разобрался в нем до конца, но характерна самая постановка его как неотделимого от проблем, стоящих перед их героями или антигероями.

Особенно интересно разработана эта проблема в трилогии Уэскера. Пожилой рабочий Дейв делается ремесленником-интеллигентом и добровольно выходит из борьбы. Ронни, его молодой зять, восхищается им и готов последовать его примеру, но оказывается, что жить вне борьбы Дейв просто не может, и это спасает Ронни. Только мать, Сара, на протяжении всей трилогии упорно остается в стороне от интеллигенции. И в этом ее слабость. Она не растет, в конце она та же, какой была в начале, и в последней пьесе «Я говорю о Иерусалиме» ее роль и значение в семье сходят на нет — остальные ее обогнали. Она, «как терпеливая старая тигрица», будет ждать царства божия на земле. Ее простого жизненного правила — бороться и бороться — оказывается мало, как ни стойко она отвергает интеллигентские устремления других членов семьи.

В «Хорошем льве» Догерти рабочий более четко противопоставлен буржуазному интеллигенту. Уолт Моррис (ему 18—20 лет) — насквозь рабочий, он по своей воле становится шахтером и в будущем видит себя либо шахтером, либо образованным управляющим шахты. Но политику он отвергает, «как другие поколения отвергали религию; она была неотъемлемой частью жизни его родителей, а ему не нужна». Его философия сводится к тому, что «лев, который убивает и съедает оленя,— не гадкий лев, а хороший». Другими словами, живи по законам собственной выгоды, кем бы ты ни был. Капиталист, который поступает как капиталист,— хороший лев, и коммунист, поступающий как коммунист,— тоже. Но «чтобы быть львом, нужно лучше уметь драться, чем разговаривать».

Вооруженный этими нехитрыми взглядами, Уолт Моррис знакомится с группой местных интеллигентов. У тех подход к жизни менее практичный, но более «политический». Один из них — бывший коммунист, разочаровавшийся в своих идеалах. Они толкуют о политике, но, по мнению Уолта Морриса, не понимают и никогда не пой-

* Имеется в виду трилогия Уэскера, в которую входят пьесы «Ячменный суп с курицей», «Корни» и «Я говорю о Иерусалиме».

мут рабочих. На краткое время в жизнь Уолта входит интеллигентка Элейн Стюарт, и они как бы сливаются физически и духовно, но, судя по всему, автор считает, что всякое сближение буржуазной интеллигенции с рабочими несет с собой только путаницу и затруднения.

Есть в книге и намек на то, что для буржуазии секс — разрешение любого конфликта, но Уолт Моррис на это не идет. Он женится на молодой работнице, которая никогда не будет толкать его в ряды интеллигенции. В этом выборе им движет понимание того, какие страшные соблазны стоят перед ним. Автор, вместе со своим героем, ясно видит, как опасны для образованного рабочего «чистые» интеллектуальные ценности, и у него хватает мужества от них отказаться. Но то, что он предлагает своему классу взамен — быть «хорошими львами»,— не многим лучше. Тут не открывается путей для развития.

Силлитоу также пытался ставить эту проблему в книге «Генерал», но у него ничего не вышло. В своих ранних произведениях он ее, можно сказать, не касался, а вот в «Смерти Уильяма Постерса» подошел к ней уже серьезнее. В то время как оба брата Ситоны женятся на девушках из рабочего класса, Билл Постерс бросает свою жену, женщину из рабочей семьи, влюбляется в скромную интеллигентку Миру, и их связывает подлинная общность воззрений и интересов. Вообще у Силлитоу враждебное отношение к интеллигенции менее заметно, чем у Догерти и даже у Уэскера. Мне кажется, что Силлитоу представляет себе разрешение этой проблемы не как развод, а как брак. Чтобы доказать свою приверженность к рабочему классу, он не считает нужным стирать в порошок интеллигенцию.

С нерешенной проблемой отношений между рабочими и интеллигенцией тесно связан новый образ рабочего как самодовлеющей личности. У Силлитоу, Догерти и Уэскера рабочие наделены не только силой, умом и приверженностью своему классу, но также уймой противоречий и недостатков, преизбытком горячности, грубости, сексуальности. Это-то сочетание и делает их такими достоверными и интересными. И это же сочетание ставит перед ними кроме классовой проблемы и проблемы интеллектуальные, так что жизненность их коренится не только в их физических свойствах, темпераментах и социальных чувствах, но и в их интеллекте.

Теперь самое интересное — что будет дальше? К чему все это приведет и в литературе, и в жизни?

По-моему, есть основания ждать перемен к лучшему, потому что подросло поколение, совсем не похожее на предыдущее. В отличие от Джимми Портера, который протестовал, но не мог дать ответа ни на один вопрос, у тех, кто выступает от имени западной молодежи сейчас, преизбыток ответов, и не так уж важно, что многие их идеи младенчески наивны. Гораздо важнее то, что после перерыва в двадцать пять бесплодных лет снова появилось поколение, втянутое в политику и занятое поисками своей идеологии.

Речь идет главным образом о студенчестве и молодых интеллигентах. Сейчас все английские университеты гудят интеллектуально-политическими спорами, и в моде уже не изверившиеся во всем старики, а именно эти юные мечтатели. Но зачастую в сложности происходящего бывает нелегко разобраться, потому что пересмотру подвергаются чуть ли не все политические идеи наших дней.

Когда я был в Сорбонне во время майских событий прошлого года, больше всего меня поразило невероятное множество групп, каждая из которых называла себя «коммунистической» и революционной и утверждала, что только ее мнения правильные. Тут были троцкисты, маоисты, маркузисты, анархисты, католики и даже один серьезный молодой человек, доказывавший необходимость порнографии. Но при всем разнообразии мнений они сходились в одном: все они были против капитализма.

Обычно этот протест молодой интеллигенции против капитализма связан в первую очередь с проблемой личности, и где-то здесь проходит истинный водораздел между интеллигенцией и рабочим классом. Молодой интеллигент склонен считать, что его крайний индивидуализм свойствен всем, включая рабочих. В Париже, в мае, почти все молодые интеллигенты, будь они анархистами или троцкистами, заявляли, что выступают от имени рабочего класса. Но, прислушиваясь к их речам, я понимал, что в рабочих-то они видят точную копию самих себя. Им хотелось, чтобы рабочие вышли на улицы и сражались — не столько за дело рабочего класса, сколько за интеллектуальное освобождение отдельного человека от мощных запретов, которыми сковал его капитализм.

Такого рода устремления присущи всем видам интеллигентского антикапиталистического протеста. Так, маркузисты утверждают, что рабочий класс утратил свою революционность, что потребительская система общества усыпила его и сделала беспомощным, а значит, революционным «классом» стал теперь изолированный интеллигент. Но, вчитавшись в писания Маркузе, начинаешь понимать, что в его представлении каждый человек должен носить с собой свою, личную революцию. Маркузе даже утверждает, что единственная гарантия для личности человека — это его отчуждение от общества. Другими словами, поскольку человек должен любой ценой остаться вне организованного общества, Маркузе видит единственную гарантию личной свободы как раз в одном из реальных зол капитализма — в том, что он изолирует отдельного человека.

Было бы, однако, ошибкой воображать, что мы имеем дело всего лишь с новыми вариациями старого буржуазного идеализ-

ма. Корни нужно искать глубже. Почти все западные интеллигенты испытали на себе влияние Фрейда с его объяснениями поведения человека, а именно идеи Фрейда о личности и социальном конфликте лежат в основе новых, более агрессивных видов недуга, имя которому индивидуализм. К тому же и капитализм сам по себе делает жизнь каждого человека все более трудной, так что западная интеллигенция все острее ощущает утрату своей свободы, гнет вещей и свою неспособность влиять на события.

Ну, а рабочие? Правду сказать, большинство молодых рабочих вовсе не разбирается в интеллектуальных тонкостях своего положения. Как и все наше общество, они подверглись влиянию современного индивидуализма, но мыслят-то они категориями своей работы, зарплаты и условий жизни. Потребности молодых рабочих более просты и конкретны, и хотя многие из них сейчас обеспечены и даже имеют свободные деньги, подлинной уверенности в будущем у них нет, они все время помнят, что в любой день могут лишиться работы, а с нею и зарплаты, и крыши над головой, и того скромного имущества, которое им удалось вырвать у эгоистического и жадного общественного строя. Вот что толкает их на борьбу, и это отнюдь не равнозначно интеллектуальным абстракциям бунтующего студенчества.

Выходит, что молодые интеллигенты с их новой политикой не видят главного — страшной действительности, в которой живет рабочий. Сейчас уже нелегко сформулировать, как именно осуществляется угнетение рабочего класса на Западе. Казалось бы, все обстоит хорошо. Но когда побеседуешь с детьми в том районе Лондона, где я живу, и увидишь, как плохо их воспитывают, как умышленно отгораживают от основного потока культуры, на какую куцую жизнь они обречены, тогда становится ясно, что для угнетения их применяются средства более тонкие, чем винтовка и сапог полицейского. Истинное угнетение незримо. Нужно самому пожить жизнью рабочего, понять социальную сущность этой жизни — только тогда поймешь, как коварно, какими изощренно мягкими и незаметными способами их держат в повиновении. Персонажи Нелл Данн — сплошь жертвы этого незримого угнетения, хоть они и не знают, в чем оно состоит. Не знает этого и сама Нелл Данн, хотя временами, видимо, удивительно чутко ощущает всем своим существом. Силлитоу именно потому такой замечательный писатель, что он умеет распознать мельчайшие уловки этого скрытого угнетения, вытаскивает их на свет божий и гневно предлагает нам для обозрения. В этом главное различие между его романом «В субботу вечером и в воскресенье утром» и книгой Нелл Данн «Клепем-Джанкшен».

Да, этой действительности молодая интеллигенция еще не понимает. Майские события во Франции по-своему типичны: французские студенты требовали немедленной революции — сегодня, сию минуту. И, видя их «революцию» в действии, нельзя было не любоваться их боевым задором, понимая, однако, что это — та самая детская болезнь левизны, которую с такой силой осудил Ленин в своей знаменитой работе. Очень много там было романтического, живописного. Положение в Париже все время напоминало мне книгу Рида «Десять дней, которые потрясли мир», но так, словно оказалось возможным прочесть ее с двух разных точек зрения. Когда я сам читал эту книгу, Ленин и большевики представлялись мне полководцами, которые воюют с большими и сложными силами, направляют передвижения своих частей, организуют разведку, обширную сеть коммуникаций, подлинно революционные отряды, планируют свою стратегию и тактику с огромным, великолепным размахом. А вот парижские студенты, хоть и явно равнялись на 1917 год, читали эту книгу совсем по-другому. Им все представлялось как ряд драматических сцен. Однажды, например, я видел, как небольшая группа студентов, возглавляемая девушкой с красным флагом, шла отбивать почтовое отделение, занятое жандармерией. Выглядели они удивительно живописно — до того, что я подумал о 1917 годе и готов был расчувствоваться. Но это и все. То, что они делали, не имело никакого отношения к подлинным силам революции. Реальных сил у них не было. Не было ни реального плана, ни штаба, ни массовой поддержки рабочих, крестьян и солдат. В Сорбонне, где споры шли по двадцать четыре часа в сутки, а также в театре «Одеон» атмосфера тоже была как бы создана для революции, но с практической и стратегической точек зрения это больше походило на спектакль, чем на историческое событие.

Впрочем, я не ставлю им в упрек эту живописную романтику, я ставлю им в упрек их беспомощность, их полное непонимание того, что значат революция и история. Дело, конечно, в том, что это были в лучшем случае мелкобуржуазные радикалы, которых, в сущности, не интересовали истинный смысл, глубина и задачи настоящей революции. Интересовали их только идеи и театр идей. А между тем, благодаря особому стечению обстоятельств, они смогли разыграть драму, исторически необходимую.

Один знакомый, от которого я уже в августе получил письмо из Парижа, выразил это так: «Мне кажется, что в мае французские студенты, в большинстве своем Ламартины, опьяненные революционным порывом, но не зная толком, на что его употребить, сами того не подозревая, выполняли требования истории. Французскому капитализму нужна была реформа народного образования, старая система уже стала тормозом для развития страны в целом. И студенческая «революция» послужила искрой, толч-

---

ДЖЕИМС ОЛДРИДЖ
ЛИЧНОСТЬ
И КЛАССОВОЕ САМОСОЗНАНИЕ

ком для необходимых перемен... Сам Эдгар Фор, предлагая проект реформы университетов, упомянул о необходимости перестроить устаревшую систему образования в соответствии с той новой ролью, которую Франция играет сейчас в Европе».

Какое все это имеет касательство к рабочему классу и интеллигенции Великобритании? Прямо — никакого, косвенно — безусловное. У нас основа для отношений между рабочим классом и интеллигенцией другая, потому что наша экономика страдает от другой болезни. Но по существу у нас идет та же борьба за более широкое использование талантов, чем это было возможно при старой системе. С этого положения я начал свою статью. И это же положение выдвигали в Сорбонне французские студенты. Но в то время как у английской буржуазии хватило ума после войны «впитать» и использовать таких людей, как Видаль Сэссун, французская буржуазия попрежнему не пускала их на порог.

Однако для английского рабочего класса этот процесс впитывания не разрешил проблемы, и главное зло — в той путанице и развращении, которые этот процесс порождает. Я имею в виду не вульгарную развращенность персонажей Нелл Данн, а более утонченную путаницу идей и мнений, в которой мечется интеллигенция. Джон Осборн с горечью говорит об этом процессе в интервью для «Обзёрвера», которое взял у него в июле этого года Кэннет Тайнан. Осборн называет себя скорее консерватором, чем анархистом, и это достойно внимания. «В наши дни,— говорит он,— многие левые настроения представляются мне каким-то стандартизованным радикализмом. Они не продуманы, не пережиты. Они поверхностны и скучны». В устах Осборна это звучит особенно остро. Когда Тайнан спросил, воодушевили ли его недавние события во Франции, Осборн ответил: «Ничуть... В том, что происходило в Сорбонне, я вижу больше животного, чем человеческого... сборище людей, эксплуатирующих других людей».

А об английском рабочем классе он выразился так: «Что ж, рабочий класс сейчас не тот, каким был, когда я с ним развязался. Горе в том, что история выбила почву у него из-под ног. Теперь если кто и победит, так не рабочий класс, а технологи. Лейбористская партия сделала ставку на алчность, и ответом была технократия». Это вполне соответствует прежним взглядам Осборна на рабочий класс, однако нет сомнений в том, что он стал лучше понимать сущность нашей жизни и нашей эпохи.

С первого взгляда может показаться, что сейчас Осборн признает, что его целиком впитала существующая система, на самом же деле он только начинает прояснять и отстаивать свою шкалу ценностей. Так, например, он отстаивает театр от всякого рода модных антитеатральных новшеств, таких, как «хэппенинг», «световой аттракцион», «синтетическое представление». Ему претит мысль, что «какой-нибудь болван, направляющий на стену световые пятна, делает нечто столь же значительное, как тот, кто пишет пером по бумаге». Он осуждает наркотики, исходя из очень здравых соображений. «Я — веселый алкоголик. Пить вино — это цивилизованный вид общения, не то что наркотики — они разделяют людей, отчуждают их друг от друга. Наркотики — это для тех, кто занят только самим собой... ну их к черту, и тем, кто их употребляет, туда и дорога». По поводу психоанализа, еще одного проклятья нашей интеллектуальной жизни, он говорит, что сам ни за что не пошел бы к психиатру: «Это было бы равноценно кастрации. Доктор Бергл (психиатр, которого Осборн назвал «фрейдиствующим бандитом») надел бы на лицо радостную улыбку, и после этого от меня уже ничего бы не осталось». Он обрушивается на посредственность и на то, что называет массовой истерией, разумея влияние телевидения и прессы на нашу жизнь.

В сущности, все это — повторение дилеммы, перед которой Осборн стоял и раньше, только теперь он медленно, но верно начинает признавать, что сам он — тоже жертва и что достижение его личной цели — сохранить себя в целости и неприкосновенности — становится все труднее. Более того, он высказывает мрачный прогноз, что «через несколько лет» погибнет его собственное средство выражения, театр, а заодно и он сам.

Казалось бы, ценности Осборна намного выше, чем презираемый им «стандартизованный радикализм», однако же у наших молодых стандартизованных интеллектуалов есть нечто, необходимое для всякого дальнейшего роста. Пусть они рассуждают о революции, как младенцы, пусть воображают себя авангардом рабочего класса, пусть пребывают в заблуждении, будто они и есть настоящие коммунисты,— все же их призыв к действию ведет их в гущу реальных действий. А на этом пути у них, несмотря на всю наивность их взглядов, больше шансов доискаться правды, чем если бы они просто стояли в стороне или боролись в одиночку.

Вот почему я и говорю, что можно ждать перемен к лучшему. Повсюду вокруг нас снова рождаются идеи, словно кто-то сбил с клетки замок и выпустил на волю диалектику, которую мы столько лет держали взаперти. Беда только в том, что до сих пор почти все эти вырвавшиеся на волю идеи относятся к области интеллектуальной и более чем когда-либо сосредоточены вокруг проблемы личности. Какой бы стороны нашей жизни сейчас ни коснуться — от поклонения Христу до накопления денег,— вы увидите, что она заключена в золотую, сверкающую, переливающуюся оболочку личности. Никому от этого не спастись. Бизнесмены теперь не просто делают деньги, они, оказывается, интереснейшие личности, чьи биржевые махинации лишь отражают всю сложность их характеров. Характерными личностями оказываются рабочие, арестанты, животные, священники, грудные младенцы. Даже Христу присвоена

новая личность, а дети школьного возраста — те только и делают, что выражают свою личность с первого до последнего дня, проведенного в школе.

В результате сама эта личность меняется. Когда Тайнан критиковал Осборна за то, что в его трех последних пьесах показаны не живые люди, а сугубо театральные фигуры, Осборн энергично отбивался, уверяя, что все мы сейчас становимся сугубо театральными фигурами. Все становимся актерами. И Тайнан, видимо, с ним согласился, ведь он тоже сказал, что в наши дни больше всего и в жизни и в искусстве его привлекает резко выраженная игра. Иными словами, высокая концентрация личности в действии. Для художника это всегда очень заманчивый материал — он вдохновляет на поиски собственного «я». А на этих поисках строится почти вся наша современная драматургия, литература и искусство. Мы все как бы живем, подобно персонажу Пиранделло, на трудноуловимой грани между сценой и действительностью.

Но удержаться на этой грани трудно, и рано или поздно неизбежна реакция. Возможно, она наступит еще не скоро, но в конце концов индивидуум несомненно сам себе надоест, запутанные внутренние конфликты перестанут питать драматургию, и самый факт человеческого существования внезапно взорвется неким антииндивидуализмом, который изменит не только наши пьесы, но наши жизни. Пока же мы будем продолжать резко выраженную игру на резко выраженных эмоциях, какие вызывают у нас секс, смерть, ненависть, страсть, рождение, война, безумие, власть и т. п. Наш интерес к самим себе по-прежнему будет патологическим, потому что язык современного искусства есть анатомирование, а современная драматургия — сплошное расчленение трупов.

Было бы с чего прийти в отчаяние, если бы интеллигенция только этим и жила. Но так быть не может, и молодежи это уже ясно. Едва ли не первое, чему учит участие в политической жизни, это то, что движение социальных сил определяется общей ситуацией, куда более могущественной, чем одинокий, сомневающийся отдельный человек. Поскольку наши молодые интеллигенты занялись поисками идеологии, они сами в этом убедятся. И рабочие тоже.

Конечно, неправильно было бы считать, будто рабочие уже полностью осознали, что они втянуты в великую битву. Битву эту они безусловно ведут, но классовое сознание у них еще в большой мере инстинктивное. К этому должно прибавиться сознание историческое, которое приносит с собой интеллигенция, когда объединяется с рабочими. Это и есть тот реальный союз, о котором предстоит говорить нашим писателям.

Нужно всегда помнить одно — что классовая борьба остается классовой борьбой и именно рабочие всегда расплачиваются за любую новую идею или политику, провозглашенную от их имени. Осознать себя, свой класс и свое будущее рабочим поможет не новый тип молодого удачника — Видаль Сэссун, а интеллигенты и писатели, изображающие жизнь рабочего класса честно, пусть даже беспощадно, сохраняя в полной мере классовое самосознание и интеллектуальную неподкупность.

г. Лондон

Перевод с английского М. ЛОРИЕ

С недавнего времени тема «Восточный Ренессанс», или «Ренессанс на Востоке», довольно широко обсуждается в науке — в работах И. С. Брагинского, В. М. Жирмунского, Н. И. Конрада, Ш. П. Нуцубидзе, В. К. Чалояна и др.

Изучение показало, что у некоторых народов этапу функционирования их литератур, как литератур национальных, предшествует этап их существования в составе литературы зональной, то есть общей для определенного культурно-исторического региона,— достаточно вспомнить хотя бы историю литератур иранских и тюркских народов нашей страны. А открытие зональных литератур потребовало осознания этого факта в плане истории мировой литературы в целом. В связи с этим возникла мысль о возможности трактовать один из этапов истории литератур наших народов в плане «Ренессанса», как некой специфической эпохи в истории культуры многих народов мира.

*Поскольку вопрос о ренессансных литературах на Востоке самым непосредственным образом касается общих проблем истории мировой литературы, значение этих литератур в такой трактовке далеко не безразлично и для литературы современности, литературы интернациональной. Редакция «Иностранной литературы» публикует статью академика Н. И. Конрада * об Алишере Навои и литературе Восточного Ренессанса, воспроизводящую его речь на сессии, посвященной Навои, в Институте мировой литературы им. А. М. Горького.*

Н. И. КОНРАД

СРЕДНЕВОСТОЧНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ И АЛИШЕР НАВОИ

I

Герат и Самарканд... Самарканд и Герат... Это — не просто города, где протекала жизнь и деятельность Алишера Навои, это — полномочные представители его мира — той зоны Старого Света, которой они, эти города, принадлежали. Подумаем немного об этой зоне.

Вот она, эта зона, в IV веке до н. э. Тогда она — империя Искендера. Говорю Искендера, а не Александра, потому что создателем этой империи этот завоеватель стал тогда, когда он из македонца превратился в иранца, из сына царька захолустного царства в сына Аммона-Ра. Именно этот Искендер, властитель Греции, Ирана, Египта, присоединивший или приблизивший к себе — то как грозный полководец, то как умный и великодушный государственный деятель — Кашмир, Индию, Китай, именно этот Искендер первый с исключительной яркостью показал, что необъятные пространства, по-нынешнему — Средняя Азия, Афганистан, Северо-Западная Индия, Иран, Закавказье, присредиземноморские страны Юго-Западной Азии и Северо-Восточной Африки,— что эти пространства составляют не только Срединную, географически, зону Старого Света, но и Центральную: политически — как центр могущественной державы, культурно — как важнейший тогда очаг мировой, именно мировой, а не локальной культуры. Политически это была только идея, властная, могучая, но все же лишь идея, но культурно-исторически — факт. Великая культура Древнего Египта, Ахеменидской Персии — а это значит, и того, что было за ней — культура Ассиро-Вавилонская,— культура Эллинского мира — реальность. Реальность и их европо-афроазиатский комплекс — то, что с IV века до н. э. стало слагаться именно в этой зоне Старого Света.

* См. также статью Н. И. Конрада «Витязь в тигровой шкуре» и вопрос о ренессансном романтизме». «Народы Азии и Африки», № 6, 1966 г.

И вот она, эта зона, во II веке уже нашей эры. Она опять стала Центральной. Тогда она была объединена Кушанской империей, а ее властитель — Канишка — был одновременно Шаонана-шао, Царь царей, Девапутра, Сын Неба, Кайсара, Кесарь, Магараджа. Политически это была опять только идея: ни ханьские хуанди, ни римские цезари не преклонялись перед кушанскими властителями, но культурно-исторически это опять — факт. И факт еще большей исторической значимости. На огромных пространствах этой зоны снова образовался комплекс. Наиболее известным выражением его явилось искусство. Его мы называем гандхарским — по главному району, где оно было обнаружено, греко-буддийским, а лучше сказать греко-индийским,— по его источникам. Но даже такое более расширенное наименование не исчерпывает всех его элементов: в нем, этом искусстве, есть не только то, что пришло сюда из окраин этой Срединной зоны — эллинистического мира и мира индийского, но и то, что зародилось за пределами этой зоны: далеко на Западе — в Риме, далеко на Востоке — в Китае. А главное, все это накладывалось на свое, исконное — на первый, начавший создаваться еще в IV веке до н. э. культурно-исторический комплекс. Если этнически эта Срединная зона и не имела определенного лица — ведь в ней были тогда иранцы, индийцы, греки,— то культурно у нее такое, глубоко своеобразное и, главное, собственное, лицо было.

В эпоху Кушанской империи эта зона вновь стала Центральной для всего Старого Света, но на этот раз — и в другом, особом аспекте.

Во всякой эпохе есть ее современность и ее будущее. Современностью тогда во II—III вв. н. э. как в Кушанском царстве, так и за его пределами была Античность. И какая Античность! Не забудем, что на Востоке это был век Поздней Ханьской империи, на Западе — век Августа-Диоклетиана. А это — не просто Античность, это — ее апогей.

Да, апогей... Но вспомним другой апогей. В небе нестерпимым блеском засияла величественная Валгалла. С земли к ней протянулся сияющий мост — радуга. И по этому мосту торжественно, величаво шествуют в эту самую Валгаллу боги. Высшее торжество! Апогей! Не правда ли? А оказалось, что это был также и Vorabend, «Канун». И за ним последовал великий пожар Валгаллы, а вместе с ним и Götterdämmerung, «Сумерки богов»... Первый факел, который был брошен в Сияющую Валгаллу Античности, факел, созданный той же Античностью, был зажжен именно тут, в Кушанском царстве. При том же Канишке состоялся Вселенский собор буддизма, его называют и вторым и третьим, а этот собор превратил провинциальное вероучение во вселенскую религию: он со всей мощью вознес идею Махаяны, «Большого Колеса», и он же положил начало «походу веры», то есть внес во вселенскую идею необходимый для нее динамизм. А менее чем через два столетия, в 325 г. в той же Центральной зоне, в малоазиатской Никее, состоялся первый Вселенский собор христианства, выработавший всеобъемлющую доктрину веры, которая превратила первоначально провинциальную секту во вселенскую религию, и религию при этом — миссионерскую, то есть с тем же неудержимым динамизмом. А еще через четыре столетия, в VII веке, также в этой зоне был приведен в систему Коран, превративший ислам в третью — вселенскую по идее, миссионерскую по динамизму—религию человечества.

То, что все это происходило именно в этой зоне Старого Света, не было ни случайностью, ни прихотью божественной Клио.

Ведь именно в этой зоне Старого Света еще во времена Искендера твердо установилась одна из самых великих идей человечества — идея универсализма. А коль скоро так, не заслуживает ли она имени не просто Срединной, но и Центральной зоны Старого Света? И разве не такой же она в третий раз стала в век Алишера Навои?

2

Да, она стала такой, по-своему, по-новому, но все же опять не только географически Срединной, но — Центральной зоной.

Прежде всего потому, что в ней снова ожил великий дух универсализма. И опять — в тех же своих двух ипостасях: политическом и культурном. На этот раз дух Искендера и Канишки проявился в Тимуре. Я не оговорился: дух Искендера и Канишки, а не Чингиз-хана, потомком которого Тимур был и чью развалившуюся империю хотел восстановить. Но «Империя Чингизидов», как и «Священная Римская империя германской нации», была лишь локальным выражением той подлинно вселенской идеи, которая впервые во всей ясности оформилась в этой Центральной зоне Старого Света в век ее Античности и с особой силой вознеслась в ее Средневековье. Понимал ли ее Тимур или не понимал — сказать трудно, но то, что он вырос там, где эта вселенская идея родилась, не могло не сказаться и на его идеалах.

И что же? Опять в политическом аспекте этот универсализм оказался иллюзией, но в культурном — снова стал реальностью.

Помните, что произошло, когда Алишер закончил свою «Хамсэ», свое «Пятикнижие»? Он захотел показать этот свой труд, и должен был это сделать, своему Учителю и старшему другу — Абдурахману Джами. Тот взял рукопись, бросил на нее взгляд — и этого было достаточно: он положил руку на плечо ученика. И тот увидел, что он в каком-то чудесном саду, а в этом саду какие-то величавые мужи. Один из них подошел к нему, оказалось, это — Хасан Дехлеви, знаменитый поэт. Он сказал

Алишеру, что эти мужи хотят заговорить с ним. И вот перед Алишером — трое: посредине — Низами, справа — Амир Хосров, слева — сам Джами. А за этими тремя стояли Фирдоуси, Унсури, Насер Хосров, Анвари, Хакани, Сана'и, Саади. Прославленные поэты с X—XI вв.— с века Фирдоуси, по середину XV века — века Джами.

Нужно ли объяснять, что это означало? Не забудем, кто положил свою руку на плечо поэта: его Учитель. Тогда Учитель делал только то, что единственно нужно ученику: делал невидимое видимым, неосознаваемое— осознаваемым. Джами показал своему ученику, к кому привела его Хамсэ, в круг каких людей она его ввела, то есть показал ему и направление, и смысл его творческой работы. А что большее может сделать Учитель? Но великий Учитель сделал то же и для нас, историков литературы: мы увидели то, что, может быть, не столь ясно видели,— эти люди, эти поэты принадлежат одному большому времени, одной большой эпохе и что эта эпоха — своя, особая.

Что это за эпоха? Чтобы лучше ответить на этот вопрос, к перечисленным именам добавим еще некоторые, имена людей, также принадлежавших этим пяти векам — с XI по XV. Вот эти имена: Рудаки, Руми, Хафиз — великие поэты; ал Фараби, ал Бируни, Ибн-Сина, Ибн-Рошд — ученые, философы. Кажется, достаточно. Примем еще во внимание и то, что ал Фараби был тогда — и не только в этой зоне — авторитетнейшим знатоком Аристотеля, что он сделал то, что для средневекового настроя мышления было так близко и так нужно, — соединил аристотелизм с неоплатонизмом. Не забудем, что Ибн-Сина не кто иной, как Авиценна, то есть величайший в эту эпоху и для Запада авторитет в науке врачевания — той науке, которая, как показала история научного знания, была входом в естествоведение, во всяком случае, в ту его область, которая изучает человека. Вспомним, наконец, что Ибн-Рошд — это сам Аверроэс, а аверроизм был первым очагом, в котором затеплился огонек рационалистической мысли, той самой, которая привела потом к Декарту, Спинозе, Лейбницу — великим умам, открывшим новую структуру мышления, соединившуюся с тем комплексом новых явлений в экономике, социальном строе, политической сфере, который мы называем Новым временем.

А Джами? Он — поэт, он — философ, он— филолог, он — музыкант. Но при всем том он — суфи. Для него существуют две сферы познания: тайны бытия и тайны творчества. Поэтому среди его писаний — тайноведческие откровения и трактаты по поэтике, риторике, музыке.

Не достаточно ли? Ибн-Рошд с его рационализмом, Джами с его мистицизмом... Разве это не те самые могучие силы, которые взорвали Средневековье и открыли дорогу к Новому времени? Разве это не именно те силы, которые создали ту динамическую переломную эпоху в общей истории феодального мира, которую мы называем Ренессансом?

Но что они, эти силы, взорвали? Можно по-разному ответить на этот вопрос — смотря с какой стороны к этой эпохе подойти. Я позволю себе ответить с особой стороны — той, существование которой мне открыл буддизм.

Мы знаем, что одним из проявлений того, что я назвал ренессансным взрывом Средневековья, была реформация. Мы знаем об этом по истории Ренессансной эпохи в Западной Европе. Мы знаем также — также по тому, что нам открыла история Западной Европы, — что в этой форме ренессансный взрыв произошел не в центральной стране западноевропейского Ренессанса, а на ее периферии: не в исполненной тысячелетними культурными традициями Античности старой Италии, а в молодых странах, не имевших опыта и наследия собственной большой Античности. Мне кажется, что это не случайность, а определенная закономерность и что в сходных исторических условиях подобную же картину, разумеется, расцвеченную своими красками, можно наблюдать и на другом конце Старого Света — в Восточной Азии, где также была старая, исполненная тысячелетними традициями своей великой Античности страна — Китай и где рядом была молодая, не имевшая опыта и наследия подобной Античности Япония. В Китае, как и в Италии, Ренессанс проявился не в форме Реформации, в Японии, как и в Германии,— именно так. Она была осуществлена, естественно, в сфере буддизма, и произвел ее буддизм Дхьяна — тот самый, который в специальной литературе западных стран называют обычно японским произносительным вариантом этого санскритского слова — буддизмом Дзэн.

Я заговорил об этом только для того, чтобы воспользоваться мудрым, как мне кажется, словом, которым деятели Дзэн-буддизма обозначили то, против чего они выступили, и одновременно объяснили, почему они против него выступили. В буддийской доктрине существует учение о трех эрах, через которые проходит «Закон», как они говорили, то есть учение. Толкуются эти эры по-разному, но суть всегда одна: каждое учение проходит три эры. Первую они называют эрой «Истинного Закона»: это — то время, когда учение пламенеет в душах людей, делает каждую их мысль, каждое действие вдохновенным. Вторую они назвали эрой «Подобия Закона»: это — тогда, когда все как будто на своем месте, даже как будто прочнее, чем раньше, но учение уже — простая принадлежность духовного мира, а не его жизнетворное начало. Мы говорим: гуманисты на Западе боролись с догматикой и схоластикой. Не есть ли догматика и схоластика, а с ними и то, чему они служат опорой, — ортодоксализм, именно не «Закон», а всего только «Подобие Закона»? И не это ли есть самое страшное? Ведь за эрой «Подобия Закона» неизбежно наступает третья — эра «Конца Закона».

Дзэнцы совершили свою духовную реформацию, провозгласив единственной основой духовного процесса «сатори». Это — опять японское слово, по-русски оно, как мне кажется, лучше всего в данном случае

передается словом «постижение». Это слово удобно потому, что в нем могут сосуществовать обе идеи, заложенные в понятии «сатори»: идея познания разумом и идея познания интуицией, коротко говоря, те два переплетающихся начала — рационализм и мистицизм, которые мы находим в ренессансном мире Алишера Навои.

Но у него, как и у его учителя, Джами, как у всех его соратников — современников и предшественников, — в борьбе с «Подобием Закона» были могучие соратники. Кто они?

Вот поэма Джами — о том же Искендере. В ней он рассказывает об учителе будущего великого завоевателя — об Аристотеле. Рассказывает, что Искендер с этим своим учителем изучал Эвклида и Птолемея. А затем в той же поэме идут: Книга мудрости Аристотеля, Книга мудрости Платона, Книга мудрости Сократа, Книга мудрости Гиппократа, Книга мудрости Пифагора, Книга мудрости Искилиноса, Книга мудрости Гермеса Трисмегиста...

А вот поэма Низами. В ней — диспут, происходивший у того же Искендера. Диспут о «происхождении Неба и Земли», то есть о бытии. В нем участвуют Аристотель, Фалес, Аполлоний Тианский, Сократ, Порфирий, Гермес Трисмегист, Платон...

Мне эти перечни имен представляются изумительным историческим документом. Во-первых — по своей точности: названы все великие имена Античности, и, заметим, почти все они так или иначе связаны с этой Срединной зоной Старого Света. Во-вторых, они говорят о Возрождении: ведь и Сократ, и Платон, и Аристотель, и Пифагор уже прожили свои три эры — своей «Истинности», своего «Подобия», своего «Конца». И вот они возродились. Конечно, в новом, совсем в особом, облике, но таком, который был снова истинным—для другого времени, для других людей, для другого строя мысли. В-третьих, само сочетание этих имен. Вот уж где нет ни тени догматической ограниченности! Аристотель и Гермес Трижды Великий, Сократ и Аполлоний Тианский... Беспринципность? Нет! Огромная емкость ума, удивительная многоцветность мысли, поразительное богатство духа! Прибавим к этим именам еще и индийских гимнософистов... О них ведь также идет речь. И перед нами во всем своем сияющем блеске Ренессанс! Если учесть, что все-таки не в Японии и не в Китае родился Дзэн-буддизм, что его истоки также лежат где-то в далекой Срединной зоне Старого Света, не заслуживает ли она снова в эту эпоху, в свои X—XV вв., наименования Центральной?

Все названные великие люди Древности присутствуют и действуют в произведениях Алишера Навои. Он и в этом — человек своей замечательной эпохи. Ее ренессансный дух проявился и тут.

3

Джами, однако, показал своему ученику, и показал точно, место его в этом Ренессансе. Кто были те трое, которые подошли к нему в его видении первыми? Низами, Амир Хосров, Джами. Что их объединяет? Они создали — каждый свою — Хамсэ, свою «Пятирицу». Почему Низами посредине? Потому что прославленность этого творческого жанра началась с его «Пятирицы».

Хамсэ—соединение пяти отдельных произведений, поэм, как мы их обычно именуем, героико-романтических поэм, как поясняют некоторые исследователи литературы этой эпохи.

Если позволено к литературе Ренессанса прилагать определения «реалистическое» и «романтическое» не в исторически точном значении этих понятий, когда они сложились, а как обозначения двух особых настроев образного мышления, — в литературе Ренессанса был и свой реализм, и свой романтизм. Поэмы Алишера Навои несомненно, во всяком случае одной своей стороной, принадлежат романтической стихии Ренессанса. А то, что она, такая стихия, столь же показательна для этой эпохи, как и реалистическая, удостоверяет картина ренессансной литературы и в двух других зонах Старого Света. На Западе есть новеллы Боккаччо, Сакетти и многих других, — и есть «Влюбленный Роланд» Боярдо, «Неистовый Роланд» Ариосто, «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо. На Востоке есть новеллы Юань Чжэня, Бо Синь-цзяня и многих других—и есть «Пинхуа Саньгочжи» (1321), «Саньгочжи яньи» (1494), «Шуйху чжуань» (1566). Эти китайские произведения принято называть романами, вероятно, главным образом потому, что они написаны прозой. Но опыт мировой литературы наводит на мысль, что жанры, одинаковые по литературной природе и своему историческому месту, могут реализоваться разными средствами — и стихами, и прозой. Многое зависит от литературных традиций, наконец от возможностей самого языка. Героико-романтические эпопеи этого же плана в Японии — «Сога-моногатари» и «Гикэйки» (XV)—также реализованы в прозе. «Поэмность» в них создается не стихом, а другими средствами и приемами словесного искусства—особой образностью, широко развитыми фигурами, ритмом, интонацией и т. д.

Поэмы Алишера Навои помогают нам лучше понять отличие ренессансных поэм от поэм Средневековья. «Влюбленный Роланд» — совсем не то, что «Песнь о Роланде». Герой «Песни» — рыцарь как он есть, со всеми чертами, которые тогда считались присущими истинному рыцарю, он обрисован, следовательно, для того времени «реалистически». Герои ренессансных поэм обрисованы «романтически». И это понятно: в век Ренессанса рыцарей уже не существовало, а если их как-то себе представляли, то с мобилизацией всех сил воображения, фантазии.

Возьмем два образа Алишера Навои. Он—

герой, она — героиня. Он, конечно, витязь. Но как обрисовано в нем это качество витязя? Посмотрим это на примере Фархада, героя поэмы «Фархад и Ширин»:

Всего достичь — таков его удел:
Оружием науки он владел.

Оружием отваги — силой сил —
Теперь он также овладеть решил.

И овладел. Хватая на бегу,
Мог разгибать он радуги дугу;

Тупой стрелой он мог Арктур пронзить,
А острой мог зенит он занозить;

Планету Марс он на аркан ловил,
Созвездью Льва хребет он искривил;

Он выжал воду из созвездья Рыб;
Он шестопером семь бы сфер прошиб.

(Перевод Льва Пеньковского)

А вот — героиня, Ширин. Разумеется, она — красавица. Между прочим, весьма любопытно, что в поэме свои прелести она описывает сама! Да в каких выражениях! Прочтем несколько строк из знаменитого ее письма к Фархаду — разлученному с ней и, следовательно, как она уверена, горько тоскующему по ней,—мысленно представляя себе ее облик:

Лишь о моих ты вспомнишь волосах,
Чернеет ли весь мир в твоих глазах?

Михраб * моих бровей припомнив там,
Как юный месяц, не согнешься ль сам?

Мои ресницы вспомнишь ли, грустя,
Чтоб каждый волос стал острей гвоздя?

Лишь вспомнишь ты мои глаза, скорбя,
Пронзит ли боль стоиглая тебя?

Представишь ли мои зрачки себе
Так, чтобы выжглись клейма на тебе?

Вообразишь мои две розы ты,
Прольешь ли розовые слезы ты?

О родинке моей мечтать начнешь,
На ране сердца сколько мух сочтешь?

...Когда вообразишь мои уста,
Блуждает ли в небытии мечта?

Не стали б ямки на щеках моих
Колодцами горчайших мук твоих?

(Перевод Льва Пеньковского)

Вот такой, поистине не знающий границ, гиперболизм в описаниях и характеристиках, вот такой разгул фантастики, вот такая увлеченность стихией героико-романтического приключения, авантюры и составляет, как мне кажется, существенные приметы поэм Ренессанса, кто бы их ни создавал — Низами или Тассо, Навои или Ариосто. Алишер — полномочный представитель этой линии Ренессанса. И где? На огромном пространстве Центральной зоны Старого Света, где были иранцы и тюрки, арабы и индийцы, китайцы и греки.

4

И вдруг — неожиданность: этот великий поэт, поэт-мыслитель, как его справедливо называют, принадлежащий огромному, этнически столь разнородному миру, стал классиком узбекской поэзии, основоположником узбекской литературы. Его вывели из широчайшей сферы и ввели в узкую. Поэт, у которого герои — кто угодно: Фархад — китаец, Шапур — перс, Ширин — армянка, Кайс — араб, Искендер — грек, этот поэт оказался поэтом узбекского народа.

Сначала это поражает и как будто бы даже огорчает, но потом начинаешь понимать законность такого превращения. Более того, начинаешь видеть в этом превращении проявление одного исключительного по важности момента истории мировой литературы — распада зональных литератур на литературы национальные, то есть изменение масштаба, характера, самой формы существования литературы как общественного явления.

О чем мы должны тут вспомнить прежде всего? О том, о чем сказал Энгельс: «Тенденция к созданию национальных государств, выступающая все яснее и сознательнее, является одним из важнейших рычагов прогресса в средние века»*. XV век в зоне Алишера Навои — век Ренессанса, когда Средние века в собственном, специфическом смысле этого исторического понятия уже уходили в прошлое. Следовательно, именно в это время процесс формирования «национальных государств», как их назвал Энгельс, должен был проявиться с особой ясностью.

Факты — налицо: в век Алишера Навои в 1428 году начинает существовать узбекское ханство, в 1501 году узбеки изгоняют из Самарканда Бабура. Рождается государство, но что гораздо важнее — народность начинает превращаться в нацию. Только начинает, конечно, — та ступень социальной интеграции этнического коллектива, которую мы обозначаем словом «нация», достигается позднее. Но путь установился уже тогда: для узбеков он начался именно в век Алишера Навои. Он сам свидетельствует об этом:

Я — не Хосров, не мудрый Низами,
Не шейх поэтов нынешних — Джами.

Но так в своем смирении скажу:
По их стезям прославленным хожу.

Пусть Низами победоносный ум
Завоевал Берда, Ганджу и Рум;

Пусть был такой язык Хосрову дан,
Что он завоевал весь Индустан;

Пускай на весь Иран поет Джами,
В Аравии в литавры бьет Джами,—

Но тюрки всех племен, любой страны,
Все тюрки мной одним покорены:

Я войск не двигал для захвата стран,
Но каждый раз я посылал фирман **.

Скажи: писал я дарственный диван ***
Не так, как государственный диван,—

И от Шираза до степей туркмен,
От Хорасана до китайских стен,

---

* Михраб — ниша в мечети. Круглая арка михраба часто сравнивается с бровями красавицы.

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 410.

** Султанская грамота, указ.

*** Диван — 1) сборник стихов, 2) совет, канцелярия.

Где б ни был тюрк, под знамя тюркских слов
Он добровольно стать всегда готов.

И эту повесть горя и разлук,
Страстей духовных и высоких мук,

Всем собственным невзгодам вопреки,
Я изложил на языке тюрки...

(Перевод Льва Пеньковского)

Еще недавно, уже в наше время в Средней Азии произошло то, что мы назвали «национальным размежеванием». С середины XV века в той же Средней Азии начался процесс, который можно назвать «литературным размежеванием». Алишер подметил это и совершенно точно сам определил свое историческое место: он — тюрок, узбек — положил начало отдельной литературе, тюркской, как он ее назвал, — узбекской, как уточняем мы. И уточняем вполне обоснованно: язык поэм Алишера — тюркский, но тот представитель обширной семьи тюркских языков, который имеет собственное лицо и который мы называем староузбекским. А что такое для народа язык? Спросим об этом самого Алишера.

В первой части его «Хамсэ», в поэме «Смятение праведных», есть удивительное место — о сознании. «Наступление утра» — пробуждение сознания: ему открывается весь наш мир. «Наступление ночи» — расширение сознания: звездное небо открывает ему все мироздание. «Возвращение утра» — обогащенное сознание возвращается в дневную оболочку. Но дневной лик сознания — язык, слово. А в слове есть и его душа, и его тело. Душа слова — значение, смысл. Тело слова — звуковая оболочка. Алишер Навои написал свое «Пятикнижие» на родном языке. Значит, это был тот язык, которым он только и мог выразить все содержание своего сознания — и дневного, и ночного. Не означает ли это, что он передал своему народу самого себя?

Мы считаем общность языка одним из факторов национальной ступени социальной интеграции. Есть и другие—экономические, социологические, политические. Но степень общности, достигаемая с помощью этих факторов в классовом обществе, всегда относительная, в языке же она действительно полная. Алишер Навои передал своему народу то, что должно было послужить и послужило самым мощным средством созданию у носителей этого языка необходимого и поистине императивного чувства национальной общности. Навои имел право стать национальным поэтом узбекского народа. А разве может быть для поэта большая честь?

5

И вот — новый поворот, новая неожиданность: Алишер Навои стал поэтом всех народов нашей страны. Он снова вошел в большую зону. Она именуется Союзом Советских Социалистических Республик. Можно ли назвать ее опять Срединной? Географически она частично совпадает с границами Срединной зоны времен Навои, частично — нет. Но во всяком случае узбекский народ принадлежит этой зоне и в ее новых границах. Но именно в этих новых границах она, пожалуй, также оказывается Срединной, только не в рамках Старого Света, как это было раньше, а в рамках Света Старого и Нового. Можно ли ее опять назвать Центральной — в том смысле, в каком она уже трижды в истории представала? Я не хочу отвечать на этот вопрос от себя: каждый из нас, кто стал бы утверждать, что это так, может навлечь на себя упрек в патриотическом пристрастии, даже в непозволительной гордыне. Я предоставляю ответить на этот вопрос человеку совершенно постороннему, да еще такому, кого у нас принято бранить, — Арнольду Тойнби, знаменитому историку нашего времени, и притом историку размышляющему, что встречается вовсе не так часто. Размышляющему— значит, такому историку, который может и ошибаться, но может и открывать действительно большие истины. Процитирую одно место из его письма ко мне, служащее ответом на мое письмо, известное тем, кто читает журнал «Новый мир». Вот его слова (даю их в русском переводе.— *Н. К.*):

«Ваша страна состоит из стольких различных народов, говорящих на стольких различных языках и унаследовавших столько различных культур, что она является моделью мира в целом, а соединением культурных и языковых различий с экономическим, социальным и политическим единством на федеральной основе вы показали в вашем Советском Союзе, чем может стать мир и чем он, я надеюсь, в будущем и станет».

К этим словам английского историка я сделал бы — уже от себя — два добавления. Первое: членами нашего содружества являются отдельные нации, это так. Но чтобы стать членами именно нашего содружества, они должны быть нациями социалистическими, то есть достигшими высшей—из нам пока известных—степени социальной интеграции; спаянность нации достигнута тем, что из национальной общности удалено то, что всегда служило препятствием для действительного единства любого народа, достигнувшего уровня нации,—удалена классовость, это подлинное социальное зло. Поэтому мы не столько модель всего мира, сколько создающийся его образец. Второе: мы не можем утверждать, что уже стали достойными служить таким образцом: наша межнациональная общность все еще строится, и нам многое еще придется преодолеть в самих себе. Многое... в том числе и опасность превращения «Истинного Закона» в «Подобие Закона».

Но и на уже достигнутой нами ступени нашей многонациональной общности Алишер Навои — наше общее достояние. Узбекский народ сделал поистине драгоценный вклад в нашу общность. И за это мы все должны благодарно поклониться ему. Но как мы са-

ми отнесемся к этому дару? Как примем Алишера Навои? Как классика? Что же, это хорошо и достойно Алишера. Но нередко у нас «классик» главным образом предмет литературных хрестоматий, библиотек мировой литературы, «роскошных» изданий, объект «верных» с точки зрения конечного результата диссертаций, звучный материал для наименования улиц, площадей, театров, парков. Я понимаю, что за всем этим скрывается огромное уважение к писателю, поэту, признание его большого значения для нас всех. Но все же мне никак не хотелось бы, чтобы он стал для нас только «классиком», даже в самом лучшем смысле этого слова. Мне хотелось бы, чтобы его не только чтили, не только изучали, но и просто читали. Читали как поэта, нужного нам сейчас, в нашей теперешней жизни. Он, как мне кажется, может напомнить нам о многом, нам реально необходимом. И напомнить глубоко по-своему. Как, впрочем, делает это каждый действительно великий поэт.

Я говорил, что Центральная зона Старого Света, которой принадлежал Алишер, была родиной универсализма. Универсализм это есть и общность, и цельность. Алишер Навои напоминает нам об этой цельности — своей «Хамсэ».

Что такое «Хамсэ»? «Пятирица», как обычно передают это слово по-русски. «Пятирица» же—воплощенное в чем-то число 5. Великое число. Когда я о нем думаю, предо мной пробегает длинный-длинный ряд всевозможных «пятириц». Тут и «Пятикнижие» — Моисеево и Конфуцианское. Тут и пять первоэлементов вещественной природы — в древнекитайском Шу-цзине и в индийской Веданте. Тут и пять факторов, направляющих жизнь человеческого общества: государь и народ, то есть государственная власть и подчиненные; отец и сын, то есть родители и дети; муж и жена, то есть мужчина и женщина; старшие и младшие братья, то есть старшее и младшее поколение в обществе; наконец — друзья, то есть люди, как таковые. Тут и пять функций государства: законодательная, исполнительная, судебная, воспитательная и контрольная. Тут и пять внешних чувств: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание; пять эмоций — радость, гнев, желание, страх, горе; пять основных цветов; пять тонов гаммы. «Пятирицами» мир культуры буквально переполнен. И на всех этапах его истории.

Не нужно думать при этом, что все это — только примитив. Сунь-цзы еще в VI веке до н. э. сказал: «Цветов в природе всего пять, но изменений их и исчислить невозможно; тонов в музыке — пять, но изменений их и исчислить невозможно»*. Нет, это не примитив. В числе «пять» воплощена идея цельности как высшего состояния разнородности. Внешних чувств — пять, но все они вместе составляют одно целое — систему ощущений человека. Тонов — пять, но они составляют одно целое — определенную гамму. Пять поэм — одно целое, то целое, которое зовется человеческой жизнью. Именно об этой высшей цельности жизни — при всей разнородности и противоречивости действующих в этой жизни сил — напоминает нам Алишер Навои самим фактом своей «Пятирицы». И при той «атомизации» мира, общества, жизни, о которой у нас так много говорят, напоминание о цельности в высшей степени своевременно и полезно.

Но всякая цельность есть соединение единичностей. И они — реальны и индивидуальны. В пентатонике один звукоряд, но в нем пять отдельных, вполне различных тонов с интервалами в целый тон или полтора тона. В «литературной пентатонике» пять частей, и каждая из них звучит по-своему.

Вспомним, что Навои, как и его учитель Джами, были и музыканты, среди их произведений есть и работы по музыке. Поэтому можно подойти к его «Пятирице» и с музыкальной стороны. В таком случае она предстанет перед нами как звучание жизни, переданное языком слов. Но вспомним, что звукоряд пентатоники реализуется в пяти различных ладах — по тому, как расположены интервалы между тонами, и каждый лад звучит по-своему. Один — как чистый мажор; другой — как чистый минор; третий — как «приближающийся» к мажору; четвертый, как «приближающийся» к минору, есть еще один лад, в котором мажор и минор неразличимы.

Мне кажется, что пять поэм Алишера Навои звучат именно так. Не буду говорить о всех, скажу только о трех.

Первая часть, как полагается в пентатонике, должна быть мажором. Это — поэма «Смятенье праведных». Она очень многогранна, но основное в ней — «макалэ» — «беседы». Читаешь их и удивляешься: где тут мажор? Идет жестокая критика правителей, духовенства, вообще нравов той эпохи, обнажаются пороки, злодеяния. Правда, в других макалэ прославляются прямые, честные люди, стремящиеся к знанию, думающие о благе людей. Но о подобных вещах мы читали уже не раз... Может быть, у Навои об этом сказано кое-где лучше, ярче, чем у других, но все это мы знаем и никакого мажорного чувства у нас не вызывает. Но вдруг я наталкиваюсь на слова, которые все меняют. К сожалению, я не могу процитировать их в поэтическом переводе, так как этих слов в изданных русских переводах нет. Но они есть у автора: их приводит в своем прозаическом точном переводе Е. Э. Бертельс. Вот как он передает эти слова:

О ты, руку которого укрепила власть,
Ведь путь твой ведет к насилию.
Насилие твое над людьми не уменьшается,
Но ты творишь его и над самим собой *.

Контекст тут вполне конкретен: правители грабят народ, а потом это награбленное растрачивается на пиршества, на разврат. Вот и выходит, что люди вредят не только другим, но и себе. Оставим в стороне эту конкретность, для нас важна сама идея: насилие над другими есть в то же время насилие над самим собой. Глубина этой мысли

* См. Н. И. Конрад. Сунь-цзы. Изд. Академии наук СССР, 1950, стр. 39.

* Е. Э. Бертельс. Избранные труды. Навои и Джами. М., 1965, стр. 130.

поражает. И когда соприкасаешься с такой великой человеческой мудростью, в сердце звучит мажор.

Пятая часть «Пятирицы», как и следует по законам пентатоники, — минор. Пятая часть — поэма «Вал Искендера». И опять, когда ее читаешь, удивляешься: где же тут минор? В ней рассказывается об Искендере. Мы видим перед собою великого полководца, мудрого правителя, человека, стремящегося к знанию. Не мажор ли это? Но что Навои делает из этого мажора? Искендер умирает и, умирая, говорит его окружающим:

Когда над здешним садом дух вспорхнет,
Когда к иным оградам дух вспорхнет

И, не увидев света поутру,
Я плоть доверю смертному одру,—

Пред тем, как тлену я достанусь в дань,
Мою возденьте над могилой длань,

Чтоб эти пальцы людям помогли,
Чтоб люди, глядя, пользу извлекли,

Чтоб поняли, что шах семи держав,
В познанье сфер семижды величав,

Уходит в область, где желаний нет,
И у него крупицы в длани нет.

Тот, кем владеет жадности огонь,
Да помнит эту нищую ладонь!

(Перевод Марка Тарловского)

Эти строки взяты из первой поэмы. К сожалению, конца поэмы «Вал Искендера» нет в русском поэтическом переводе. Там говорится о том же, но несколько иначе. Искендер умер. Согласно его предсмертной воле его тело везут для погребения в его любимый город — Египетскую Александрию. Везут в гробу... И из гроба высовывается рука с открытой горстью... Ничего в этой руке нет. Эта высовывающаяся из гроба рука с открытой горстью — художественный образ поразительной силы. Если бы Алишер создал даже только этот один образ, мы все равно поняли бы, что перед нами гениальный поэт.

Но почему это минор? Для нас, конечно... Не потому, что этот образ напоминает нам о тщете всякой славы и богатства, а потому, что мы хорошо знаем — история в этом нас убеждает, — что он ничему не научил: завоеватели продолжали появляться и после Александра Македонского, и ничто их не останавливало — никакое людское горе, которое они причиняли, ни даже перспективы собственной невеселой участи.

И последнее — поэма, в которой мажор и минор неразличимы. Это, конечно, Лейли и Меджнун. Повесть о разом вспыхнувшей любви, об одержимости этой любовью, о смерти в один и тот же миг. Что ж, и тема эта, да и сюжет — вечны. И встречались мы с ними в литературе не раз.

Любовь с первого взгляда... Она может вспыхнуть и в школе.

Увидел Кайс весеннюю зарю,
И стал он весь подобен янтарю.

Вокруг царила юная весна —
Его лицо покрыла желтизна,

Дыханье осени в его крови:
Восточный вихрь ворвался, вихрь любви.

По телу слабому пошел озноб,
Росой холодной увлажнился лоб,

Он чувствовал: сейчас конец придет,
В беспамятстве сейчас он упадет.

Его лицо менялось каждый миг.
Он обезумел: он любовь постиг.

Это Кайс. А вот и Лейли:

В огонь упала слабая душа,
Сгореть в любовном пламени спеша.

Волненье Кайса ей передалось.
Он для нее прозрачным стал насквозь.

Лейли глядит — и видит только страсть.
Да, и она любви узнала власть!

(Перевод Семена Липкина)

Она, любовь, может вспыхнуть и на корабле, идущем по ирландскому морю. И даже в кривом, скучном переулке, на который повертывают с Тверской.

Она может стать всевластной, *он* и *она* превращаются в одержимых ею.

Tristan! Isolde!
Geliebter! Holde!
Bist du mein? Hab ich dich wieder?
Darf ich Dich fassen? Kann ich mir trauen?
Endlich! Endlich! An meinem Brust.*

Разве это не встреча Кайса и Лейли?

Судьба таких одержимых одна: они умирают. Но оба—в один и тот же миг. И это—кульминация. Самой любви и судьбы любви.

Могут сказать: да, Лейли и Меджнун умерли в одно и то же мгновение. Но Тристан и Изольда — нет. Не соглашусь: Тристан и Изольда также умерли в одно и то же мгновение — в тот самый миг, когда она с криком — Тристан! — вбежала к нему на замковую башню, когда он поднялся навстречу ей с криком: «Изольда!» Мне скажут: он действительно умирает, но она в этот момент только лишается сознания, а потом приходит в себя и поет целую песнь любви и смерти. Не соглашусь: она умерла в тот же миг и поет уже потом... там, где они опять оба вместе. Музыка ясно говорит об этом. Изольда смотрит на Тристана и поет:

Mild und leise wie er lächelt
Wie die Augen hold eröffnet. . .**

Так о мертвом не поют. Но эти слова поются на тот же самый мотив, на который были положены совсем другие слова:

* Изольда! Тристан!
Друг милый!
Мой ли ты?
Вновь ли моя ты?
Правда ли это?
Верить могу ли?
Снова вместе!
К сердцу прижмись!
(Перевод В. Коломийцева)

** Вот он нежно улыбнулся...
Тихо взор открыл прекрасный...
(Перевод В. Коломийцева)

Н. И. КОНРАД
СРЕДНЕВОСТОЧНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
И АЛИШЕР НАВОИ

So stürben wir um ungetrennt
Ewig einig ohne End!
Ohn' Erwachen, ohn' Erbangen
Namenlos in Lieb Umfangen...*

Смерть окончательно соединила этих западных Лейли и Меджнуна.

«Прасковья Федоровна! А вы лучше мне скажите, — задушевно попросил Иван, — а что там рядом, в сто восемнадцатой комнате сейчас случилось?

— Скончался сосед ваш сейчас,— прошептала Прасковья Федоровна.

— Я так и знал. Я уверяю вас, Прасковья Федоровна, что сейчас в городе еще скончался один человек. Я даже знаю кто, — тут Иванушка улыбнулся, — это — женщина».

Да, Мастер и Маргарита умерли в одно и то же мгновение. И уже потом там звучит песнь Изольды:

«Слушай беззвучье, слушай и наслаждайся тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград, он поднимается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Ты будешь засыпать... ты будешь засыпать с улыбкой на губах... Беречь твой сон буду я!»

Поэты нашли разные слова, чтобы сказать о смерти в любви. Нашел свои слова и Алишер Навои:

Тогда влюбленный появился вдруг,
Пришел, как верный друг... Нет, вечный друг!

Глаза — глаза желанные нашли:
Глаза одно желание прочли.

Возлюбленная руку подняла,
Возлюбленному душу отдала.

Возлюбленный склонился, не дыша:
К возлюбленной ушла его душа.

(Перевод Семена Липкина)

Чудесны слова, сказанные о смерти в любви Тристана и Изольды, Мастера и Маргариты. Но как чудесны те слова, которые нашел для этого Алишер Навои!

Возлюбленному душу отдала.
К возлюбленной ушла его душа.

Порадуемся, что был такой поэт, как Алишер Навои! Скажем великое спасибо узбекскому народу, принесшему нам в дар такого поэта. И будем не только изучать его, но и читать. И не только читать, но и думать над ним. Сделаем его своим! Он пришел из одной великой эры Ренессанса к другому Ренессансу — еще большего исторического смысла.

---

* Так примем смерть,
чтоб не знать разлуки.
Быть вместе вечно
без конца,
без пробужденья,
сожаленья
утратить имена свои,
в любви единством став.
(Перевод мой.— Н. К.)

ВИЛЬГЕЛЬМ ГИРНУС

—

КРАСНЫЕ РОЗЫ ИОГАННЕСУ БОБРОВСКОМУ

Он сидит напротив меня. Приземистый. Грузный. Широкий. Не то чтобы неуклюжий, скорее напоминающий увесистое пресс-папье на важных бумагах. Он одет в вельветовые брюки и свитер. Ничего броского. Один из рабочей толпы, окончившей смену. Но эти руки! Они тоже тяжелые, крупные, степенные и все же какие-то возбужденные. Кажется, их неодолимо тянет месить, мять что-то. Глину? Тесто? И они мнут это «что-то» снова и снова. За их внешней невозмутимостью скрывается беспокойство. И действительно, однажды он мне признался, что носит с собой кусок янтаря. Это его он мнет беспрестанно, хотя слово «мять» здесь не совсем верно. Да, но почему янтарь? Его подарил ему один друг. Он нашел этот янтарь на ослепительно-белом песке литовского взморья. А Литва, она для него то же, чем была когда-то для многих немцев Италия: мелодия неповторимого своеобразия. Земля обетованная. Символ простоты, скромности, прямодушия и человечности. Правды и справедливости, природы и мощи. И этот кусок янтаря, постоянно сжимаемый его рукой, для него — талисман возлюбленной, знак ее верности. Частица его судьбы. Не глину и не тесто мнут эти руки. Чувственной пластике его литературных построений совершенно чужд скульптурный импульс, хотя он и пробовал свои силы в рисовании. В действительности его пальцы скользят по клавиатуре органа и извлекают из нее звуковую архитектонику Баха: фразы, фуги, переходы из одной тональности в другую; пальцы окружают тему вариациями, все теснее и теснее, заставляют аккорды взлетать и падать, торопиться и замирать. Именно так строит он и свои литературные фуги, словесные тракты, фразы-картины, свои временные уровни... «Тридцать четыре пункта о моем дедушке»—таков подзаголовок к его большому роману-фуге «Мельница Левина». Сходство с музыкальным произведением подчеркнуто. Вчитывание в текст романа открывает в нем россыпи музыкальных элементов, присущих лишь фуге: «Ричеркар» — беспрерывное повторение темы, возвращение, противосложение, нарастание. Не будет, вероятно, смелым утверждение, что и «Мельница Левина» и «Литовские клавиры» сочинены в духе «двойной фуги», где гармонично сливаются воедино две линии развития, два временных уровня,—еще в большей степени, чем это присуще «Доктору Фаустусу» Томаса Манна.

Внезапно вошел он в нашу жизнь и так же внезапно покинул ее. Мы успели лишь заглянуть в глубину его темных зрачков, стремясь вникнуть в укрытые в них тайны его поэзии, чтобы разгадать их. Едва успели поблагодарить его за тот удивительный поэтический мир, в котором он жил, в который ввел и нас. У него была типично польская фамилия, как и у многих немцев, но — и это показательно! — именно немецкие образы развертывает он с помощью стилистических приемов, необычных для немецкого языка.

Литовской культуре обязан он видениями своего детства, советской стране — жизненным потрясением. Все это сторицей возвращает он миру. Но знает ли этот мир, кого он приобрел в его лице? Знает ли, как поступить с ним? Одни утверждают — его поэтические видения вызваны к жизни христианским импульсом, хотя ни одной строкой не говорит он об этом, «Группа-47» причисляет его к своим рядам, но никто не писал на нее

таких острых, таких едких, уничтожающих эпиграмм, как он. Большинство из них ждут публикации. Они еще поразят свою цель. Да и как мог именно он подчиниться литературной упорядоченности, он, сын крестьянской прямолинейности и простоты, современный потомок Донелайтиса и Гердера.

Долго зрел в нем поэтический огонь, прежде чем вырваться наружу. Ровесник Великого Октября, лишь в 40 лет рискнул он явиться на суд общественности. Но то, что он предъявил ей, было густым крепким вином багрового цвета, в котором процесс брожения уже завершился. Однако свой первый шаг в поэзию он сделал в 1941 году — и где? — в советской стране, как об этом свидетельствует он сам: «Писать я начал у Ильмень-озера в 1941 году, о русском пейзаже, но как чужак, как немец». Это, именно это, разбудило в нем жгучую жажду литературного самовыражения. Сказанные гётевским Тассо слова о том, что бог даровал ему возможность выразить свое страдание, мог с полным основанием сказать и Бобровский. Страдания и муки людей обожгли его душу. Поэзия стала для него медиумом, освободителем от мук «отчуждения», чуждости другим народам. «Я пришел в Советский Союз как солдат германской армии. Собственными глазами я увидел там то, что вычитал в исторических трудах, свидетельствующих о столкновениях ордена немецких рыцарей с народами Востока, о прусской восточной политике. Именно эта тема побудила меня к писательству... Эту тему я рассматриваю как свою личную тему. Как генеральную тему». Никто не имеет права отделять себя от истории своего народа. Это замечание Бобровского остро направлено против известных тенденций у части немецкой молодежи отмежеваться от немецкого прошлого, не делая из него обязывающих выводов для настоящего и будущего. «Я убежден — нельзя отстраняться от национальной истории...» Опасно также и то, что многие поклонники литературы, смакуя художественные достоинства, начисто отрицают авторский замысел и затыкают уши, когда заходит о нем речь. Их опыты в искусстве крайне безответственны. «Этому я не придаю ровно никакого значения, потому что к писанию пришел под влиянием вышеназванных проблем, ради них я и пишу».

«Свидетельство современника» — так охарактеризовал Бобровский писательскую ответственность за настоящее и будущее своего народа. Это актуально всегда, даже если поэт поэтически воссоздает прошлое: «всегда смотреть, исходя из современности и воздействовать на современность». Тему Бобровскому подсказали его военные переживания. И что бы ни утверждали враги социалистической поэзии, правда состоит в том, что встреча, даже столкновение Бобровского с великой страной Октября пробудило в нем дремлющие поэтические возможности, дало им направление: Германия и русские, Германия и литовцы, Германия и поляки, «многовековая история — сплошь, со времен немецкого ордена, из бедствий и вины, лежащей на совести моего народа... вероятно, неизгладимой, неискупимой и все же требующей честной попытки в немецких стихах... рассказать моим соотечественникам то, о чем они не имеют никакого понятия... сделать вину зримой... Потому что вина отцов — это и наша вина».

Каждая картина, каждый образ, пейзаж, даже каждое имя в его произведении — парабола, иносказание: разрушенная мельница, литовский клавир, Ильмень-озеро, Левин, Донелайтис, Вайсмантель...—все это по сути своей, несмотря на метафорическую сгущенность, фрагменты неустанного спора с историей своего народа, с ее глубочайшими неосознанными пластами, спора о возможности в будущем жить в мире справедливости, в созвучии с великими историческими законами человеческого бытия. Не менторское поучение, а борьба за самопознание.

Эти предпосылки и цели, по его собственным словам, определили метод его литературного творчества, взаимоотношения между сознательным и спонтанным, реальностью и рефлексией, рассказчиком и персонажем, настоящим и прошлым, индивидуальностью и типом, материалом и интуицией, документом и идеологией. «Взаимоотношения между найденным материалом и интуицией складываются в зависимости от того, как на вас действует материал, от вашего подхода к его выбору. Необходимо при этом, чтобы у рассказчика оставалось пространство между фактами; сплошное нанизывание фактов один на другой, мне кажется, убивает живое повествование... но в то время как автор сочиняет, используя факты, в его рассказ неизбежно вливается идеология, идеология самого автора. Это для меня, собственно, важнее моих художественных экспериментов».

Западные критики, у которых само слово «идеология» вызывает приступ тошноты, которые бредят безыдеологичностью, как идеальным духовным состоянием,—эти критики, смахивающие на крайних мальтузианцев с их теорией воздержания, не имеют оснований ссылаться на Бобровского. То, что искусство, как эстетический феномен, имеет идеологическую природу, не вызывало у поэта никаких сомнений. Творческая проблема представлялась ему как взаимодействие между относительно самостоятельной жизнью художественного образа и дирижером ансамбля, поэтом, так как Бобровский несомненно подтверждал гётевскую мысль из пролога к «Фаусту»: «Отдайтесь в руки поэта, и вами будет командовать поэзия».

А так как вся эта проблематика является ключом к пониманию его произведений, давайте послушаем, что говорит об этом сам поэт: «Видите ли, когда пишут и в процессе писания развивают образы, показывают их очертания, их профиль, их манеру действовать, их манеру ходить, то образы как бы обретают собственную жизнь,—это неоспоримо, но именно потому, что это так, и потому, что образы эти способны навязывать выводы, я считаю хорошим признаком, когда автор, так сказать, сохраняет за собой право хозяина в рассказе не только над языком, но и над фактами и образами. Так, чтобы он мог вернуть персонажи назад, если тем

вздумается убежать от него в рассказе, когда, следовательно, рассказ приобретает собственные закономерности, которые не устраивают автора... или когда они угрожают внести хаос в авторскую концепцию. Автор, вводя себя в повествование, сохраняет тем самым за собой не только возможность комментировать... но и держать персонажей за руку».

Читая романы и рассказы Бобровского, именно через полную юмора и иронии игру спонтанности художественной фантазии и целеустремленной изобразительной воли постигаешь особую прелесть этой поэтической динамики. Так как игра эта в действительности — постоянная борьба, отражающая столкновение между объективной реальностью и субъектом искусства. Впрочем, подобные мысли об этой интересной и в высшей степени сложной особенности художественного творчества мы встречаем у Пушкина, Гёте, Диккенса, Ромена Роллана и Горького.

Я с грустью вспоминаю о последней встрече с Бобровским. Она была трагической и веселой одновременно. Трагической, потому что это была наша последняя встреча, веселой — благодаря его скрытому крестьянскому лукавству, в этот момент еще раз осветившему его изнутри. Мы встретились в коридоре Института германистики на Клара-Цеткинштрассе. Студенты пригласили его на литературные чтения. Я шутливо попросил Бобровского не сбивать их с толку. Я знал, что он поступит именно так. Он не мог иначе. Введенные в заблуждение определенной частью профессуры — где в мире такого не бывает? — эти студенты были убеждены, что произведения искусства создаются с такой же педантичной аккуратностью, как и карманные часы. Каждая деталь, весь механизм, так сказать, заранее точно рассчитывается и затем только «выполняется», «проводится», «составляется». То, что поэтические образы живут, что поэт может их подслушивать, переживать, нащупывать, следовать за ними как детектив,— все это им даже и не приходило в голову. И, вероятно, многие неправильные суждения о поэзии возникают снова лишь потому, что произведения искусства путают с техническими изобретениями; как результат — неправильное понимание диалектики художественной спонтанности и вооруженного лупой сознания. Уже Гёте указывал на то, что отрицание художественной спонтанности приводит к созданию творений не искусства, а искусственных. Бобровский ошарашил своих слушателей. Отвечая на их вопрос о своем творчестве, он разрушил искренние иллюзии студентов о планомерной аккуратности, с которой якобы поэт манипулирует своими образами — как химик химическими соединениями в реторте. В поэзии не все так просто. Они жаловались мне, что не знают, кому, собственно, теперь верить!

Конечно, Бобровский не был представителем «écriture automatique»*, сторонником *абсолютной* литературной спонтанности. Это вытекает из приведенных выше высказываний поэта. Об этом говорят его сочинения. Фантазия никогда не может заменить знаний, «она может лишь использовать знания истинных отношений, полученные различными путями. Она должна использовать возможности, предоставляемые человеку в конкретных условиях для самопроявления. Здесь начинается поэтический труд и, если хотите, как мне кажется, — царство поэзии». Подлинность исторического факта не вызывала, следовательно, у Бобровского, в отличие от защитников абсолютного суверенитета вымысла, никакого сомнения. Но он выступал—при этом стопроцентно правильно—против рабского подчинения этому факту, его волновало выявление *возможностей* самовыражения человека как личности в данной объективной исторической ситуации. Бытие становится прошлым, когда мы о нем говорим, возможности же содержат будущее. Его творчество точно соответствует этой диалектике. Образы его романов историчны и вымышленны в одно и то же время. И не только образы, но все их окружение, их фон. Бобровский и в глаза не видел пейзажи Древенца, где происходит действие романа «Мельница Левина», его дедушка никогда не разрушал мельницу, все это фантазия, выдумка и тем не менее строго исторично. Многие образы, многие места, описанные в его романе «Литовские клавиры», действительно существовали — мне они знакомы лично, так как моя школа стояла на той самой улице Тильзита, ныне Советска, где родился Бобровский и где якобы вырос Фойгт из «Литовских клавиров»,— но все эти образы и события в контексте романа получают совсем другие контуры, другую последовательность, фактически они так же вымышлены, как и Потшка и Левин.

Пейзаж для Бобровского не объект созерцания, не географическое понятие, он прежде всего — величественный, волнующий памятник людской творческой силы и арена человеческих столкновений, человеческой активности, исторической динамики: так Ромбинус, что на северном берегу Немана, — священная гора древних литовцев, место, где противостояли друг другу германский национализм и литовское национальное чувство, немецкий гуманизм и немецкий фашизм; место поклонения Донелайтису, эта гора, в глазах Бобровского, — символ неразрывной связи немецкого и литовского духа гуманности и подвижнической преданности делу народа. Конечно, линия Бобровского не нова, это направление Гердера, первооткрывателя для Германии мира дайны и славянства; но то, что для Гердера было лишь программой, для Бобровского целиком и полностью поэзия, образное изображение, первобытное, как в чувственном, покрестьянски упрощенном мире представлений охочего до крепкого словца деревенского бедняка, мыслящего земными категориями.

* Автоматического письма *(франц.)*.

ВИЛЬГЕЛЬМ ГИРНУС
КРАСНЫЕ РОЗЫ ИОГАННЕСУ БОБРОВСКОМУ

Гердер, как и сегодня Бобровский, черпал горечь своих строк из обостренного восприятия очевидца политики германских правителей на востоке Европы. Еще в восемнадцатом веке он писал: «Человечество содрогается при виде крови, пролитой здесь в бесчисленных диких бойнях, когда почти полностью истребили древних пруссов, надели ярмо рабства на латышей и курян, под которым они стонут и по сей день. Может быть, пройдут века, пока оно будет снято с них, сгинет жестокость, с которой у этих мирных народов отнимались земли и свобода, и из чувства человеколюбия их вновь возродят для радости и подлинной свободы». Вот его рассуждение, взятое из «Философских мыслей по поводу истории человечества», очень близкое по своему духу высказываниям Бобровского. Но Бобровский, однако, в отличие от Гердера, человек двадцатого века, ровесник взятия штурмом под руководством Ленина Зимнего дворца. Лишь поверхностному взгляду может показаться, что все его создания сгрудились, столкнулись в едином конфликте именно там, где пересекаются немецкие и русские, немецкие и литовские культурные течения. Внимательное вглядывание в его произведения открывает нам то, что у Бобровского смутно ощущаешь,—за личной болью и страданием, поражениями и победами стоит общественный конфликт: раскол классов, классовая ненависть, классовая борьба. Вот что говорит он сам о «Мельнице Левина»: «Я не собираюсь описывать национальную рознь. На стороне моего деда стоят деревенские богатеи, кулаки, предприниматели и подобные им люди, на другой стороне — поляки, цыгане, малоземельные крестьяне и батраки». Вот источник его языка. Колоритного, ядреного, ароматного, настоянного на скрытом юморе. Но грубоватая мудрость народных речений, восточнопрусского диалекта, хорошо понятная местным жителям, зачастую лишь угадывается в энергичном, полнозвучном литературном языке. Фольклор на уровне мировой литературы. Горький опыт векового рабства, отчеканенный в сжатом и метком слове, столь характерном для славянских народов. Так параболой предстает в «Мельнице Левина» недоверчиво-ироническое крестьянское слово, выраженное литературным языком в противоположность восточнопрусскому диалекту, из которого оно вышло. Это слово присутствует в сотнях глубоких и сильных изречений, которые населяют его стиль, придают ему вещественность и народную теплоту. Снова, как во времена Томаса Манна и Бертольта Брехта, зазвучал чистый, словно роса, неповторимо своеобразный немецкий язык, живой, словно поток родниковой воды. Язык без всяческих претензий, но в высшей степени изысканный. Индивидуальный в своем почерке, с его удивительным переплетением медлительности и решительности. Возникший не как дань оригинальному, не из прихоти стилиста-виртуоза, а из полновесности материала, который формируется и в котором формируется напряжение изображаемого — в духе гегелевского «напряжения понятия». Стиль, кажущийся странным, но на самом деле насквозь прозрачный, рациональный, так как вся эта внешняя тяжеловесность, все эти переплетения, языковые поиски, фланговые атаки, не дающие ослабеть вниманию, таят в себе иронический подтекст,— это игра с читателем, возбуждение читательского любопытства. Застывшие штампы чужды Бобровскому, и дело здесь не в каком-нибудь принципе, а просто в том, что он сам недоступен штампам, ибо процесс письма Бобровского сродни водопаду. Поэт стремится к воссозданию языка как элемента воссоздаваемой действительности. Гуманной действительности. Новой действительности, возникшей из сознательного спора с прошлым. Роковым прошлым, принесшим Германии позор и бесчестие, горе и бедствия.

Бобровский не жонглирует языком. В его руках не готовые шары. Он лепит их всякий раз заново для каждого нового образа. Он считал: «произнесенные слова, живой язык, дыхание, слух, взгляды — создания органов, в которых шумит кровь». Беспокойный язык, он вечно в поисках покоя, «времени без страха» и потому именно беспокойный.

Но язык этот в действительности — мы об этом уже говорили — нескончаемый диалог. Чрезвычайно переменчивая, многообразная, лукавая игра в прятки языка с его образами, с читателем, не столько в форме раздумий, сколько в форме общения с персонажами. Автор пишет так, как если бы он сам был образом, вплетенным в процесс поэтических событий, а сдвиг временных уровней, едва уловимое скольжение во времени из 1936 года в восемнадцатое столетие, к Донелайтису, то есть приблизительно к 1770 году, это видения автора, представленные глазами его героев, за которыми он пристально наблюдает, чтобы с помощью сопоставления с прошлым придать настоящему более четкий исторический профиль.

В «Докторе Фаустусе» Томаса Манна эти временные уровни разграничены более четко, как в отношении времени действия, так и в отношении персонажей. Там Леверкюн— здесь Цейтблом. Там 19... — здесь 1945 год. У Бобровского они взаимопроникают, вливаются друг в друга, смешиваются. И это вызывает, видимо, у многих читателей чувство неудобства и трудность в восприятии, но его манера письма — вся во власти лирического — покоится именно на этом полном смешении автора с его образами. «Он-они-оно» снова и снова смешивается с «мы», хотя объективно-исторически поэт как свидетель не может быть частью декорации.

Не наблюдение со стороны, не отчуждение, скорее полное единение, слияние — таков принцип Бобровского. Бобровский — живой пример тому, что кроме манеры Брехта существует и другая — манера, которой также под силу художественно и объективно воссоздать содержание и движение нашей эпохи. В этом мы можем убедиться, прочитав отрывок из миниатюры «Бёлендорф».

Казимир Ульрих Бёлендорф, несчастный мятущийся поэт, друг Клингера, Брентано,

Гёльдерлина, застрелился в 1825 году... Этот отрывок — монолог Бобровского, обращенный к нему, монолог о нем:

«Он застрелился. Прожив здесь почти год. Домашний учитель Бёлендорф, седой, долговязый, тощий, на пятидесятом году жизни. Что это за смерть? Нелегко о ней говорить. Мариенфельд не вызубрит, другие также, тогда уж лучше Мариенфельд. Он продекламирует несколько строк по шпаргалке, которую ему подсунет седая фрейлейн. Сидя на подоконнике каморки Бёлендорфа...

Он произнесет: несчастный, скончавшийся здесь, сохранял в своем теле высокий дух, несмотря на все превратности жизни,— об этом свидетельствуют рукописи ушедшего, достойные славы в будущем.

Произнесет ли он это?

Он скажет что-нибудь о бурях отчаяния, об убежденности, скрытой и одинокой. Дома у него подаренная картина, Мариенфельд, перед ней он скажет: Non mergimur *.

Но он слишком долго болтает, этот Мариенфельд. Ветер, конечно, может его переговорить. Он прогуливается над могилами, каждый день, над кладбищем, южнее деревни Маркграфен. Рассыпает легкий светлый песок, повсюду, где шагает и где останавливается.

Наставник простого люда Шиман кидает три пригоршни на гроб. Этого могло бы и не быть...

Кто-то составляет сборник балтийских стихов, там он помещает Бёлендорфа рядом с известным неудачником Ленцем, это могли бы сделать и мы.

И тогда выступит редактор Гензлер, ведь времена изменились: Бёлендорф, манера письма, по обыкновению, избранная... Измученный духовно и физически, извлекал он из своей скорбной лиры гётевские созвучия.

Но как сурово сегодня небо. Суровее воды в бухте. Чернее ангеровских вод. Спиной к солнцу, которое оно сдерживает, отстесняет.

В воздухе нечто похожее на скрип.

Поставят ли здесь надгробье?

Но кто?

Это вопросы.

И что будут говорить о нем в Литве?

Что скажет наставник Шиман? А гувернантка фон Цандиков? По дороге к поместью.

И как поступим мы? Соорудим монумент? Обелиск? Высечем на камне фразу: нравственная натура, и: сущность, и: долг? И затем прибавим, что он разгляделприметы?

Хороший человек этот господин гувернер.

Так переговариваются вокруг могилы. И все, как по команде, задирают головы.

Луч света скользнул на макушку черного неба, высоко он забрался и вот падает, опускается, затопляет мрак до самого горизонта, над суровыми небесами, в которых наливается буря и блуждает скрежет, от бухты, вглубь страны над Гальтерном, Штрасденом, Риттельсдорфом, Вальгаленом, Биршем, в долине, задевая кустарники дрока, и снова над бухтой, светлая дорожка, вытягивается над водой.

Люди заспешили к деревне.

Хороший человек. Что еще?

Это, возможно, уже кое-что, большего о Бёлендорфе, вероятно, и не надо знать».

Такая манера письма — это нельзя не ощутить — настраивает на интимный лад. Тайна могущества этой своеобразной проникновенной беседы в разговоре со своим народом и его прошлым, в этом немецком самосозерцании и самоисповедании, в беседе, полной горького мрака и все же по сути своей оптимистичной, в вере в конечную победу добра, если и не всегда в каждом частном случае, то в общечеловеческом масштабе. Это подчеркивается его юмором. Древняя, глубоко скрытая народная мудрость, уверенность в грядущем, преломленная через призму нового познания, которое со времени Великого Октября провозглашают с кремлевских башен красные звезды. И Бобровский, так же как и Брехт, Зегерс, Бехер, Томас Манн и Генрих Манн, немыслим без этого открывающего новую эпоху землетрясения.

То, что Бобровский сам называл «ранением войной», в действительности было глубоким терапевтическим шоком в результате столкновения с Октябрем-великаном, шоком, пробудившим в нем поэта, поэтического ясновидца — это слово употреблено без всякой мистической мути, в буквальном его смысле,— то есть человека, чьи глаза видят ясно. Невольная очная ставка со страной Ленина вернула ему духовное зрение. И что примечательно в его поэтической биографии: встреча с силой и человечностью советских людей вызвала в нем не только это поэтическое извержение, вырвавшее его из узости, твердолобости немецкого национализма, она также открыла ему, немцу, на поле встречи германской и славянской культур смысл истинной силы и доброты собственного народа. Клопшток, Гердер, Бах стали для него откровением; и прежде всего народный язык: «Я ушел с головой в фольклорный материал... Вполне обоснованная тревога за состояние нашего языка не дает мне покоя. Его развитию грозит застой, если мы и дальше будем довольствоваться сегодняшним литературным языком. Потому-то я и старался употреблять народные обороты, народный язык вплоть до жаргона, чтобы сделать язык менее косным, более красочным, живым. Это касается также и синтаксиса. Я стремился к укороченной форме предложения, к конструкциям, не очень употребительным в немецком языке, но зато удобным. Я должен уметь хорошо читать и произносить то, что написал!»

ВИЛЬГЕЛЬМ ГИРНУС
КРАСНЫЕ РОЗЫ ИОГАННЕСУ БОБРОВСКОМУ

---

* Мы не утонем *(лат.)*.

Именно эта особенность поэтического языка Бобровского поначалу шокировала многих читателей. Не отвечала их представлению о литературе? Была для них слишком примитивна... Не укладывалась в привычные рамки рассудочного литературного стиля, укоренившегося в читательском сознании со времен Лессинга и Флобера? Уязвило ли их то, что автор с самого начала ведет с ними полную лукавства игру в прятки, заставляет их стать своим собеседником? Но тут ничего не поделаешь, это сущая правда. Ты вынужден вступить в этот диалог, ты вынужден стать не только читателем, но и участником. Ты вынужден принять участие в погребении Бёлендорфа, скандалить в шинке в «Мельнице Левина», быть к чему-то причастным, вставать на чью-нибудь сторону. Влезать по воскресеньям в окно почтового чиновника и болтать с ним. Мчаться с Фойгтом и Гавепом и всей остальной честной компанией из Крауледат, Елизат к Потшке в Вилькишкен, по этой тряской ненадежной узкоколейке через Ломпёнен, Поломпен и так до самых Литаушен. К Потшке, собирателю литовских народных песен,— и не вздумай искать в этих путешествиях и деревенских перепалках фигуры, возвышающиеся на пьедестале с указующим перстом и выпяченной грудью, изрекающие кантовский категорический императив,— в этом случае автор покажет тебе предлинпущий нос: пустой номер! Все это — люди незнатные, из глуби народной, но палец им в рот не клади, каждый — личность особенная, каждый вырезан из дерева прочного, породы особой, чтобы не были на одно лицо. Не какие-нибудь там выдающиеся персоны — люди, люди из народа, и какие люди! — созданные для любви, и только любви! Литературное высокомерие здесь ниспровергается. Нет злодеев, нет добродетельных. Ты среди них, в самой гуще, и писатель нашептывает тебе на ухо интереснейшие истории о каждом из них. Ты начисто забываешь, что все это литература, ты ловишь себя на том, что становишься частью этой истории, и вдруг слышишь, как за твоей спиной посмеивается поэт: именно этого он и хотел! Он перехитрил тебя, рассудительного человека, с помощью поэзии. Ты сам оцениваешь характеры, ты сам участник событий. Литературный заговор удался. Поэт доволен, ему удалось тебя околдовать. Но если ты считаешь, что автор стремился лишь к этому поэтическому колдовству, тогда мне тебя жаль. Не литературой порождено—несмотря на всю его приверженность к Клопштоку — сильнейшее внутреннее потрясение Бобровского, но поисками моральных решений. Бобровский занимает совершенно определенную позицию, он принципиален в каждом слове, оставленном нам. Поэт на стороне народа, простых, безыскусных людей. Твердо и непоколебимо. Он ненавидит все броское, снобистское, манерное, экстравагантное, кричащее, напыщенное. Он хочет лишь одного: народ во всей его мощи, доброте и простосердечии — это истинный мир, и он должен стать всем миром, как говорит Фауст во время народного гулянья: «Как человек, я с ними весь, я вправе быть им только здесь». Реакция злейших врагов народа скоро последовала, она не могла не последовать. Западногерманские реваншисты забросали Бобровского письмами, которые, по его словам, «делают мне честь, называя мою позицию или мою книгу («Мельница Левина») недостойной немца».

Но прав ли тот, кто считает, что искусство Бобровского «непонятно»? Не преграждают ли дорогу в мир поэта привычные, узаконенные литературные нормы? Оценка Бобровского оголтелыми националистами здесь просто не в счет. Доверься же писателю, как близкому другу, и он бережно возьмет тебя за руки, и ты будешь тысячекратно им вознагражден. Лучшего здесь и не посоветуешь.

Четыре года назад его вырвала из жизни одна из тех коварных случайностей, о которых мы никогда не думаем, но которые тем не менее существуют. Мы мысленно кладем на его могилу розы темно-красного цвета, цвета его творчества, несущего нам, как завет, идеал братства между гуманной Германией и балтийскими и славянскими народами, с которыми наш народ отныне и навсегда связан неразрывными узами.

Перевод с немецкого ГЕОРГИЯ АШКИНАДЗЕ

г. Берлин

ПУБЛИЦИСТИКА

ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ

ВЬЕТНАМ — ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННАЯ

Самая долгая война XX столетия все еще гремит на далеком Индокитайском полуострове. На далеком... Настолько далеком от Соединенных Штатов, что, пожалуй, ни одну войну ни одно государство никогда не вело на таком расстоянии от своих берегов. Что там крестовые походы, можно ли сравнивать?

Мне порою кажется, что американские ястребы специально пользуются отдаленностью Вьетнама от Америки и Европы, чтобы лишить народы этих континентов возможности знать правду об интервенции, небывалой по масштабам, по жестокости и по длительности. В то же время в сознание обывателей (я не имею намерения придать этому термину обидное значение) исподволь внедряют мысль о том, что военная машина Пентагона способна подавлять стремление к свободе в любой точке планеты. Подавлять? Да. Подавить? Кажется, вьетнамская война даже самым рьяным ее сторонникам дала категорический отрицательный ответ на вопрос о возможности победы Америки.

Как бы ни был далек Вьетнам, он превратился в болевую точку планеты и волнует миллионы людей всех континентов и стран.

Не могли остаться равнодушными к вьетнамским событиям писатели мира: надо ли напоминать, что голос писателя, человека, которого знают, а в идеале — которому верят многие и которого любят, играет немаловажную роль в общественной жизни. Пожалуй, напоминать об этом надо, потому что не всегда сами писатели осознают, насколько значительно их мнение, какой оно требует ответственности.

Я не большой любитель молниеносных писательских откликов на только что происшедшие события. Чего греха таить: пользуясь импульсивностью писательского восприятия, иные недобросовестные организаторы газетных сенсаций на Западе дезинформируют писателей, чтобы получить от них «отклик», необходимый для своих пропагандистских целей,— например, для утверждения слуха как факта, поскольку слову писателя поверят. Бывает и так: появляется писательский отклик — возмущение или поддержка,— продиктованный неосведомленностью или непроверенными, а то и просто ложными сообщениями издалека.

Как ни скрывают и ни искажают истину информаторы, действующие заодно с агрессорами, правда о Вьетнаме пробивается наружу.

Я считаю писательским подвигом репортажи трех женщин из разных стран, побывавших под огнем во Вьетнаме (как известно, бомбы не разбираются, на чью голову они обрушиваются) и рассказавших миру о бесславной мощи агрессоров, о страданиях и мужестве вьетнамского народа. Я говорю об американке Мэри Маккарти, француженке Мадлен Риффо и польке Монике Варненской.

Матриархат вьетнамской темы в публицистике глубоко символичен.

События последних лет стали материалом и для трагедии, которую можно было бы назвать «Отец и сын». Напомню невыдуманный сюжет: маститый и пользовавшийся уважением читателей Стейнбек (ныне покойный) отправился во Вьетнам,

где в составе армии США находился его сын. В своих газетных репортажах в форме частных писем Стейнбек признавался, что стрелял, проносясь на вертолете над позициями «вьетконга». Расстреляв весь свой авторитет, писатель покинул Вьетнам. Сын писателя, Стейнбек-младший, вернувшись с позорного фронта, выступил против грязной войны, ведущейся США во Вьетнаме.

Поучительная история!

Я много ездил по планете, мне есть что вспомнить, но, по правде говоря, все впечатления последних лет отодвинуты в сторону памятью о Вьетнаме.

Я был там в 1967 году.

Всегда помню личики вьетнамских детей — сосредоточенные, печальные, не по-детски строгие. Под огромным деревом, широко прикрывавшим их своими ветвями, школьники сидели возле щелей, зигзагами прорезавших землю, и слушали резкую речь учителя. Он их явно отчитывал, корил, но я не мог понять — за что.

Переводчик объяснил мне: во время утренней бомбежки они себя плохо вели, высовывались из щелей. Вот им теперь попадает за это, и учитель говорит, что, если при следующей бомбежке такое поведение повторится, он их накажет.

Признаюсь, горло мне свело от горя. Может быть, даже кровавые картины, которые я видел, когда рассеивался дым после разрыва бомб, не доставили мне такой боли, как эта сцена.

Знаю, есть еще люди, простодушно верящие, что американцы бомбили и обстреливали военные объекты в Северном Вьетнаме.

По данным, взятым вовсе не из вьетнамских источников, а из речи бывшего министра обороны США Макнамары, на каждого вьетнамца («на душу населения») было сброшено 4 бомбы (это данные еще 1967 года). Когда вернется из плена на родину, в штат Миннесота, капитан Гленлон Уильям Паркинс, пилот, сбитый и раненый над провинцией Тюйен-куанг, он расскажет, как лежал в деревенском госпитале, подвергшемся бомбежке. Паркинса, вновь раненного, уже американцами, спасли из-под обломков те, кого он бомбил вчера... После этого, второго, ранения Паркинс не утверждал больше, что американцы бомбят военные объекты...

С понятным волнением взял я в руки толстую книгу, название которой можно перевести так: «Писатели высказывают свое отношение к войне во Вьетнаме» (издательство Питер Овен, Лондон).

Появление этой книги имеет свою историю.

Тридцать лет назад вышла книга-анкета. Многоязычные писатели отвечали на вопрос: «Что вы думаете о войне в Испании?» 150 писателей приняли участие в плебисците, организованном Луи Арагоном, У. Г. Оденом, Нэнси Кьюнард и Стивеном Спендером. Подавляющее большинство опрошенных высказало свое резкое «НЕТ!» фашизму.

И вот через тридцать лет новая книга-анкета — на этот раз о Вьетнаме.

Вьетнамские события — не сенсация сегодняшнего утра, и мнение писателя о них уже не может быть мгновенным откликом. Это разговор о жизни, о современности. Подавляющее большинство отвечавших на вопрос: «Вы за американскую интервенцию во Вьетнаме или против нее?» — резко и определенно высказались против.

В сборнике представлены ответы не только писателей Британских островов, но и тех писателей мира, которых читают и знают в странах, говорящих по-английски. Практически получился всемирный плебисцит — в нем участвуют писатели всех континентов.

Было задано два вопроса. Первый я уже привел, а второй сформулирован так: «Как, по вашему мнению, следовало бы разрешить вьетнамский конфликт?»

Издатели не извиняются за прямоту постановки вопросов. Они говорят в предисловии, что слово «интервенция» может кое-кого оскорбить в США, но подыскивать слово помягче наивно и неисторично.

115 писателей Британских островов, 53 американца, 4 писателя Франции и 5 — Италии, африканские, австралийские, азиатские авторы — более 250 ответов из разных стран.

Здесь не только поэты и романисты, но и историки, философы.

Дали свои ответы и два советских писателя (К. Симонов и Ю. Казаков).

Высказывавшиеся в 1937 году писатели были уверены, что их голоса имеют силу, что их слово имеет значение. Ныне — говорят издатели — положение изменилось. Слишком многие полагают, что писателям незачем вторгаться в мир политики, что их нравственные суждения не имеют никакой реальной силы. Эзра Паунд даже назвал Вьетнам «эмоциональной роскошью для шайки пустоголовых дилетантов».

Издатели возражают против этих легкомысленных слов, утверждая, что писатели наиболее четко выражают мнения интеллигенции, чувствуют требования времени.

Характерны для этой книги резкие, прямые ответы:

Джеймс Болдуин (США): Я против интервенции США во Вьетнаме по соображениям морали, ибо совершается несправедливость. Я против и по политическим соображениям, так как нас вводят в заблуждение, внушая, будто мы имеем право или силу диктовать принципы, по которым должен жить другой народ.

Джордж Баркер (Англия): Черт побери, каждая американская бомба, брошенная на Ханой, представляет собой торжество американского образа жизни!

Если я не разучился понимать иронию, поэт и романист Баркер — мой единомышленник?

С. Н. Берман (США): Я с отвращением отношусь к нашей войне во Вьетнаме и к тем, кто ее начал.

Симона де Бовуар (Франция): Я абсолютно против вмешательства США в дела Вьетнама.

Маргарита Ласки (Англия): В последние годы я поневоле пришла к заключению, что американская интервенция в любом месте приносит только вред.

Дорис Лессинг (Англия): Эта война должна быть прекращена немедленно и любыми средствами.

Артур Миллер (США): Я был и остаюсь противником интервенции во Вьетнаме по политическим, военным и нравственным мотивам.

Стивен Спендер (Англия, один из участников книги 1937 года об отношении к испанской войне): Всеми чувствами я против интервенции США во Вьетнаме. Большинство людей, которых я уважал в Америке, особенно поэтов, тоже против нее.

Ален Роб-Грийе (Франция): Против всякого военного вмешательства во Вьетнаме бесспорно и против любой войны вообще, поскольку война ничего не решает.

Генрих Бёль (ФРГ): Разумеется, я без всяких оговорок против интервенции США во Вьетнаме.

Памела Хэнсфорд Джонсон (Англия): Я против интервенции США во Вьетнаме, которая причинила безграничные страдания и может оставить только наследие стыда, который падет на весь западный мир.

Я привел лишь первые фразы — высказывания обширные, невозможно их процитировать полностью или пересказать.

Подчеркиваю ясность позиции — решительное **против,** произнесенное подавляющим большинством участников плебисцита.

Как я уже сказал, ряд участников этой книги высказывается **за**, то есть за продолжение, а в некоторых случаях и расширение американской агрессии во Вьетнаме. Не хочу зачеркивать возможность свободы мнений, ведь в конце концов участники опроса были вызваны на откровенность, и вряд ли неоткровенное **против** имеет больше смысла, чем откровенное **за.**

В западной печати, в бесконечных рассуждениях о демократии мне часто приходится встречать термин «свобода убеждений» и утверждение, будто бы нам, советским писателям, этот термин непонятен или неприемлем для нас. Можно было бы, конечно, не принимать такого разговора всерьез и просто не обратить внимания на надменное высказывание сторонника американской агрессии во Вьетнаме, английского поэта и критика Роберта Конквеста, будто «запрашивать мнение советских писателей — совершенно бессмысленно по очевидным причинам, на них лично никакой тени не бросающим». Могу только ответить мистеру Конквесту, что мнение советских писателей совпадает с мнением подавляющего большинства писателей Запада.

Увы, совершенно определенное понятие свободы совести читается иногда на Западе как возможность свободы от совести, и, конечно, такая трактовка совершенно неприемлема не только для советских писателей, но и для каждого литератора-гуманиста, в какой бы стране он ни жил и какому бы богу ни молился. Приходится вспоминать, что свобода от совести была провозглашена Гитлером, Геббельсом и Герингом — история не разрешает нам быть забывчивыми.

Я с душевным содроганием читал высказывания английского романиста и драматурга Руперта Крофт-Кука, который начинает свой отает на анкету словами: «Полностью и от всей души — за». Крофт-Кук пишет: «Если бы у какой-нибудь державы хватило прозорливости и мужества сделать в Европе в 1936 году то, что США делают сейчас во Вьетнаме, были бы предотвращены неисчислимые человеческие трагедии». Я позволю себе напомнить г-ну Крофт-Куку, что в 1936 году в Европе нашлась держава, которой хватило «прозорливости и мужества» залить Европу кровью, развязать вторую мировую войну и отобрать жизнь у пятидесяти миллионов.

Не скрою, меня глубоко возмутила циничная «историческая» параллель Руперта Крофт-Кука и вызвала в памяти ужасные картины второй мировой войны и ту кровь и разрушения, что я видел во Вьетнаме. А все же я, стиснув сердце в кулак, готов был бы пройти вместе с г-ном Крофт-Куком по берегу Тонкинского залива. Жестокий оппонент — известный путешественник, и я думаю, что такое рискованное путешествие несколько остудило бы его воинственный пыл.

Стараясь по возможности спокойно читать ответы на вопрос об отношении к войне во Вьетнаме, я заметил у тех, кто высказывается **за**, наряду с категоричностью этого **за** глубокую противоречивость в, так сказать, объяснительной части. Так, г-н Руперт Крофт-Кук замечает, что «правительство Южного Вьетнама, вполне возможно, не является представительным и насквозь коррупировано».

Английский писатель Рой Хэррод в своих выводах утверждает, что война, которую американцы ведут во Вьетнаме,— наиболее стоящая война из всех, которые велись в этом веке, и тут же говорит, что «вьетнамцы находятся в положении, достойном жа-

лости, так как у них нет собственной правительственной машины и они **полностью** зависят от того, что для них делают американцы» (надо полагать, что речь идет о Южном Вьетнаме, так как в Северном Вьетнаме американцы «делали» лишь бомбардировки и обстрелы).

Как соединить страшные слова о «стоящей» войне с утверждением о том, что Южный Вьетнам полностью зависит от американцев? Кстати, о Южном Вьетнаме. Я не был там, но встречался с писателями и партизанами этой страны. Напомню только, что в восьми километрах от Сайгона начинаются районы, в которых население само распоряжается своими судьбами и «зависит от того, что делают американцы», лишь в том смысле, что отражает их агрессию и попытки марионеточных войск подавить свободу.

Полно противоречий и высказывание Джона Апдайка, который сначала цинично говорит: «Я — за нашу интервенцию, если она приносит какую-то пользу», а затем размышляет: «Если они (жители Южного Вьетнама.— **Е. Д.**) выберут коммунизм, нам нужно будет собраться и уйти».

Столь же противоречив английский сторонник американского разгула во Вьетнаме Оберон Во: «Я безоговорочно восхищаюсь ими и благодарен им за то, что они там»... И дальше: «Я не считаю, что возможно оправдать сознательное уничтожение гражданского населения, даже если это карательная акция. Если американские летчики это делают, они совершают преступление, но это ни на йоту не меняет того факта, что Америка ведет справедливую войну».

Как очевидец, я могу подтвердить предположение Оберона Во, что американские летчики совершают преступление. Но как писатель, как гражданин, просто как человек, я не могу понять, как может мой коллега называть преступление справедливостью.

В ряде писательских высказываний отсутствует прямой ответ на поставленные вопросы, но зато присутствует чувство страха и растерянности. Было бы наивно не замечать, что некоторые писатели, слово которых весомо и от которых ждут мудрости и ясности, выбрали позицию «нейтралитета» — смысл его хорошо выражен в русской поговорке «Моя хата с краю».

Я думаю, что такого рода высказывания искренни. Что толку, если я буду упрекать английскую писательницу Нелл Данн за ее откровенное признание: «Меня приводит в ужас любое насилие и пугает любая война, а потому вместо того, чтобы смотреть в лицо действительности, я затыкаю уши, закрываю глаза и неправедно живу в своем личном мирке»?

Нет, я не буду упрекать Нелл Данн, а только напомню, что на рубеже 40-х годов были писатели, предпочитавшие спрятаться в башню из слоновой кости и рассчитывавшие, что они смогут с ее верхней точки бесстрастно наблюдать за событиями либо зашторить окна, ничего не знать и ничего не видеть.

Оказалось, что башня из слоновой кости — сооружение чрезвычайно хрупкое — не только разрушается снарядом или бомбой, но пробивается пулей, не только пробивается пулей, но рассыпается в прах от ураганных ветров, возникающих в земной атмосфере.

Фашизм не пощадил равнодушных.

Увы, теория маленького и беспомощного человечка, бессильной песчинки в мироздании, весьма распространена в наше время, и нельзя сказать, что литература не участвовала в формировании этой обреченной концепции. На мой взгляд, равнодушие к несправедливости в конечном счете становится помощником несправедливости, вопреки желанию, вопреки личным устремлениям тех, кто хочет уйти от вопросов, неумолимо возникающих в жизни общества и настоятельно требующих определенного ответа.

Как ни возмущают меня сторонники американской агрессии во Вьетнаме, я предпочитаю их равнодушным. В наше время, как никогда, необходима определенность взглядов, потому что равнодушие — вне логики.

Посмотрите, куда ведет прокламируемое, например, Рейнером Хеппенстоллом отсутствие представления, «куда все это идет», и скромное желание, чтобы «австралийцев в это не втягивали». Заявив о своем невмешательстве, Хеппенстолл вдруг взрывается: «Иногда мне кажется, что было бы больше толку, если бы американцы сейчас уничтожали китайские города. И было бы совсем идеально, если бы они делали это в сотрудничестве с русскими. А потом они могли бы истребить друг друга — и все это было бы очень хорошо для нас».

Маска нейтралитета отброшена. Чудовищная человеконенавистническая позиция вылезла наружу. Но я где-то уже читал нечто подобное, почти в тех же выражениях, только члены этого кровавого уравнения были несколько иные.. Ведь это же говорил Гитлер! Рейнер Хеппенстолл называет советских писателей «бедными созданиями с промытыми мозгами». Отбрасывая ироническое сожаление каннибала, я могу сказать ему, что предпочитаю промытые (с его точки зрения) мозги мозгам, извилины которых заполнены черной кровью фашизма. Человечество слишком хорошо знает, как фашизм «защитил» цивилизацию.

Итак, книга-анкета о проблеме Вьетнама вышла в свет. То, что сказано, то ска-

зано. Мне остается лишь заметить, что большинство, подавляющее большинство уважаемых и известных писателей Запада высказалось против войны, ведущейся Соединенными Штатами в Индокитае. Это, конечно, выражение общественного мнения и взглядов западной интеллигенции.

Среди тех, кто поддерживает сегодня американское насилие во Вьетнаме, есть писатели крупные и известные. Правда, г-н Рейнер Хеппенстолл к заметным величинам не относится и рискует остаться в истории лишь как автор кровожадных мечтаний об уничтожении стран и наций, но закрывать глаза на то, что есть и такие мнения, не следует.

Я уже говорил о тех, кто не имеет точки зрения на происходящие события или по определенным соображениям не желает сообщить свое мнение людям. Это, конечно, личное дело каждого автора в отдельности, и в ответ на их невмешательство остается только сказать о нашем «невмешательстве» в их взгляды.

Я вспоминаю беседу с 26-летним американским летчиком, сбитым севернее Ханоя. Пилот в пижаме просил меня не упоминать его имени и фамилии, и я выполняю эту его просьбу. Он сказал: «Меня ввели в заблуждение. Если бы народ Америки знал истину, он бы протестовал против этой войны».

Какими бы пропагандистскими приемами ни пользовались американские агрессоры, правда о Вьетнаме пробивается наружу. Конечно же, Вьетнам — проблема и политическая, и военная, но для каждого отдельного человека, и тем более для тех, к чьим голосам прислушиваются, кому верят, это проблема нравственная.

Мы вправе гордиться тем, что большинство писателей мира решило для себя эту проблему так же благородно, как писатели социалистических стран

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ

РЕПОРТАЖИ

УБИЙ ВО ИМЯ БОЖИЕ! или КАК УМИРАТЬ В БУНДЕСВЕРЕ

(Инструкция)

«Дорогой друг!

Ты изъявил желание прослушать курс религиозных чтений и упражнений. Для меня это доказательство, что ты рассматриваешь свою жизнь среди молодых защитников нашего народа как божье дело.

...Это радует меня. Позволь тебя поздравить... Возьми с собой, кроме вещей первой необходимости: а) веселое настроение, б) твой сборник солдатских песен, в) писчую бумагу.

Пусть твое активное участие способствует тому, что дни пребывания в Гивенбеке станут важными вехами в твоей жизни как христианина и солдата.

Прими мой привет и благословение.
Твой полковой священник
Бруно Мертенс.
587 Хемер,
Блюхеровская казарма»

«Восславим Бога, господа!

Дорогие друзья!

Мир празднует рождество, в том числе и воинство. Спешу передать вам и вашим близким мои рождественские благословения и несколько слов по случаю рождества. Как вы отметите рождество в этом году? Практика показывает, что после рождества у врачей полно работы. Многие наши современники на рождество портят себе желудки всевозможными лакомствами и жирной пищей. Испорченный желудок — весь результат рождества?

Это было бы печально...

Ваш духовный наставник
Бруно Мертенс
(полковой священник)»

«Большим достижением духовных наставников армии, — говорится в «Записной книжке солдата-католика», — являются религиозные чтения и упражнения с целью духовного обращения, которые пользуются такой популярностью в бундесвере, что число участников растет из года в год (1957 — 1200 солдат, 1959 — 6700 солдат; 1962 — 16500 солдат; 1966 — 18000 солдат). Такое сочувствие этому начинанию — лишнее доказательство, что молодые люди страдают от собственной моральной и нравственной распущенности и ждут, чтобы кто-нибудь наставил их на путь истинный».

Я записываюсь на курс религиозных чтений и упражнений для солдат, хотя, как объясняют мне, «военный епископат в Бонне не очень благосклонно смотрит на посещение курсов штатскими. Бундесвер, который принимает участие в финансировании этих занятий, уже несколько раз выдвигал возражения. Это и понятно. У солдат особый статус». И тем не менее 5 сентября я отправляюсь в монастырь Браунсхардт около Дармштадта, чтобы в течение трех дней вместе с

* Окончание. Начало в № 1.

50 молодыми людьми в униформе прилежно заниматься «религиозными упражнениями».

У стены монастыря стоит оливково-зеленый «фольксваген» военного образца. На правом ветровом стекле автомобиля очень аккуратно наклеен украшенный короной крест, напоминающий по форме «Железный крест». Машина принадлежит католическому военному священнику из Майнца. Крест с короной, как сообщает католический журнал «Солдат и время», является «тактическим знаком», который должен быть отлит в бронзе и висеть в служебном помещении для священников, а также «может быть изображен на знамени, укрепленном у палатки военного священника во время строевых занятий и тому подобного». Впрочем, священник «во время учебных занятий и маневров войсковых частей носит... защитную одежду, состоящую из элементов солдатской униформы, причем на эполетах вместо знаков различия крепится тот же крест». Примерно 500 священников бундесвера получают содержание из министерства обороны. Их статус соответствует чину майора, и, следовательно, они получают жалованье 1400 марок в месяц (штатский священник зарабатывает 600 марок). Что немаловажно, священник бундесвера тоже солдат. Бензин для его служебной машины оплачивается из средств бундесвера. Зато он причастен к военной тайне: не имеет права выезда в ГДР и в другие страны «восточного блока».

За монастырской стеной ожидают два автобуса, тоже военного образца. Занятия происходят в старом замке XVIII века, вокруг которого разбит большой парк. У входа сидит помощник священника и собирает пожертвования: с солдат по 14 марок, с меня — 30. Вместе с отделением одетых в униформу солдат меня препровождают в комнату на втором этаже. «Святая Ирмгард» — написано на металлической табличке около моей двери. Святая Ирмгард будет моей патронессой в течение этих дней.

Приветственное обращение в большом обеденном зале произносит военный священник Хуберт Битторф из Майнца, в его ведении находятся места дислокации бундесвера: Майнц, Висбаден, Дармштадт, Дармштадт-Оберштадт, Вормс, Пфеддерсгейм и Бенсгейм-Ауэрбах. Его помощник до начала речи представляет его нам как «г-на милитероберпфаррера». Сей чин он заслужил в бундесвере, в гражданской службе такого нет, это что-то вроде подполковника. Оберпфаррер Битторф, румяный, маленький, коренастый человек, лет тридцати пяти, старается имитировать солдатский жаргон: «Господа, дорогие друзья! Большинство из вас, конечно, видело меня по телевидению, хотя я, правда, и не сидел там, внутри. Но ничего, познакомимся еще раз, это не вредно».

Некоторые смеются, оберпфаррер тоже. Потом он становится серьезным. Он говорит, что эти дни должны послужить росту нашей сознательности. Мы, солдаты-католики, должны осознать наш долг в этом мире. Для этого из военного епископата к нам пригласили патера. «Его превосходительство отец У., разрешите представить»,— шутливо говорит Битторф

С поклоном поднимается пожилой патер в сутане. Он называет нас «мои дорогие друзья» и говорит, что уже давно ведет курсы религиозных упражнений для солдат. Затем служка, помощник оберпфаррера, еще раз обращается к нам: мы должны по возможности «упражняться в молчании» и «ни в коем случае не покидать этого расположения» (он имеет в виду здание монастыря). Тот, кто нарушит запрещение, «будет непременно отослан в свою часть с сопроводительной запиской». Причина такой строгости — трактир в ближайшей деревне. Говорят, что раньше во время проведения курсов половина слушателей напивалась в этом трактире. А по вечерам, вместе того чтобы углубляться в молитвы, они мешали спать монахиням.

До и после обеда читается общая молитва. Духовный наставник, отец У., сидит за столом рядом со мной. «Так когда же вы вернетесь в вермахт?» — спрашивает он. «В сентябре»,— отвечаю я. А когда он просит назвать батальон и гарнизон, лаконично бросаю: «Кобленц, четвертый». «Да, чем бы был Кобленц без солдат. Не будь бундесвера, он так бы и остался деревней»,— философствует он. Солдата, который сидит напротив, он просит: «Дай-ка мне негритянского поту». Сообразительный солдат наливает святому отцу кофе.

Потом сей священнослужащий делится со мной личными воспоминаниями о частях альпийских стрелков, о том, как русские загнали их за Карпаты и дело дошло до того, что была сокращена выдача боеприпасов. «Ну и ну! Стрелять нам разрешалось только во время сражения». Не без гордости он рассказывает, как был награжден железным крестом первой степени и как он скрыл свое духовное звание, чтобы получить этот орден.

Перед благодарственной молитвой он беседует с солдатами, сидевшими за нашим столом, на узкопрофессиональные темы, то есть о новейшем вооружении бундесвера. «Пустая трата боеприпасов,— отзывается он о новой системе пулемета.— Выплевывает патроны быстрее, чем успеваешь прицелиться» В вермахте это дело было поставлено лучше. «У нас было правило: один выстрел — один человек. Ну, хватит болтать. Пока, пока!» С этими словами святой отец покидает общество.

Два часа продолжается послеобеденный отдых, после чего мы собираемся в лекционном зале. Сначала обязательная молитва, потом короткий текст из Священного писания: «И сказал тогда Иисус своим ученикам: «По плодам их узнаете их...» Потом мы можем сесть.

Патер объясняет, в чем, собственно, смысл этих упражнений. «Как говорил вам оберпфаррер сегодня утром, мы отнюдь не стремимся к тому, чтобы, пройдя курс, каждый из вас носил на шлеме свечу или тратил по литру святой воды. Нам вовсе не нужно, чтобы вы потом ходили с кислой миной или закатывали глаза». А нужно «обратиться к богу и понять свою цель как солдата в этом мире». Для этого требуется «товарищество», потому что самым ужасным в последней войне было то, что «в конце ее в боевые части люди подбирались случайно, как кости в игре, один не знал другого, и не было настоящего товарищества... Но когда мы сможем сказать, что у нас есть настоящее товарищество, что каждый стоит за друга горой, тогда мы сделаем доброе дело. И мы будем счастливее, и веселее, и самоотверженнее, чем раньше». Лекции продолжаются по 40 минут. Пять раз в день. Между занятиями — получасовой перерыв.

Чтобы убить эти полчаса, мы сидим в тяжелых старинных кожаных креслах, расставленных в нишах, и листаем журналы, разложенные перед нами на столах. Это номера «Солдатских писем», которые издаются католическим военным епископатом. Журнал выходит раз в месяц и ставит своей целью «познакомить солдата с его правами и обязанностями как солдата и человека». Например, он отвечает на вопрос «Быть солдатом — зачем?»: «Если у тебя есть свое дело или ферма, тебе не надо будет бояться, что твою собственность в один прекрасный день социализируют, а ты в качестве служащего или колхозника будешь вкалывать на собственной земле под наблюдением функционера». А вот еще интересный вопрос: «Правильно ли вела себя церковь в третьем рейхе?» Ответ: «Церковь вела себя... правильно! Это не значит, что тот или иной епископ, священник или верующий не мог бы бороться еще более мужественно». Об имперском конкордате, заключенном с Гитлером 8 июля 1933 года, сказано: «Церковь в еще меньшей степени, чем государство, может оттолкнуть протянутую руку (Гитлера), ибо церковь — мать, она проповедует любовь и милосердие к человеку и должна насколько возможно идти ему навстречу». А в чем состояло предательство Гитлера? «Фактически, непростительная вина Гитлера заключалась в том, что он из-за своей глупой политики допустил проникновение большевизма вплоть до центра Германии и уступил большевизму всю Восточную Европу. Ему мы обязаны современным положением».

Солдат, который сидит рядом со мной и от скуки перелистывает «Солдатские письма», очень доволен предоставленным ему специальным отпуском: «Здесь хоть можно расслабиться. Питание лучше, чем в казармах, а во время лекций можно вздремнуть. Если бы только не эти бесконечные мессы и молитвы... Хорошо бы прогуляться по округе, а не протирать колени в церкви». Он говорит, что в здешнем гарнизоне на религиозный курс записалось однажды целых полроты, а парни, которые всех подговорили, получили потом отличные отметки за службу.

В следующей лекции патер говорит об исповеди и невидимом боге. Даже на войне, говорит патер, нельзя приходить в отчаяние от всех ужасов. Ибо «все, что ниспосылает господь, служит нам во благо, и, даже если мы этого не понимаем, господь желает нам добра». Один из солдат спрашивает: «А как быть нам, солдатам, насчет убийства? Вы сказали, что только одному богу дано право решать о жизни и смерти...» Патер откладывает ответ на следующий раз: «В следующий раз приедет оберпфаррер. Он устроит специальное занятие для ответов на такие вопросы».

Вечером первого дня я беседую с унтер-офицером подразделения фельдъегерей. Он жалуется, что оказался единственным унтер-офицером «на всю команду». К тому же ему не нравится, что здесь не очень строго насчет униформы: «Они снимают куртки, когда им вздумается. А погоны даже не надевают. И где? В церкви! Скоты, последние скоты!» Потом рассказывает о службе. Он особенно гордится, что ему часто поручают патрулировать в штатском. Недавно во время обхода он в самом центре города надел наручники на одного солдата и препроводил его куда следует. «Какой-то штатский вздумал требовать у меня документы. Так я ему и показал! Служебное, говорю, поручение, а твое какое дело».

Комнаты здесь не запираются. По утрам после побудки (колокола звонят в 7.15) помощник Битторфа делает обход. Он заглядывает в каждую комнату.

На ранней мессе — поминальная молитва: «Помилуй, господи, рабов твоих, наших соотечественников, павших на поле боя в двух мировых войнах, и всех мертвых из бундесвера, которые погибли прежде нас во имя веры, да почиют они в мире». Мы поем и молимся по католическому сборнику псалмов и молитв для германского бундесвера, на обложке которого стоит: «На службе святому делу», а в предисловии перечислены наши заповеди: «Я сражаюсь во имя господне». И: «Мой долг возложен на меня господом». И: «Я обязан оказывать послушание». И «Я есмь от крещения солдат Христов». В лекции после завтрака патер говорит

о «божественном провидении» и еще о том, что «Христос требует от нас большего, чем требовал даже Гитлер».

Позже он в назидание солдатам толкует искупительную жертву Христа. Он вспоминает об одном офицере, которого знал во время войны, принявшего смерть ради своего батальона: «У него оставалось всего несколько солдат, когда он получил приказ защищать одну деревню до последней капли крови. Он пришел на позицию утром, бледный после бессонной ночи. Через несколько дней эта деревня стала его могилой. Когда же принес этот офицер в жертву свою жизнь? Нет, не в тот момент, когда он умер! Но уже тогда, когда принял приказ. В этот момент решалась его судьба, в этот момент он принес себя в жертву. А то, что произошло потом, когда он со своими солдатами действительно отправился в деревню и дрался до последнего дыхания, это было в какой-то степени лишь внешним проявлением его стремления принести себя в жертву. Так же, как Христос, который пришел на Тайную вечерю...»

У входа в лекционный зал стоит ящик для вопросов, который поставлен для того, «чтобы ни один вопрос не замалчивался и не оставался неясным». До сих пор туда была опущена только одна записка. Патер зачитал ее вслух: «Нас плохо кормят. По утрам у меня урчит в животе».

Сегодня я бросаю в ящик свою записку: «Не является ли богохульством сравнение искупительной жертвы Христа с «искупительной жертвой» офицера?» В начале следующей лекции патер читает записку. Вопрос его не возмущает. «Нет, почему же?» — спрашивает он. И кратко разъясняет, что жертва как таковая является добродетелью. Вот и все. Больше он ничего не говорит.

Вечером второго дня — исповедь. В то время как остальные перечисляют свои грехи, я работаю над своим духовным обращением, изучая издания боннского католического военного епископата: «Пароль», «Руководящие указания», «Записную книжку солдата-католика».

«Пароль»: «Если есть кто-нибудь, кто в первую очередь призван к борьбе со всем бескультурьем нашего времени, то это солдат!» И: «Речь более не идет о том или ином человеке, но о благе и судьбе всего народа. Разве современная политическая жизнь не наполнена сплошным ропотом и недовольством, как будто существуют только партии, а не народ как таковой?» И: «История учит нас, что только высоконравственные нации пробивают себе путь и добиваются своего возвышения. Народ, подверженный порокам, гибнет, как от плесени».

Что же, следовательно, необходимо? «Послушание армии — вот что является решающим для ее полезности как в мирное время, так и в случае серьезной опасности. Вот почему послушание — это одна из самых высоких солдатских добродетелей и внутренняя предпосылка для истинно солдатской доблести... Истинный христианин не может способствовать возвышению распущенности и гибели авторитета: отсутствие авторитета означает отречение от христианства». Ибо: «Предначертанный долг да будет исполнен!»

Среди руководящих указаний я нахожу уникальный рецепт, способный привить солдатам вкус ко всякому убийству, единственный рецепт, который производит впечатление вполне доморощенного: сделай из необходимости добродетель и преврати — силами своей души — каждое отвратительное «я должен» в «я имею право». Тот, кто поступает по этому рецепту, «избавляет жизнь от ее шипов. То, что делается с удовольствием, делается вдвое легче, а тот, кто сопротивляется силе обстоятельств, которые он не в состоянии изменить, ведет себя как раб, принуждаемый к труду кнутом, оказывается во власти злобы и раздражения и попадает из одного затруднения в другое... Христианин должен стремиться к тому, чтобы все — внутренне — принять. Быть готовым — это все». О ниспослании нам этой готовности ко всему мы и должны молиться как можно чаще: «Господи, помилуй меня, да будет воля твоя, пусть я погибаю и ничего не понимаю!»

В качестве символа такой морали могут служить «три обезьяны восточной мудрости»: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю. Иначе не обрету духовной свободы!»

В «Записной книжке солдата-католика», предисловие к которой написал армейский епископ Хенгсбах, я обнаруживаю карту.

На этой карте ФРГ, правда, отделена от ГДР красной пунктирной линией, но внешние границы совпадают с границами великого рейха 1937 года. В конце приводятся молитвы для солдат бундесвера:

«Поставь меня, Господи, средь гроз и бурь, и не щади меня, Господи!

Направь меня, Господи, в бушующий пламень и не дай мне прохлады, Господи! Позволь мне, Господи, средь достойнейших жить, и бичуй, бичуй меня, Господи!»

Или: «Мы, солдаты-христиане, молим тебя ниспослать нам непобедимую силу, нерушимую верность и дух самопожертвования вплоть до героизма, если это нужно».

Или: «Прими, о Господи,
мою свободу,
мою волю,

мою память,
мой рассудок,
все, что я есмь,
все, что я имею!»

В конце второго дня все мы собираемся в монастырской часовне и двадцать раз подряд повторяем молитву: «Благословенна будь, Мария!»

Вечером в 19.30 является оберпфаррер Битторф для проведения часа вопросов и ответов. Он приказывает поставить стулья в кружок, и сам садится в центре.

Я спрашиваю его: «Как может солдат в наши дни узнать, не участвует ли он в захватнической войне? Как ему понять, когда кончается освобождение и начинается агрессия?» И: «Где были в третьем рейхе те солдаты-католики, которые побросали оружие, когда началась захватническая война?» Оберпфаррер Битторф сначала приходит в изумление, потом внимательно рассматривает меня. У него такой вид, будто он только сейчас заметил, что я здесь единственный штатский. Он собирается с мыслями для ответа: откидывается в кресле, складывает руки, но он не молится. «Видите ли, господа,— обращается он ко всем присутствующим,— пятая заповедь гласит: «Не убий!» Это негативное утверждение. Мы должны рассматривать пятую заповедь как утверждение позитивное: я имею право на жизнь. Так вот, господа, если кто-нибудь покушается на мою жизнь, то в силу пятой заповеди я имею право защищаться».

После столь произвольного толкования пятой заповеди (патер рассказывал, что оберпфаррер имеет звание университетского доцента) он переходит к ответу на мой вопрос: «Поверьте, я уже восемь лет служу здесь, в бундесвере, и немного разбираюсь в обстановке. Я еще никогда не встречал ни одного человека, желавшего бы отправиться на Восток». Некоторые смеются. «Вы знаете, что ни в германском правительстве, ни в германской прессе не существует реваншистских или агрессивных стремлений». Я хочу ему ответить, но он не позволяет перебивать себя: «Господа, представьте, что на вас, на ваших детей, на вашу жену нападает преступник, грабитель. Не кажется ли вам, что в таком случае ваше право самозащиты становится вашей священной обязанностью?» И он распространяет на геноцид право личной самообороны. «Ведь это и есть наша тяжелая обязанность здесь, в бундесвере».

Потом он делает собственные выводы из уроков прошлого и обвиняет пацифизм в том, что Гитлер пришел к власти. «Видите ли, господа, в ситуации перед второй мировой войной — я прекрасно это помню — были целые течения отказа от военной службы, абсолютного непротивленчества, так что народ был совсем сбит с толку. И Гитлер оказался естественным следствием как противоположная крайность».

Одному из солдат удается вставить вопрос: «Мы присоединились к НАТО. Не может случиться так, что нас втянут в дела, за которые мы не можем нести ответственность?» «Или если, например, война во Вьетнаме расширится?» — поддерживает его второй. «В конце концов это захватническая война, которую ведет один из наших сильных союзников»,— успеваю крикнуть я так, что все слышат. Но оберпфаррер решительно тормозит разгоревшуюся было дискуссию. «Господа, господа, успокойтесь, начнем с самого начала...» Поток его речей снова широко разливается, больше он не позволяет перебивать себя. «Поставим вопрос принципиально. В настоящее время ни одно государство не может отказаться от солдат...» В третьем рейхе солдаты, как таковые, тоже были положительным явлением. «Вот, например, 20 июля * могло произойти только благодаря тем, кто его устроил...»

«Но может ли вообще католик зайти настолько далеко, чтобы участвовать в сопротивлении или тому подобном, рисковать собственной жизнью и быть за это расстрелянным?» — ставит вопрос с ног на голову один из слушателей.

«Ну, как вам сказать,— виляет оберпфаррер,— нельзя легкомысленно рисковать собственной жизнью настолько, чтобы подвергаться опасности расстрела. Об этом для вас позаботятся другие». Он громко смеется, и большинство его поддерживает.

В заключение я пытаюсь вернуть оберпфаррера к обсуждению основной темы, для чего цитирую Бирмана: «Живые или мертвые, солдаты все равны». Он резко обрывает дискуссию. «Тема настолько широка, что за такое короткое время охватить ее целиком все равно невозможно. Станьте-ка сперва солдатом»,— советует он мне. От темы «война» он переходит к следующей. «Разрешается ли при особых обстоятельствах делать аборт?» — спросил один из солдат. Оберпфаррер возмущен до глубины души. «Жизнь, даже в зародыше, священна»,— говорит он.

На следующее утро оберпфаррер произносит короткую прощально-напутственную речь. «Рекомендуйте меня вашим высокоуважаемым коллегам по недорогой цене»,— снисходительно шутит он. А патер поручает помощнику оберпфаррера раздать среди присутствующих изображение искупительной жертвы Христа

* Имеется в виду заговор с целью покушения на Гитлера 20 июля 1944 г.

для молитвенника — с его личной подписью. «...Мы должны со всей трезвостью признать необходимость власти, порядка в мире и тем самым ремесло солдата, занимаясь которым каждый может заслужить спасение души, как и человек любой другой профессии или сословия»,— значится в приветствии военного епископа, отпечатанном на обратной стороне листка.

«Моя вина — в моем послушании. Послушание восхваляется как христианская добродетель, а потому я просил бы принять во внимание только факт моего послушания» (Адольф Эйхман).

ВРАГ ВСЕГДА СЛЕВА, или КАК Я НАНИМАЛСЯ В ШПИКИ

«Мы должны изолировать левых радикалов, поставить их в угол и — во всяком случае морально — больно высечь» (Райнер Барцель, ХДС).

«Извращения самого скверного толка...», «несколько выродков из студентов терроризируют своих сограждан...» (бывший федеральный канцлер Эрхард на юбилейной встрече старых мастеров-ремесленников в ресторане здания бундестага).

«Они больше не смеют претендовать на защиту со стороны государства и общества» (Шмитт-Вокенхаузен, СДПГ, председатель комиссии бундестага по внутренним делам).

«Изолировать», «высечь», «извращения», «не смеют претендовать на защиту со стороны государства...» С этой точки зрения, деятельность ведомства по охране конституции и политической полиции в отношении студенческих кругов, деятельность, о которой стало известно в самое последнее время, выглядит следующим образом.

Изолировать: «Внимание ведомства по охране конституции направлено исключительно на враждебные конституции устремления членов НССС. Остальное студенчество не затрагивается» (начальник гессенского ведомства по охране конституции Хееде, на пресс-конференции в декабре 1967 года, когда там стали известны два случая вербовки студентов). Это высказывание официального лица подтвердило, что праворадикальные тенденции, в университетах во всяком случае, не волнуют ведомство охраны конституции. Отвечая на вопрос о политической и моральной допустимости денежного вознаграждения за подобного рода услуги (студенты-шпики должны были получать по 200 марок в месяц), Хееде выразил свое глубочайшее сожаление в связи с тем, что у нас больше не находится граждан, которые брались бы за такие поручения бескорыстно и безвозмездно. Идеалисты явно перевелись. «Что скажут люди, если потом что-нибудь случится, а мы ничего не знали». Кстати, этот защитник конституции был недавно повышен в должности. Он назначен руководителем гессенского ведомства охраны конституции, что исключает всякие сомнения в законности его действий.

Другие высокие власти пытаются, напротив, сделать вид, что дело не стоит выеденного яйца. «Перегиб, местная инициатива...», в Гисене случайно имела место «излишняя горячность защитников конституции», остальные высшие школы земли Гессен, во Франкфурте-на-Майне, в Марбурге и Дармштадте ко всему этому не имеют отношения (статс-секретарь Государственной канцелярии Висбадена Вилли Биркельбах, СДПГ). «Были собраны сведения из всем доступных источников» (статс-секретарь министерства внутренних дел земли Гессен Ветцель).

А министр внутренних дел земли Гессен Шнейдер категорически заявил, что он не требовал слежки за НССС «ни на какой-либо конференции в министерстве внутренних дел, ни в любом другом официальном собрании, ни в частных беседах». «То, что произошло в Гисене, было досадной случайностью, которая никогда более не повторится в Гессене».

Значит, дело и вправду не стоит выеденного яйца? Сведения о том, что двум студентам из Гисена, провалившим попытку их вербовки, предлагали деньги, с возмущением опровергались.

Отчет о посещениях отделов политической полиции и ведомств охраны конституции.

Полицей-президиум Вюрцбурга, первый этаж, комната 120. Политический комиссариат найти нетрудно, хотя на двери нет таблички с фамилией. Господин Зёдер — фамилию я узнал позже, по телефону,— носит штатскую одежду.

Окно его кабинета закрыто с улицы стальной решеткой — на случай взлома изнутри и снаружи.

Зёдеру лет 50 с лишним, он среднего роста, коренаст, одет средне, особых примет не имеет. Его можно принять за врача, или за коммивояжера, или даже за директора отделения банка. Он предлагает мне сесть, на стул, слева от его письменного стола, я представляюсь, он своего имени не называет. «У меня к вам дело несколько деликатного свойства»,— начинаю я. Он не спускает с меня испытующего взгляда. Я говорю, что состою в Национальном союзе высших школ, организации, близкой к НДП. В Гёттингене я вступил в Немецкий социалистический студенческий союз, конечно, в интересах своего союза — «врага надо знать». Я сообщаю, что регулярно составлял отчеты об НССС для одного связного и последнее время получал вознаграждение в форме возмещения необходимых в таких случаях затрат. Но у меня произошли неприятности, потому что «в последнее время все было предано гласности» и эти из НССС не доверяли мне. Они не допускали меня на общие собрания, «дело дошло до того, что в столовой от меня демонстративно отсаживались, если я хотел занять место около них». Короче говоря, именно по этой причине я хочу переменить университет и поступить в здешний, чтобы доставлять материал о недавно организованном здесь отделении. У меня уже есть несколько «контактных адресов, благодаря которым я смогу снова вступить в НССС».

«Это будет трудно». Чиновник делится со мной своими сомнениями. «У них сеть сигнализации. Они вас здесь обнаружат».— «В Гёттингене я жил под другим именем. Мне выдали фальшивый паспорт». С этой практикой чиновник, кажется, хорошо знаком. «Но сейчас вы назвали ваше действительное имя?» Я называю ему фамилии нескольких членов НССС из Вюрцбурга, чтобы узнать, насколько он информирован. Он знает всех, знает и адреса, но слишком осторожен, чтобы сказать больше. «Со временем что-нибудь достанется и на мою долю». Кажется, я переборщил. Доверие и участие, которые он оказал мне поначалу, снова исчезают. Он указывает мне мое место. «Успеется. Так далеко дело еще не зашло. Сначала я должен записать данные о вас. Хотя бы в интересах дела мы должны быть осторожными. Если все подтвердится, вы позвоните мне, и мы все обсудим спокойно...» — «Мне нужно сперва найти комнату, а потом я вам позвоню».

Чтобы проверить, в какой степени его заинтересовало мое предложение, я говорю: «Если вы не можете оплачивать моих услуг, я предложу их ведомству по охране конституции. У меня есть к ним рекомендация». Он задерживает меня: «Все-таки в настоящий момент я предпочел бы ничего не предпринимать. Последние события послужили им предупреждением, и они осторожны по отношению к новичкам. Ну, мы еще вернемся к этому разговору... Жду вашего звонка». Мы раскланиваемся.

Политический комиссариат в Гейдельберге находится в здании полиции, четвертый этаж, комната 68. На табличке у двери три фамилии: Циммерман, Биринтер, Хабер (комиссар по уголовным делам, эксперт по уголовным делам). Судя по внешности, меня приветствует комиссар. Он сед, лет 60. Сшитый по мерке темно-синий костюм делает его небрежно-снисходительным. Он выслушивает мою историю, стоя в прихожей перед кабинетом. Бросив взгляд на секретаршу за пишущей машинкой, я перехожу на шепот.

Кажется, он не совсем уловил суть дела, потому что, приглашая меня в кабинет, он обращается ко мне «коллега». Кто-то вызывает его по телефону, он говорит в трубку, глядя на меня: «Нет, я не один, но вы можете говорить спокойно». Я встаю, чтобы выйти и подождать в соседней комнате, но он делает знак, чтобы я остался. Похоже, что на другом конце провода как раз один из «наших», так как он говорит: «Я только что привел в порядок ваш отчет о студентах и передал его бургомистру. Заходите в самое ближайшее время...» В ходе дальнейшей беседы ему вдруг становится ясно, что я только собирал материал для связного, но сам не являюсь «нашим» человеком. «Значит, вы для нас совсем не работали?» Деятельность штатных агентов он называет «работой» в отличие от любительского добровольного «шпионства», которое он, правда, тоже не называет шпионством. Он пользуется эвфемизмом: «ваша деятельность...» Теперь он ведет себя как чиновник из Вюрцбурга. Я оставляю ему мои паспортные данные и адрес. «Через пару дней все будет в порядке. Тогда и позвоните».— «Мне нужна комната. Вы не можете помочь?» — «О комнате можете договариваться. Это мы уладим».

Вопрос об оплате его не удивляет. Он не говорит ни «да», ни «нет», в его поведении не чувствуется отказа, только выжидание. Он подает мне руку.

В Лимбурге политическим отделом заведует гауптвахмистр Россбах. Здесь моя версия выглядит несколько иначе. Речь идет о якобы существующих контактах между одной производственно-художественной школой — институтом стекла в Хадамаре — с отделением НССС во Франкфурте-на-Майне. Комиссар Россбах нюхом чует новое поле деятельности. «Это очень интересно. Конечно, это нас очень интересует».— «Но меня интересует соответствующий гонорар, иначе можно было бы обратиться в ведомство по охране конституции». Россбах и слышать не хочет о конкуренции. «Нет, вы правильно сделали, что обратились к нам. Наши

гонорары не хуже». Он записывает адрес и дату моего рождения, чтобы «в ближайшие дни обсудить все подробности».

«То, что произошло в Гисене, было досадной случайностью, которая никогда более не повторится в Гессене» (Шнайдер, министр внутренних дел земли Гессен).

Полицей-президиум Дармштадта расположен за границей города. Г-н Эмиг является заместителем начальника политического комиссара. Ему я излагаю свою первую версию. Эмиг чувствует себя неуверенно. Его шеф, г-н Аррас, уехал на неделю в служебную командировку. «Но он должен был предупредить вас о моем посещении. Разве вы не получили от него инструкций?» — «Нет, он мне ничего не сказал. Опять старая история. Он давно уже не говорит мне всего».— «Разве у вас нет людей, которые доставляют вам материалы об НССС?» — «Мы здесь довольно осторожны, чтобы не наделать шуму. Вот почему я вам ничего не могу сказать».

В Дармштадте ведомство по охране конституции не конкурирует с политическим отделом полиции. «Мы работаем рука об руку. Официально мы имеем право только на служебную помощь, но в действительности мы сотрудничаем самым тесным образом»,— отвечает он на мой вопрос, не обратиться ли мне за гонораром в ведомство по охране конституции. Еще больше неприятностей, чем НССС, доставляет им здесь нелегальная КПГ. «Постоянные контакты с Востоком, хлопот не оберешься. Я тут недавно сказал одному бывшему члену КПГ: «У меня есть предложение, я оплачу вам билет до Веймара, там вы будете иметь сколько угодно диктатур, а здесь нам диктатура ни к чему...»

И он высказывает свое мнение о Дучке: «Этот тип вчера был во Франкфурте. Почему его не вышвырнут из университета, понять не могу. Демократия демократией, не где-то же надо положить ей предел. Кто знает, может его оттуда подослали, из зоны». На прощание он меня предупреждает: «Здесь нужно сотрудничать чертовски осторожно. Это вам не Северный Рейн-Вестфалия».

Адреса чиновников ведомства по охране конституции совершенно секретны. В Дармштадте эта служба помещается в правительственном здании на «Ланге Людвиг». На первом этаже висит объявление: «Американская армия предлагает вознаграждение в 4000 марок за поимку и арест оберфельдфебеля, дезертировавшего из части военного контроля США». А немецкая криминальная полиция предлагает за обнаружение бежавшего убийцы или грабителя 1500 марок.

Фамилия дармштадтского защитника конституции Юнгеман. Но на табличке у двери она не указана. Юнгеману около сорока лет. Прежде чем начать беседу, он осведомляется о моем имени и фамилии. Он записывает и фамилию связного, с которым я до сих пор держал контакт. Когда я отказываюсь предъявить ему удостоверение личности, он заявляет: «Откуда я знаю, что вы не подосланы из НССС. Вы очень облегчите нам дело, если предъявите паспорт. Через два часа я и так получу о вас по телеграфу все сведения. Если вы не внесете полную ясность, дальнейшие разговоры не имеют смысла».

Я перехожу в атаку: «Ваше отношение ко мне не внушает большого доверия. Я могу продать материал и в другом месте». Он парирует: «Тогда я скажу вам, что и ваше поведение не внушает большого доверия, даже вообще никакого... Человек, которого посылают сюда для сотрудничества с нами, за плату, и который не желает предъявить документов... Здесь что-то не так».

Через две комнаты по коридору — полицейский участок. Юнгеман барабанит пальцами по крышке письменного стола. Я встаю: «Вы еще обо мне услышите». И сбегаю вниз по лестнице. Недалеко от стоянки автомобилей я замечаю, что за мной бежит молодой полицейский. А рядом с ним, пытаясь не отставать, некто в бежевом плаще. Воспользовавшись своим преимуществом в 30 метров, я успеваю сесть в машину. На светофоре красный свет, потом желтый, я включаю скорость. Полицейский в пяти шагах от меня, он останавливается и записывает номер машины.

«Мы скользим по наклонной плоскости, постепенно превращаясь в полицейское государство, даже в сыскное государство» (Шмидт, председатель верховного суда земли Гессен, Штутгарт, 1965).

«Случай, произошедший в Гисене, не первый в таком роде. Уже четыре года назад два моих знакомых студента из Марбурга от представителя ведомства по охране конституции, который выдавал себя за уполномоченного этой организации в университетах Марбурга и Гёттингена и личность которого была подтверждена уголовной полицией в Марбурге, получили предложение собирать и передавать ему информацию из студенческих кругов. Студентам, которые принадлежали к различным политическим группировкам, предлагались деньги, «хорошие места» и всяческое продвижение по службе» (д-р Клаус Хорн, научный ассистент, Лоллар).

Вальтер Т. (25 лет), студент университета в Марбурге, летом 1966 года получил приглашение зайти в тамошний полицейский участок (Т. тогда уже несколько месяцев состоял в НССС).

Там его принял чиновник ведомства по охране конституции Висбадена, представившийся как г-н Петцольд. Он допрашивал его о поездке в ГДР. Допрос проходил «в любезном и деловом тоне». После допроса чиновник пригласил Т. на кружку пива в кафе. Там он откровенно сказал ему, что его контакты в ГДР сами по себе не имеют ничего дурного и он мог бы с успехом продолжать и укреплять их, если бы давал сведения о товарищах по союзу и о событиях, происходящих в союзе. Кроме того, было бы желательно установить новые контакты. Почти извиняясь, чиновник прибавил: «Должны же вы понимать, что демократия нуждается в таких людях, как я, и что ей необходимы заслуживающие доверия многочисленные осведомители». Он намекнул, что эта деятельность в случае успеха может быть оплачиваема. Кроме того, чиновник был отлично осведомлен о семейном положении Т. Когда Т. отказался, чиновник потребовал от него строжайшей тайны и пригрозил неприятностями в случае разглашения содержания беседы.

Реймут Рейхе (НССС), Франкфурт, несколько месяцев назад после демонстрации против войны во Вьетнаме неожиданно разговорился с командиром полицейской части Паницем. Паниц: «Нам давно известно, что вы привлекаете сюда своих товарищей из Берлина. Мы заметили, сколько членов вашего союза переселились во Франкфурт. Вы хотите превратить Франкфурт в новый центр студенческого мятежа». Упрек Паница равнялся признанию. Он проговорился, что полиция имеет доступ к студенческой картотеке, хотя картотека находится под замком, должна сохраняться в тайне университетской администрацией и к ней не имеет права доступа никто из посторонних.

Люнебург известен своим специальным судом по политическим преступлениям. В киоске напротив здания полицей-президиума продаются «Бильд», «Дейче нахрихтен» и «Дейче националь унд зольдатен-цейтунг». В Люнебурге НДП особенно сильна.

«Стой!» — кричит мне вслед полицейский, когда я пытаюсь перебежать улицу при красном свете. Когда загорается зеленый свет, он следует за мной. Я успеваю войти в здание полицей-президиума за несколько секунд до него. «Где политический отдел?» — «Четвертый этаж». Вахтер придерживает открытую дверь для следующего за мной полицейского. «Напишите ему предупреждение. Он переходил улицу при красном свете и не остановился, когда я потребовал». «Так точно,— отвечает вахтер,— предупреждение и штраф за нарушение правил уличного движения, так точно, немедленно».

Полицейский чиновник, который последовал за мной, носит погоны, усеянные звездами. Ему около пятидесяти, он блондин, держится очень прямо, типичный «туз». Не удостаивая меня взглядом, он направляется к лестнице. «Минуточку,— бросаюсь я вслед за ним.— Я торопился, я специально приехал из Гамбурга, у меня к вам дело».

Он останавливается. «Я уже отдал распоряжение, мы не делаем никаких исключений». «Не понимаю,— говорю я,— я специально приезжаю из Гамбурга, чтобы доставить вам материал об НССС, и вот благодарность». Он понимает: «Это другое дело. Так бы сразу и сказали. Откуда же мне знать?» И громко вахтеру: «Все улажено!» (Вахтер мнет уже написанное «предупреждение и штраф за нарушение...»)

Чиновник в униформе провожает меня на четвертый этаж. «Нам нужны такие люди, как вы»,— говорит он мне на прощание без тени иронии.

Шеф политического комиссариата Кунце находится в служебной командировке. Его заместитель, гаупткомиссар Экер, приглашает меня сесть, угощает сигаретой. Ему около сорока пяти. Я излагаю свое предложение. На этот раз ни звука о «левых», НССС и внепарламентской оппозиции. Готовность не только принять, но и соответственно оплачивать шпионскую деятельность в этом направлении проявили в Дармштадте, Гейдельберге, Лимбурге и Вюрцбурге. Сейчас речь идет о «правом радикализме». Я хочу выяснить, проводится ли столь же интенсивная слежка за «враждебными конституции элементами» справа?

Я заявляю, что вступил в Гамбурге в НДП «прежде всего из чувства ответственности перед демократией». То, что я увидел за полгода своего пребывания там, является наказуемыми деяниями и могло бы послужить основанием для запрещения партии. Теперь я переезжаю в Люнебург, по делам службы. Возможно, что при здешней политической структуре найдется еще более богатый материал. Мне важно, чтобы мои сообщения и отчеты попали в верные руки. Вот почему я здесь.

«Вы, кажется, идеалист?» Он реагирует скорее с юмором, чем недоверчиво. «Видите ли,— пытается он представить вещи в правильном свете,— слух о запрещении НДП, откуда он? В первую очередь этот слух исходит от нелегальной КПГ и внепарламентской оппозиции. Не думаете же вы, что мы должны усиливать

такую партию или со временем интегрировать ее в нашу демократическую систему!» Он ловит мой изумленный взгляд: «Даже гамбургский сенатор по внутренним делам Рунау против запрещения».— «Значит, вы в этом не заинтересованы?» «Ну да,— виляет Экер,— видите ли, этот материал, о котором вы говорите... такие вещи не следует раздувать, устраивать из них трагедию, мы справлялись с вещами посерьезней».— «Вы имеете в виду третий рейх?» Он не понимает: «Да нет, эти студенческие безобразия, приходится с ними возиться, но мы их все-таки обуздаем... ведь НДП ведет себя сравнительно спокойно».— «Значит, можно сказать, что юридически вы благосклонны к этой партии, и мои усилия здесь вряд ли найдут сочувствие?» Гаупткомиссар Экер (слегка встревоженный): «Я этого не говорил. Если хотите знать, я член ХДС. Но подумайте сами, кому мешает НДП, кому от нее хуже?» (Когда я сажусь в автомобиль, некто, лет 30, в сером твидовом пальто, записывает мой номер.)

Лауэнбург-на-Эльбе, в 30 километрах к северу от Люнебурга. Я справляюсь сначала в полицейском участке: «У меня есть дело по политической части». Чиновник в униформе приводит начальника участка. Начальник в штатском проводит меня в кабинет на втором этаже. Прежде всего он предлагает мне сигарету. «Меня интересует возможность сотрудничества. Есть заслуживающая доверия информация».— «Вам повезло». Чиновник рад быть мне полезным.

«У нас здесь есть человек из ведомства по охране конституции. У него специальное задание, и он отвечает за обработку такого рода информации». Я знаю,— фантазирую я,— мне еще в Гамбурге говорили, что здесь я найду широкое поле деятельности». Он набирает номер 3218, вызывает г-на Габберта, того самого человека «из ведомства по охране конституции, со специальным заданием». «К вам пришли»,— говорит начальник участка. И обращается ко мне: «Это недолго». Через пять минут в кабинете появляется Габберт. Он входит без стука. Фамильярно похлопывает начальника по плечу: «Ну, мой милый, как вы после вчерашнего карнавала?» На меня он взирает благосклонно. «Ну-с, послушаем!» Габберт, кажется, начальник начальника, во всяком случае что-то вроде «серого кардинала», потому что он отсылает чиновника из его собственного кабинета (и весьма решительно): «Вы ведь как раз собрались домой». Начальник участка подает нам руку, берет папку и удаляется, натягивая на ходу пальто. «Ну, вот мы и одни! — ухмыляется Габберт.— Такие вещи следует обсуждать с глазу на глаз, это мой принцип. Так что же у вас на сердце?» Я объясняю причины моего вступления в НДП. На этот раз я выдаю себя за инженера, инженера по статике, которого собираются посылать сюда из Гамбурга раз в неделю, по понедельникам. В Гамбурге я уже передал кое-какой материал «нашему человеку», но здесь я надеюсь на более богатый урожай, так как НДП имеет здесь три места в ландтаге. «У меня нашлось бы для вас кое-что получше.— Габберт делает таинственную мину.— Предлагаю обсудить все это спокойно в кафе поблизости. Там уютнее. Я выйду, а вы за мной, минут через пять. Незачем привлекать внимание».

Через пять минут. Кафе «Клаузен». Габберт занял угловой столик. Он поднимается и снова приветствует меня. Заказывает кофе и пирожные. «А что за стройка, на которой вы работаете?» — «Секретная,— шепчу я, приложив палец к губам. —Вы, конечно, знаете об этом больше, чем я». Габберт кивает, словно знает, о чем речь. «Ясно,— говорит он и переходит к делу:— Видите ли, я здесь не случайно. Лауэнбург — гнездилище красных, я бы даже сказал, что Лауэнбург — центр северогерманской КПГ». Аргументация: «Здесь Немецкий союз мира* получил пять процентов».— «Но ведь НДП почти десять». Габберт не слышит, он продолжает: «Здесь старый рабочий район. Сплошная нелегальщина. Начиная с «рабочей благотворительности» и кончая «рабочими» столиками в кафе. Везде коммунистические подкопы». Он говорит это, прикрывая рот рукой и внимательно оглядывая помещение. За соседними столиками сидят «кофейные» тетушки и несколько школьниц. «Видите ли, вам стоило бы заняться выявлением антидемократических и радикальных происков. Мы гарантируем вам полную безопасность и абсолютную тайну».

Он снова справляется о названии строительной фирмы. «Потому что, видите ли, вы могли бы заодно заняться наблюдением за рабочими на производстве. Их контакты, их политическая ориентация, их беседы. Это было бы нам очень полезно». Он обещает подыскать мне подходящую комнату. «Вам надо бы жить немного подальше. Чтобы не слишком попадаться на глаза. Работать здесь одно удовольствие. Все на виду. У маленького города есть свои преимущества. 11 400 жителей, все друг друга знают, информационная сеть плотная, ну да сами увидите. И не связывайтесь вы с НДП, деятельность левых интереснее и важнее».— «Как вы думаете, если я справлюсь, если обеспечу вам достаточно материала, мог бы я впоследствии рассчитывать на штатную работу, так сказать, с самых низов?» Он входит в подробности: «Почему нет? Хорошие люди нужны всегда. Это все вполне возможно, только требует времени. Правда, мы можем заключать и промежуточные соглашения. Если материал хороший, мы, разумеется, платим за него».

* Немецкий союз мира — прогрессивная политическая партия.

Потом он еще раз дает мне совет — совет коллеги будущему коллеге: «Наша профессия требует твердости. Хотя мы не так плохи, как нас изображают, но нашими человеческими чувствами часто приходится поступаться». Его взгляд блуждает по кафе. «В кафе надо быть осторожным». Потом он шепчет: «Мы должны быть твердыми по отношению к другим, как и по отношению к себе». В заключение он просит написать ему на листке бумаги мою фамилию, адрес, место и дату рождения. Я складываю записку, которую он, не прочитав, у всех на виду кладет в карман. «Мы вас найдем. Через неделю вы получите от нас весточку. Вы понимаете, мы должны действовать наверняка. Мы наведем о вас некоторые справки, это и в ваших интересах». «Да, конечно, в моих»,— отвечаю я. Я хочу заплатить за мой кофе и пирожные, но он не позволяет: «Оставим это».

В гардеробе я помогаю ему надеть пальто. Это точно такое же твидовое пальто, какое носил чиновник по политическим преступлениям в Люнебурге. «Ваше служебное пальто? — спрашиваю я, когда мы проходим мимо буфета.— Оно так подчеркнуто не бросается в глаза». «Не так громко»,— говорит он шепотом и кивает на прощание официантке. Мы раскланиваемся, он напяливает на лицо вымученную улыбку, приподнимает шляпу и смотрит мне вслед.

Через неделю: Берлин. Здание полиции тут же рядом с аэродромом Темпельхоф. Политическая полиция окопалась на четвертом этаже. «Вы должны сдать паспорт». Полицейский в стеклянной будке не пропускает меня. «Я не могу рисковать. Ведь я вас не знаю»—«Попросите сюда начальника политического отдела. Ему я могу назвать свое имя». Это производит желаемый эффект. Полицейский проводит меня в политический комиссариат. Там я объясняю одному чиновнику, в чем дело. Он переправляет меня к своему шефу, комиссару Рюкварту: «Этот человек готов сотрудничать с полицией». Я представляюсь как студент, который переезжает из Франкфурта в Берлин. Я предлагаю ему и здесь записаться в НДП и одновременно в «Национальный союз высших школ», руководимый НДП. Комиссар отрицательно качает головой: «У нас теперь совсем другие заботы». И в третий раз разыгрывается та же история. «Вы что, против радикализации с обеих сторон? Каковы ваши политические убеждения?» — «Ну, как бы это сказать, демократические права. Примерно, линия Штрауса и Шютца». Комиссар доволен: «Видите ли, как вам известно из газет, НССС доставляет нам здесь много хлопот. А будет еще хуже, поверьте. Я вам открыто говорю, мы готовы на все. И нам нужны, конечно, люди. В состоянии ли вы работать на нас?» «Я, право, не знаю,— говорю я,— собственно, более страшной опасностью мне всегда казались правые. Впрочем, вам виднее, вам и карты в руки». «Да,— говорит Рюкварт,— нам все известно, марксистское мышление и ясная партийная программа в ее самой радикальной форме плюс дистанционное управление со стороны коммунистов. С коммунами легче. Это период полового созревания, и кончится он сам собой. Но НССС доставляет нам все больше работы». Потом он предупреждает меня: «Если вы с ними свяжетесь, держитесь на расстоянии. Это как чума. Даже люди, работавшие на нас, попались на их удочку и дали заморочить себе голову. Чтобы с вами этого не произошло! Вы человек новый и еще не знаете здешних условий». Он рисует мне перспективу гонораров за мою будущую шпионскую деятельность: «Мы это прямо обсудим с ведомством по охране конституции, они этими вещами занимаются, они и решат. Все будет в порядке». Он просит меня об одном: «Не прописывайтесь в Берлине. Вы можете нам понадобиться в восточном секторе, а с берлинской пропиской вы туда законным образом не попадете».

В заключение он наводит меня на след: «Если вы назовете нам того члена НССС, который в последнее время устраивает здесь пожары, ваша карьера обеспечена». Он намекает на несколько случаев поджогов, которые, согласно газетным сообщениям, были совершены явно каким-то душевнобольным.

Перевод с немецкого Э. ВЕНГЕРОВОЙ

Культура и современность

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

ГЛАЗАМИ ЯПОНСКОГО УЧЕНОГО

Японский историк П. Сазки писал:

«В период VIII—IX веков вряд ли было что-либо значительное в Чанъане, великой Танской столице, что бы рано или поздно не было привезено в Японию или скопировано японцами в их столице Нара. Если дворцовые постройки Чанъаня окрашивались в красный цвет, такими же были и нарские. Если строились храмы и им оказывалась поддержка со стороны правительства, так же поступали и в Японии. Если день рождения китайского императора считался национальным праздником, так же считали и в Японии. Если знать в китайской столице играла в мяч, этому моментально начинала подражать японская аристократия в Нара».

То было слепое подражание Китаю, но относилось оно к глубокой древности. В последующие века восприятие Японией китайской культуры было весьма избирательным и критическим. Но интерес японцев ко всему, что происходило и происходит в новом Китае, остался традиционным.

Китайская «культурная революция» вызвала в Японии многочисленные и разноречивые отклики. Те, для кого революция и культура не пустой звук, решительно осуждают политику и действия нынешних китайских руководителей. Нашлись, однако, и сторонники их. Среди них есть и левые авантюристы, склонные к крайнему экстремизму, но есть и такие, которые, принимая на веру псевдореволюционные фразы маоистов, не имеют реального представления о том, что в действительности творится сегодня в Китае, не понимают сущности процессов, происходящих в Китае. А есть и просто спекулянты, пытающиеся, и часто не без успеха, ловить рыбку в мутных водах «культурной революции». Особенно большую активность проявляют японские предприниматели, развивающие сейчас в Китае бурную деятельность. Им, в общем-то, безразличны и революция, и культура. Главное для них — не упустить выгодную конъюнктуру. Чем она вызвана — их не касается. Они устремились в брешь, образовавшуюся в сношениях Китая с внешним миром, в частности, с социалистическими странами. Им «культурная революция» на руку. И они поддерживают ее с упоением (показным, правда). Вот что пишет по этому поводу во «Франс-суар» Нэнси Салливэн, австралийская журналистка, не раз бывавшая в Китае:

«За соседним столиком несколько невозмутимых японцев... На их белых рубашках бренчат пять или шесть значков, изображающих председателя Мао... Я их часто встречала на границе, этих торговых представителей японских фирм, рьяных почитателей «идей» Мао Цзэ-дуна. В китайском поезде они встают, чтобы пропеть последние модные песнопения, посвященные председателю. Они с самурайскими криками поднимают кулак в знак борьбы против ревизионизма. Они потрясают маленькой красной книжицей. А когда граница уже позади, то в английском поезде, который везет нас в Гонконг, они стоят в очереди в туалет, откуда выходят в белоснежных сорочках без всяких следов значков. В руках у них тщательно завернутые в целлофановые пакеты рубашки, усеянные значками, красные книжицы и небольшие журналы, которые они прячут в ультрасовременные чемоданчики...»

Возвратившись в Японию, эти люди совершают новое превращение, памятуя о своих будущих торговых сделках. И, конечно, не без их участия японская пресса наводняется статьями о «культурной революции», создающими превратное представление о положении вещей в Китае. Этот поток дезинформации мешает японцам понять, что же там происходит на самом деле.

Однако пишутся и другие статьи. Статьи объективные, доказательные, созданные с единственной целью — рассказать правду о сегодняшнем Китае. Статья в журнале «Гундзо», принадлежащая перу Минору Такэути, крупного японского китаеведа, специалиста в области культуры и литературы Китая, автора ряда серьезных исследований творчества Лу Синя, именно такова, и поэтому она вызвала огромный резонанс. Одни поддерживают ее, считая нужной, своевременной и, главное, объективной. Другие обвиняют Такэути в излишней резкости и даже предвзятости. Но таких, кто остался бы к статье равнодушным, нет. А это главное.

«Культурная революция» привела к деградации интеллектуальной жизни в Китае. Таков лейтмотив статьи Минору Такэути.

«Представьте себе,— пишет он,— что в нашей стране в киосках на улицах, на станциях исчезли журналы, перестала издаваться научная периодика, популярные романы превратились в «ядовитую траву», и продолжалось бы это два года. Вы ведь почувствуете духовный голод, не правда ли? И происходит все это не потому, что утеряны книги, которые нужно прочесть, нет слов, которые нужно сказать. Дело в том, что подобная обстановка сложилась и в неизменном виде существует уже два года. Означает это застой, деградацию интеллектуальной жизни в самом широком и общем смысле. Я имею в виду нынешний Китай. Там интеллектуальная жизнь превратилась в фикцию».

Впрочем, иронически замечает Такэути, китайцы прилагают величайшие усилия к тому, чтобы выдать фикцию за реальность. Они имитируют бурную духовную деятельность, громя мнимых ревизионистов, мнимых реакционеров.

«В 1967 году,— напоминает Такэути,— в Китае побывал Альберто Моравиа, который поделился своими впечатлениями о встречах и беседах с одним китайским писателем. Моравиа не называет его имени, но, судя по всему, речь идет о Ху Вань-чуне. Ему 39 лет, он из рабочих. Ху Вань-чуню разрешено давать интервью иностранцам, в 1960 году я встречался с ним в Китае и узнаю его манеры, взгляд, устремленный в потолок, так удивительно точно воспроизведенные Моравиа».

Ху Вань-чунь — один из немногих китайских писателей, с которыми хунвэйбины нашли общий язык. Очень уж рьяно клянется он в верности идеям «культурной революции», поливает грязью товарищей по перу. И, конечно, каждая страница его «творений» полна славословия в адрес «великого кормчего». А что еще требуется от писателя в сегодняшнем Китае?

Хочешь написать роман о рабочих — становись к станку, хочешь написать роман из жизни солдат — надень военную форму. Успех обеспечен, если в точности знаешь, что можно и чего нельзя писать. Таков простой и универсальный рецепт создания художественных шедевров, весьма импонирующий ремесленникам, плетущим незамысловатые поделки. В восторге от подобного принципа творчества и Ху Вань-чунь. Он с гордостью сообщил Моравиа, что шестимесячного пребывания в армии ему хватило для того, чтобы написать роман, ставший бестселлером.

«Услышав это признание, Моравиа попытался возразить. Настоящее произведение, объяснил он, должно рождаться естественно, из внутренней потребности, а такой способ слишком уж рационалистичен. Тогда Ху Вань-чунь,— рассказывает далее Такэути,— вынув из кармана сборник изречений Мао Цзэ-дуна, стал громко зачитывать цитаты, подкрепляющие его точку зрения. Не остался в долгу и Моравиа. Он тоже стал вычитывать соответствующие места из цитатника. И между ними развернулось настоящее «цитатное сражение».

«Истинные знания,— громко декламировал Ху Вань-чунь,— базируются на непосредственном опыте». Возражая ему, Моравиа, раскрыв цитатник на другой странице, прочитал: «Основа развития всяческих вещей и явлений лежит не вне, а внутри их, таится во внутренних противоречиях». Когда Ху Вань-чунь зачитал еще одну цитату, в которой Мао утверждал, что любой класс в любом классовом обществе на первый план выдвигает политический критерий, а критерий художественный отводит на второй план, Моравиа прочитал: «Произведения, лишенные художественных достоинств, не оказывают на читателя политического влияния, даже если они написаны с прогрессивных позиций»...

Любопытно, отмечает Такэути, что подкреплять свои позиции и тот и другой могли не только с помощью разных цитат из «красной библии», но и с помощью одних и тех же цитат. Каждый вкладывает в них любой смысл, который ему по душе. «Кроме цитатника в Китае ничего не читают». Добавим от себя: и ничего не издают. Это достаточно наглядно показывает и Нэнси Салливэн.

«Мао Цзэ-дун стал бы богатейшим автором, если бы он не отказался от своих авторских прав. Вот несколько цифр о тиражах его произведений в 1967 году: 86 400 тысяч экземпляров избранных произведений на китайском языке, на языках национальных меньшинств и на 25 иностранных языках; 350 миллионов экземпляров цитатников; 47 миллионов экземпляров избранных текстов, 57 миллионов экземпляров его стихотворений».

Казалось бы, писателю должно быть невыносимо сознавать, что гибнет многовековая китайская культура, раздавленная размноженными в сотнях миллионов экземпляров творениями одного человека, сознавать, что преследованиям и даже физическому уничтожению подвергаются честные, наиболее талантливые художники. Но не таков Ху Вань-чунь, для которого цитатник — кладезь мудрости на все случаи жизни. Такэути пишет о буквально звериной злобе, с которой этот «писатель» отзывается о собратьях по перу, в частности, о Ба Цзине, «разоблаченном благодаря культурной революции». Каких только ярлыков не навешивает он на него! И буржуазный он перерожденец (у него якобы более десяти транзисторов и денег 300 тысяч юаней), и пишет он произведения, которые можно охарактеризовать как «антипартийную, антисоциалистическую ядовитую траву», и ведет паразитическую жизнь, и поставляет снаряды для Ассошиэйтед Пресс и тайваньской «Чжуньян жибао», которыми они обстреливают КНР, и выступает против идей Мао Цзэ-дуна. А ведь Ба Цзинь — старейший китайский писатель, любящий свою родину и свой народ, автор многих романов, известных и в других странах, в частности в СССР.

Нападкам подвергается не только Ба Цзинь, но и другие деятели культуры; в том же Шанхае переводчик Ромена Роллана на китайский язык Чуань Лэй покончил жизнь самоубийством вместе с женой. Об этом факте стало известно от сына Чуань Лэя, известного пианиста, живущего в Лондоне, который, перестав получать от отца письма, сообщил, что тот уже дважды покушался на самоубийство, и на этот раз ему, видимо, удалось лишить себя жизни. Хунвэйбины травили его за перевод произведений Ромена Роллана, именуемых ими «ядовитой травой».

Из Китая просачиваются сообщения о гибели многих писателей, среди которых друзья Такэути. Он пишет, что сейчас уже почти точно известно о самоубийстве талантливого романиста Лао Шэ, не выдержавшего ожесточенной травли. Как сообщает Такэути, китайская пресса — в том случае, если она хочет опровергнуть слухи о самоубийстве того или иного писателя — помещает портрет или печатает интервью с ним.

«Я был бы счастлив, если бы появились фотографии Ба Цзиня, Лао Шэ, Чжао Шу-ли»,— говорит Такэути. Их отсутствие — дурной признак, оно заставляет предположить самое худшее.

«Люди, которые травят видных деятелей китайской литературы,— продолжает он,— имеют наглость называть себя революционными писателями, хотя ими не создано ни одного художественного произведения» («культурная революция», мол, нужно бороться — писать некогда). С возмущением говоря о «придуманных хунвэйбинами кличках, оскорбительных для жертв «культурной революции», Такэути вспоминает о тех временах, когда «Япония, захватив Маньчжурию, называла сражавшихся с ней партизан «бандитами», а французские каратели, преследуя алжирцев и жестоко расправляясь с ними, именовали их «крысами». Конечно, иронизирует Такэути, сходства в манере выражения еще недостаточно для того, чтобы китайских «борцов за чистоту социализма ставить на одну доску с японскими и французскими колонизаторами»...

Большое место в статье Такэути уделено критике взглядов Мао Цзэ-дуна на литературу и искусство, стремлениям маоистов выдать их за истину в последней инстанции. Не следует забывать, что культ императора дорого обошелся японцам. И в этом одна из причин, по которой они, исключая ультранационалистов, не приемлют культ личности Мао Цзэ-дуна. Этот культ стал отличительной чертой «культурной революции», но, как уточняет Такэути,

> «стремление Мао пропагандировать свои теории и обеспечить им положение абсолютной истины, признаваемой всеми», проявилось раньше.

Еще в 1942 году идеи Мао Цзэ-дуна в области литературы были названы «истиной», которой должны следовать все, кто создает литературные произведения. О его «Выступлении на совещании по вопросам литературы и искусства в Яньани» писали тогда:

> «Весь дух выступления товарища Мао Цзэ-дуна применим и к любой области культуры, применим и к любой области партийной деятельности. Вся партия должна осознать, что это сочинение представляет собой не только учебный материал для разрешения проблем литературы и искусства, но и всеобъемлющий учебный материал для разрешения проблем жизни и методологии».

В 1967 году, когда отмечалось двадцатипятилетие появления этого «основополагающего труда товарища Мао Цзэ-дуна», политуправление армии опубликовало «указания», в которых говорилось, что это произведение

> «является программным документом пролетарской культурной революции, самым совершенным, самым исчерпывающим, самым верным марксистско-ленинским курсом в области литературы, выдвинутым впервые в истории пролетарской революции, самым действенным оружием победоносной борьбы с современным ревизионизмом и всевозможными буржуазными идеями».

Такэути отмечает, что

«абсолютизация идей Мао Цзэ-дуна, начавшаяся еще в яньаньский период, после освобождения Китая стала осуществляться в масштабах всей страны главным образом путем неоднократно повторявшихся «движений критики». В 1951 году — критика фильма «Жизнеописание У Сюня», в 1954 году — критика «Исследования «Сна в красном тереме» Юй Пин-бо и критика Ху Ши, в 1954—1955 годах — критика группы Ху Фэна, в 1957 году — критика группы правых буржуазных элементов — Дин Лин (писательница-коммунистка, лауреат премии «За укрепление мира между народами».— *Г. В.*) и Фэн Сюэ-фэн были репрессированы».

Может быть, действительно стоило бы очень высоко оценить подобные «движения», призванные якобы очистить творческую атмосферу от чуждых тенденций и вражеских элементов, говорит Такэути, если бы за всем этим (теперь, в разгар «культурной революции», это видно особенно отчетливо) не скрывалась единственная цель — возвеличить Мао Цзэ-дуна и его «идеи», растоптав мысли всех тех, кто в какой-то мере не согласен с ним. Причем все это осуществляется по прямому указанию Мао Цзэ-дуна, направляется им.

В упоминавшемся выступлении Мао Цзэ-дуна, пишет Такэути, есть такие строки: «Марксизм может только охватывать, но не подменять собой реализм в художественном творчестве, так же как он может охватывать, но не подменять собой атомную и электронную теорию в физике». Если учесть, что с нынешней китайской точки зрения «идеи Мао Цзэ-дуна» есть «высшее достижение марксизма», то не трудно предположить, что они способны подменить собой то, что не в состоянии подменить собой марксизм.

Заметим, что прием этот не нов. Аналогии к нему можно подыскать и в древнем Китае и, кстати, в древней Японии тоже. Например, в X веке, когда составлялась поэтическая антология «Кокинсю», автор предисловия и составитель Ки-но Цураюки всячески восхвалял предыдущую антологию «Манъёсю», считая, что чем выше он вознесет ее, тем ярче засияет составленный им поэтический сборник, представляющий собой «великое достижение японской поэзии». Видимо, авторы славословий в адрес Мао Цзэ-дуна прекрасно помнят древние традиции, несмотря на активное искоренение их в нынешнем Китае. Такэути, в частности, отмечает, что сам Мао — большой любитель классической литературы, на что указывает, например, факт перефразирования им слов героини «Сна в красном тереме»: «Ветер с Востока преодолевает ветер с Запада». (Правда, героиня говорит как раз наоборот...)

Движение хунвэйбинов, продолжает Такэути, ставит своей целью обновить идеологию, культуру, обычаи и нравы. В Китае по этому поводу говорят так: разрушить «четыре старых», построить «четыре новых»... И все это делается от имени пролетариата. Между тем, как справедливо утверждает Такэути,

«пролетариат как класс просто не участвует в этом движении».

Такэути считает, что Мао Цзэ-дуну недостает пролетарского сознания. Его «великая культурная революция» возрождает в Китае власть армии. Ведь хунвэйбины были бы бессильны, если бы за ними не стояла армия.

«Найдется ли в Китае герой, способный разогнать цзаофаней? Сомневаюсь. И все же надеюсь, что история Китая не обрывается,— пишет Такэути в заключение.— Она будет продолжена».

Он возлагает надежды не на героев-одиночек, а на пролетариат, который «осознает свою классовую ответственность». Такэути верит в будущее китайского народа.

Г. ВЛАДИМИРОВ

МОЖЕТ ЛИ СВИРЕЛЬ СОПЕРНИЧАТЬ С ОРКЕСТРОМ?

«К счастью, в нас издавна заложено восприятие культуры; в нас крепки скрытые для глаз, устоявшиеся навыки прежних культур. И это помогает нам всякий раз выбирать верный путь».

Так заканчивает свое интервью египетский писатель Тауфик аль-Хаким, к имени которого принято почтительно добавлять эпитеты «патриарх», «старейшина», «живой классик арабской литературы». Писателю семьдесят лет, он уже давно отошел от дел, не имеющих прямого отношения к собственно писательскому труду, живет уединенно и избегает встреч с представителями прессы. Однако корреспонденту каирской газеты «Аль-Гумхурия» Ахмаду Бахджату недавно удалось взять у Тауфика аль-Хакима большое интервью. Опубликованное в крупнейшей газете ОАР, оно представляет несомненный интерес не только как своего рода исповедь уважаемого писателя, высказывающе-

го свои мысли по многим принципиально важным вопросам, но и как выражение определенной тенденции, все более четко проявляющейся в развитии египетской литературы последних лет.

Стремление преодолеть региональную и временну́ю замкнутость, найти свое место в общей культуре человечества, не потеряв при этом своего национального своеобразия, определить роль литературы в развивающемся обществе и место писателя в жизни и борьбе его народа и народов других стран — таков сложный комплекс проблем, вокруг которых ведут споры представители всех поколений интеллигенции арабских стран.

«Мы, поэты нынешнего поколения,— говорит известный ливанский поэт Адонис,— приняли в наследство тяжелое двойное бремя: нам предстоит сочетать наше освобождение от иностранного господства, еще не законченное, с внутренним освобождением, создать новые и живые формы на основе новой и живой действительности... Нашему поэтическому поколению выпала доля быть свидетелем возрождения нашей жизни».

Менее запальчиво, но столь же определенно примерно ту же мысль выражает представитель арабских писателей среднего поколения алжирский прозаик Мулуд Маммери. В былые времена, говорит он, на пути к нашему освобождению стояли внешние и бесспорные препятствия. Сегодня, когда африканские и азиатские народы получили политическую независимость, «нужно как можно скорее определить новую роль афро-азиатских писателей».

А что по этому поводу думает старейшина арабской литературы? Но прежде чем продолжить рассказ об интервью, с которого мы начали, по-видимому, не бесполезно вспомнить некоторые факты творческой биографии Тауфика аль-Хакима.

В 1933 году Тауфик аль-Хаким опубликовал свое первое крупное произведение — роман «Возвращение духа», принесший ему популярность далеко за пределами арабских стран. Главный герой романа, посвященного антианглийскому восстанию 1919 года в Египте, молодой, мечтающий стать литератором египтянин — образ во многом автобиографический — восклицает: «Мы будем гласом народа... Наша обязанность — выразить то, что таится в сердце народа!» С тех пор Тауфик аль-Хаким написал полсотни пьес, несколько романов, повестей и рассказов, ряд публицистических, искусствоведческих и литературоведческих работ.

«Из башни слоновой кости» — так назвал он книгу о своем писательском труде, вышедшую через десять лет после «Возвращения духа». Настойчиво проводя в ней мысль о том, что нет такого события или вопроса, волнующего человечество, которое не волновало бы и его, писатель как бы сталкивает содержание книги с ее заглавием, тем самым вообще ставя под сомнение существование «башен из слоновой кости» и «искусства для искусства». А в 1957 году на страницах журнала «Иностранная литература» в связи с запуском первого искусственного спутника земли, оставаясь верным себе, Тауфик аль-Хаким говорил: «И если есть на земле гвардия, стоящая на страже мира и ответственная за его сохранение, то это, на мой взгляд, писатели. Это их перья образовали прочную стену, призванную охранять сад мира».

Книги Тауфика аль-Хакима неоднократно издавались в других странах, в том числе и в Советском Союзе (первое издание «Возвращения духа» на русском языке относится к 1935 году), по его произведениям люди изучают арабский язык, о них пишут диссертации. Писатель, ставший живой историей египетской литературы, переживший вместе с этой литературой взлеты и падения, писатель, к которому относятся с почтением даже люди, не согласные с его взглядами, мог бы уже и удалиться в «башню из слоновой кости», но...

«Какое место занимает интеллигенция в культуре нашего века,— спросил Тауфика аль-Хакима корреспондент «Аль-Гумхурии»,— и каковы задачи нашей интеллигенции?»

«Если девятнадцатый век мы могли назвать веком господства, то наш век мы можем считать веком мятежа,— ответил писатель.— Порабощенные народы проснулись, многие из них обрели независимость. И перед этими народами встала проблема: как приобщиться к мировой цивилизации, которая развивалась и развивается с бешеной скоростью? Ответ на этот вопрос вполне очевиден: нет необходимости начинать с повторения уже пройденного пути, если живешь в эпоху до изобретения парового двигателя, а весь мир — в атомном веке. Либо вскочить на мчащийся поезд современности, либо отстать от него — другого выбора у нас нет. Если в Европе развитие происходило по этапам (предыдущий этап приводил к вызреванию последующего), то развивающиеся страны должны проглатывать достижения всех этих периодов. Правда, порой бывали случаи несварения, ибо не всегда этим странам выпадала возможность переваривать каждый период в отдельности. Но у них все равно не было выбора, потому что длительное топтание в каком-либо одном периоде означало новое отставание. Мы должны превратиться либо в желудок страуса, проглатывающего все без разбору и переваривающего не спеша, либо в желудок верблюда, глотающего про запас, а потом

уже выбирать из этого, фильтровать и добавлять то, что определяется нашим характером и нашими условиями».

Как-то один из египетских писателей старшего поколения Яхья Хакки сказал: «Социальная революция выбила у нас почву из-под ног». А другой, совсем молодой писатель Ахмад Хашим аш-Шариф сделал на основании этого заявления следующий вывод:

«Таким образом Яхья Хакки пытался объяснить молчание старшего поколения, его неспособность стать лицом к лицу с теми проблемами, которые потрясли общество. Молодое поколение дает обществу новое видение мира. Революция в его понимании означает признание бессилия тех традиционных ценностей, в которые верят Тауфик аль-Хаким и Яхья Хакки».

К сожалению, молодой писатель не конкретизирует свою мысль. Но если он отвергает все традиционные ценности (хотя бы только те, в которые верит Тауфик аль-Хаким), то это столь же опасно, как отвергать все новое и цепляться за старое. Ибо взаимоотношение традиций и новаторства — далеко не формальный вопрос. И умудренный опытом Тауфик аль-Хаким прекрасно это понимает.

«Раньше все было проще,— как бы отвечает он своему молодому оппоненту, опубликовавшему, кстати, пока всего лишь один сборник рассказов.— Раньше ты мог мечтать, переживая свои воспоминания. Теперь же художник в развивающихся странах все чаще сталкивается с бурным прогрессом в области техники и идей, в то время как сам он привязан к прежним традициям. Он любит эти традиции, хотя они часто ограничивают его метод и стиль. И вот художник в замешательстве — он думает, что ему делать. Он не может отказаться от электрифицированной ткацкой фабрики и вернуться к старому ручному станку, но он может свою простую песню, свою свирель противопоставить большому оркестру. Между прочим, стало совершенно очевидным значение фольклора как одного из средств защиты индивидуальности художника. Художник берет древнее народное творчество и садится с ним на поезд современной культуры. Он старается сохранить свою индивидуальность, обновив ее, а не возведя в абсолют...

Сущность личности заключена в ней самой, а не во внешних одеждах. Если хочешь, чтобы у тебя была своя особая манера речи и особая походка (но ведь прежде всего надо научиться говорить и ходить), то не старайся нарочно приучать себя к определенной манере говорить и ходить — всякая искусственность сделает тебя смешным».

Призывая интеллигенцию своей страны «вскочить на мчащийся поезд современности», Тауфик аль-Хаким далек, однако, от идеализации того века, в котором мы живем, и искусства, которое этот век порождает. Наша современность, замечает он, вывела науку из той стадии, когда она подчинялась природе. А попав в недобросовестные руки, наука стала способствовать утверждению духа силы и анархии, разрушения и зла. Так же и искусство, по мнению писателя, решило стать выше природы.

«Появилась идея о создании образов в искусстве, не связанных с природой,— появились различные школы абстрактного искусства. Искусство бросило природе вызов, однако не нашло ответа на свои вопросы и обвинило природу в повторении самой себя. Если перед художниками прошлого стояла задача беспредельного повышения мастерства, то сегодня художник стал жертвой лихорадки своего века — беспрерывного обновления, которое требует нового ради самого нового».

Дискуссия о том, по какому пути должны идти литературы развивающихся стран Востока, не сходит со страниц прессы; она является непременным компонентом всех писательских встреч. И если еще несколько лет назад между традиционалистами (как правило, представителями старшего поколения) и новаторами (в большинстве своем молодежью) была непроходимая пропасть, то за последнее время, кажется, наметился — скажем осторожно — некоторый сдвиг в сторону сближения точек зрения. Одни уже не столь рьяно отрицают новые формы в литературе, другие уже не так категорично отвергают традиции.

«Старшее поколение,— не может в конце концов не признать цитировавшийся выше Ахмад Хашим аш-Шариф,— постаралось привить молодежи уважение к арабскому культурному наследию, не дав тем самым прерваться преемственности культуры. Старшее поколение сделало все возможное для того, чтобы молодое поколение взглянуло на это наследие своими глазами, со своей точки зрения, чтобы молодое поколение установило связь с мировой культурой — новой и старой. Мы откликаемся на все мировые события. Кто из нас теперь не следит за сообщениями о борьбе арабов или о войне во Вьетнаме, не считая при этом, что это единый фронт борьбы?»

«Мы должны найти форму взаимопонимания, создать те мосты, которые могли бы связать мироощущение прошлого и нынешнего поколений, чтобы старшее поколение увидело будущее глазами новых поколений, увидело бы их желания, интересы, надежды»,—

если бы интервью с Тауфиком аль-Хакимом не появилось в печати раньше, чем приведенные высказывания Ахмада Хашима аш-Шарифа, можно было бы подумать, что эти его слова являются прямым ответом молодому собрату по перу.

Проблема молодежи не волнует сейчас разве лишь очень беззаботных людей. О ней много говорят и не меньше пишут. И корреспондент газеты «Аль-Гумхурия» счел бы свою задачу невыполненной, если бы среди полутора десятков вопросов, заданных им патриарху арабской литературы, не было сакраментального вопроса о молодежи — несмотря на то, что писатель в своих ответах уже неоднократно касался этой проблемы и недвусмысленно высказал свое к ней отношение.

«Мы живем в такую эпоху, которая мчится, обгоняя самое себя. Вчера еще, то есть в начале века, разница между поколениями не выходила за рамки традиционных форм и почти не ощущалась. Сегодня же, после того как устои человечества были сотрясены двумя мировыми войнами, а большинство установлений и традиций было поколеблено, каждое поколение приобрело свой собственный опыт, который вытекает из быстро меняющихся условий. Поэтому, когда сегодняшняя молодежь говорит, что ее точка зрения специфична именно для нее, что она накопила тот личный и общественный опыт, через который не проходило предыдущее поколение, мы не можем пренебречь этой истиной. Реальное положение, которого мы не можем не заметить в большинстве стран, заключается в том, что молодежь часто не верит людям старшего поколения. Появилось выражение, которое повторяют и у нас в стране. Когда отцы протестуют против поведения детей, дети тотчас отвечают: «Это было в ваш век!» Слова «наш век», «ваш век» сегодня звучат довольно часто».

Тауфик аль-Хаким старается понять психологию «детей», он не стремится встать в позу непререкаемого судьи, хотя возраст и заслуги, казалось бы, дают ему на это право. Он глубоко верит, что, только найдя общий язык, старшее и молодое поколение египетской интеллигенции сможет успешно выполнить стоящие перед ней задачи. И возможно, голос патриарха арабской литературы, прозвучавший в разгар борьбы между традиционалистами и новаторами, будет способствовать объединению всех здоровых сил культуры ОАР.

«А как вы относитесь к тому, что среди современных молодых людей распространилась мода носить длинные волосы?» — спросил, между прочим, корреспондент писателя.

«Мне кажется, это одно из проявлений замешательства людей, живущих в нашем трудном веке,— ответил писатель.— Эта мода не является внешним признаком разложения или упадка. Возможно, это попытка как-то вернуться к временам более спокойным и безопасным, чем то, в которое мы живем... Ведь носили же мужчины в XVII и XVIII веках длинные волосы и яркие одежды! Может быть, сегодняшняя молодежь хочет таким образом выразить свой протест против стальных касок и атомных бомб, против того, что портит прекрасную внешность мужчин и делает из них зверей?»

А. СЛОВЕСНЫЙ

ПОИСКИ ВЫХОДА

«Разговор возможен лишь при условии, если мы признаем, что современный театр переживает кризис»,—

решительно заявляет воображаемому собеседнику один из ведущих югославских театральных критиков Петар Волк, анализируя итоги недавно прошедшего II Белградского Интернационального театрального фестиваля (БИТЕФ — как принято сокращенно называть его в Югославии). Этот фестиваль был задуман как международный смотр новых театральных тенденций, под которыми, по словам его организаторов, имелись в виду «тенденции театра будущего».

БИТЕФ проходит при активном участии югославских театров. Поэтому успехи и неудачи его очень остро воспринимаются в Югославии. В чем же видит критик кризис современного театра вообще и югославского в частности?

Хотя БИТЕФ-I прошел с большим успехом в сентябре 1967 года, он не создал сколько-нибудь четкой творческой платформы, которая смогла бы объединить его участников. На нем выступили совершенно различные по своим устремлениям театры. «Древний ритуал и современный мазохизм», по словам одного из югославских критиков, столкнулись на фестивале в спектаклях индийского театра Катакали и «Театра-лаборатории» польского режиссера Яна Гротовского; острый гротеск «Троила и Крессиды» Шекспира в исполнении бухарестского Театра комедии, добротный реализм Словенского Национального театра из Любляны и американский «Ливинг-тиэтр» представляли принципы, во многом противоположные.

Еще более пестрой была программа 1968 года — БИТЕФ, в сущности, стал осенним международным фестивалем, подводящим итоги прошедшего сезона, но лишенным какой-либо определенной тенденции. Это и дало повод к появлению в югославской газете «Книжевне новине» статьи П. Волка, ставящей вопрос о судьбе современного театра.

«Совершенно ясно, что в данный момент театру не хватает текстов...— замечает критик.— На помощь призывают старые, классические произведения, как заслуживающие внимания, так и не заслуживающие его, стараются создать хоть какую-то твердую основу для сценического эстетизма и прочих форм. Результаты достигаются весьма скудные, и потому не удивляет то, что отдельные режиссеры все больше обращаются... к поискам своих собственных символов. На смену культу человека и слова приходит культ вещей, движений и абстракций, увенчанный символами тотального театра! Критика старается не замечать, что это — запоздалые рецидивы авангарда двадцатых годов... Больше говорится о театре будущего, чем о современном театре. Предсказывают конец драматургии, режиссеров провозглашают диктаторами, священнослужителями и поэтами! Возникает вопрос: лучший ли это способ освободиться от мистификаций, от претендующих на всеобщность теорий, от непродуманных суждений о ценностях и возможностях сцены?»

Итак, снова проблема текста, драматургии в театре. «Культ человека и слова», то есть литература как основа спектакля или иные способы эмоционального воздействия на зрителя — технические эффекты, предметные композиции, абсолютизированный жест актера,— так ставится вопрос.

Рассуждая о кризисе современного театра, Петар Волк задумывается прежде всего о судьбе «театрального авангарда». Это не случайно. Для большинства югославских критиков эти два понятия стали тождественными. Статья Волка выделяется подчеркнуто резкой и категоричной постановкой вопроса о «запоздалых рецидивах авангарда двадцатых годов» в современном сценическом искусстве. Обращение к достижениям театра двадцатых годов само по себе вполне закономерно. Далеко не все еще здесь изучено и оценено по достоинству. Театральные деятели многих стран вновь и вновь обращаются и будут обращаться к творчеству Мейерхольда, Вахтангова, Таирова, Эрвина Пискатора, Эмилия Франтишека Буриана. Однако многие современные режиссеры стремятся подробнейшим образом воспроизвести форму спектакля того или иного знаменитого своего предшественника (а иногда и нескольких сразу), совершенно забыв о великой революционной эпохе, породившей эти формы и вдохнувшей в них свое содержание. Такого рода поверхностное восприятие опыта театра двадцатых годов нередко встречается в практике современного югославского театра. Проблема «рецидива вчерашнего авангарда» превращается, в сущности, в вопрос о содержании современного сценического искусства, о том, что оно несет зрителю.

Дискуссия о судьбах современного театра давно уже идет в Югославии. Естественно, что она началась с полемики о путях популярного белградского театра «Ателье 212». Это самая крупная из югославских экспериментальных камерных сцен, представляющих театральный авангард, и путь ее во многом характерен.

«Бесспорно, что никогда еще у нас не было столько способных, одаренных режиссеров, никогда еще за всю историю нашего театра мы не располагали столь разнообразной и богатой галереей прекрасных актеров и других мастеров сцены... И все же в последние три-четыре сезона появились симптомы застоя и усталости, попыток во что бы то ни стало быть оригинальными, даже ценой эпатажа или скандала... Этого не избежал и «Ателье 212», театр, который самолюбиво и упрямо именует себя «авангардистским».—

писал в журнале «Сцена» Миодраг Илич. Напомнив об успехах первых спектаклей этого театра, созданного в 1956 году группой энтузиастов, Илич с грустью констатирует, что «ожидание Годо несколько затянулось» («В ожидании Годо» Беккета был одним из первых спектаклей, принесших славу молодому «Ателье») и что «в упаковке театра будущего нам все чаще преподносится вчерашний авангард».

А ведь долгое время именно «авангардистский репертуар» считался гарантией успеха поисков «Ателье 212». Этот театр нельзя упрекнуть в отсутствии оперативности. Им поставлены почти все новинки западноевропейской и американской драматургии за последние 10—15 лет.

Итак, югославские критики постепенно приходят к заключению, что авангардистский репертуар еще не обеспечивает театру успеха в поисках новой сценической формы. Правда, некоторые критики усматривают причину неудач «Ателье 212» в возвращении к отброшенной было традиционной сцене-коробке.

«В поисках современного авангарда чрезвычайно важна форма сцены,— пишет Владимир Петрич.— ...Это, разумеется, не означает, что современный театральный авангард ограничивается рамками сценической архитектоники. Она — лишь один из элементов, о котором мы говорим постольку, поскольку он вынуждает к новому построению мизансцен, требует нового стиля игры, нового использования декораций, открывает новые формы контакта между публикой и актера-

ми, наталкивает на новый подход к психологическому, интеллектуальному и философскому значению текста, формирует новое понимание театра как средства массового общения».

Петрич настойчиво рекомендует «Ателье 212»...

«смело отбросить отжившую сцену-коробку, навсегда убрать рампу и разрушить, наконец, барьер между сценой и зрительным залом».

Но разве только в рампе заключается барьер между сценой и зрителем? История театра XX века знает немало попыток революции сцены — но известно также, что далеко не все они создали новые формы контакта с публикой. У подлинных реформаторов театра формальные новшества всегда были связаны со стремлением передать новое содержание, и максимального контакта со зрительным залом удавалось достичь мастерам, проникшимся духом эпохи, ее динамикой, настроением масс. Правда, у Петрича, хотя, впрочем. не у него одного, подробно и последовательно изложена лишь «разрушительная» часть программы театра будущего. Позитивной части пока нет.

Ясно одно — острое недовольство сегодняшним положением вещей в югославских театрах, ориентирующихся на «авангардистский репертуар», толкает критиков к осмыслению пройденного пути и к энергичным поискам выхода. В этом сходятся такой запальчивый полемист и горячий поклонник новых театральных форм, как Владимир Петрич, и гораздо более спокойный и академичный Петар Волк, со статьи которого мы и начали эти заметки.

Летом 1968 года П. Волк принял участие в дискуссии о традициях авангарда 20-х годов, организованной редакцией журнала «Савременик». Несколько неожиданно прозвучало тогда заявление П. Волка о том, что в театре одним из плодотворных направлений мог бы стать сюрреализм. «Сюрреализм спасает творчество от растворения в абсурде и абстракции»,— писал он.

Судя по всему, обращение к сюрреализму шло скорее всего «от противного» — как реакция на сухую рациональность, заранее-заданность ситуаций абсурда. Однако уже несколько месяцев спустя П. Волк, не вспоминая о сюрреализме, отстаивает иные принципы:

«Если в данный момент мы не достигли уровня других наций, обладающих более длительными театральными традициями, более мощной литературной базой и сильными коллективами, значит ли это, что мы должны нетерпеливо бросаться во всякого рода эксперименты?...— пишет он.— Люди театра имеют право на творческую свободу, но она ни в коем случае не означает отрицание театра, а еще менее того — исключение публики и самой жизни из того, что составляет основу театрального творчества».

А ведь именно эти причины, по мнению П. Волка, определили неудачу многих спектаклей БИТЕФа.

«Белградский фестиваль 1968 года безусловно не стал событием в театральном мире,— пишет он.— И так будет продолжаться, пока будут искать источники вдохновения в изолированных и субъективизированных рамках воображения, в предметах и искусственных символах, а не в реальности».

Трудно не согласиться с критиком. Дело не только в расплывчатости программы фестиваля. Вольный или невольный уход от живой действительности в формальные поиски рано или поздно начинает мстить за себя. Грань между тривиальным и доступным в искусстве очень зыбка, и, переступив ее, театр рискует оторваться от самого зрителя, ради которого были предприняты поиски необычной формы. Эксперимент в таком случае превращается в самоцель.

«Легко разрушить кулисы или порвать костюмы, ибо не они составляют наши догмы, привычки, трусость или ограничения со стороны общества,— заключает П. Волк.— Тому же, кто обратится к реальности,— подчеркивает он,— потребуется гораздо больше смелости — человеческой и творческой,— чем мы проявляем, и больше риска, чем тот, на который мы способны... А потому стоит пожелать, чтобы мы увидели на одной из следующих белградских встреч и такие спектакли!»

Смысл этого заключения Петара Волка станет особенно ясным, если мы примем во внимание, что его статья так и озаглавлена — «Смелость».

Н. ВАГАПОВА

Н. БУНИН

УВЕ ВИТТ—ХУДОЖНИК-БОРЕЦ

Воинствующий кардинал.

Нелегко, наверное, будучи студентом пятого курса Высшего художественного училища, когда тебе двадцать семь лет и ты должен заботиться о жене и маленьком сынишке, уйти из училища «за пять минут до диплома», чтобы, перебиваясь случайной работой, организовать выставку своих политических рисунков и плакатов под девизом «Сопротивление в четвертом рейхе».

Но именно так и поступил Уве Витт, бывший гамбургский плотник, ставший художником-сатириком.

Как вы на это решились, Уве? *

«Вероятно, потому, что я бунтарь по убеждению. Конечно, дело не только в этом. Благодаря жизненному опыту, хотя и небольшому, который я приобрел, работая плотником на стройке, я довольно рано увидел многие вещи в реалистическом свете, раньше, чем большинство моих сверстников-художников, которые росли и развивались в стенах училищ и которых сознательно держали на дистанции от реальной жизни и общества, внушая им, что они-де призваны создавать «вечные ценности». Очень многие из них и по сей день не понимают главного, а именно того, что творить надо сейчас, в наше время и для нашего време-

* В статье использована переписка автора с Уве Виттом и интервью художника газете «Вархейт».

ии... На первых рисунках и картинах, которые я рисовал после рабочего дня — я жил тогда в Гамбурге,— я изображал людей нашего общества. Это были рисунки любителя-самоучки и, понятно, не отвечали модным вкусам публики. Самодовольным бюргерам нравилось то, что не тревожило их, не мешало им «красиво скучать». Я же хотел встряхнуть их, заставить шевелить мозгами, задуматься над злободневнейшими вопросами. И я как бы услышал их ответ: запомни, юноша, общество, достигшее экономического чуда, не думает, оно переваривает. Так что лучше не тревожь его.

В то время я начал учиться на архитектора, но передумал и поступил в Художественное училище в Западном Берлине. Я надеялся встретить там настоящих учителей и художников. Но лишь один из трех профессоров отвечал моему представлению о том, каким должен быть «художественный наставник» молодежи. Двое других вскоре показали, сколь они изворотливы и покладисты. Один профессор запретил мне на первом же курсе посещать его класс, потому что я отказался заниматься беспредметной живописью. Я предпочитал рисовать людей. Второй преподаватель (на пятом курсе) не разрешил мне устроить выставку моих «ангажированных» рисунков и гравюр. Я тут же покинул сей инкубатор беспредметных искусств и организовал выставку в помещении «Строи-

«Бомбу нашу насущную даждь нам днесь...» (Святая троица: Брандт, Кизингер, Штраус).

На американском призывном пункте:
«Эй, ребята, мини-президенту КИ требуются четыре-пять гитлеров!!!»

Франц Иозеф Штраус открывает в Мюнхене Олимпийские игры 1972 г.

тельного центра». Это было в 1964 году. Однако на четвертый день большую часть рисунков сняли со стен...

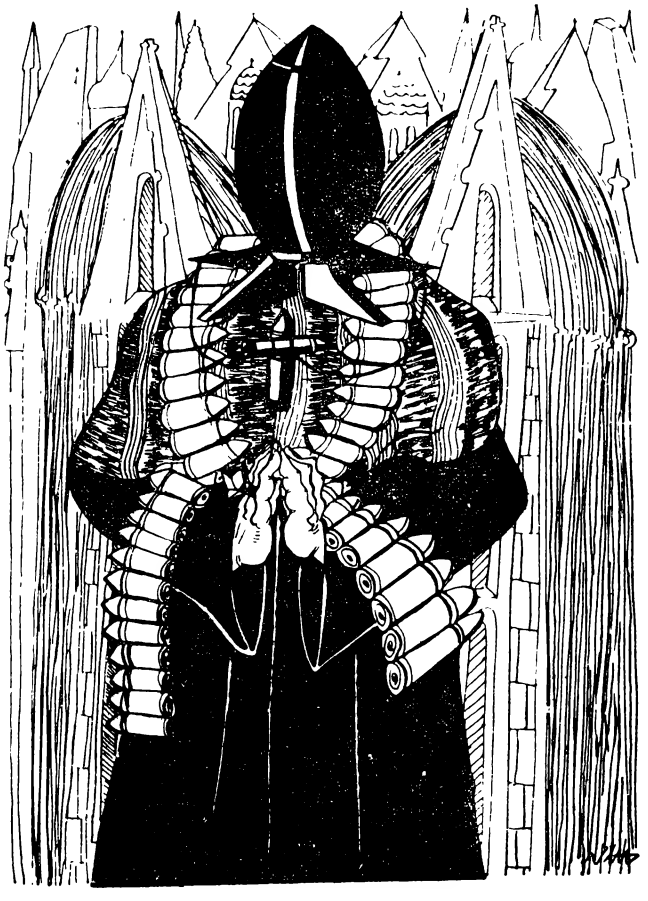
Кто это сделал? «Некая анонимная корпорация», как мне сообщили. За «слишком левый тон» и даже «безнравственность». Да, вот таким образом выразили свое мнение о свободе те самые бюргеры, которые уже чуть свет начинают горланить: «Свободу в свободном Берлине!» Этот случай помог мне избавиться от некоторых иллюзий.

После того как небольшая газета «Шпандауэр фольксблат» опубликовала два моих рисунка с текстом популярного эстрадного сатирика Вольфганга Нойса, редакцию засыпали возмущенными письмами так называемые «нормальные берлинцы», требовавшие «выгнать вон обоих коммунистов». (Ни Нойс, ни я не являемся членами компартии.) От дальнейшего сотрудничества со мной газета, понятно, отказалась.

Наше семейство существовало тогда на заработок моей жены, служившей секретарем у адвоката.

Я продолжал посылать свои рисунки во всевозможные газеты, но ярлык «художника, не способствующего государственной консолидации», приклеенный мне одной из шпрингеровских редакций, повсюду опережал меня.

Через год после первой неудачной попытки с выставкой я предпринял вторую — в помещении кабаре «Тангенте». На другой день хозяин снял почти все ри-



Санкт-Бомбус (Цель оправдывает бомбы).

Внутреннее руководство бундесвером.

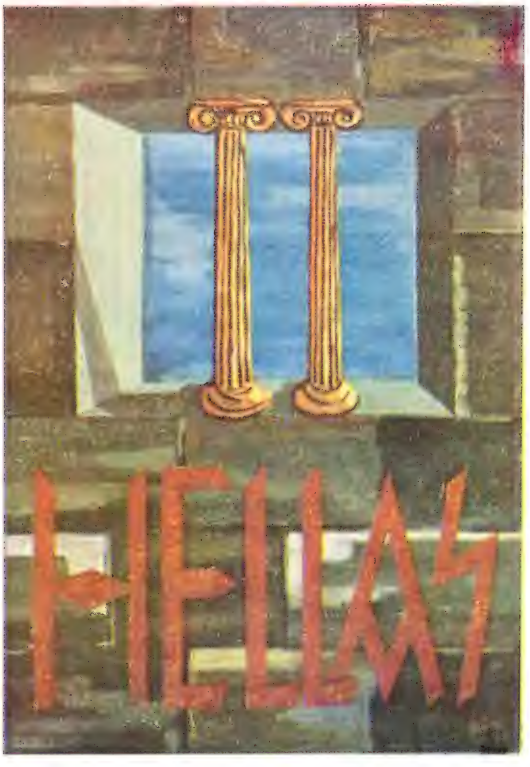
Вилли Брандт (текст на рисунке из «Разговоров беженцев» Б. Брехта).

«Раз он заговорил
о свободе,
значит ему жмут
башмаки».

К статье Н. Бунина
«Уве Витт — художник-борец»

Напалм.

Блек энд уайт.



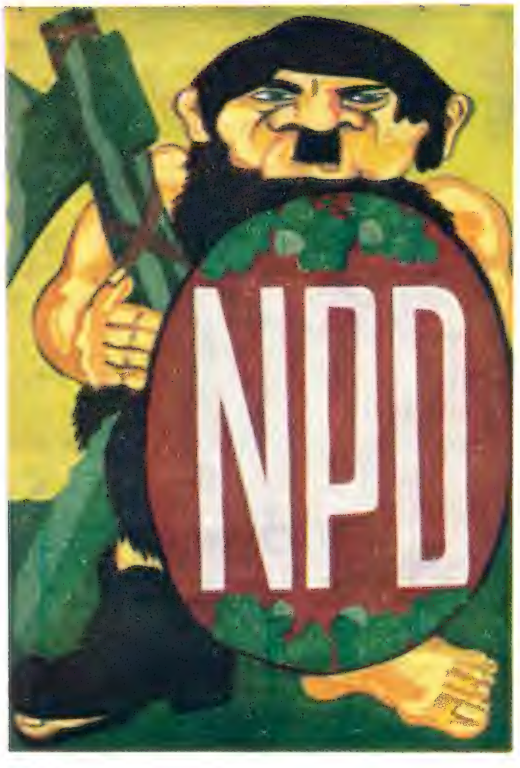
Эллада (Вид на Грецию сквозь тюремную решетку).

БОННановая республика.

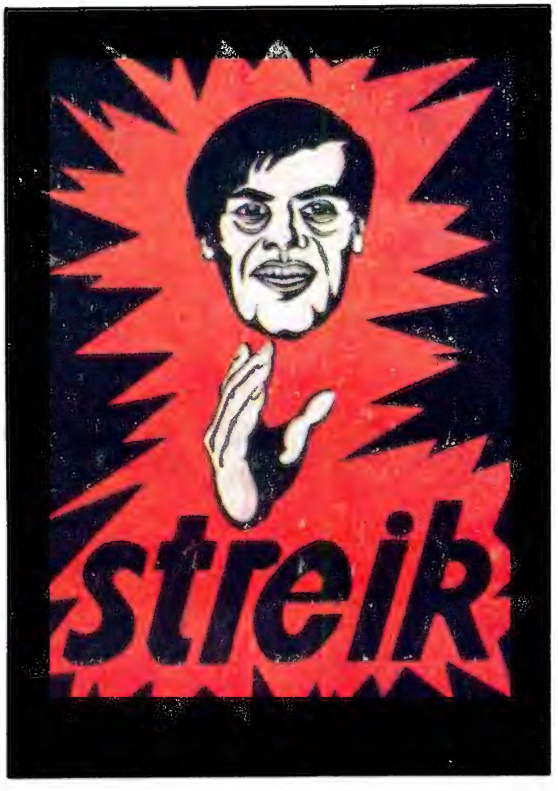
Мадам Германия.

Тсс! Боннская служба информации на проводе...

Чрезвычайные законы, или Новое распятие.



Древний германец образца НДП.



Призыв к забастовке (с портретом Руди Дучке).

Гражданская оборона (по чрезвычайным законам).

сунки. Анонимные лица пригрозили мне расправой, если я вздумаю оповестить об этой истории общественность. «У нас руки длиннее»,— резюмировали мои оппоненты. И хотя год тому назад часть газет, протестуя (с оговорками) против закрытия первой моей выставки, писала о нарушении 8-й статьи западноберлинской конституции (право выражать свое мнение устно, в печати или средствами изобразительного искусства), на этот раз в чаще западноберлинских «газетных листков» царила тишина, столь необходимая для праведного сна обывателей.

В редакциях, куда я продолжал обращаться, мне отвечали: «Юмор мы возьмем охотно, но вот о вашей политической позиции надо еще поговорить...» На компромиссы я не шел.

Летом 1966 года мне удалось проскользнуть через общественно-цензурную сеть: Гамбургское издательство «Ровольт» выпустило большим тиражом сборник сатирических куплетов Вольфганга Нойса с моими иллюстрациями (26 гравюр на дереве). Вот это был, пожалуй, именно тот случай, о котором говорил Курт Тухольский в одной из своих статей: «Когда у нас кто-нибудь удачно сострит на политическую тему, пол-Германии сидит на диване и обижается». Издательство поручило мне еще одну работу, но вскоре отменило свой заказ под каким-то малоубедительным предлогом. Я понял, что «длинная рука» добралась и туда... «Длинная рука» — это меньшинство, фактически правящее ФРГ и Западным Берлином. Оно состоит (по данным боннского министерства финансов) из 10 600 миллионеров, 400 мультимиллионеров и 20 миллиардеров, или округленно 11 000 человек на 57 миллионов населения ФРГ.

Мне совершенно ясно, что упомянутое меньшинство стремится держать обывателя в неведении относительно многих явлений внутренней жизни ФРГ и Западного Берлина. Оно определяет,

Любитель роз — канцлер Аденауэр.

Голос его хозяина: «Прошлое преодолено!»

что вредно и что полезно обывателю. Например, ему вредно знать, что в ФРГ до сих пор существуют так называемые «карликовые школы», где на всех детей в возрасте от 6 до 14 лет имеется только одно классное помещение и один учитель... Горько сознавать, но это факт: страна, именующая себя (на заграницу!) «страной поэтов и мыслителей» и разоблачившая себя как «страна жандармов и душителей», вполне удовлетворена политическим мини-кругозором своих бундесбюргеров. Такой вот бюргер хватает шпрингеровскую газету, словно акцию, и, прочтя ее, чувствует себя приобщенным к большому бизнесу.

Чтобы бороться с таким обществом оружием политической сатиры, надо умело владеть этим оружием, обладать огромной выдержкой, быть готовым к лишениям, преследованиям, клевете и террору. Нужен хороший заряд идейности, непоколебимой веры в человека, который хочет жить свободным,

Пресса Акселя — Аденауэра.

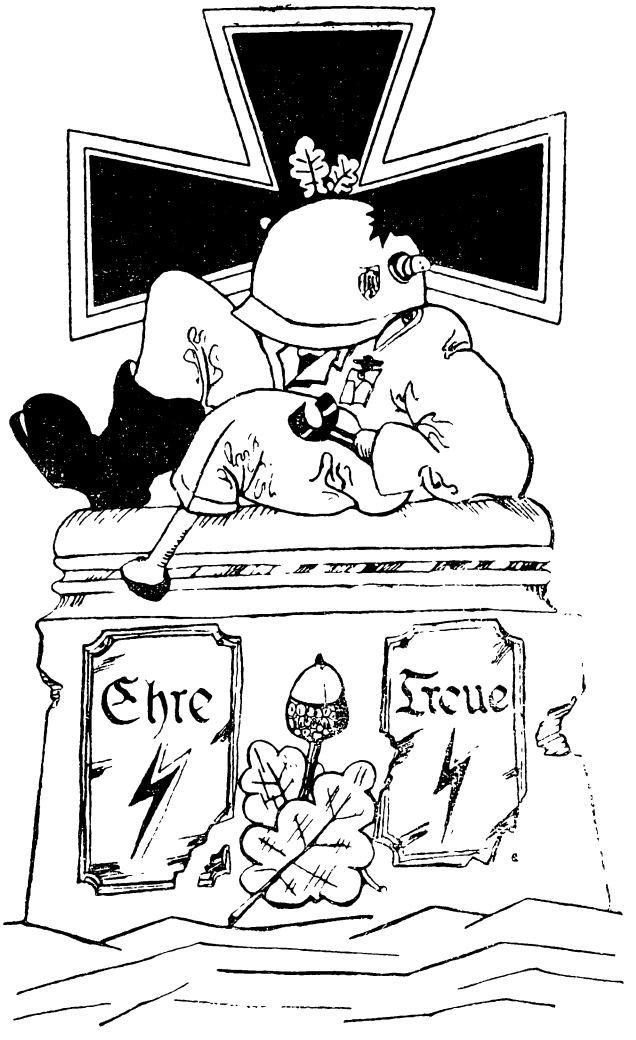
без вечного страха перед угнетением и эксплуатацией, перед рабством и войной, хочет быть хозяином своей жизни.

Политически ангажированный художник, если он хочет помочь изменить общественный строй, должен быть бунтарем по убеждению. Бунтари по страсти в наших широтах долго не продержатся.

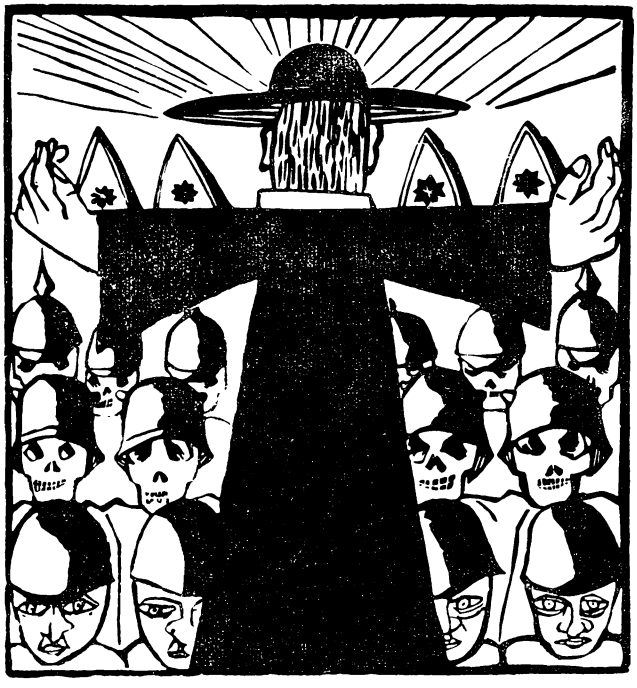
Весной 1967 года мне удалось устроить выставку политической графики под названием «Сопротивление в четвертом рейхе». Помещение предоставила владелица кафе «Всемирный фонарик» Герта Фидлер — «муза западноберлинских художников», как ее здесь называют. Это кафе с небольшой галерсей находится на Кольфуртерштрассе в густонаселенном районе Кройцберге — своеобразном «западноберлинском Монмартре». На буржуазную публику, привыкшую к формалистско эстетскому меню, политическая графика, призывавшая к Сопротивлению (еще за год до начала крупных демонстраций оппозиционных сил против чрезвычайного законодательства), произвела шокирующее действие.

Во время выставки я дал первое в своей жизни интервью... радио ГДР. Западноберлинское радио хранило молчание. Часть рисунков была показана потом в Дармштадте (ФРГ), в клубе «Гаруда».

Художник не пощадил ни президента, ни бундесканцлеров, ни министров ФРГ: фрак Кизингера усеян россыпью свастик... Из валяющихся на земле черепов вырываются языки пламени с ликами Штрауса, Менде и других западногерманских политических деятелей — на головах у них фуражки с надписью «НДП»... Штраус в позе новоявленного «фюрера» открывает Олимпийские игры 1972 года в Мюнхене (как тут не вспомнить Берлин 1936 года и Гитлера)... Кардинал Спелман благословляет грязную войну во Вьетнаме, выстреливая Христом из арбалета... Флаг США заклеймен ог-



«Памятник героям».



С нами бог.

ненными письменами: н а п а л м... На голове у западноберлинского гербового медведя полицейская каска со свастикой... В напоминающий портрет Гитлера микрофон пресловутой радиостанции «Риас» диктор вещает о «преодоленном прошлом»... «Святая троица» — Брандт, Кизингер и Штраус,— преклонив колена, молит всевышнего о «бомбе насущной»... Двуглавая марионетка-перевертыш символизирует единство Аденауэра и прессы Акселя Шпрингера.... Кающийся нацист держит в правой руке крест из обломанной свастики, а в левой «Мою борьбу» с измененной фамилией автора (вместо Гитлера — Иисус)... Кулак негра в черной перчатке грозит статуе Свободы полицейской Америки... Бундесбюргер, распятый на кресте «чрезвычайных законов» с фиговым листком из трехцветного флага ФРГ... Б о н н а н о в а я республика, зависящая от прихотей американских монополий... Прекрасная Эллада в хунтовском застенке...

«Редакции газет не рисковали публиковать мои рисунки, опасаясь потерять богатых клиентов, щедро оплачивавших рекламные объявления, что, как известно, приносит газетам главный доход. Печатался я в «подпольных изданиях с незначительным тиражом», как, например, в журнале «Спартак».

Учитывая возросший интерес молодежи к политическим вопросам, одно издательство выпустило четыре моих политических плаката (70 × 100 см). Темы плакатов — напалм, война, «чрезвычайное законодательство» и НДП.

Три мои гравюры экспонировались на выставке «Интерграфика-67» в ГДР и в Варшаве.

В апреле 1968 года плакаты были вывешены в западноберлинской галерее «С» Бена Варгина. Туда прибыли и операторы телевизионных компаний. Но из трех заснятых роликов на телеэкранах был показан лишь один. У себя в ателье я дал интервью корреспонденту телевидения ГДР. После того как

фильм показали по телевидению, мне домой позвонили два анонима и пригрозили физической расправой. Вероятно, эти двое были из тех фашистов, о которых я говорил в своем интервью.

Как видно, теперешнему «обществу» показалось недостаточным «сидеть на диване и обижаться», и оно решило прибегнуть не только к угрозам, но и к действиям (за две недели до этого стреляли в Руди Дучке).

Сейчас устраивать выставки политической графики стало несколько легче. В Западном Берлине и в ФРГ у многих немцев, преимущественно студентов и молодых рабочих, открылись глаза, люди стали проявлять не только большой интерес к внутренним политическим событиям, но и активнее вмешиваться в них, борясь за демократические права. Хозяева выставочных залов и галерей теперь сами проявляют инициативу в устройстве выставок политической графики...

«Ангажированность» всегда необходима художнику, и особенно во времена социальных кризисов. Если в такое время он предпочтет тишину и самокопание, пусть не удивляется, что вдруг совершит жесткую посадку на булыжник фактов. Задача «ангажированного» искусства — своевременно распознать политическое безрассудство, социальную нужду, произвол, раскачать инертных, пробудить в людях бдительность.

Курт Тухольский закончил свою статью словами: «Что разрешается сатире? Все».

Сегодня я расшифровываю эти слова так: для ангажированной политической сатиры хороши все средства, если она разоблачает устаревший общественный строй, расчищая путь для демократии и социализма».

«Преодоленное прошлое».

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

ВЫСОКАЯ И ЧИСТАЯ ПОЭЗИЯ БОРЬБЫ

Я пишу твое имя, Свобода. Французская поэзия эпохи Сопротивления. Составление и статьи об авторах С. Великовского. Москва, «Художественная литература», 1968. 311 стр.

Несколько лет назад из Парижа в Москву пришел драгоценный подарок — сотни книг и подпольных изданий, бережно собранных в дни фашистской оккупации Франции. На каждом из них теперь пометка: «Дар французского гражданина мосье Романа Всесоюзной государственной библиотеке иностранной литературы». Адрес избран библиофилом-энтузиастом не случайно. Еще раньше, чем были расшифрованы ставшие потом легендарными подпольные псевдонимы Жан дю О. Франсуа Гневный, Серпьер, на полосы наших газет рядом со сводками Совинформбюро ложились строки поэзии маки и лаконичные абзацы комментария, рассказывавшего об истинной, невишистской Франции. Статьи, журнальные циклы, предисловия к сборникам, наконец, первая (и единственная пока) монография Е. М. Евниной «Французская литература эпохи Сопротивления» (1950) — все говорит об увлечении страстном, помогающем понять главное, чем дышала Франция тех дней.

Круг имен, представлявших литературу Сопротивления, на первых порах был сравнительно нешироким: фиксировалось самое яркое, самое бесспорное. Чтобы окинуть взором разные потоки поэзии Сопротивления, потребовались годы. Антология, подготовленная издательством «Художественная литература», включает почти все значительные имена поэзии Франции. Рядом с Элюаром, Арагоном, Муссинаком, Лоисом Массоном, первыми донесшими до нас обжигающее дыхание лирики Сопротивления, здесь Сен-Жон Перс и Ален Боске, Поль Клодель и Рене Шар, Макс Жакоб и Анри Мишо.

Книга благодаря мастерству художника-оформителя И. Жихарева, проникшегося этой трагико-оптимистической эпохой, завораживает, едва берешь ее в руки: черный фон, сквозь который прорывается сияние памятной медали и строки Элюара «J'ecris ton nom, Liberté». Тем же чуть розоватым отблеском озарены фигуры узников (памятник узникам Бухенвальда работы Ф. Кремера): высоко поднятые головы, упрямо развернутые плечи, гордый, без страха шаг вперед.

С первого слова — «Слова о поэзии и правде» (этой речью Марсенака открывается книга) вы — в непокоренной Франции, среди макизаров, подпольщиков, узников. «Однажды утром солнце не взошло, ночь с широко открытыми глазами уселась у нас на груди, и хлеб сделался черным». И Франция, чтобы не погибнуть, «заговорила на заново созданном языке, которому исходными понятиями послужили нищета и позор, страх и гнев, безмерное страдание и безграничное мужество». Поэзия Сопротивления родилась не в эту ночь и не в один день. Она искала себя, ломала, строила, менялась. Но не так, как менялась коллаборационистская газетка «Гренгуар», получившая в 1942 году поощрительную премию Абеца: «Гренгуар» тоже захотела в конце концов «единства»: учуяв близкий крах вермахта, она позвала французов «патриотически объединиться против большевиков, забыв о прежних ссорах». Единство, которое возвещала все громче и решительнее мужающая поэзия Сопротивления, было иного качества. Свой «собственный лад», «французский тон» она различала в «дальней музыке» Восточного фронта, где «темная ночь задыхается в белой ловушке рассвета», в подвигах французских коммунистов, которым сложили гимн и Поль Элюар, и Лоис Массон, один

из самых искренних и страстных представителей католической поэзии Сопротивления, готовый растить сына «для баррикад, если все еще будет не от мира сего справедливость».

Противостояние Сен-Жон Перса или Андре Френо рабскому духу смиренья, который пытались привить оккупанты их соотечественникам, имело, конечно, другой характер, чем гневный протест, переполнявший Поля Элюара, Жана Кассу, Шарля Вильдрака, Андре Шенневьера. Затемненность, не покидавшая и в те годы поэтическую вселенную Анри Мишо и Рене Шара, затрудняла их встречу с читателем, за честь и счастье которого бился в Провансе отряд партизан, возглавляемый «капитаном Александром» — Рене Шаром.

По стихам, собранным в антологии, можно судить, сколь контрастно виделась художникам одна и та же действительность, сколь непохожий облик принимал под их пером исторический опыт страны. И все-таки сцементировано это монументальное поэтическое здание не страданием, не отчаянием, а нравственным мужеством, настроением сопротивления, то стоически-бесстрастного, то героического, действенного. Уверенностью, что «превыше тиранических порядков... есть непреклонность гордой головы... грядущих дней земли большие жатвы» (Пьер Эммануэль), что к финалу «борьбы слепой ночи... с огнем вспыхнет свет» (Пьер Юник), решимостью воспеть тех, кто «не плыл по течению, вдоль цепи дней» (Пьер Реверди), кто «все живое возвращает к жизни огнем своим» (Жан Марсенак). Такова была сила событий, самой логики времени, что тогда даже герметичнейшему из поэтов-герметистов Рене Шару на миг показалось — «между миром и мною больше нет досадной завесы», а великий поэт христианского самоотречения Поль Клодель попросил «великую Матерь» прийти «на форум всемирный, где сойдутся народы».

Отключив внимание от этого веления эпохи, не понять поэзию Сопротивления. Новейшие попытки подойти к ней «бесстрастно», с меркой категорий чисто языковых заводят в тупик. Когда в этюдах, посвященных Элюару, Реверди, Гильвику, критик структуралистской школы Жан-Пьер Ришар («Одиннадцать этюдов о современной поэзии», 1964) ищет семантическое поле и его полюса, игнорируя поле истории, то профессиональный, очень тонкий стилистический анализ обнаруживает неизбежную ущербность: различен накал полюсов «я» и «ты» у Элюара, автора «Столицы скорби» (1926) и «Лицом к лицу с немцами» (1942—1945); неверно, что война «замкнула» поэтическую вселенную поэта, что в ней не осталось ничего доверчивого, «открытого». Как же можно не заметить, что принесенным трагической эпохой «тяжелым» словам («скользкие тяжелые цепи», «ленивое масло прежних поступков», «свинец» и «жадные глотки могил») именно в те годы противопоставлены как высочайшая мудрость слова «тепло», «ребенок», «открывать», «брат», «товарищ», к доброй цепочке которых Элюар присоединяет дорогое имя Габриэля Пери. И разве не высокий гимн доверию знаменитая элюаровская «Свобода», слово-призыв, начертанное «на всякой руке открытой», «на теле, себя дарящем» и «перезвоне всех красок».

За скупыми биографическими и литературоведческими формулами, сплетенными в тридцать восемь «предисловий» к стихам тридцати восьми поэтов, видны и долгие размышления их автора над поэтическими взаимосвязями различных направлений, и сгущенный анализ столь сложных творческих манер. Это очень трудно — найти для каждой особые слова, чтобы читатель не искал в «оголенной речи» Гильвика «бесхитростную просветленность», родственную «мудрости народных притч», как у Р. Десноса; а в сонете Жана Кассу, где «перенасыщенность грозит обернуться затемненностью»,— «приобщение к вещам простым и прекрасным», как у Рене Ги Каду; чтобы он не ждал от «мощных библейских версетов» Лоиса Массона задушевности «тихой беседы» Шарля Вильдрака или кипения «расплавленной лавы метафор», излюбленных Тристаном Тзара. Пусть иногда стремление к сжатой формуле увлекает критика к ассоциациям чересчур обязательным (если предки Пьера Реверди были резчиками по дереву, то он «резчик по языку», слово его «рельефно, скульптурно»; раз Гильвик — экономист по образованию, он привык «докапываться до самой сути вещей», «пристально, в упор смотреть» на слова и явления), это, пожалуй, лишь помогает ему заставлять читателя любить одного поэта за то, что есть у него, а другого — за то, чем обладает он в отличие от первого, и т. д.

Рассказ С. Великовского о поэзии Сопротивления, как и его монография о Поле Элюаре, появившаяся одновременно с антологией («К горизонту всех людей», 1968), сочетает серьезность литературоведческого исследования с широким адресом. И книга, посвященная Элюару, и цепочка связанных друг с другом статей-предисловий в этой антологии протянуты «всем», а не только литературоведам или специалистам-гуманитариям; это не побуждало критика искать особой «простоты»: он хочет говорить с читателем, желающим узнать и понять.

Отбор стихотворных строк и поэм для антологии подсказан желанием показать как раз проснувшееся в поэзии доверие к людям и возможности творить историю. На небольшой антологической площадке (объем книги всего 13 листов) собрано максимальное число ярчайших имен. Будь она шире — захотелось бы увидеть еще стихи Филиппа Супо («Ода Лондону под бомбами»), Жюля Руа («Песни и молитвы о летчиках»), Ива Гандона («Молитвы последней ночи»), Мадлен Риффо («Сжатый кулак»), Рене Лакота и совсем безвестных — вроде студента-филолога Жака Лорана, погибшего в Бухенвальде раньше, чем Поль Элюар успел назвать его «большим поэтом» В книге, которая, может быть, не за горами, потому

что ее давно ждет советский читатель,— антологии французской поэзии XX века — поэтическая панорама, конечно, будет полней, богаче, но энтузиасты будущей книги, наверное, пойдут тем же путем, каким шли составитель и переводчики «Французской поэзии эпохи Сопротивления», отбирая среди ярких поэтических явлений прежде всего самое высокое, гражданственное, рожденное уважением к человеку.

Читатель наверняка останется доволен переводами (переводы К. Азадовского, М. Ваксмахера, А. Голембы, М. Кудинова, А. Щербакова, А. Эфрон и др.), которые дают почувствовать «особенное» в столь разных поэтах. Лишь иногда исчезают какие-то важные моменты стиха: Сюпервьель здесь уже не говорит о том, что каждый обнимает, любит Францию «по-своему», «на свой манер» («1940», перевод В. Козового). Робер Деснос хотел, чтобы знали: даже «затравленный», он «не отчаивался»— в русском переводе он только «настороже, был ко всему готов»; поэт хотел подчеркнуть, что бывают рабы «маскирующиеся», ему, быть может, особенно ненавистные,— при «переходе» этот оттенок пропал («Эпитафия», перевод М. Кудинова). Впрочем, каждый, кто пробовал перевести хоть одно четверостишие, знает, как бунтует подлинник, после каких долгих трудов соглашается он приноровиться — и то не окончательно — к ритмам другого языка, не теряя полноты собственного звучания. Скорее можно лишь удивляться, что сложнейшие строки французской поэзии (ведь А. Мишо, Сен-Жон Перс, Робер Ганзо, Габриель Одизио переводятся впервые) так привольно и полноголосо звучат по-русски.

Т. БАЛАШОВА

НЕ УСТАРЕВШАЯ КНИГА

Роберт Пенн Уоррен. Вся королевская рать. Перевод с английского В. Голышева. «Новый мир» №№ 7, 8, 9, 10, 11, 1968.

На нашей литературной карте появляется новое имя — Роберт Пенн Уоррен. Заполняется не только еще одно «белое пятно», но и уточняется рельеф всей карты.

«Вся королевская рать» — третий по счету и самый известный роман Уоррена. Изданная в 1945 году книга была встречена восторженно критиками и читателями, долго возглавляла списки «бестселлеров», была награждена высшей наградой США — Пулитцеровской премией (эту премию Уоррен получил во второй раз за стихотворный сборник «Обещания» в 1958 году).

Все эти факты еще не есть окончательные свидетельства о достоинствах произведения: так бывало и с хорошими, и с плохими книгами.

Советские читатели прочтут роман Уоррена четверть века спустя после первого издания,— при бесспорном проигрыше (не стоит и доказывать, что книги не вина и выдерживать их не надо), в этом есть определенное преимущество: прошло время.

Большая часть «бестселлеров» сорок пятого года и последующих лет давно забыта. А роман Уоррена остался, переиздавался только в США 29 раз, включен во многие библиотеки современной классики, в некоторых штатах изучается в школах. В 1965 году журнал «Бук уик» обратился к писателям, критикам, преподавателям литературы с вопросом, какие произведения послевоенного двадцатилетия наиболее значительны? Роман Уоррена вместе с книгами Хемингуэя, Фолкнера, Апдайка, Мейлера, Чивера вошел в первую десятку.

С первых строк мы попадаем в машину, в которой несется по шоссе губернатор Вилли Старк, а за ним целый кортеж — вся его дружина. Стремительно движется сюжет. В основе головокружительной карьеры героя — подлинные события, история губернатора Луизианы Хью Лонга.

Многие американские писатели обращались к жизни Лонга («У нас это невозможно» Синклера Льюиса, «Первый номер» Дос Пассоса, «Солнце у Козерога» Бассо и др.).

Роман Уоррена, в отличие от условности, гротеска Льюиса,— почти традиционный роман. Несколько старомодна даже его познавательность — ведь из этой книги можно действительно просто многое узнать о самом механизме политической машины США.

Но сказанное никоим образом не означает, что Уоррен написал социологический трактат. Нет, это именно роман, где есть свое особое исследование — исследование характера. Характера политического демагога, диктатора американского, причем специфически южного толка в двадцатые-тридцатые годы. И вместе с тем в характере Вилли Старка предстают черты фашиствующего демагога.

Характер Старка возникает в совокупности обстоятельств — социальных, исторических, биографических, психологических. Увлекательность книги, на мой взгляд, обусловливается прежде всего развитием этого характера, развитием непредвиденным, подчас неожиданным, не поддающимся простому моделированию.

В американской критике звучали упреки Уоррену за «идеализацию» Старка. Уоррен действительно не изображает однолинейного негодяя. Он идет по другому пути, и созданный им характер есть разоблачение по-своему более глубокое, чем то, какое требовала критика чисто публицистическая, разоблачение, какое доступно искусству, не исключающее ни понимания, ни боли за погубленные возможности.

Вилли Старк — средоточие энергии, он делатель. Его деятельность во многом спекулятивна, хотя эта спекуляция — на реальных нуждах людей и эти нужды частично удовлетворяются. Как памятник себе он строит великолепную современно оборудованную больницу. Он хочет, чтобы говори-

ли о его «доброте», чтобы его прославляли. Но больница действительно нужна штату. Правда, он — мастер демократической показухи, и поэтому с каждого самого малого дела он снимает десятикратный, а то и двадцатикратный «пропагандистский» урожай.

Добиваясь и добившись власти, Старк не брезгает никакими средствами для достижения своих целей: подкуп, шантаж, запугивание — все идет в ход. Он твердо убежден в том, что люди «наполовину рабы, наполовину мерзавцы», он прямо говорит: «Лес рубят — щепки летят». Он выступает с критикой буржуазной демократии, но это критика справа, с полуфашистских позиций.

И построенные им дороги, и клок волос, свисающий на лоб, и жест, отработанный перед зеркалом,— все это приводит на память Гитлера в причудливом сочетании с брехтовским Артуром Уи.

Уоррен изображает не только силу власти, но и привлекательность власти, недаром он отдает Старку любовь женщин, недаром так долго, так невообразимо долго служит Старку рассказчик, журналист Джек Берден, изначально наделенный умом и совестью (впрочем, совесть его надолго засыпает).

В изображении Уоррена Вилли Старк — это не только он сам, не только сумма его качеств, поступков, мыслей, чувств; понять его нельзя вне его окружения. Он — это и подобранный им штат, как всегда зеркально отражающий разные стороны Хозяина. Он — и те тысячи, кому он пожимал руки, спрашивал о здоровье жены и детей, он и те, кто за него голосовал. Он — это и толпа, исступленно, восторженно скандирующая: «Хотим Вилли!» (В штате Луизиана до сих пор празднуется день рождения Хью Лонга.) Он — это те, кто истово верил при его жизни и после смерти, что Вилли был великим человеком, иначе зачем же они на него трудились, вовсе теряя себя, зачем восхваляли, зачем строили ему пьедестал? Вилли— их создание, плоть от плоти, кость от кости, и не только потому, что родился он в деревянном домишке, где доживает свой век его отец...

Уоррен пристально изучал Лонга и ему подобных у себя на родине, наблюдал диалектику взаимоотношений диктатора и толпы. Но не случайно роман появился именно в 1945 году: разгром немецкого фашизма наглядно обнажил самоубийственную его суть, несущую неизбежную гибель не только жертвам, но и палачам: наглядно обнаружилась «ракообразность» явления, которое к одному Гитлеру и его ближайшим приспешникам не свести.

Судьба рассказчика, Джека Бердена,— сложное сочетание иллюзий и реальности. Джек усваивает немало уроков Хозяина. Их взаимоотношения воплощают вечный спор между идеалистом и циником и победу циника — но не окончательную. Пройдя сквозь многие испытания, потеряв себя, Джек Берден в конце концов возрождается. «Вся королевская рать» — это также и роман воспитания. Впрочем, здесь Уоррен отдает щедрую дань уже написанному до него, эта сторона романа неизмеримо банальнее, слабее, чем изображение Старка.

Исследователь литературы современного американского Юга Луис Рабин утверждает, что Уоррен в этой книге «коснулся одного из важнейших, трагических вопросов американского опыта: источник власти, практика власти, злоупотребление властью, большой политической властью в демократическом обществе, и ответственность индивида по отношению к этому обществу и самому себе».

Проблема политики и морали постоянно интересовала Уоррена. Так, в книге «Наследие Гражданской войны», изданной в 1961 году, он пишет: «Ведь если все политические учреждения «грязны», тогда зачем же волноваться, зачем улучшать их? Разрушение проще, чище, логичнее и уж конечно гораздо более волнует. Совесть без чувства ответственности — вот уж последняя слабохарактерность благородного ума». В романе «Вся королевская рать» всякий, кто хоть в малой степени касается политики — вовсе не только Вилли Старк,— неизбежно нарушает элементарные нравственные нормы.

Роберт Пенн Уоррен родился в 1905 году, был репортером, редактором журнала «Сазерн ревью», преподавателем литературы, выступал как поэт, романист, критик, публицист. Среди его книг — «Понимание поэзии», «Ночной всадник», «Одиннадцать стихотворений на одну и ту же тему», «У врат небесных», «Банда ангелов», «Пещера», «Пустыня». В его творчестве постоянно присутствует история — в собственно исторических сюжетах и в том ощущении «почвенности», которое так свойственно именно писателям Юга. И в романе «Вся королевская рать» есть вставная историческая новелла, она нужна автору не только как этап судьбы Бердена, но интересна сама по себе.

Разумеется, за долгую жизнь писатель менялся, менялись его взгляды, притом и по вопросам весьма существенным. Так, в молодости он был сторонником сегрегации негров, а теперь понимает насущную необходимость интеграции. Но всегда он оставался верен своему Югу, всегда воспевал человека, неразрывно связанного с природой, постоянно, мучительно размышлял об условиях человеческого существования.

В пору своего появления роман «Вся королевская рать» был остросовременным. Сейчас он стал историческим, продолжая оставаться современным. И сегодня в Америке процветает демократическая показуха, мастером которой был Вилли Старк. И сегодня убивают так же, как убили героя романа: курок спускает один, а вдохновляет, организует, направляет другой или другие. И сегодня ученики и наследники Вилли Старка командуют убийцами и на улицах городов Америки, и в джунглях Вьетнама.

Р. ОРЛОВА

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

НОВЫЙ РОМАН МАРИНА ПРЕДЫ

Marin Preda. Intrusul. Roman. Bucureşti, Editura pentura literatură, 1968.

Каждая новая книга известного румынского писателя Марина Преды таит в себе неожиданности. Преда прочно вошел в литературу как автор романа «Семья Морометов», который многие считают лучшей книгой о румынской деревне, написанной после второй мировой войны. Но уже следующий роман Преды «Расточители» был отмечен интересом автора к чисто городским проблемам, глубокими наблюдениями над жизнью современной интеллигенции. Потом Преда опубликовал документальную повесть о Вьетнаме. Вокруг каждой из этих книг закипали споры: интеллектуальное и нравственное беспокойство писателя, широкий круг волнующих его тем не давали критикам возможности уложить его творения на какую-нибудь привычную «полочку». Так случилось и в прошлом году, когда Марин Преда опубликовал роман «Intrusul», вызвавший жестокие споры и исключающие друг друга оценки.

«Intrusul» следует, на наш взгляд, перевести словом «Чужой»; в буквальном смысле это слово обозначает человека, вторгшегося туда, где он, в сущности, посторонний, чужой. Герой романа Кэлин Сурупэчану после случившегося с ним несчастья приходит к мысли, что он чужой в своем городе, даже в своей собственной семье, и покидает их с тем, чтобы попытаться начать новую жизнь. Имеет ли эта история какое-нибудь отношение к «Постороннему» Альбера Камю? В романе Преды нет ни подражания Камю, ни заимствований. Но когда читаешь исповедь Кэлина Сурупэчану, невольно вспоминаешь судьбу героя повести Камю. Однако об этом позже.

«Чужой» Марина Преды начинается как повесть о судьбе молодого рабочего в современной Румынии с ее индустриальными стройками и большими социальными переменами. Кэлин Сурупэчану, маляр с бухарестской окраины, жил довольно тускло, пока не познакомился с инженером Даном Михаилеску — цельным, сильным и справедливым человеком, борцом за социализм, верящим, что стоит лишь человеку изменить условия своей жизни, как он станет самим собой. Инженеру Дану не стоило труда убедить молодого человека покинуть Бухарест и отправиться вместе с ним на строительство нового города, чтобы приобрести не только более высокую рабочую квалификацию, но и новые взгляды на жизнь, новое понимание своего места в мире.

Роман построен как рассказ от первого лица. Он начинается, подобно многим современным киноповестям, «с конца»: решив покинуть город, где с ним приключилась беда, герой в последний раз проходит по его улицам и вспоминает все, что с ним случилось за последние годы. Кэлин Сурупэчану рассказывает о себе спокойно, но его рассказу присуща внутренняя напряженность. Характер рассказчика сложный и противоречивый — это человек умный и смелый, он ненавидит фальшь и лицемерие, готов бороться за справедливость, но вместе с тем он холодный рационалист, а в отношениях с женщинами сух и эгоистичен. Кэлин обладает способностью исследовать действительность, им владеет подлинная страсть к размышлениям на социальные темы. Несомненно, что в этих чертах героя имеется некоторая заданность — рассуждения и выводы Кэлина звучат иногда неправдоподобно в устах молодого человека с более чем скромным образованием. Но мы не станем упрекать автора за то, что устами своего героя он, быть может, поведал читателю о собственных сомнениях, идейных противоречиях, исканиях. Все дело в том, насколько проблемы, занимающие героя Преды, отражают реальную действительность, а разработка этих проблем соответствует духу времени.

Став строителем нового города, Кэлин Сурупэчану проявляет энергию и упорство, кончает техникум и начинает готовиться к поступлению в институт. На строительстве он обнаруживает организаторский талант. Человек увлекающийся, случайно встретив запуганную деревенскую девушку, которую терроризируют в ее семье, Кэлин вмешивается в чужую судьбу, помогает девушке покинуть деревню и переехать в новый город. Но когда эта же девушка влюбляется в него, Кэлин проявляет удивительную душевную черствость. В конце концов, Мария — так зовут девушку — все же становится его женой. Но подлинное чувство пробуждается у Кэлина лишь после того, как с ним случается беда, переворачивающая всю его жизнь.

Познать внешний мир — еще не значит изменить его. Быть самим собой — еще не значит изменить условия своего существования. Однажды Кэлин, проходя мимо цистерны, вокруг которой собралась толпа, узнает, что спустившийся в нее рабочий потерял сознание от скопившихся газов. Не долго думая, Кэлин проникает в цистерну и помогает извлечь из нее пострадавшего. Этот смелый поступок бескорыстен, как и большинство поступков Кэлина, но в этот раз он обходится ему весьма дорого: Кэлин остается полуинвалидом. Врачи обещают ему полное выздоровление в неопределенном будущем, а пока он вынужден отказаться от своей профессии и просить места вахтера.

Бескорыстный подвиг обычно приносит моральное удовлетворение. Но в случае с Кэлином происходит нечто противоположное: многие, в том числе и его жена, считают подвиг бессмысленным — рабочего мож-

но было спасти, не подвергая себя опасности. Мария обвиняет мужа в эгоизме — спускаясь в цистерну, он не вспомнил о ней и о ребенке. С удивлением узнает Кэлин, что окружающие полностью отрицают его смелый и благородный порыв и уже придумали версию случившегося, согласно которой он же и виноват в постигшем его несчастье. Ошеломленный Кэлин начинает и сам задавать себе вопрос: не виноват ли он в том, что поддался порыву? Вместе с этим вопросом всплывают и другие: вправе ли он говорить откровенно все, что думает, не считаясь с практическими последствиями? В чем состоит причина неприязни, которую питают к нему некоторые товарищи, занимающие видные должности на стройке?

Мало-помалу Кэлин приходит к мысли, что он *чужой* в новом городе. И здесь невольно вспоминается страшная судьба мелкого служащего клерка Мерсо из повести Камю, бессмысленно убившего человека и бессмысленно погибшего в мире отчуждения и абсурда. Но ведь Кэлин Сурупэчану живет в другом мире, и характер его — полная противоположность безвольному, вялому Мерсо. К тому же Кэлин совершил отнюдь не бессмысленный поступок. Однако в людях слишком сильны еще старые навыки и старые, порой трагические противоречия. Перемена общественных отношений не ведет автоматически к устранению равнодушия, непонимания, эгоизма. Даже Мария, проявившая столько терпения и упорства, чтобы добиться признания своей любви, теперь первая предлагает мужу покинуть дом. Что же, эгоизм ее любви приводит к тем же печальным результатам, что и бессознательный эгоизм Кэлина? Только испытав горечь одиночества, человек начинает ценить теплоту человеческих отношений? Подвиг не может быть результатом бездумного порыва или холодного расчета, он должен родиться из нежности, из любви? А возможно, то, что случилось с Кэлином в новом городе, есть возмездие за его собственный поступок, когда он бросил любившую его девушку, не догадываясь, что она от него беременна?

Мы не случайно ставим все эти выводы под вопросом. Роман Преды может быть понят по-разному, доказательством этому служат критические статьи, появившиеся в румынской печати. Марин Преда принадлежит к той категории писателей, которые ищут и не навязывают своих выводов. Это, разумеется, хорошее качество при условии, что авторские искания, пусть даже мучительные, исходят все же из твердых основополагающих принципов и что авторская мысль не будет осложнена множеством оговорок. В романе Преды разговор о жизненных и социальных проблемах осложняется манерой автора прятать свое отношение к рассказанному, так что не только читатели, но и внимательные критики могут сделать из книги самые противоположные выводы. Что это—художественная слабость или особенность души самого художника, раздираемого внутренней борьбой и противоречиями? Быть может, мы сталкиваемся здесь с явлением, характерным для сегодняшнего этапа развития румынской литературы, которая стала смелее исследовать социальную действительность, но все еще не осмысливает ее до конца?

Роман Преды кончается тем, что герой уходит из своей семьи и покидает город, который строил. На последних страницах книги он преодолевает отчаяние и отправляется на поиски инженера Дана, который снова на новой стройке.

Даже самый подробный пересказ сюжета не может, однако, передать ни всех достоинств, ни слабостей романа Преды. Сила этой оригинальной, хотя и далеко не во всем удачной книги не столько в рассказанной автором истории, сколько в достоверности деталей, в напряженности мысли, в поисках ответа на волнующие проблемы современности. Герой Преды ощущает потребность понять себя и свое место в жизни, разобраться в том, что хорошо и что плохо в окружающей его среде, осмыслить *результаты* больших социальных перемен, происшедших в его стране после того, как она встала на социалистический путь развития. Героя Преды мучает вопрос о личной социальной ответственности каждого человека, его ужасает равнодушие людей, прикрывающих эгоизм громкими и красивыми фразами об общей пользе, его пугает слепота и нравственная глухота бюрократов, распоряжающихся чужими судьбами. Герой спорит и с самим собой, потому что и ему понадобилось пережить большое личное несчастье, чтобы лучше понять окружающих его людей и самого себя.

Точно и сильно изображает Преда удивление своего героя перед парадоксальными явлениями действительности, его постоянное возмущение несоответствиями, которые он видит в жизни. Но кто несет вину за эти несоответствия и каков путь к их исправлению?

Мы снова вынуждены повторить то, о чем уже говорили: автор ставит вопросы, но не дает на них четкого ответа. Роман построен логично, действие развивается последовательно, но этого нельзя сказать о *движении мысли* главного героя книги, о его размышлениях и выводах. Чем больше нарастает ощущение трагедийности ситуации, в которую попал Кэлин Сурупэчану, тем неопределеннее становятся его выводы. После взрыва в психике героя, в связи с постигшим его несчастьем, как будто начинается выздоровление, но основа возрождения Кэлина остается неясной.

На последних страницах книги Кэлин, мучимый раздумьями о причинах постигшего его несчастья, пытается мысленно представить себе другую жизнь. Во сне и наяву Кэлин грезит, что он попал вместе с Марией на некий необитаемый остров, где ему предстоит положить основу человеческому обществу. От мира, в котором жил Кэлин, сохранились только воспоминания, да и то лишь в головах новоявленных Адама и Евы;

для детей, родившихся на острове, существует уже только авторитет родителей, и история человечества тут только и начинается! Но Марин Преда, по-видимому, не исходит из какой-нибудь четкой идейной позиции. К тому же Преда ограничивается только предысторией цивилизации, поэтому его «новое» человечное общество на необитаемом острове лишь повторяет старую библейскую модель. Хотел автор прийти именно к такому результату? Еще один вопрос, оставленный автором без ответа.

И все же новый роман Марина Преды — заметное и оригинальное явление в современной румынской литературе. В книге немало недостатков. И герой ее полон несовершенств и противоречий. Он излишне глубокомыслен и открывает уже давно открытые Америки. Он полон суеты и ложной многозначительности. Тем не менее Кэлин Сурупэчану выгодно отличается от картонных героев, изрекающих прописные истины, созданных по заказу дня. Ему чужда монотонность одной краски. Главное, что привлекает нас в романе Марина Преды, это то, что он изображает судьбы своих современников в их реальной сложности.

И. КОНСТАНТИНОВСКИЙ

ИТОГ СТРАДАНИЙ

Norman Lewis. Every Man's Brother. London, Heinemann, 1967.

Новый роман Нормана Льюиса был в определенном смысле неожиданностью. Прежде всего, это психологический роман — здесь нет бурных исторических событий, составивших содержание предыдущих книг этого признанного мастера антиколониалистского романа. И во-вторых, с дальних рубежей (Алжир, Бирма, Вьетнам, Гватемала — можно назвать немало стран мира, разбирая географию творчества Льюиса) действие переносится домой, в Англию, точнее — южный Уэльс, а для Льюиса это самый настоящий дом, поскольку он валлиец.

Сначала об эпиграфе. Льюис открыл роман цитатой из Библии: «Я взыщу... душу человека от руки человека, от руки брата его». Тут важно восстановить контекст: дается наставление Ною и его семейству. Библейский мир тесен, люди — братья, они — Ноево потомство, его кровь. В название романа Льюис вынес слова из второй части фразы, сделав упор на идее братства людей, а не возмездия. «Человек — брат» — так называется роман Льюиса, и разговор в нем идет совсем не о братстве по крови. Показывая родных братьев чужими людьми, писатель тревожится о большем — о распадающемся братстве людей на земле. Скажут — это не ново. Однако романы пишутся не для внесения разнообразия в литературу, а чтобы выразить сегодняшний день, и если он похож на вчерашний — об этом нужно писать немедленно и с тревогой.

Пять лет провел в тюрьме Брон Оуэн, главный герой романа. Мать умерла, и, получив по завещанию все наследство, брат распродал имущество и перебрался на новое место. Прежде Кросс-Хэндз был шахтерским поселком. Земля истощилась, шахты стоят брошенные, и скромную индустрию района представляет только металлургический заводик. Ландшафтные зарисовки Льюиса конкретны и осязаемы, как макет. Писатель по ходу делает социологические наблюдения, дает этнографические приметы, и под опытной рукой встает по-очерковому резкая и точная картина жизни этого края. Суровый, каторжный труд накладывает свой отпечаток на духовную атмосферу этого валлийского захолустья.

Обыватели томятся скукой, живут сплетнями. Религиозный фанатизм, ханжество принимают дикие формы. Люди хмуры, замкнуты в себе, «живут здесь, как в аквариуме».

Итак, вот она, воля, вот воздух свободы, который жадно вдыхает Брон в первые дни после заключения. Брат хочет взять его в компаньоны — Ивену нужен постоянный и верный работник. И свободный Брон идет в рабство, хотя рядом с ним — живые предостережения. Затворническая жизнь на ферме, постоянный страх перед нищетой, перед ливнями, которые не уступят библейскому потопу, до неузнаваемости изменили когда-то жизнерадостную Кэти, жену Ивена. Не устоял и Ивен: он надорвался, у него больное сердце, «он держится на одном энтузиазме».

Поразительно несхожи характеры братьев. Ивен — замкнутый человек, вечный неудачник, с болезненным удовлетворением Иова принимающий удары судьбы. В его фанатическом трудолюбии меньше всего любви к труду: это воловья покорность. Любовь к Кэти немного размягчила его характер, очеловечила, «он стал беззащитен», а потеряв любовь, он сломится сразу. От самоубийства его удерживает только стремление отомстить Брону и Кэти, и он скрывается без следа, подставив брата под обвинение в убийстве.

Брон — открытая, привязчивая душа. Он ищет общения, дружбы, любви. Он и работает красиво, заразительно. Сочувствие к слабым, готовность помочь, доверчивость — с этими качествами героя читатель знакомится по записям врача, и, право, это горькая ирония, что естественным и здоровым человеческим побуждениям нашлось место в «истории болезни».

Заболевание Брона, ставшее причиной его первой тюрьмы, расписано подробно, что обнаруживает завидную осведомленность Н. Льюиса в вопросах новейшей психотерапии. Болезнь овладевает Броном на краткое время, приступами, за которыми следует полное забвение всего, что совершалось в эти минуты. В этот провал памяти читателю дано заглянуть. Идет поток сознания (определение неточное, поскольку сознание-то именно и отключено) — больной бредит, и у бреда есть своя логика: «Я —

это только я. Мой мир — это мой мир. Вокруг меня ничего не существует». Одиночество, отчужденное существование, отмена объективного мира поданы как острая форма душевного заболевания. Для обитателей Кросс-Хэндза это — нормальная жизнь. А жизнь Брона, сознательная и главная ее часть, отдана попыткам по-братски сойтись с людьми.

«Колебательная» природа героя делает его фигурой неуместной — и на воле (припадки), и в клинике, среди больных тяжело и неизлечимо. Но всего неуместней он, конечно, в тюрьме. Преступник или душевнобольной? — этот вопрос основательно дебатируется на страницах романа, и, конечно, он отражает реальное положение дел. В Англии половину больничных мест занимают душевнобольные. Одновременно растет преступность. И невольно эти явления связываются. Доктор Даллас, например, представляет новейшую школу судебной психиатрии, отстаивая принципиальную невиновность Брона и подобных ему «преступников», а оппонентом его выступает некий последователь Ч. Ломброзо, видящий потенциального преступника чуть не в каждом человеке. Но только тюрьма и больница, хочет сказать своим романом Льюис, проблемы не решают. Оздоровить общество сможет лишь основательная социальная терапия.

Даллас борется за Брона самоотверженно. Он увидел в нем человека настоящего, полноценного, привязался к нему, как к брату, и всеми правдами и неправдами спасает от вторичной тюрьмы, как прежде спасал от недуга. Полиция считает Брона убийцей, что ж, Даллас убеждает полицию, что его пациент был невменяем.

И страшное дело: Брон почти хочет в тюрьму, как некогда шли в нее задавленные безработицей люди. В тюрьме лучше, в тюрьме ясно, чего от тебя ожидают и чего ты можешь ожидать. Там есть братство людей — по несчастью, и даже по нему, по такому Брон теперь тоскует. Образ Брона проходит в сопровождении лирической интонации, совсем не частой у Льюиса-скептика, и это закономерно: испытывается и защищается тезис «люди — братья».

Итак, злой сарказм, суровый приговор: миру предательства, патологической злобы, мстительных махинаций отказано в реальности, в существовании. И наоборот, торжествует и закрепляется как реальное полицейская гипотеза братоубийства.

Преступность, безумие коренятся в смрадных условиях кросс-хэндзского захолустья, в каторжном существовании его обитателей, и предупредить их практически невозможно. Зыбкий мир окружает героя, и, показывая чистоту души Брона, его бескомпромиссную верность подлинным ценностям жизни, Льюис, пожалуй, как никогда близко подошел к созданию положительного героя.

Брона спасает неожиданное обстоятельство: обнаружен труп недавно умершего Ивена, при нем записка, объясняющая его исчезновение местью Брону и Кэти. Брона скоро выпустят. Но герой стоит перед вопросом не легче гамлетовского: вести ли спокойное существование в клинике, «уйти в монастырь» (его слова) — или жить «в миру» и, стало быть, опять столкнуться с его ужасающей реальностью? Брон выбирает последнее. Чем-то кончится его второе «освобождение»? Ясно одно: он будет свидетельствовать о неблагополучии в обществе и примером собственной жизни восстанавливать идею братства людей. Итог отрадный.

В. ХАРИТОНОВ

ПЕРВЫЙ УЧЕБНИК СОЦИАЛИЗМА В США

E. Bellamy. Looking Backward. 2000—1887. Harvard, 1967.

Кажется, прошло то время, когда научный социализм в Америке «ниспровергался» с помощью откровенно грубых приемов как теория «иностранная», «заговорщическая» и т. п. Сегодня противники марксизма — это показал и прошедший юбилейный год — действуют тоньше, не столь прямолинейно. Общим местом буржуазных идеологов в США стали рассуждения о том, что идеи Маркса «устарели» или просто не соответствуют американским условиям, что принцип коллективизма не способен выдержать конкуренции с «глубоко национальной» психологией индивидуализма и частной инициативы.

В свое время Дэниел Белл, один из авторов пухлого труда «Социализм в США», рассуждал о том, что «американское общество в середине XX века развивалось в направлении, полностью противоположном тому, которое было предсказано марксистской социологией». Этот тезис повторялся в статьях, которыми — что само по себе весьма симптоматично — откликнулись на 150-летие со дня рождения великого революционера отдельные буржуазные издания. Так, пафос редакционной статьи журнала «Сэтердей ревью» (25 мая 1968 г.) «Маркс в ретроспективном плане» состоял в доказательстве того, что марксистские идеи потеряли свою действенность в силу коренных изменений в американском обществе: классовая структура «претерпела революционные изменения», классовая борьба затухла, и две системы «движутся навстречу друг другу». Марксизм, если верить авторам этой и других статей, продемонстрировал свою «несовместимость» с американскими традициями. Но как же тогда быть с фактами безусловного воздействия марксистских идей на американскую культуру, чем объяснить живую, восходящую еще к прошлому столетию социалистическую традицию в американской литературе? Нельзя сказать, чтобы о ней умалчивали. В последнее время, когда тревожный вопрос «Куда идет

Америка?» продолжает стоять перед американцами, потрясенными расовыми волнениями и политическими убийствами, в США нередко пишут о писателях радикального, левого направления — но по большей части для того, чтобы их идейно обезвредить или просто отделить от социалистического движения, а порой и противопоставить ему.

О том, как сейчас относятся в США к наследию социалистической мысли, можно судить на примере Эдуарда Беллами, автора прославленного утопического романа «Взгляд назад. 2000—1887» (1888). Выход этой книги, рисовавшей картину социалистического общества, которое резко контрастировало с современной ему Америкой, раздираемой классовым антагонизмом и неравенством, был событием не только литературным, но и общественным. Произведение вызвало к жизни широкое общеамериканское движение — партию националиэаторов, ратовавших за немедленное претворение в жизнь планов писателя по передаче производства из частного владения в руки государства. Возникли клубы имени писателя, стали выходить многочисленные газеты, поддерживавшие его теории.

С той поры роман перепечатывался неоднократно. В 1967 году в Гарварде увидело свет очередное издание книги «Взгляд назад», которой было предпослано пространное предисловие историка Джона Томаса, предлагавшего новую концепцию этого произведения. Выхолащивая, в сущности, социальный смысл из этого произведения, Томас пытается представить Беллами как чисто религиозного мыслителя, сумевшего в силу своей «мистической веры» «провидеть справедливое устройство мира».

Правда, кое-кто из современных критиков еще пытается приписать Беллами изображение будущего чуть ли не в виде «огромного концлагеря». Стэпли Куперман, автор статьи «Утопический реализм. Романы о будущем Беллами и Гоуэллса», видит в этом произведении лишь малохудожественное и лишенное всякой иронии изображение «ужасов» коллективистского общества, вызывающее в памяти печально известный антисоциалистический памфлет Оруэлла «Звероферма».

И все-таки сейчас чаще стараются отделить Беллами от социализма, превратить в безобидного реформатора. Еще в 30-е годы философ Джон Дьюи настаивал на том, что «страсть и проницательность Беллами питаются его преданностью американскому идеалу демократии». Позднее биограф писателя Эдуард Морган противопоставлял Беллами как носителя национальной реформистской традиции — марксизму, учению «неамериканскому», проповедующему «насилие».

Так, Джозеф Шиффмен, составитель «Избранных произведений» Беллами (1955) называл уже его автора «социальным евангелистом» и апологетом новой христианской любви. Уже упомянутый Джон Томас усмотрел в его романе «образец социального консерватизма, призванного укрепить принятые американские ценности и традиции», поскольку он выдвигает «моральную реформу в качестве американского пути». Наконец, явным отзвуком идей о «народном капитализме» и «конвергенции двух систем» прозвучали рассуждения литературоведа С. Э. Бауман, автора богатой фактическим материалом книги «Двухтысячный год. Критическая биография Эдуарда Беллами» (1958) на тему о том, что в сегодняшней Америке многие чаяния писателя уже, дескать, реализуются: «представители труда и капитала мирно сидят за столом конференций, разрешая общие проблемы», пролетариат «становится средним классом».

Беллами верил, что по природе своей человек добр и гуманен; причину всех зол, преступлений он — не без известной прямолинейности — видел исключительно в экономическом неравенстве.

...Герой «Взгляда назад» Джулиан Уэст, молодой человек из состоятельной семьи, обитающий в Бостоне 1887 года, проснувшись после летаргического сна в 2000 году, в обстановке «новой цивилизации человеческого братства», оказывается в гостеприимном доме доктора Лити. Последующее повествование строится на слегка беллетризированных диалогах между Уэстом и Лити. Устами своих героев писатель обрушивается на пороки капитализма. В новом мире, основанном на экономическом равенстве граждан, эти пороки устранены. Уходят в прошлое эксплуатация, конкуренция, обогащение одних за счет других. Образование делается всеобщим. Прежняя функция государства, стоявшего на защите привилегий и собственности власть имущих, сменяется заботой о благе и счастье всех подданных.

Роман Беллами нес на себе властное дыхание 80-х годов, одного из критических периодов американской истории. Это было время, когда страну сотрясали классовые бои, все тягостней ощущалась «железная пята» монополий. Мучительное ощущение краха «американской мечты» вызывало всеобщую жажду благотворных перемен. Эдуард Эвелинг и его жена Элеонора, дочь Карла Маркса, совершившие в 1886 году лекционную поездку по Америке, были поражены распространением «неосознанного социализма». Они писали тогда, что «американский народ ждет того часа, когда он сможет услышать на своем родном языке, что такое социализм», и выражали уверенность, что книга, посвященная этой проблеме, новая «Хижина дяди Тома» капитализма» увидит свет. Роман Беллами оказался такой книгой.

Естественно, что картина будущего, нарисованная Беллами, была в чем-то наивна. Уже современникам писателя бросались в глаза отдающая некоторым мещанством фетишизация технических усовершенствований и удобств и удручающее однообразие совершенных людей, живущих в Новом мире, скучноватая бесконфликтность их бытия. Н. К. Крупская, свидетельствуя о популярности романа Беллами в России, писала, что в его обществе будущего «не было борьбы, не было коллектива».

Наконец, подобно просветителям, Белла-

ми уповал на силу убеждения, обращенного как к низшим, так и к высшим классам. На страницах его романа — кстати, скороговоркой — констатировался безболезненный, мирный переход фабрик, заводов, всех материальных ценностей из частного владения в руки всего общества.

В этом всего отчетливей сказались реформистские иллюзии Беллами, на которые и делают упор его американские исследователи.

Однако вопрос *о путях* достижения будущего не был для писателя (как и для большинства утопистов!) главным в романе «Взгляд назад». Сам Беллами шутливо объяснял это таким образом: «Если вы намерены побудить холостяка жениться, то не обременяйте его подробностями матримониальной церемонии... Вы знакомите его с девушкой и хотите, чтобы он в нее влюбился; все же остальное должно уладиться само собой». Пафосом романа было доказательство преимуществ Нового мира.

В то же время широко цитируемое буржуазными исследователями отрицательное высказывание писателя о «сторонниках баррикад и красного флага» было скорее всего лишь тактическим ходом: после хеймаркетской трагедии обывателя всячески запугивали «красной опасностью», «ужасами революции». Зато позднее, в книге «Равенство» Беллами уже рассказывал о том, как в новом мире поставлен памятник стачечникам. Он писал о них с нескрываемым уважением; ведь они пробудили общество от спячки.

Новый мир, нарисованный Беллами, в своих главных, коренных особенностях был социалистическим. Его утопия от родственных ей произведений, откровенно фантастических, «визионерских», в том числе от современных утопических романов Уэллса («Машина времени»), Золя (цикл «Четыре евангелия»), Франса («На белом камне»), отличалась какой-то особой деловитой конкретностью и практицизмом. Беллами словно проецировал некоторые тенденции современной ему жизни в не столь уж отдаленное будущее, видя в современности, в Америке монополий и трестов материальные предпосылки для перехода к новому строю.

Все это определило почти беспрецедентную в истории США силу воздействия романа на умы соотечественников. И не только соотечественников. Огромный успех романа за пределами США объясняется интернационалистским характером социалистических идеалов, которые он выражал.

В нашей стране роман Беллами, особенно в начале века, был встречен с пониманием и глубоким интересом. Л. Толстой называл его «замечательной книгой» и содействовал его переводу. Горький по прибытии в Америку в 1906 году в беседе с корреспондентами говорил, что с этим произведением знакомо все русское студенчество. В революционных рабочих кружках книгой Беллами зачитывались едва ли не так же, как романом Чернышевского «Что делать?», «Оводом» Войнич и «Спартаком» Джованьоли. Идеи Беллами находили отклик не только в Европе: общества и клубы имени писателя появились в Южной Африке, Новой Зеландии, Индонезии.

Все это лишь подтверждает вывод, к которому вынужден прийти составитель сборника «Эдуард Беллами за границей» (1962): роман Беллами «способствовал интересу к социализму и привел многих к марксизму».

В канун империалистической эры, как напоминает видный прогрессивный историк Филипп Фонер, его роман при всех своих недостатках «долгое время был для многих американцев первым учебником социализма».

Это признавали и буржуазные ученые. Когда в 1935 году Колумбийский университет обратился к трем виднейшим деятелям — философу-прагматисту Джону Дьюи, президенту Американской ассоциации историков Чарльзу Берду и редактору старейшего литературного ежемесячника «Атлантик мансли» Эдварду Уиксу — с предложением составить перечень из 25 книг, оказавших наибольшее воздействие на умонастроения и дела людей в мире за истекшие полвека, то все трое отдали первые два места «Капиталу» Маркса и утопическому роману Эдуарда Беллами «Взгляд назад».

Традиция Беллами в широком смысле стоит за творчеством многих американских писателей, искавших выхода за пределами буржуазного общества,— Джеком Лондоном и Эптоном Синклером, Джоном Ридом и Теодором Драйзером, Линкольном Стеффенсом и Уильямом Дюбуа. Но для них сравнение двух систем основывалось уже на реальном историческом опыте. Послеоктябрьская эпоха прояснила многие вопросы.

Да, Беллами писал — и в частности в своем трактате «Равенство»,— что лишь экономическое, а не формальное равноправие людей сделает реальностью великий принцип Декларации Независимости: каждый человек имеет право на жизнь, свободу и счастье. Этот принцип оставался иллюзорным в условиях капитализма. Он осуществился в обществе социалистическом, открывшем новые, более широкие горизонты демократии.

Для нас Беллами — писатель, который соединил, а не разъединил прогрессивную демократическую традицию и социалистическую мысль.

О важности этого единства напоминал и лидер компартии США Гэс Холл в своей речи «Освободительная роль марксизма», которую он произнес 14 мая 1968 года перед студентами университета Дакоты. Касаясь активизации радикальных, антивоенных и левых сил в стране, он подчеркнул: «Развитие некоторых из этих идеологических и политических процессов приведет к тому, что социализм встанет на повестку дня в Соединенных Штатах».

Не экзотической, «покрытой хрестоматийным глянцем» главой литературной истории, а живым элементом социалистического наследия американского народа видится сегодня книга Беллами.

Б. ГИЛЕНСОН

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

В берлинском издательстве «Фольк унд вельт» (ГДР) вышли роман Л. Леонова «Скутаревский» в переводе Доры Гофмейстер, «Святой колодец» В. Катаева в переводе Юрия Эльперина, роман С. Голованивского «Тополь на том берегу» в переводе Трауте и Гюнтера Штейна, сборник стихотворений Л. Мартынова «Седьмое чувство» в переводе Паули Винса и Адольфа Эндлера, сборник поэм В. Маяковского в переводе Гуго Гупперта, эстонские народные сказки под названием «Стеклянная гора» в переводе Александра Бера, роман Абдуллы Кадыри «Скорпион из алтаря» (немецкое название — «Ташкентские влюбленные») в переводе Арно Шпрехта и другие произведения.

Роман М. Шолохова «Поднятая целина» (перевод П. Мандональда) выпущен издательством «Мачно» в бельгийском городе Генте. Другой роман М. Шолохова «Тихий Дон» (первые две части) в переводе Ван дер Штера вышел в Брюсселе в издательстве «Арбайдерсперс».

В Рангуне (Бирма) изданы роман М. Горького «Трое» и пьеса «На дне».

Там же вышли повесть «Звезда» и роман «Весна на Одере» Э. Казакевича.

В Сан-Паулу (Бразилия) издан сборник рассказов М. Горького.

В Испании в барселонском издательстве «Планета» вышли следующие книги советских авторов: роман М. Шолохова «Поднятая целина», повести Ч. Айтматова «Материнское поле», А. Бека «Волоколамское шоссе» и «Резерв генерала Панфилова», рассказ Ю. Казакова «На полустанке», а также «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого.

Издательство «Айма» в Барселоне выпустило пьесу М. Горького «Дети солнца», сценарий фильма «Баллада о солдате» Г. Чухрая и повесть Ю. Семенова «Петровка, 38».

В мадридском издательстве «Эспаса» вышли рассказы М. Горького «Варенька Олесова» и «Мальва».

Мадридское издательство ЭДАФ опубликовало главы из романа М. Шолохова «Они сражались за родину».

В стамбульском издательстве «Сосиаль яинлар» вышел роман К. Симонова «Живые и мертвые». Газета «Акшам» писала: «Это великолепный военный роман. По своей художественной ценности он может быть причислен к лучшим книгам этого жанра в мировой литературе».

В издательстве «Хабора» (Стамбул) вышла пьеса В. Маяковского «Клоп».

Литературный журнал «Май», выходящий в Стамбуле, поместил очерк председателя Союза турецких театральных критиков Х. Асылязыджи, недавно побывавшего в Советском Союзе, посвященный Сергею Образцову. Рассказав о творческом пути советского кукольника, о его жизни и его театре, критик пишет: «Образцов — один из немногих мастеров искусства, с которыми я годами мечтал встретиться. И встреча еще раз убедила меня — Сергей Владимирович не только всенародно известный, но поистине народный художник».

В венгерский книжный бюллетень «Тайекозтато» сообщает о выходе в свет: в издательстве «Европа» — романа К. Федина «Необыкновенное лето» (вторым изданием), а также романа И. Эренбурга «Падение Парижа»; в издательстве «Кошут» — романа В. Собко «В логове зверя»; в издательстве «Мора» — романа-сказки Н. Носова «Незнайка на Луне».

Тот же бюллетень представляет венгерскому читателю писательницу Л. Уварову, повесть которой «Год спокойного солнца» недавно издана в Венгрии.

В Хельсинки (Финляндия) вышли: романы «Июль 41 года» Г. Бакланова, «Щит и меч» В. Кожевникова и роман-хроника Л. Никулина «Мертвая зыбь».

В Дели на языке хинди издан роман М. Шолохова «Тихий Дон».

В Калькутте на языке бенгали вышли повесть «Жизнь Клима Самгина» и роман «Жизнь Матвея Кожемякина» М. Горького, повесть А. Кузнецова «Продолжение легенды».

Одновременно на двух языках (маратхи в Бомбее и бенгали в Калькутте) издана повесть С. Антонова «Аленка».

Повесть Ч. Айтматова «Джамиля» выпущена в Дели на языке пенджаби.

В воспоминания В. Шкловского под названием «Детство и юность» выпущены в ФРГ издательством «Зуркамп».

Отрывок из «Дневника Кости Рябцева» Н. Огнева опубликован в газете «Ди андере цейтунг» (ФРГ).

„Шторм" В. Билль-Белоцерковского поставлен в Потсдаме (ГДР), в «Ганс-Отто-театр».

Отрывок из романа «Соленая Падь» С. Залыгина напечатан в журнале «Зинн унд форм» (ГДР).

В Западном Берлине, в помещении Общества советско-германской дружбы открылась «Галерея Маяковского», где экспонируется фотовыставка, посвященная произведениям поэта и театральным постановкам его пьес.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АНГЛИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ ДЖОНА ЛЕ КАРРЭ

Джон Ле Каррэ — бывший английский дипломат — получил известность в литературном мире своим детективом «Шпион пришел с холода», по которому был поставлен нашумевший на Западе фильм. Новый роман Ле Каррэ — «Маленький городок в Германии» — политический детектив, в котором остро ставится вопрос о возрождении фашизма в ФРГ.

Герой повествования — сотрудник английской разведки — приезжает в посольство Великобритании в Бонне, откуда исчез один из сотрудников. Все предполагают, что он работал на чужую страну и бежал. Однако результаты расследования показывают, что, будучи в прошлом немцем-антифашистом, сидевшим в гитлеровских концлагерях, он на свой страх и риск занялся выслеживанием и разоблачением преступного прошлого лидера неофашистов Карфелда. Видимо, он стал жертвой политического убийства.

Карфелд далек от того, чтобы слепо подражать Гитлеру, он ловко применяется к существующим условиям. Лейтмотив высказываний Карфелда таков: «Пора забыть о преступлениях гитлеризма. Разумеется, кое-что Гитлер делал неправильно, но, в конце концов, чисты ли руки у Англии и у Франции?» Выясняется, что Карфелд был начальником одного из самых чудовищных гитлеровских лагерей смерти. Но на пути разоблачителей Карфелда стоят английское посольство в Бонне и само боннское правительство. Выслеживание военного преступника в наше время — дело опасное и может стоить жизни тем, кто его предпринимает, такой вывод делает автор.

Рецензент еженедельника «Нью стейтсмен» пишет, что «маленький городок» в книге — Бонн — средоточие дипломатических и политических интриг, плетущихся во имя сокрытия военного преступника. Достается при этом и британским дипломатам, этим «хорошо вышколенным служакам, зачастую обладающим большими состояниями и, как правило, страдающим отсутствием мозгов».

«Это увлекательный политический роман,— пишет Дональд Маклоклэн в еженедельнике «Санди телеграф».— В глубине души автора явно живет ощущение стыда за то, с какой быстротой аденауэровский Бонн превратился в союзника Лондона».

Критик журнала «Обзёрвер» Нил Эскерсон пишет, что книга Джона Ле Каррэ — «удар по Бонну, по немецким политическим традициям и по тем деятелям, которые находят возможным забыть то, что совершила третья империя и кто руководил этими деяниями».

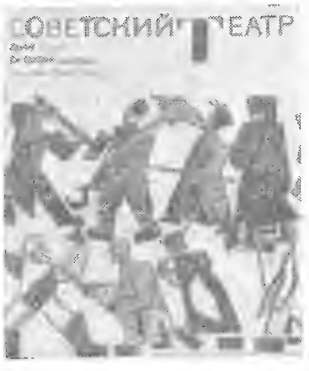
А обозреватель американской газеты «Дейли уорлд» написал: «В рамках политического детектива Джон Ле Каррэ сумел показать картину роста и развития в Западной Германии фашистского движения, сопровождающегося массовой истерией. Это тема, заслуживающая серьезных размышлений».

БОЛГАРИЯ

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ

Под девизом «Книга на службе мира, прогресса и дружбы между народами» в Софии прошла первая международная книжная ярмарка. В ней приняли участие более 400 издательств и 37 издательских и книготорговых фирм Советского Союза, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии, ГДР, ФРГ, Англии, Швейцарии, Бельгии, Голландии, Австрии, Италии. Всего было выставлено более 12 500 книг.

Общее количество книг, представленных Болгарией, превышало 2 500 названий. Большой интерес вызвали болгарские издания русской классической и советской



Экспонаты международной книжной ярмарки в София.

(Газета «Култура»)

литературы, очень популярной в стране, на что указывают тиражи изданий. Например, Толстой издан в Болгарии тиражом 812 000 экз. (60 изданий), Шолохов — 621 000 экз. (40 изданий) и т. д.

Советский Союз направил на ярмарку более 2 500 книг. Среди них — книги по всем отраслям знаний, произведения художественной литературы, издания, посвященные 100-летию со дня рождения В. И. Ленина и 25-летию разгрома германского фашизма, а также переводы произведений болгарских писателей на русский, украинский, белорусский и другие языки народов СССР.

В дни работы ярмарки были проведены деловые встречи по обмену опытом между книгоиздательскими и книготорговыми фирмами стран, участвовавших в ярмарке.

В заключение специальное художественное жюри рассмотрело вопрос о присуждении премий за лучшие издания книг болгарских авторов за границей. Первую премию получило варшавское издательство «Людова спулдельня выдавнича» за антологию болгарской поэзии «Горячая земля» (художник Януш Шани); вторую — будапештское издательство «Европа» за книгу «Йордан Йовков» (художник Эндре Сас); третью — лейпцигское издательство «Инзель» за книгу «Дурман» Георгия Караславова; четвертую—нью-йоркское издательство «Уильям Мороу компани» — за книгу «Время разделенное» Антона Дончева; пятую — издательство «Хорст Эрдман» (ФРГ) — за книгу «Антология болгарских рассказов»; шестую — берлинское издательство «Рюттен унд Лёнинг» за книгу «Праздник» Димитра Талева.

НА СЦЕНЕ «БОЛЬШЕВИКИ»

Пьесу Михаила Шатрова «Большевики» поставил софийский театр «Слеза и смех». Для ее постановки был приглашен главный режиссер московского театра «Современник» Олег Ефремов. Режиссерский замысел новой постановки, по мнению корреспондента еженедельника «Народна култура» Петра Филчева, чрезвычайно четок: «Стремление к масштабности повествования и чистота пластического решения. Сцена оформлена (художник Петр Кирилхов) сдержанно. Оставлено самое необходимое — столы, стулья, телефон. Все, что может отвлечь внимание или помешать динамике сценического диалога, отвергнуто. Ефремов делает ставку на полемику, глубоко убежденный, что в ней со сцены звучит голос истины, раскрываются проблемы нашей повседневности».

Успех спектакля, по словам корреспондента, был предопределен значительностью тех событий, которые театр воссоздал перед зрителями, глубоким их толкованием в пьесе и талантом режиссера. «Уже сам факт, что в числе действующих лиц много видных революционеров — Свердлов, Луначарский, Коллонтай, Чичерин, каждый со своей индивидуальностью, интеллектом и характером,— увлекает зрителя,— писала корреспондент еженедельника «Литературен фронт» Павлина Войтецка.— Едва ли существует другая пьеса, в которой было бы собрано столько деятелей революции, занятых решением важнейших проблем».

ВЕНГРИЯ

«СОТРЯСАЙСЯ, ЗЕМЛЯ!»

Будапештское издательство политической литературы имени Кошута выпустило под таким названием литературно - публицистический сборник, в который вошли статьи из газет и журналов, отрывки из литературных произведений, выступлений и дневников, стихотворения, а также документы, относящиеся к периоду организационного оформления партии венгерских коммунистов. На титульном листе надпись:

«Книга выпущена к 50-летию Коммунистической партии Венгрии». На ее обложке изображен рабочий, опрокидывающий царский трон. Автор-составитель Ласло Ремете сопроводил материалы сборника своими комментариями.

На страницах книги читатель встречается с организаторами коммунистической партии — Бела Куном и Тибором Самуэли, с поэтами Эндре Ади и Дьюлой Юхасом, писателями Жигмондом Морицем и Фридешем Каринти, а также с ее другими деятелями того времени.

Книга знакомит с событиями в стране с начала первой мировой войны вплоть до ноября 1918 года, когда революционеры вместе с возвратившимися из России военнопленными-коммунистами организационно оформили новую партию.

Партия создавалась в полулегальной обстановке, пишет Ласло Ремете. Отсутствие документов, относящихся к тому времени, значительно усложнило точное воспроизведение событий тех дней. И только глубокое изучение и сопоставление фактов позволило достоверно установить дату рождения Коммунистической партии Венгрии — 24 ноября 1918 года, когда и произошло историческое организационное заседание под руководством Бела Куна.

Следующим важным этапом был выход 7 декабря 1918 г. газеты «Вёрёш уйшаг» («Красная газета»). С ее появлением завершился процесс создания партии, пишет Ласло Ремете.

Из последующих материалов сборника читатель узнает о борьбе молодой партии коммунистов за перерастание буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую, за установление диктатуры пролетариата, а также о событиях, которые привели к провозглашению 21 марта 1919 года Венгерской Советской республики.

В сборник включены также рисунки, карикатуры, репродукции плакатов тех лет.

ГДР

НОВАЯ ЖИЗНЬ РОМАНА ЗЕГЕРС

До недавнего времени существовало только две экранизации произведений Анны Зегерс — в Советском Союзе был снят фильм по повести «Восстание рыбаков» и в Америке, во время войны,— по роману «Седьмой крест». Сейчас, впервые в ГДР, на экраны вышел фильм по роману «Мертвые остаются молодыми», подготовленный студией ДЕФА по сценарию Кристы Вольф к 50-летию Ноябрьской революции в Германии.

В фильме, как и в романе, изображен большой период немецкой истории — с 1918 по 1945 год: революция, капповский путч, инфляция, мировой кризис, безработица, нацизм, война и поражение гитлеризма.

Пресса ГДР отмечает большой творческий успех режиссера фильма Иоахима Куперта и актеров, сумевших справиться с трудной задачей — передать в произведении кино «почерк» Анны Зегерс, особенности ее стиля.

«Если фильм вызовет у зрителей желание познакомиться с романом «Мертвые остаются молодыми», не всем еще известным в ГДР, то он будет для них большим открытием»,— пишет рецензент газеты «Берлинер цейтунг».

А рецензент газеты «Нейес Дейчланд» написал в связи с премьерой фильма следующее: «Роман «Мертвые остаются молодыми» не сдан в архив, он продолжает оставаться произведением актуальным, имеющим много точек соприкосновения с современностью. Поэтому можно только приветствовать его экранизацию, сделавшую роман достоянием миллионов людей».

О ЧЕСТНОСТИ ПЕРЕД СОБОЙ И ДРУГИМИ

«Иностранная литература» уже сообщала (см. № 12, 1968) о первом романе Альфреда Вельма «Пауза для Ванцки, или Путешествие в Десканзар», выпущенном издательством «Ауфбау». Автор, по профессии — учитель, до сих пор писал только книги для детей. Его роман во многом автобиографичен. Герой романа — Ванцка, одинокий пожилой человек, потерявший жену и приемного сына. Прослужив много лет в ведомстве народного образования, он решает вернуться к преподаванию. В возрасте 61 года он начинает новую жизнь, отказывается от мечты уйти на покой и с жаром берется за работу в

Реклама фильма «Мертвые остаются молодыми».
(Газета «Нейес Дейчланд»)

школе. Параллельно с историей Ванцки Вельм рассказывает историю его ученика Норберта Книпа, одаренного математика, за будущее которого борется учитель.

«Ванцка — заметная фигура в нашей литературе,— пишет рецензент журнала «Форум».— Это коммунист, который не сдается ни при каких обстоятельствах». Он ищет новых путей в воспитании молодого поколения, борется с рутиной. Этические проблемы, которые поднимает роман, касаются не только школы, но всего общества. «В романе речь идет о честности перед собой и перед другими людьми»,— подчеркивает рецензент.

«Любовь к детям, постоянство, чувство ответственности и способность целиком входить в жизнь своих учеников дают Ванцке право воспитывать молодых людей нашего времени,— отмечает рецензент журнала «Нейе дейче литератур».— Одновременно Ванцка решает мучительные, неотложные вопросы, ищет на них ответы».

По мнению литературного обозревателя журнала «Биненшток», роман «втягивает читателя в современные конфликты и заставляет его о многом поразмыслить».

ПАМЯТИ АРНОЛЬДА ЦВЕЙГА

«Мы потеряли большого писателя, крупнейшего романиста нашего века,— сказано в некрологе Центрального Комитета СЕПГ, Совета Министров и Государственного Совета ГДР.— Он будет жить в нашей памяти как гуманист, борец за мир и социализм».

«Умер Нестор немецкой прозы, автор книг, которые живут и будут жить»,— говорится в некрологе издательства «Ауфбау», печатавшего книги старейшего немецкого писателя в течение последних лет его жизни.

«В своих книгах, особенно в цикле «Большая война белых людей», Арнольд Цвейг сумел с большим мастерством показать механизм империалистичес к и х войн,— отмечается в некрологе Союза немецких писателей.— Книги Цвейга, в которых он боролся против фашизма и войны, за мир и человечность, обрели читателей во всем мире».

«Немецкая академия искусств скорбит об одном из своих основателей, всемирно известном писателе Арнольде Цвейге»,— сказано в некрологе Немецкой академии искусств. Ее президент Конрад Вольф в речи на траурной церемонии говорил об огромном влиянии Цвейга и его творчества на современное поколение. Он привел слова своего отца, известного писателя Фридриха Вольфа, сказанные в свое время об Арнольде Цвейге: «Его романы пробуждали в читателе страсть не только любить добро, но и ненавидеть зло». С речами выступили также Александр Абуш, писатели Макс Вальтер Шульц и Борис Полевой.

ГОЛЛАНДИЯ

Городок Нив-Фоссемейр в провинции Северный Брабант на юге Голландии с недавних пор украшает памятник Мерейнтье Хейзену (на снимке) — герою восьмитомного романа известного детского писателя А. М. де Йонга, зверски убитого нацистами в годы второй мировой войны. Роман неоднократно издавался и был экранизирован.
Памятник литературному герою де Йонга был создан скульптором И. Флаком по заказу жителей родного городка писателя.

(Еженедельное приложение газеты «Ниве роттердамсе курант»)

ГРЕЦИЯ

«НЕТ!» — РЕЖИМУ «ЧЕРНЫХ ПОЛКОВНИКОВ»

Знаменитая греческая актриса Мелина Меркури, почетный председатель Комитета борьбы за свободу и демократию в Греции, сделала официальное заявление в связи со вступлением в силу так называемой новой греческой конституции.

«Референдум по вопросу о принятии новой конституции был, по сути дела, грубой политической инсценировкой, в которой греческий народ вынудили участвовать,— сказано в заявлении.— Смешно говорить о референдуме, если он проводится под контролем военщины. Авторам этого фарса не удалось обмануть ни греческий народ, ни весь остальной мир.

Не следует забывать, что греческий народ лишен права свободно избирать, лишен свободы печати, свободы собраний, свободы создавать профессиональные союзы, права объединяться в политические партии. Закон не защищает греческих граждан от произвола властей: в любой момент они могут быть подвергнуты аресту и тюремному заключению, а их жилища — обыску...»

«Зиг хайль!» — иронически восклицает Мелина Меркури, подчеркивая тем самым фашистскую сущность режима хунты. Она призывает греческих патриотов на родине и за ее пределами крепить единство в борь-

Мелина Меркури.
(Еженедельник «Дейли уорлд»)

бе против «черных полковников» — злейших врагов греческого народа.

«Время разговоров прошло,— говорится далее в заявлении,— наступило время действий. Скоро вы услышите о деятельности различных групп Сопротивления в Греции и за ее границами, которые полны решимости осуществить поставленную цель—свергнуть власть полковников, позорящих доброе имя Греции.

Мы похороним этот режим и никогда не забудем тех наших друзей, которые поддержали нас в черные дни, когда страна, подарившая человечеству Демократию, была под пятой у обезумевшей военщины, строившей безрассудные планы увековечения своей власти. Народ Греции не согласится жить в рабстве!»

ИСПАНИЯ

ПИСАТЕЛЬ АРЕСТОВАН НА УЛИЦЕ

Из Мадрида в Париж недавно вернулась телеграмма на имя писателя Гонсало Ариаса, на телеграмме был штемпель: «Доставка невозможна — адресат выбыл». Случилось так потому, что Гонсало Ариас заточен в тюрьму и о судьбе его друзья и близкие пока ничего не знают.

Аресту писателя предшествовали следующие события.

В апреле 1968 года в Испании начал подпольно распространяться политический роман под названием «Энкартеладос» («Люди-плакаты»), автор которого предпочел до поры до времени остаться анонимным. Действие книги происходит в некоей стране Трухиберии, и основные события развертываются вокруг смещения диктатора Транко.

В предисловии к книге анонимный автор писал: «...Это вымышленная страна, которую испанский читатель без труда узнает...» Там же были слова, на которые первоначально мало кто обратил внимание: «Данный роман является программой действий. Автор, личность которого по очевидным причинам в настоящее время нельзя раскрыть, намерен осуществить акцию, предпринятую главным действующим лицом в первой главе романа. Автор сделает это 20 октября 1968 года...» (В первой главе романа рассказывается о том, как главный герой, скромный наборщик, в тихий воскресный день выходит на людную улицу, надев на себя спереди и сзади плакаты с призывом к свободным выборам президента и смещению нынешнего диктатора. К смельчаку тут же подкатила черная полицейская машина — и увезла его. Примеру наборщика последовали многие, по всей стране начали появляться «люди-плакаты», это движение переросло в мощные демонстрации, и правительство генерала Транко пало...)

Сразу после появления книги испанские власти объявили о возбуждении уголовного дела против неизвестного автора «Энкартеладос». В начале октября вышло английское издание книги, а к 20 октября 1968 г. журналистам стало известно и имя автора.

В этот день произошло следующее. Ровно в полдень сорокадвухлетний писатель Гонсало Ариас с решительным видом вышел на людную мадридскую улицу, надев на себя двойной фанерный плакат, призывающий к свободе, и начал предсказанный в его книге марш. Он успел пройти почти четыре квартала, когда к нему бесшумно подъехала черная машина, из нее выскочили трое полицейских, его усадили на заднее сиденье, и... глава первая «Энкартеладос» на этом закончилась.

Через три дня Гонсало Ариасу официально было предъявлено обвинение в нарушении «принципов национального движения». По испанскому законодательству это «преступление» карается тюремным заключением сроком до шести лет.

ДРВ

«Вот они, янки!» — рисунок художника Куанг Сона.
(Журнал «Вьетнам»)

Кое-кто последовал примеру писателя: на улицах испанских городов появились «люди-плакаты», но тоже были арестованы. Спрос на книгу «Энкартеладос» в стране между тем постоянно растет. Это указывает на то, что идеи, высказанные Гонсало Ариасом, нашли горячий отклик в испанском обществе.

КАЗУС С ПРЕМИЕЙ

Недавно состоялось присуждение премий ежегодного литературного конкурса «Планета» — крупнейшего в Испании. На конкурс было представлено 386 романов, присланных авторами из стран Европы, Латинской Америки и Африки.

В финал конкурса вышло только четыре романа, и, как стало известно в литературных кругах, члены жюри склонялись к тому, чтобы первую премию присудить автору р о м а н а «Гребцы на галере», тем более что, по свидетельству одного из членов жюри, Балтасара Порселя, выступившего на страницах газеты «Вангуардиа эспаньола», автор этого романа своим произведением показал себя «несомненно крупным писателем». Члены жюри пришли к такому выводу, несмотря на то, что в своем романе, по словам того же Балтасара Порселя, автор «обрушивается на устои современного капиталистического общества».

Перед решающим голосованием членов жюри, однако, встревожило то, что герои романа, два аргентинца, путешествующие по испанской земле наших дней, чересчур свободно рассуждают «и о католической религии, и о политическом режиме, господствующем в Испании».

По условиям конкурса, произведение, отмеченное первой премией, должно быть обязательно издано в Испании, однако было сочтено, что ни одно из испанских издательств, опасаясь репрессий, не рискнет опубликовать книгу с резкой критикой франкизма. И жюри, очевидно, учитывая, что представляет собой широко разрекламированная «либерализация» диктатуры, приняло решение присудить автору романа «Гребцы на галере» аргентинскому писателю Абелю Поссе премию, но ...не первую.

КОНЧИНА РАМОНА МЕНЕНДЕСА ПИДАЛЯ

Скончался старейший деятель испанской литературы, президент испанской Королевской Академии, лауреат многочисленных литературных премий, доктор «гонорис кауза» многих университетов Рамон Менендес Пидаль, не дожив четырех месяцев до своего столетия.

Рамон Менендес Пидаль неоднократно выступал против франкизма. Диапазон его деятельности был необычайно велик: исследования «Поэмы о Сиде» и дипломатическая миссия в страны Латинской Америки, «Учебник исторической испанской грамматики» и «Поэзия трубадуров». Он читал лекции об испанской культуре в Гаванском и в Колумбийском университетах. Им был основан журнал «Ревиста де филолохиа эспаньола», объединивший наиболее известных деятелей испанской культуры. Менендес Пидаль руководил изданием «История Испании».

Несмотря на свой преклонный возраст и тяжелую болезнь, Рамон Менендес Пидаль не прекращал работать до последнего дня.

ИТАЛИЯ

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

Многие театральные критики и журналисты выражают в последнее время в печати беспокойство по поводу усилившегося в Италии давления цензуры на театр, а также судебных преследований прогрессивных театральных деятелей.

До сих пор в стране действуют законы, принятые еще при фашизме. Это дает возможность полиции и судебным властям вмешиваться в дела театра, в работу режиссера и актеров, вплоть до запрещения представлений.

Возмущение общественности вызвал недавний судебный процесс в Генуе против известного театрального режиссера и актера Луиджи Скварцины. Скварцина и его товарищи обвинялись в том, что поставили спектакль, «противоречащий цензурным требованиям». Чтобы очернить их, были пущены в ход все средства, вплоть до подтасовки фактов и использования лжесвидетелей.

В городе Ареццо недавно были осуждены два актера — за выступления на Международном фестивале одноактных пьес, проходившем в этом городе; актеры протестовали против произвола властей. Оба они были приговорены к 10-месячному тюремному заключению и к уплате большого штрафа.

«Италия — родина многих искусств, но в этой Италии в последние годы обычным делом стали обвинения, процессы, осуждения деятелей культуры»,— писал корреспондент газеты «Унита». Власти, ссылаясь на закон о цензуре, запрещают неугодные им театральные постановки. От произвола цензуры особенно страдают государственные театры, так называемые «стабиле». «Буржуазные «ценители искусства»,— отмечает далее корреспондент,— хотят надеть на театр наручники. Особенно нас тревожит то, что правящие круги стремятся распространить закон о цензуре и на зарубежные коллективы. Недавно, например, был наложен запрет на выступления в Италии труппы Польского драматического театра».

«ЦАПЛЯ» — НОВЫЙ РОМАН БАССАНИ

В издательстве «Мондадори» вышел новый роман Джордже Бассани «Цапля», привлекший внимание критики. Автор «Пяти феррарских историй» и «Сада Финци-Контини» верен своей возвышенной поэтике — таков вывод критиков. По существу, его новая книга — еще одна «феррарская исто-

рия». Бассани, как и в прежних своих произведениях, элегически вспоминает о прошлом; мотив «прошлого» звучит на протяжении всего романа, передавая страх героя (и автора) перед тем, «что настоящее сразу же становится прошлым». Этот мотив быстротекущего времени, вечности, дробящейся на дни и часы, доминирует в «Цапле», так же как и в известном романе Бассани «Сад Финци-Контини». Однако, как указывают критики, есть и существенное различие: если там герои были положительными или, по крайней мере, обладали привлекательностью, то герой «Цапли»—полностью отрицательный персонаж.

Адвокат Эдгардо Лиментани — крупный помещик в провинции Феррара. Этот сорокапятилетний человек замкнут, консервативен во взглядах, у него нет никаких идеалов, он умеренно религиозен. Хозяйство свое он ведет по старинке, не вникая в социальные проблемы, не стремясь понять глубокие причины той острой классовой борьбы и крестьянских выступлений, которые бушуют вокруг и задевают его собственные интересы. Единственное сильное чувство, которое он испытывает,— это страх перед коммунизмом, и в этом страхе его особенно укрепляет основательная трепка, заданная ему однажды батраками...

Он неудачник в браке, не любит и презирает свою жену, не способен наладить отношения с дочерью.

Осознав во время охоты на цапель всю тщету своего существования, Лиментани кончает жизнь самоубийством.

Новое в романе Бассани — изображение классовой борьбы в итальянской деревне, беспощадное разоблачение помещика, вывод о его исторической обреченности. По мнению критика Микеле Рago, автора большой рецензии на роман в газете «Унита», противоречивость нового произведения Бассани — в столкновении реалистичности повествования с отвлеченной философской темой «вечности» и «прошлого».

Новый фильм режиссера Луиджи Дзампы «Врач отдела социального страхования» (по одноименному роману Джузеппе Д'Агаты) вскрывает пороки системы социального обеспечения и медицинского обслуживания в Италии. Герой фильма—врач—наживается, используя страдания больных. На снимке: кадр из фильма. В главной роли — Альберто Сорди.

(Еженедельник «Вие нуове»)

ЗА И ПРОТИВ «ЛЕОПАРДА»

В связи с десятилетием со дня выхода в свет исторического романа покойного писателя Томази ди Лампедузы «Леопард», явившегося событием в литературной жизни Италии и знакомого советскому читателю, в Палермо, на Сицилии, местная газета «Л'Ора» («Час») провела анкету среди известных писателей. Сохраняет ли этот роман свое значение поныне? Какую роль сыграло произведение, посвященное освобождению Сицилии Гарибальди и проблемам острова? Повлиял ли роман и в какой мере на современную итальянскую литературу?

На эти вопросы ответили девять писателей. Мнения их резко разделились. Отрицательные суждения о романе высказали Альберто Моравиа, Пьер Паоло Пазолини, Леонардо Шаша и Феличе Киланти (два последних писателя — сицилийцы, большие знатоки проблем Юга и истории Сицилии); наиболее восторженные оценки дали критик Пьеро Далламано, поэт Луччио Пикколо и Джоакино Ланца Томази. Альберто Моравиа считает роман произведением «второстепенной классики» и сравнивает его с «Исповедью итальянца» Ипполито Ньево. Молодая писательница Дачия Мараини пишет о том, что роман этот не утратил актуальности, поскольку в нем описано то, что в других частях Италии было бы анахронизмом, а на Сицилии до сих пор существует: пережитки феодализма в экономической и социальной структуре острова. Франко Антоничелли занял в споре нейтральную позицию.

Пазолини и Шаша полагают, что «Леопард» имел негативное значение, ибо способствовал «реставрации» чисто литературных и стилистических ценностей в момент, когда итальянская проза, несмотря на все колебания и шатания, все же стремилась приобрести тот «национально-народный характер», о котором писал Антонио Грамши. Шаша сказал: «Это хорошая книга, однако реакционная, и я рассматриваю ее как своего рода «18 брюмера» итальянской литературы». Пазолини: «Леопард» был очень вреден для итальянской литературы, так как появился в момент, когда она переходила от «героических лет» к новому периоду. При переходе от 50-х к 60-м годам, то есть к Италии «экономического чуда», этот роман был по своей форме реакционным. Я на-

звал его тогда стилистически реакционным и написал об этом стихотворение, в котором упрекал итальянскую литературу в том, что она возвращается к определенным формам литературного пуризма».

Мнение сторонников романа наиболее убедительно выразил Пикколо: «Лампедуза написал одну-единственную книгу, но эта книга не утратила значения как благодаря художественным достоинствам, так и благодаря силе убежденности написавшего ее человека, а также потому, что она — свидетельство исторического момента, который никто ранее никогда не освещал».

КЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК «ИСТ АФРИКА ДЖОРНЭЛ»

Вышел в свет очередной, специальный выпуск журнала «Ист Африка джорнэл», посвященный художественной литературе. В нем помещены критические статьи, новые рассказы, стихи, а также обзор книг, выпущенных издательством «Ист Африка паблишинг хауз» в Найроби.

Редакция журнала извещает читателей, что впредь специальные номера, посвященные художественной литературе, будут выходить дважды в год — в январе и июле. Они будут называться «Гала», что в переводе с суахили означает «амбар», «житница».

По отзывам критиков, опубликованные в этом номере журнала произведения свидетельствуют о возросшем чувстве гражданской ответственности и мастерстве их авторов.

ЛАОС

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ РУССКИЙ ФЕСТИВАЛЬ!»

Длинные очереди зрителей выстраивались у одного из самых больших кинотеатров столицы Лаоса — Вьентьяна, где проходил IV фестиваль советских фильмов.

Советская кинематография была представлена на фестивале фильмами «Если дорог тебе твой дом», «Неуловимые мстители», «Снежная королева». Были показаны также документальные и видовые фильмы.

Вьентьянский бюллетень «Ревю де пресс» под заголовком «Да здравствует русский фестиваль!» поместил о нем пространную информацию. Особый интерес зрителей вызвала картина В. Ордынского «Если дорог тебе твой дом». «По всеобщему мнению,— отмечает лаотянский кинокритик,— этот фильм вызывает необычайный интерес как своими художественными достоинствами, так и документальностью. В фильме показано, как мужественно сражался с фашистскими агрессорами русский народ и как гнал он их затем до самого логова... Советские люди бдительно следят за всем, что тем или иным образом может нанести ущерб социализму».

По сообщениям печати, советские фильмы посмотрели более пяти тысяч жителей Вьентьяна.

МАЛАВИ

ПО АФРИКЕ ПЕШКОМ...

Широкую известность молодому малавийскому писателю Легсону Кайире принесли две его первые книги: «Я попытаюсь» — автобиографическая повесть, рассказывающая о том, как ему пришлось пройти 2500 миль пешком по Африке в поисках возможности получить образование, и «Неясная тень» — повесть о современной малавийской деревне.

Журнал «Калчерал ивентс ин Африка» поместил беседу своего корреспондента с Легсоном Кайирой.

— Я родился,— рассказывает писатель,— в Ньясаленде, который теперь называется Малави. Там я вырос и пошел в школу. После ее окончания решил поступить в университет, но в нашей стране тогда не было университета — теперь он есть,— а у меня не было денег на дорогу, и я решил пойти пешком по Африке...

Писатель поделился своими творческими планами и рассказал, что заканчивает новую книгу, которая, как и предыдущие, будет посвящена сельской жизни, старым традициям, а также взаимоотношениям получивших образование африканцев со своими односельчанами.

— Я привязан к деревне, — продолжает Легсон Кайира.— Во мне очень много от простого деревенского парня. И когда бы я ни приехал в Малави, я направляюсь прямо в свою деревню, где живет моя семья, и остаюсь там как можно дольше...

— Какова, по-вашему мнению, роль писателя в Африке сейчас и какой она станет в дальнейшем? — спросил корреспондент.

— Я думаю, что перед писателями в Африке широкое поле деятельности. У нас нет недостатка в творческом материале. У африканской литературы, без сомнения, великое будущее. Очень важны, в частности, книги африканцев и об африканцах для школьной молодежи. Я думаю, что роль писателя в обществе настолько возросла, что ее можно приравнять теперь к роли политических деятелей.

— Можете ли вы назвать писателей, которых вы считаете близкими вам или книги которых вы особенно цените?

— Первый, кто приходит на ум, это Обри Качингве — мой соотечественник. Затем — Онуора Нзекву.

НОРВЕГИЯ

«СЛЕЗЫ И УЛЫБКИ В ТЮРЬМЕ»

Документальная повесть норвежского журналиста Олафа Брунванда недавно вышла под таким названием в издательстве «Тиден».

Судьба этой книги необычна. Она была написана 27 лет назад в одиночной камере гитлеровской тюрьмы огрызком карандаша на туалетной бумаге. Автором рукописи был молодой, тогда 25-летний Олаф Брунванд,

осужденный на 12 лет заключения за отказ от военной службы.

По отзывам критиков, он рассказывает о людях, томившихся вместе с ним в застенке, лаконично и впечатляюще. Это были норвежцы — «ослабевшие физически, но окрепшие духом», а также немцы — участники движения Сопротивления. Были там и политические заключенные, проведшие в тюрьмах долгие годы, и просто уголовники.

Одно из главных мест в книге отведено Хильтгунт Цассенханс — молодой немецкой женщине, которая не раз рисковала жизнью, помогая норвежским и датским узникам. Она была их единственной связью с внешним миром. Цассенханс работала при тюрьме цензором и переводчиком. В ее обязанности входило читать письма заключенных, а также присутствовать при свиданиях норвежских заключенных с пастором. Она была обязана запоминать и докладывать начальству все, о чем говорилось во время свиданий, а также содержание писем. Однако Хильтгунт выполняла эти обязанности по-своему: вписывала между строк писем к заключенным слова ободрения, а также сообщала узникам важные сведения. Она всегда приходила на помощь там, где это было более всего необходимо.

«Осторожность — не мое достоинство. Я согласна скорее потерять голову, чем сердце»,— отвечала Хильтгунт на призыв быть осторожнее. За помощь и поддержку, оказанные Хильтгунт норвежским заключенным во время войны, она награждена орденом Святого Улава.

Именно ей обязан Брунванд спасением своей рукописи. Спрятав на себе листы, Хильтгунт Цассенханс с риском для жизни вынесла их из тюремного здания и сохраняла до окончания войны. Позже она отослала их в Норвегию, автору.

Однако Брунванд потерял рукопись, прошло много лет, прежде чем она была случайно найдена. Издана она в конце прошлого года. Критики единодушно отмечают «правдивость, захватывающую простоту и человечность» этой книги». «Слезы и улыбки в тюрьме» — это «повесть о героизме, товариществе и твердой воле. Эта книга должна стать обязательным чтением для всей молодежи»,— писал рецензент газеты «Манскапс ависа».

ПОЛЬША

«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА...»

Так назван новый спектакль Лодзинского театра имени Стефана Ярача, поставленный его режиссером Ольгой Кошутской. В нем использованы русские народные, а также революционные и советские песни.

Под звуки «Дубинушки» поднимается занавес, ее сменяет «Славное море, священный Байкал» — песни эти символизируют процесс накопления русским народом сил для решительной схватки с самодержавием.

Второе отделение спектакля начинается пантомимической сценой, в которой участвуют рабочие, солдаты, матросы, крестьяне — в России побеждает революция. Звучат мелодии песен: «Красная Армия всех сильней», «Дан приказ ему на Запад», «Песня о тачанке», «Шел отряд по берегу», «Орленок».

Спектакль венчает партизанская песня «По долинам и по взгорьям».

В интервью корреспонденту еженедельника «Польское обозрение» Ольга Кошутская рассказала: «Идея создания музыкального спектакля, построенного на русских и советских песнях, возникла у меня уже давно. Правда, планы, касающиеся этой постановки, были довольно туманными. За ними стояли воспоминания детства, которое я провела в Советском Союзе, пионерские лагеря с их звонкими песнями, растущая популярность советской песни в Польше. Первоначально я задумала составить эстрадную программу с участием драматических актеров, вокальных исполнителей и танцоров. Однако позднее у меня все отчетливее созревал замысел театрального представления, построенного по определенной драматургической канве.

Мы не собирались показывать монументальную историческую эпопею,— продолжала Ольга Кошутская,— но попытались представить в красочной форме те далекие героические времена, которые стали уже легендарными».

Замысел режиссера поддержал музыкальный руководитель Лодзинского театра имени Ярача Петр Гертель, много сил и изобретательности приложили балетмейстер Кристина Мазур и художница Лилиана Янковская. Объединенными усилиями всего творческого коллектива театра создан красочный, волнующий спектакль, пользующийся заслуженным успехом у польского зрителя.

ОРДЕН УЛЫБКИ

Немногим более года назад Яцек и Агатка вместе с многочисленными друзьями отмечали свой пятилетний юбилей. Яцек и Агатка — куклы, которые постоянно

Орден улыбки.

(Еженедельник «Польское обозрение»)

выступают в популярной среди юных телезрителей программе «Спокойной ночи». По этому случаю вечерняя варшавская газета «Курьер польски» поместила интервью с автором программы Вандой Хотомской. Она рассказала о встрече Яцека и Агатки с детьми — пациентами санатория в Константине под Варшавой. Именно тогда один маленький мальчик спросил: «А почему нет Ордена улыбки для тех, кто доставляет нам радость?»

С этого все и началось: в редакцию со всех концов страны посыпались письма, в которых дети просили (кое-кто даже требовал) учредить такой орден. «Мы хотим,— говорилось в письмах,— награждать Орденом улыбки тех, кто проявил себя истинным другом детей».

Был объявлен конкурс среди детей и молодежи на лучший проект ордена. Жюри получило 44 000 рисунков и потратило немало времени на ознакомление с ними. Лучшим был признан чаще всего повторяющийся мотив — улыбающееся солнце. Модель ордена создали известный художник Шимон Кобылинский и медальер Эдвард Гороль. Капитул ордена возглавила известная польская писательница Эва Шельбург-Зарембина. Было решено, что дети будут присуждать эту награду взрослым дважды в год: в первый день весны и в последний день лета.

В числе первых 14 лауреатов — писатели, врачи, а также люди малоизвестные, которые отдают детям все свободное время. Одним из первых лауреатов стал, в частности, известный писатель Януш Пшимановский, автор книги «Четыре танкиста и собака», а затем сценария одноименного телевизионного фильма, очень популярного среди ребят.

50-ЛЕТИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «КСЕНЖКА И ВЕДЗА»

Исполнилось полвека одному из старейших издательств Польши — «Ксенжка и ведза» («Книга и знание»), в котором сосредоточен ныне выпуск общественно-политической и марксистской литературы.

Юбилей был торжественно отмечен общественностью Варшавы. На открытии юбилейных торжеств председатель редакционного совета издательства Генрик Яблонский сказал, что возникшее 50 лет назад издательство «Ксенжка» служило авангарду рабочего класса в качестве базы для издания марксистской литературы. Работая в капиталистической Польше под руководством КПП, оно подвергалось репрессиям со стороны буржуазных правительств, вынуждено было изменить название на «Том» и, в конце концов, прервать свою деятельность в период усиленной фашизации жизни страны накануне второй мировой войны. Именно в этих условиях издательство выпустило «Капитал» Маркса, «Государство и революция» Ленина, брошюры по истории марксистского революционного движения, а также произведения прогрессивных писателей. В полную силу оно начало служить народу лишь после Освобождения. Им было выпущено первое послевоенное издание «Пана Тадеуша» А. Мицкевича, стихи и проза, посвященные революции, а также большая литература по общественно-политическим вопросам. В 1948 году «Ксенжка» слилась с издательством «Ведза». «И хотя в Польше многие издательства внесли свой вклад в развитие социалистической культуры,— сказал далее Г. Яблонский,— на издательстве «Ксенжка и ведза» лежит особая ответственность, поскольку это издательство партийное».

Среди последних публикаций «Ксенжки и ведзы» — первое на польском языке полное собрание сочинений Маркса и Энгельса. Выпускается разнообразная литература, которая в нынешних сложных условиях разоблачает всемирный антикоммунизм, американский и западногерманский империализм, деятельность антисоциалистических, диверсионных центров за границей. Подготовлены к выпуску книги по проблемам единства международного рабочего движения и борьбы против ревизионизма и догматизма в нем.

В Варшаве открыта выставка, посвященная полувековому юбилею «Ксенжки и ведзы». Заслуженные работники издательства удостоены правительственных наград.

РУМЫНИЯ

О ПРОБЛЕМАХ КИНЕМАТОГРАФИИ

На страницах еженедельника «Контемпоранул» развернулась дискуссия на тему: «Обсуждаем проблемы румынского кино». Одним из первых были опубликованы высказывания Титуса Поповича — известного прозаика, успешно выступающего в качестве сценариста. Им созданы сценарии девяти фильмов, среди которых есть ленты, принесшие заслуженные награды румынскому кинематографу: «Счастливая мельница», «Волны Дуная» (премия в Карловых Варах), «Лес повешенных» (удостоена награды в Канне), «Чужой» (премия жюри в Мамае), «Жажда» (серебряный приз в Москве), «Даки».

Титус Попович высказался за тесную связь между литературой и кинематографом. Эти два вида искусства дополняют и обогащают один другой, отметил он и продолжал: «Кино требует от писателя более четкого ритма, продуманной логики взаимодействия событий и характеров. Можно говорить и о другом виде техники кино, о технике детализации: там, где у Бальзака уходило пятьдесят страниц на описание события, кинематографу требуется всего несколько секунд, и это вовсе не значит, что он должен поступиться точностью или глубиной анализа. Современная литература отказалась от детализации и жесткой регламентации описания, так что внутренняя дисциплина и лаконизм — требования, которые кинематограф предъявляет сценарию,—наверняка пригодятся в работе писателя».

«Как Вы относитесь к определению «фильмы на современную тематику»?» — спросил корреспондент еженедельника.

«Было время,— ответил Попович,— когда этот термин понимали почти буквально хронологически. Фильм на современную тематику для 1954 года означал фильм, созданный в 1954 году, события которого непременно датировались этим же годом. И это было, мягко говоря, нелепо.

Для меня современность в кино — это поиски ответа на главные вопросы времени, независимо от того, происходит ли действие фильма в наши дни или в эпоху Дечебала».

«Не поделитесь ли Вы с читателями замыслом Вашего нового фильма «Власть»? Какова его основная идея?»

«Фильм «Власть», сценарий которого я написал совместно с Франчиском Мунтяну,— это попытка синтезировать явления определенной эпохи. «Власть»—фильм политический. Мы хотим рассказать о людях, которые влияют на ход истории. Это коммунисты, которые раз и навсегда выбрали себе путь в жизни, и мы хотим проследить их жизнь, начиная с момента выбора пути. Мы хотим показать, что история — не простое скопище фактов. С момента, когда человек познает ее законы, она становится точкой приложения его творческих сил, предметом его активной деятельности, определяет его жизнь, его счастье и несчастье.

Удалось ли нам передать в фильме всю эту сложную партитуру жизни — судить зрителю. Могу с уверенностью сказать одно: мы пытались это сделать».

США

ВЫСТАВКА, «ПОСВЯЩЕННАЯ» МЭРУ ЧИКАГО

Эту выставку, открывшуюся в художественной галерее Ричарда Фейгена в Чикаго, газетчики не случайно называют уникальной. «Выставка одного человека» «посвящена» мэру города Чикаго — Ричарду Дейли. Не совсем обычны и ее экспонаты — произведения пятидесяти известных американских художников. Каждое из них выражает протест против произвола мэра Дейли, по приказу которого полиция зверски расправилась с тысячами участников мирной демонстрации во время национального съезда демократической партии, пустив в ход дубинки и слезоточивый газ.

Скульптура Барнетта Ньюмена, изображающая мэра, сделана из листового железа и весит несколько сот фунтов, она опутана колючей проволокой — намек на проволочные заграждения у чикагских складов, где проходил съезд, чтобы не допустить демонстрантов. Скульптура покрыта красными пятнами, символизирующими кровь, пролившуюся в те дни на улицах Чикаго.

«Следующий раз стреляй метче!» — так названа работа Джорджа Коэна. Она представляет собой выполненные из холста человеческие фигуры. В композицию входит револьвер с шифром чикагского полицейского департамента на рукоятке. Как известно, мэр Дейли отдал приказ полиции стрелять в негров, когда в гетто для черных американцев начались волнения, вызванные убийством Мартина Лютера Кинга.

Первоначально в галерее Ричарда Фейгена должна была открыться выставка работ художника Клауса Ольденбурга о Чикаго. Ольденбург, который готовился к этой выставке в течение двух последних лет, отменил ее после того, как провел в Чикаго одну неделю во время съезда демократической партии.

В обоснование своего решения он написал администрации галереи Ричарда Фейгена следующее: «Шестеро полицейских, свалив меня на землю, стали пинать ногами и чуть не задушили, называя при этом «коммунистом». В свете этих событий художественная выставка, прославляющая город Чикаго, показалась бы насмешкой».

«ТЕАТР В АМЕРИКЕ»

Под таким названием в Нью-Йорке вышла книга, посвященная современному положению театрального искусства в Соединенных Штатах, сообщила бостонская газета «Крисчен сайенс монитор». Ее авторам — профессорам Р. Гарду и М. Балчу и литератору П. Темпкин — понадобилось пять лет, чтобы осуществить обширное эстетико-экономическое исследование проблемы; они пришли к выводу, что американский театр обречен на серое прозябание...

«У нас театр отживает свой век,— заявил профессор Р. Гард накануне выхода книги в свет.— Театр как вид искусства не интересует людей, они смотрят на него как на необычный, временами эффектный эксперимент — не больше...»

Подобного театроведческого исследования в США не публиковалось около трех десятков лет. Предшественницей «Театра в Америке» была книга нью-йоркского режиссера Норриса Хафтона «Вперед с Бродвея», вышедшая в 1940 году. Ныне Н. Хафтон — президент Национальной театральной конференции, которая объединяет руководящих театральных работников всей Америки. Уже в то время он писал в своей книге: «Сегодня мы наблюдаем, как наш театр становится все более безликим, стандартным».

Ныне эти симптомы особенно заметны на главной театральной арене страны— Бродвее. По свидетельству обозревателя газеты «Крисчен сайенс монитор», режиссеры и продюсеры заботятся тут больше об «упаковке» своих творений, чем об их содержании.

По мнению авторов книги «Театр в Америке», отсутствие необходимых средств — одна из основных причин упадка театрального искусства в США. Именно забота о рентабельности постановок толкает многих бродвейских режиссеров на всевозможные трюкачества.

Обозреватель «Крисчен сайенс монитор» в связи с этим, в частности, пишет: «Американский конгресс

проявляет слишком большую медлительность и консерватизм в создании фондов для субсидирования искусств, включая театр».

Авторы книги подкрепляют свои выводы фактами и цифрами. Читатель узнает, например, что если когда-то в Нью-Йорке ежедневно ставилось 250 разных спектаклей, то теперь это число сократилось до 40—50. Серьезный театр перекочевал с Бродвея в провинциальные центры страны. В других же местах редко можно серьезно говорить о «профессиональном уровне исполнения».

«ПИСЬМА КАРЛА СЭНДБЕРГА»

В Нью-Йорке отдельным сборником изданы письма скончавшегося в 1967 году выдающегося американского поэта Карла Сэндберга. Всего в сборник вошло 640 писем, охватывающих период с 1898 по 1962 год. Больше всего в них впечатляют человеческие качества Сэндберга, писал рецензент еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью». Через всю жизнь Сэндберг пронес чувство привязанности и любви к людям, верность идеалам своей юности, честность в отношении к искусству, к своему творчеству.

Открывается сборник письмом, которое 20-летний поэт написал из Пуэрто-Рико, где участвовал рядовым в войне с Испанией. Из последующих писем видно, отмечал далее рецензент, как постепенно мужает будущий автор «Стихов о Чикаго» и «Мешка американских песен», как он становится активным деятелем социалистического движения, как в 30 лет влюбляется и решает жениться на Лиллиан Стайхен, сестре знаменитого фотографа. Поэт рассказывает, что на создание шеститомной беллетризованной биографии «Авраам Линкольн» — этого единственного в своем роде, по оценкам специалистов, исторического исследования — он потратил большую часть «середины своей жизни». Одно из главных мест в «Письмах Карла Сэндберга» занимает его переписка с женой. Даже в глубокой старости он не забывал своих друзей и переписывался с ними.

Известный поэт, переводчик и критик Кеннет Рексрот написал о «Письмах Карла Сэндберга» следующее: «С понятием «хороший поэт» не обязательно бывает связано понятие «хороший человек»... Но эти письма обнаруживают, что Карл Сэндберг сочетал и до конца сохранил в себе именно эти два качества».

«ЗАДОЛГО ДО СВОЕЙ СМЕРТИ»

Джон Стейнбек — писатель-реалист, автор острого социального романа «Гроздья гнева», написанного в 1939 году, и других книг, бесконечно далек от Джона Стейнбека последних лет, выступавшего в поддержку американской агрессии во Вьетнаме,— так примерно можно суммировать высказывания видных деятелей литературы и искусства разных стран по случаю смерти писателя.

Владимир Познер, например, написал в газете «Юманите», что впервые встретился с Джоном Стейнбеком в США в год выхода «Гроздьев гнева». Все тихоокеанское побережье страны было охвачено тогда забастовкой сельскохозяйственных рабочих. Стейнбек в те дни возглавлял Комитет по оказанию помощи бастующим. Он горячо и страстно призывал помочь несчастным эксплуатируемым, преследуемым, замученным труженикам. «Если бы кто-нибудь тогда осмелился предположить, что четверть века спустя Стейнбек сядет в американский вертолет, чтобы наблюдать, описывать и восхвалять охоту на беззащитных вьетнамских крестьян, автор «Гроздьев гнева» был бы, вероятно, возмущен и оскорблен,— писал Познер.— Отдадим же должное Джону Стейнбеку, умершему задолго до своей смерти, автору замечательного романа, свидетельствующего о том, что когда-то он был выдающимся писателем».

ТУРЦИЯ

Известный публицист Фикрет Отъям, прославившийся очерками о жизни отдаленных районов Турции, вот уже третий год организует выставки своих фотографий, привлекающие внимание общественности.
Воспроизводимые здесь фотоработы Отъяма «Старуха крестьянка» и «Крестьянская девушка» экспонировались на его недавней выставке.

(Журнал «Форум»)

УГАНДА

«НЕ СЕЙЧАС, МИЛАЯ ДЕЗДЕМОНА»

По сообщению корреспондента журнала «Калчерал ивентс ин Африка», театральная группа «Н'гома плейерс» подготовила к пос-

тановке новую пьесу Меррея Карлина «Не сейчас, милая Дездемона». Премьера ее состоялась в Кампале в «Макерере колледж»; пьеса с успехом идет в Национальном театре.

Сюжет пьесы построен в виде репетиций в театре шекспировского «Отелло», где роль главного героя исполняет настоящий негр; голубоглазая, белокурая Дездемона — родом из Иоганнесбурга. Эти актеры влюблены друг в друга не только на сцене. Отелло никак не может войти в роль, потому что он не может принять традиционную трактовку образа. Пьеса Шекспира, по его мнению,— первая пьеса о расовом неравенстве. Дездемона же полностью приемлет старую трактовку. Споры двух возлюбленных о шекспировских образах превращаются в споры о них самих, об их внутреннем мире, о том, с какими проблемами они сталкиваются и как им надлежит жить.

Как отмечает театральная критика, необычайно трудные роли Отелло и Дездемоны в пьесе Меррея Карлина сыграны с большим мастерством. Роль Отелло исполняет Ноа Осентого, роль Дездемоны — Дженнифер Беннетт.

ФРАНЦИЯ

БИТВА НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

Парижские театралы с нетерпением ждали премьеру спектакля «Гаргантюа и Пантагрюэль», подготовленного и поставленного известным деятелем французского театра Жаном-Луи Барро. Премьера эта состоялась в... спортивном зале на бульваре Рошешуар. Актеры поднялись из зрительного зала прямо на ринг, облачились в костюмы и парики — и началось это не совсем обычное театральное представление.

Предыстория этого «театра на ринге» вкратце такова. Вскоре после майско-июньской забастовки прошлого года, охватившей всю Францию, Жан-Луи Барро был уволен министром по делам культуры с поста директора и главного режиссера государственного театра «Одеон» за резкие высказывания в адрес властей на собрании перед студентами. Вместе с группой друзей и артистов «Одеона» Барро, несмотря на финансовые трудности, удалось арендовать спортивный зал, в котором он и осуществил свою постановку по книге Рабле.

Сам Барро назвал этот спектакль «ударным». «У нас нет ничего, кроме ринга, чтобы выиграть битву»,— заявил он.

А битва на театральных подмостках Парижа идет ожесточенная — битва за зрителей, за кассовые сборы. Афиши предлагают одновременно 25 новых спектаклей. Однако большинство из них, по выражению рецензентов и обозревателей, — пьесы «меланхолического содержания», сентиментально-мещанские драмы, пошловатые комедии и легкие водевили, иные обильно сдобрены эротикой и сделаны так, чтобы «балансировать на грани скандала». Критик газеты «Орор» Пьер Жюльен назвал нынешний театральный сезон «тусклым». Не блещут даже творцы «авангардистского театра» — Ионеско и Беккет, чьи имена теперь, по свидетельству корреспондентов, не так-то легко отыскать на театральных афишах.

В то же время обозреватели отмечают несколько удач, помимо упомянутого спектакля Жана-Луи Барро. Это «Господин Умеренный» Артюра Адамова в театре «Матюрэн» (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 1, 1969), «Булочник, булочница и подмастерье» Жана Ануя в театре «Комеди», спектакли в театрах рабочих пригородов Парижа. Прогрессивная печать отмечает, например, пьесу молодого драматурга Раймона Жербаля «В Париже жарко, или Делай в мае то, что тебе нравится», поставленную в театре имени Ромена Роллана в Вильжюиве. В этом спектакле изображены две семьи — рабочая и буржуазная,— а также показана их реакция на события в мае—июне, когда во Франции бастовало десять миллионов человек. Этот острополитический спектакль пользуется у публики большим успехом.

ЧИЛИ

ЮБИЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Недавно чилийская общественность торжественно отметила важное событие в культурной жизни страны: 155 лет со дня основания Национальной библиотеки. Начало ей положили книги, конфискованные у иезуитов. В первые годы существования в библиотеке насчитывалось всего около 5 тысяч томов, да и те в основном были трактатами по богословию и юриспруденции, написанными по-латыни. Книжный фонд рос медленно: в Чили тогда не торговали книгами, а их приобретение за границей было затруднительным.

В настоящее время общее число книг в Национальной библиотеке Чили превышает 700 тыс. Но не только книгами знаменита библиотека. В ней, например, существует так называемый «Архив слова», в котором собраны магнитофонные записи произведений чилийских писателей и их голосов. Сейчас в «Архиве» имеются записи 112 произведений 40 писателей Чили. Представляет большой интерес и «Архив писателя», в котором тщательно собираются все материалы, имеющие отношение к жизни и творчеству чилийских писателей: рукописи книг, их зарубежные издания, фотографии, личные вещи. Существует там и «Служба критических справок», где собираются все статьи, рецензии и критические заметки, опубликованные в национальной печати, о чилийских писателях и их произведениях. И, наконец, есть «Отдел микрофильмов», в котором, в частности, хранятся материалы по истории чилийской периодики.

В ЧЕСТЬ ГОРЬКОГО

«Год Горького» был широко отмечен во многих странах мира. Творчество великого советского писателя вызывает большой интерес и в прогрессивных кругах Чили. Во многих книжных магазинах охотно раскупаются произведения Горького, переведенные на испанский язык. В ознаменование столетия со дня рождения А. М. Горького чилийско-советским институтом в Сантьяго был проведен цикл лекций о жизни и деятельности писателя. С чтением лекций выступили известные ученые, писатели, журналисты. Бывший корреспондент в Москве чилийской коммунистической газеты «Эль сигло», известный романист Хоакин Гутьеррес, прочел лекцию о Горьком в Национальном университете.

ШВЕЦИЯ

ПОЛЕМИКА ВОКРУГ ФИЛЬМА БЕРГМАНА

На экраны вышел новый, 26-й по счету фильм известного шведского режиссера Ингмара Бергмана — «Стыд».

О съемках этого фильма было известно давно: в сентябре 1967 г. Бергман дал интервью группе журналистов, в котором коротко рассказал об основных идеях своего нового произведения (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 2, 1968). Уже тогда было очевидно, что Бергман задумал выйти из привычного для него круга извечных вопросов человеческого бытия и обратиться к политической стороне действительности. В фильме «Стыд» он «сталкивает» с войной супружескую пару — музыкантов Эву и Яна. По словам режиссера, он хотел показать, «как далеко может загнать страх двух нейтральных людей, когда они окажутся между двумя сражающимися лагерями... Они аполитичны, у них нет никаких представлений о том, на чью сторону встать. Мои герои охвачены страхом и стремлением выжить».

С первых дней вокруг фильма разгорелась бурная дискуссия. В рецензиях, появившихся на страницах шведской печати, критики вначале соревновались в похвалах таланту режиссера: «Стыд» — это бегство из тесного мира Бергмана... Для фильма характерны такие простота и откровенность, каких режиссеру редко удавалось достичь»; «Стыд» продиктован чувством долга и мировоззрением Бергмана».

Но вскоре стали появляться отклики иного характера: «В «Стыде» Бергман использует все свое высокое мастерство только для того, чтобы ничего не сказать»; «Стыд» — очень опасный фильм ...Бергман поставил салонную драму о войне».

В адрес Бергмана были высказаны и прямые упреки в том, что режиссер взялся за тему, которой не понимает. Показательно и то, что в фильме изображена не какая-то известная истории война, а «война вообще», как общечеловеческое зло. В войне нет ни правых, ни виноватых — такова ошибочная точка зрения художника.

Бергман попытался защищаться на страницах газеты «Афтонбладет». Он заявил, в частности, что выступает за прекращение вьетнамской войны, за вывод американских войск из Вьетнама. Однако тут же добавил, что, по его мнению, «не существует ни честных, ни бесчестных войн. Все формы военных действий и насилия, во имя чего бы они ни совершались, разрушительны и достойны осуждения».

В ответ на это заявление на страницах той же газеты с резкой критикой в адрес режиссера «Стыда» выступила шведская писательница Сара Лидман: «Если встать на эту точку зрения,— писала Лидман,— то получится, что НФО и Пентагон — одного поля ягоды. Я протестую: Пентагон ведет грязную войну, НФО—справедливую». Писательница заявила, что «Стыд» Бергмана помогает разбою Америки во Вьетнаме», что фильм «снимает с современной западной интеллигенции ответственность за войну во Вьетнаме — на то, мол, божья воля». Лидман считает, что Бергман «соревнуется в подлости с Соединенными Штатами, ведущими во Вьетнаме истребительную войну». «Стыд», по словам писательницы, пришелся как нельзя более на руку американцам, не «смевшим даже мечтать о подобной поддержке».

СКУЛЬПТУРА, КОТОРАЯ «МЕШАЛА УЛИЧНОМУ ДВИЖЕНИЮ»

На центральной торговой площади одного из новых районов Стокгольма неожиданно появилась монументальная скульптура, символически изображавшая структуру нынешнего шведского общества. Основание монумента — народ, над ним — лидеры трех буржуазных и социал-демократической партий, а выше всех — на золотом троне — банкир Маркус Валленберг, представитель пятнадцати самых богатых семейств Швеции.

«Мы своей скульптурой хотели обратить внимание на то, в чьих руках сконцентрирована власть в Швеции»,— пояснили корреспондентам авторы этого произведения, члены «Объединения за социалистическую культуру».

Группа прогрессивных стокгольмских скульпторов, входящих в эту организацию, обратилась недавно к городским властям с просьбой разрешить им выставить свою скульптуру для всеобщего обозрения. Полиция ответила отказом, никак не мотивировав его. А городское дорожное управление сослалось на то, что, мол, скульптура «будет мешать уличному движению» (хотя никто не предлагал размещать ее на проезжей части).

Тогда, на свой страх и риск, члены «Объединения» выставили скульптуру на торговой площади. Простояла она там очень недолго. Как сообщает корреспондент газеты «Дагенс нюхетер», на место, где была установлена «крамольная скульптура», спешно прибыл отряд полицейских, разобрал ее — она была сделана из папье-маше — и увез в... участок.

Авторы этого номера

БЕРНАР ДАДЬЕ — BERNARD DADIER (род. в 1916 г.).

Стихами видного поэта и прозаика Берега Слоновой Кости Бернара Дадье из его книги стихов «Люди всех континентов» («Hommes de tous les continents», 1967) открывается этот номер. Его первый поэтический сборник «Африка во весь рост» («Afrique debout») вышел в 1950 году. На основе изучения фольклора написаны «Африканские легенды» («Légendes Africaines», 1952) и книга сказок «Черная повязка» («Le pagne noir», 1955). Бернар Дадье — автор романов «Негр в Париже» («Un nègre à Paris», 1959), «Нью-йоркский патрон» («Le patron de New-York», 1964) и др. На русский язык переведены роман «Клембье» и несколько стихотворений в сборнике стихов поэтов Африки «В ритмах тамтама».

Перу Б. Дадье принадлежат также статьи по вопросам культуры, фольклора, языка. В нашем журнале (№ 4, 1968) см. его статью «Люди между двумя языками».

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ (род. в 1919 г.).

В этом номере мы знакомим читателей с творчеством болгарского писателя Николая Хайтова, публикуя несколько рассказов из его книги «Дикие рассказы» («Диви разкази», 1967), за которую писатель был удостоен Государственной премии.

Н. Хайтов начал печататься в 1957 году. С тех пор вышло несколько сборников его рассказов и очерков, посвященных Родопам, где он много лет работал инженером-лесоводом. Певец родной природы, мастер очерка, самобытный эссеист, он нашел единодушное признание у читателей и критики.

Перу Н. Хайтова принадлежит также ряд пьес: «Запертая весна» (1961), «По земле» (1963), «Моя песня, мой грех» (1965) и др.

ОТТО РЕНЭ КАСТИЛЬО — OTTO RENÉ CASTILLO (1936-1967).

Гватемальский поэт, участник национально-освободительной борьбы в Гватемале. Начал печататься с 17 лет. Автор двух поэтических сборников, он был талантливым представителем молодой революционной поэзии, очень популярным среди молодежи не только Гватемалы, но и всей Центральной Америки. Неоднократно его творчество отмечалось премиями на поэтических конкурсах разных стран (в частности, на Международном фестивале молодежи в Москве в 1957 году). Отто Рене Кастильо был редактором органа прогрессивного студенчества «Восеро эстудиантиль», основателем «Экспериментального театра». В 1965 году был арестован; ему удалось эмигрировать, однако вскоре он возвратился в Гватемалу и включился в партизанскую борьбу. В одном из боев с правительственными войсками поэт был убит.

Мы впервые знакомим наших читателей с творчеством Отто Рене Кастильо. «Отправимся, родина, в путь» («Vamonos Patria a caminar», 1965) — так называется его последний поэтический сборник, откуда взяты публикуемые стихи.

МОРИО КИТО (род. в 1927 г.).

Японский писатель, доктор медицинских наук, иногда выступает как писатель-фантаст (см. в нашем журнале № 1 за 1967 г. рассказ «Машина времени»). В 1960 г. за повесть «В закоулках «Ночи и тумана» писатель отмечен премией Акутагава. Широкую известность получили его «Записки о морском путешествии доктора Мамбо» (1960) и роман «Семья Нире» (1964).

Публикуемый в этом номере рассказ «Головастики» был напечатан в журнале «Бунгаку кай» (1968).

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — JAMES ALDRIDGE (род. в 1918 г.).

Английский писатель и публицист, книги которого популярны у советских читателей. В разные годы в русском переводе вышли книги Д. Олдриджа «Дело чести», «Морской орел», «Охотник», «Дипломат», «Герои пустынных горизонтов», «Последний изгнанник». «Иностранная литература» напечатала его романы «Не хочу, чтобы он умирал» (№ 11 за 1959 г.), «Сын земли чужой» (№№ 3—5, 1968), несколько эссе, в том числе «Будущее романа» (№ 9, 1965), «Расставаясь с иллюзиями» (№ 8, 1966) и др.

Публикуемая нами статья, полученная в рукописи, затрагивает проблемы, поставленные на творческой встрече, посвященной теме «Рабочий класс, общество, литература» (см. «Иностранную литературу» №№ 10—11 за 1967 г.).

■

ВИЛЬГЕЛЬМ ГИРНУС — WILHELM GIRNUS (род. в 1906 г.).

Немецкий литературовед (ГДР), академик, профессор Берлинского университета имени Гумбольдта, главный редактор журнала «Зинн унд форм», автор ряда эссе по эстетике и работ по теории литературы.

Публикуемая статья, посвященная творчеству немецкого писателя Иоганнеса Бобровского (1917—1965), написана для нашего журнала.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Б. С. РЮРИКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ (первый зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 04503. Сдано в производство 30/XI-68 г. Подписано к печати 15/I-69 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2). Уч-изд. листов 28,55. Зак. 3821.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394